

Дружба народов

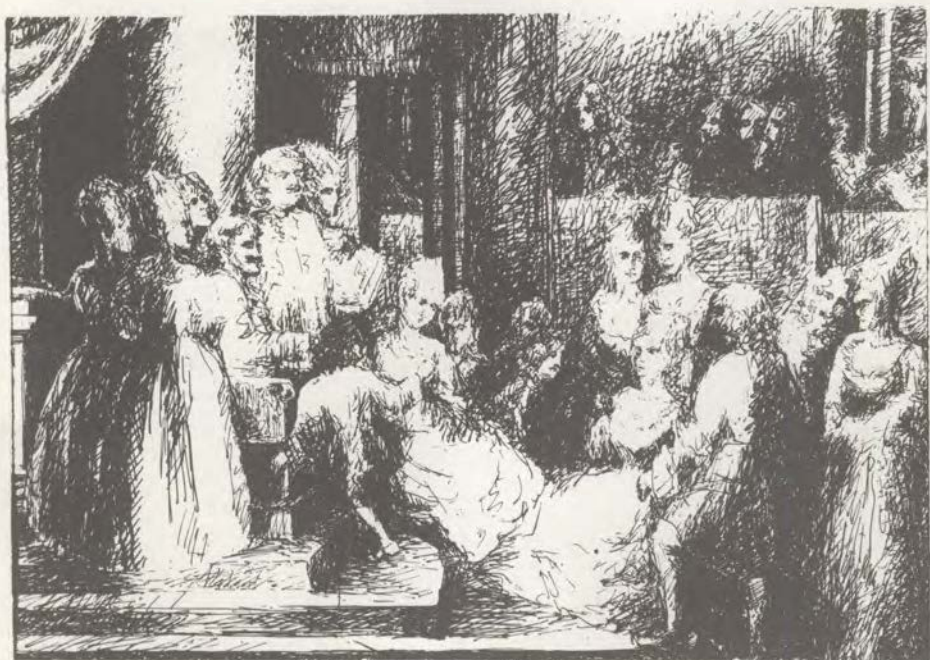
11'90



ежемесечный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

орган
Союза
писателей
СССР

Дружба народов 11'90



Е. КОРОНЦЕВИЧ. А. С. Пушкин. «Арап Петра Великого».

Поэтическая иллюстрация.

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

**ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

**Основан в марте
1939 года**

Адрес редакции:
121827 ГСП
Москва, Г-69
ул. Воровского, 52.
Телефоны:
главный редактор
и первый заместитель
главного редактора —
291-62-27,
заместитель
главного редактора
и зав. редакцией —
291-62-49.
ответственный секретарь —
202-52-03,
отдел прозы — 291-63-63,
отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики —
291-63-54,
отдел критики
и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений —
291-64-50.

**Художественный редактор
Николай ПШЕНЕЦКИЙ**

**Технический редактор
Анна СЕЛИВЕРСТОВА**

Сдано в набор 06.08.90.
Подписано в печать 08.01.91.
Формат бумаги 70×108^{1/16}.
Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Балтика».
Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,8.
Усл. кр.-отт. 26,25.
Уч.-изд. л. 26,63.
Тираж 739 450 экз.
(1-й завод 1—339 450 экз.).
Зак. 3268.
Цена 1 р. 10 к.

Издательство
«Известия Советов
народных депутатов СССР»
103798 ГСП, Москва, К-6,
Пушкинская пл., 5

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина
и ордена Октябрьской
революции
типографии имени
В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС
«Правда»
125865, ГСП, Москва, А-137
ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии № 2
ордена Ленина
комбината печати
издательства
«Радянська Україна».
Киев, Андри Варбюса, 51/2.
Зак. 1182.

Дружба 11'90 народов

Редакционная коллегия

Главный редактор

Сергей
БАРУЗДИН

Первый заместитель
главного редактора

Александр
РУДЕНКО-ДЕСНЯК

Акрам
АЙЛИСПИ

Ануар
АЛИМЖАНОВ

Лев
АННИНСКИЙ

Александр
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Альгимантас
БУЧИС

Василь
БЫКОВ

Ответственный секретарь

Игорь
ЗАХОРОШКО

Наталья
ИВАНОВА

Анатолий
ИВАЩЕНКО

Наталья
ИГРУНОВА

Юрий
КАЛЕЩУК

Алим
КЕШОКОВ

Юрий
КИРШИН

Григорий
КОРАБЕЛЬНИКОВ

Георгий
ЛОМИДZE

Елена
МОВЧАН

Рафаэль
МУСТАФИН

Леонид
НОВИЧЕНКО

Борис
ПАНКИН

Вардгес
ПЕТРОСЯН

Тимур
ПУЛАТОВ

Юрий
СУРОВЦЕВ

Леонид
ТЕРАКОПЯН

Зам. главного редактора

Бронислав
ХОЛОПОВ

Константин
ЩЕРБАКОВ

***Читайте в первых номерах
следующего года
главы из книги
живущего в Германии
известного советолога
А. Авторханова
«Империя Кремля»***

Йонас Микелинскас

Страна Черных Елей

РОМАН

С литовского.

Перевод

Б. Залесской и Г. Герасимова



An meinem Leben und meinem Schicksal liegt
nichts, an den Wirkungen meines Lebens liegt
unendlich viel.

*Fichte*¹

В тот день, когда мне исполнилось пятьдесят, я, глядя в окно на заходящее солнце, снова вспомнил СТРАНУ ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ. И всем своим существом ощутил, что досиживаю в этой комнате последние часы. Хватит! И так откладывал со дня на день. Тянул, все еще на что-то надеялся, хотя было ясно — не выкручусь. Хотя ты что, а ехать необходимо. Позарез. Они там, в родных местах, все глаза проглядели, меня ожидая. «Куда он запропастился, этот наш Анзельмас?» — не раз небось вопрошала мать, когда садились ужинать. Мама уже совсем старая, да и брат старый. Я еще без порток бегал, когда Рокас с покойным отцом гонял лошадей в ночное. И кроме того — Гинтарас². Гинтарас у брата поздний. Отец бел-белешенок, а сыну — девять. Всего девять весен! И смех, и грех. Не поймешь, как порой такое случается. Когда появился этот сорвиголова Гинтарелис (честно говоря, это имя не по душе мне — выдумка и каприз невестки), матери, можно сказать, у мальчишки как бы уже и не было. Ничто не могло спасти жену брата: ни дрожь нижней губы Рокаса, ни заботливое и трогательное шарканье свекровьинных калош по глинобитному полу, ни строгие и нервные команды привезенной из города акушерки. А новорожденный, вволю наоравшись, уставился на черный потолок и чему-то робко и хитро улыбнулся. Может, недоделанному деревянному черпаку, сунутому за закопченную балку, может, засиженной мухами лампе, а может, своей первой мысли, которая медленно и мучительно выкатывалась из небытия... А возможно, ничего не видел, ничему не улыбался, только философски вслушивался, как по чердаку шастают мартовские коты и сыплется с потолка костра. Тогда мне впервые подумалось: человек приходит в эту юдоль слез уже старчески мудрым.

Наверно, и сейчас больше всех ждет меня Гинтарас, этот шалопут.

«Дядя, а почему там деревья черные? Их что, солнце обожгло?»

«Нет, малыш. Там СТРАНА ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ».

Все. Дальше откладывать некуда. Поеду.

Повезло, что набрел недавно в одном магазине на игрушечную

Журнальный вариант.

Jonas Mikelinskas. Juodujių Eglių Salis (литов.).

¹ От моей жизни и моей судьбы не зависит ничего, от деяний моей жизни зависит бесконечно много. Фихте (нем.)

² Гинтарас — по-литовски январь.

ракеты. На совесть гедезровцы делают: отлакирована до блеска, одна упаковка чего стоит! Занятная штукавина. Пустишь — выше деревьев взлетит. Сказочный подарок для парнишки. Даже мне, старому, понравилась, сам мысленно уже не раз запускал ее в «космос». Хорошие игрушки мастерят ребятишкам эти немцы. Такие, что и взрослому забыться помогают.

В автобусе место досталось у окна. Может, не навсегда отвернулась от меня удача? Поглядываю на пробегающие мимо разноцветные лоскутья полей и стараюсь ни о чем не думать. Надо и тебе, Ансельмас, хоть малость передохнуть. Но разве это от одного тебя зависит?

Дорога знакома до тошноты, ни за что не выбрал бы ее, кабы не старая мать, не Гинтарас со своими детскими выдумками, если бы не та... СТРАНА ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ.

Шоссе заасфальтировали недавно — всего пару лет назад, но местами уже ремонтируют. Вероятно, гложут черно-серую ленту солнце и ветер. Солнце и сейчас нещадно бьет в глаза, будто наняли его, а ветер тугой и зеленоватый — рожь колосится. На объездах пыль столбом. Аж свет застит. Пыль на зубах, в горле, в глазах... в самом мозгу пыль. К счастью, этих объездов не так много. Вот и вновь раскаленное шоссе, вновь небо, солнце, дрожащее над горизонтом жаркое марево. И всюду телеграфные столбы и мачты электропередач. Некоторые из них напоминают скелеты гигантских динозавров, поставленные на попа, связанные меж собой серебряными проводами и безжалостно гонимые неизвестно куда по полям, лугам и лесам заботливой и злою рукой. Великое множество разнообразнейших столбов.

Если лететь самолетом, то наша планета, наверно, похожа на недавно заложенный лесопитомник с бесчисленными ульями — пестро окрашенными домами.

Но почему все это кажется временным, ненастоящим, выдуманным? Только те кресты — на погостах, у обочин и на перекрестках — подлинны и вечны.

Почему?

Пейзаж за окном автобуса раздражает и угнетает меня, возможно, и потому, что Земля наша как-то уменьшилась, съежилась и не осталось на ней места призракам и таинственным легендам.

Не тот стал мир: без меры и смысла натекано в нем множество электроламп, которые назойливо и мучительно мерцают по ночам, построена уйма однообразных домов, где рождаются и растут одинаковые, без собственных мыслей, дети; где полно стандартных улиц и автострад, по которым блуждают стандартное счастье и стандартная смерть. И повсюду живет страх перед тем, с чем я еще не свыкся. Мне куда больше нравилось бы целыми днями ходить пешком и никого, абсолютно никого не встречать.

Возможно, мысли мои не приняли бы столь печальный оборот, если бы не разговор за спиной. Об очень важном и серьезном шушукуются на заднем сиденье две девицы, и по смешкам понятно, что у них еще и молоко-то на губах не обсохло. Одна до предела откровенно, с натуралистическими подробностями и в то же время по-детски наивно рассказывает о своих родах, а другая с бесстыдным любопытством, хитро и очень по-женски все подзуживает подругу своими коварными вопросами. У меня даже возникает желание обернуться и глянуть на эту мать — великомученицу двадцатого века. Но не решаюсь. Они, болтушки, небось и не подозревают, что я еще холостяк. Для них ведь все пожилые мужики — люди опытные, немало всякого повидавшие, мужья своих жен и отцы своих детей. Но, скорее всего, они ни о чем таком и не думают, а болтают потому, что еще не научились молчать. Я этому искусству обучен уже тогда... Тогда я странствовал по бескрайней степи. Брел один, брел уже третий день и страшно истосковался по

людям. Пусть хоть кто-нибудь заговорит: по-русски, по-татарски, по-китайски... все равно. Но людей не было. Только белый снег и серое небо. Тогда я и почувствовал: меня больше нет. И пьяняще хорошо было, что так случилось: брел по серому пространству и меня не было. Когда очнулся в больнице и услышал человеческую речь, снова захотелось брести в одиночестве по бескрайней степи.

— Он, бедняжка, не меньше тогда, чем я сама, настрадался! — патетически произносит молодая мамаша.

— Зато дождалась сына.

— Это его заслуга, только его. Ремис страшно хотел сына.

Наконец-то они умолкли. И я в душе обрадовался, что смогу вернуться к своим мыслям или вздремнуть. Но этот водитель! Который уже раз вижу в зеркальце его губы. Тонкие, розовато-серые и... время от времени слегка подрагивающие. Неужели и тут?.. Когда они, эти водители, спокойны и точно, рассчитанным движением берут микрофон, подносят к губам и произносят: «Динамо», «Суворова», «Гагарина», произносят резко металлическим и стандартным голосом и в Вильнюсе, и в Москве, и в Омске... у меня перед глазами всегда выстраиваются длинные колонны роботов, насильственно обряженных в полосатые одежды, обутых в тяжелые солдатские сапоги и безжалостно марширующих с опущенными забралами по только что проклянувшимся побегам.

* Спасибо тебе, славный шофер, что тут, в просторе полей, ты забыл свой долг — сосбщать, где мы находимся. Спасибо!

Однако не хвали день до вечера. Оказалось, что тишина за моей спиной была лишь кратковременным перемирием, после которого деловая и наглая беседа разгорелась пуще прежнего, и я, спокойный и мирный холостяк, вскоре услышал и узнал столько всякого, что мне прежде и не снилось. Даже то, что молодая мама кормила новорожденного грудью до тех пор, пока тот не стал кусаться и у него не начался понос. А когда в один прекрасный день она все-таки отлучила младенца, у нее еще долго распирало груди и намокало платье. Даже неко было перед друзьями и подругами.

Незаметно я снова принялся думать о своем племяннике, который, явившись в этот мир, отправил свою мать на тот.

Почему все так спешат? Спешат вырасти, спешат родить, спешат отправить в могилу отца и мать, спешат прокладывать все более скучные дороги, строить все более высокие и менее прочные дома, спешат поселиться там и отгородиться от людей, спешат превратить ночь в день, спешат проквкать стандартным и бесстрастным голосом: «Динамо», «Суворова», «Гагарина»... Спешат избавиться от всяческих предубеждений и иллюзий и никогда не задумываются над тем, что без них, без этих предубеждений и иллюзий, человек может превратиться в скота или сойти с ума. Спешат, спешат... А почему? Наверно, хотят поскорее забыть, что не хлебом единым жив человек.

Когда же уставшие и вспотевшие от бесконечного разговора и неизвестно чем очень довольные болтушки наконец сошли, я увидел, что они действительно совершенно молоденькие, почти подростки. Не разберешь, какая из них уже мать. Грудь у обеих были одинаково налитые, но не влажные.

Спешат... жить!

Первым встретил меня Гинтарас. Бросился стремглав ко мне, повис на шее и, глядя ясными глазами младенца, прямо и доверчиво, будто мы расстались только вчера, выпалил:

— Дядя, а когда мы пойдем в Страну Черных Елей?

В Страну Черных Елей? Почему его вопрос так взволновал меня? Этого следовало ожидать. Я же все время на него рассчитывал. Ждал с тревогой и надеждой. Не забыл, лягушонок! Чего доброго, весь год ни

о чем другом и не думал, как об этой злополучной стране. Такие ничего не забывают и никого не щадят. Не щадят? Но разве Гинтарас что-то знает? О, если бы знал!

— Когда выдастся хорошее утро.

— Какое хорошее?

— Ну... как этот вечер. Когда не будет ни облачка.

— А когда оно будет?

Вот пристал. Ежели сейчас такой, что же будет дальше?

— Когда-нибудь. Завтра, послезавтра...

Благодарный за обещание, Гинтарас немедленно ввел меня в мир своих интересов и тайн: мы осмотрели голубятню, ласточкины гнезда в хлеву, нашли куриное гнездо в малиннике, постояли возле выбеленного солнцем лошадиного черепа, насаженного на кол плетня... А потом Гинтарас, заговорщицки подмигнув, шепнул:

— А теперь...

— Что?

— Пойдем.

И нетерпеливо повлек меня к вечнозеленому можжевельнику. Тут я увидел небольшую, выкрашенную в красное пирамидку, на верхушке которой поблескивала прикрепленная пластилином звездочка. Красная, пятиугольная, сверкающая.

— Что это? — прикинулся я крайне заинтересованным.

— Могила, — тихо, почти шепотом ответил мальчик, и на глаза набежали слезы.

— Могила? Чья?

— Кротика.

— Кро-ти-ка? Не слишком ли много чести этому твоему кротiku?

— Он был такой нежный, черненький, а ротик открыт и в крови.

Вот ведь какой хитрец растет! Прямо на вопрос не отвечает, выкручивается. Быть ему дипломатом высшего ранга, министром иностранных дел.

— Поэтому ты и устроил ему торжественные похороны?

— Когда нашел, он еще почти живой был.

По детским щекам скатилось две слезинки. Большие и прозрачные. Мне тоже стало жалко кротика, у которого была черная и очень нежная шкурка, а ротик открыт и окровавлен.

— Ты хороший парень.

— Я и тебе прикреплю звездочку, когда ты умрешь.

Понимает уже, чем обрадовать человека.

— Разве я такой старый?

— Не старый.

— Так зачем же роешь мне яму?

— Мама тоже была молодой.

Господи, не вещает ли устами этого младенца сама судьба?

— Ты толковый парень. Только прикрепи мне не красную, а белую звездочку. Как белки твоих глаз.

— А какие они?

— Как звезды ночью. Видел когда-нибудь?

— Ага.

— Договорились?

— Ладно.

Долго еще таскал меня Гинтарас по кустам у плетня, по хлеву и сараю, то и дело заставляя наклоняться или тянуться вверх.

По его милости обстрекал крапивой руки, пчела ужалила в бровь. Подошли к речушке, где мне было показано осиное гнездо и продемонстрировано, как он, Гинтарас, плавает. Разумеется, больше брызгался и бесился, чем всерьез плавал, но ему было приятно, что кто-то видит и оценивает его умение. Все было Гинтарасу страшно интересно. И необходимо поделиться с кем-то своими переживаниями, своими тайнами — своим детством. Мне от души захотелось, чтобы мальчугану до-

стало этого надолго. На всю жизнь. «Если не надеешься открыть сегодня какую-нибудь тайну, можешь не вставать с постели», — вспомнились слова покойного отца. Человек, верно, до тех пор молод, до тех пор не стареет, пока повсюду встречается тайны.

Для Гинтараса его окружение, жизнь и весь мир — еще неведомая земля, еще одна огромная тайна. Вот почему он шалит от радости, когда собака вспугивает во ржи зайца или когда у бабушки, возящейся с закопченными горшками, вдруг «вырастают усы». Гинтарас — самый счастливый человек на нашей планете.

Однако сделать счастливым своего дядю мальчугану не удавалось. Вконец измучил, если бы не мама, неожиданно увидевшая, какой дорогой и долгожданный гость к ним пожаловал.

Усаженный на почетное место во главе большого, выскобленного до блеска стола, я пил парное молоко с домашним хлебом. Ты еще печешь хлеб на листьях аира? Как хорошо, мама! Так вкусно, хоть плачь, хоть кувыркайся через голову. Печеный на аире хлеб — великое чудо! Ждала меня, своего Зельмиса? Ждала, я знаю. Знаю и то, сколько сил требуется тебе сейчас, чтобы испечь хлеб на аире. И крест на первом караване выдавливаешь? Конечно, выдавливаешь. Без креста — не хлеб. Правда? Нет, ты ничего не говори. Я знаю, все-все знаю. Лучше расскажу о себе. Расскажу сдержанно и с легкой иронией, словно все, что было нехорошего и жестокого в моей жизни, давным-давно прошло, былшем поросло, осталась лишь пахнущая белым клевером, теплая и прямая тропинка, расскажу, как уверенно шествую теперь по осенней аллее, где под ногами печально и светло, как улетающие журавлиные клинья, переговариваются разноцветные листья, а над головой сквозь поредевшие ветви деревьев сочатся бодрящее небо и прохладное солнце; постараюсь убедить, как славно шагать, когда тебе только пятьдесят. Буду прихлебывать белое молоко, жевать ароматный черный хлеб, вслушиваться в свое неторопливое и слегка мечтательное повествование, смотреть в твое мудрое и спокойное лицо. И во все то, о чем буду рассказывать, сам стану свято верить. Разве можно не верить этому, мама, когда ешь хлеб, испеченный на аире?

Распахнулась дверь, и черный силуэт метнулся ко мне.

— Тьфу, чтоб тебя!.. Напугал, лягушончок! — заворчала мать.

Гинтарас схватил меня за руку.

— Уже, дядя, уже!

— Что уже?

— Страна Черных Елей.

Я инстинктивно глянул в окно и тут же отвернулся, ослепленный пронзительным светом.

Смущенного и молчаливо протестующего, вытащил меня Гинтарас из избы, отвел на пустынный берег и торжественно указал рукой на запад. Там садилось солнце. На огромном золотом диске мрачно и величественно отпечатались верхушки трех елей. Четкие, как во сне. Они казались фантастическими черными башнями. Нет, на закате они всегда походили на женщин в трауре, окаменевших перед своим стогрешшим домом.

— Никогда еще так ярко и хорошо не было видно, — сказал Гинтарас, не в силах оторвать глаз от вечернего небосвода.

И правда. Не в честь ли моего приезда? Природа подлаживается под настроение человека. Да-да, не человек, а природа.

— Повезло тебе, малыш.

— Когда же мы пойдем туда? — протянул Гинтарас тихо, но властно.

— Я же сказал: тогда, когда будет ясное утро.

— Но когда же, когда?

Сохрани, Господи, от дитячьей настырности! Когда, когда? Спроси у неба — когда. Нет в мире ничего страшнее детского любопытства!

— Когда небо и на востоке будет таким, как сейчас.

Гинтарас нетерпеливо и стремительно крутанулся на правой пятке, окинул глазами горизонт, поднял головку и спросил:

— Такое же чистое-чистое, как подметенное? И ни единого, ни единого?.. — Но не окончил и снова взгляделся, даже привстав на цыпочки. — Нашел, нашел! Вон, смотри!

Стараясь проследить за взглядом Гинтараса, я подался вперед, присел. Мальчик прижался виском к моему виску и, схватив мою руку, потянул ее. Головенка теплая и нежная. Судьба, возьми все, только оставь детскую голову возле стариковского виска!

— Полярная звезда, — сказал я.

— Это моя звезда. Я открыл ее, — уточнил Гинтарас.

— Пускай будет твоя.

Солнце на западе угасало и угасло. Совсем закатилось. Черные ели растворялись в блекнущем вечернем зареве. Над рекой набухал туман, который, смешавшись с надвигающимися сумерками, вышел из берегов и накатывался все ближе, как небытие.

Повеяло прохладой. Меня проняла дрожь. Долгая и скользкая.

Улегся в клету, где в детстве и в тревожную пору отрочества, прежде чем заснуть, подолгу лежал, предаваясь мечтам. Тогда все еще было впереди и лишь изредка приходилось задумываться на пороге долгой и исполненной большого смысла жизни. А мечты, полные ожидания и разбуженных молодой кровью желаний, были честными и светлыми. Тогда я еще не боялся засыпать, потому что находил в сновидениях то, чего пока не было в моей жизни. А теперь уснуть не мог, а может, и не хотел, так как точно знал: едва смежнутся веки, как сразу же распластается лист воцеленной бумаги и я примусь выковыривать изо рта желтые зубы не зубы, гильзы не гильзы... Буду вынимать их, не торопясь, поодиночке и осторожно, аккуратно раскладывать на листе. И мне совершенно не будет больно... Только беспокойно где-то в глубине души. Уже не раз проделывал я это во сне и, пробудившись, подолгу не мог отделаться от безотчетного горького предчувствия и тошноты. Диабет делает свое. Разумеется, случаются и другие сны, но и они немногим лучше, чем этот кошмар. То привидится: иду и срываю с себя рубашку... одну, вторую, третью... десятую... тридцатую... Бесконечное множество окровавленных рубашек. А как они душат, как давят! Рву, мечусь и никак не могу... вырваться из самого себя. Бррр!.. Лучше не думать об этом. Буду соображать, что стаскиваю с себя, срываю одежды и отдаю ребенку с нежными и невинными глазами, а сам прячусь за большим деревом, по ошибке выросшим на унылой равнине, и смотрю, как мальчик тихо, доверчиво идет вперед и не знает, кто его согрел.

Лежу на спине, вперив взгляд в сереющий потолок, на провисшую от груза лет балку, на черные щели... Точно так же, как девять лет назад, в час смерти своей матери, лежал Гинтарас, мой будущий мучитель и утешение. И все равно был счастлив. Человек становится несчастным лишь тогда, когда начинает мыслить. Гинтарас уже начинает. Неужели и его ожидает подобная участь?

СТРАНА ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ.

Одна мысль пришла мне в голову там, у реки. Багровый закат, черные ели, потом Полярная звезда... и эта мысль: «Плохого человека мы оцениваем при жизни, хорошего — после смерти». Какая связь между этой мыслью и мною, мальчиком, закатом солнца? Может быть, следовало поделиться ею с Гинтарасом? Но понял бы он? Человек начинает что-то понимать лишь тогда, когда уже не остается времени на понимание. А возможно, и вовсе никогда не понимает, только чувствует, что мог бы понять, если бы в один прекрасный

день кто-нибудь, бесконечно мудрый и, безусловно, достойный, ясно и недвусмысленно сказал бы ему: «Вся твоя радость и тревога, все твои устремления и желания скоро завершатся в СТРАНЕ ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ. Готов ли ты? Еще нет? Так поторопись, чтобы неисполненный долг не обременил плечи ближнего твоего».

Все кончится в СТРАНЕ ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ!

Готов ли ты к этому?

Решишься ли сказать: «Это моя ноша и моя доля, и я никого другого ими не обременю»?

Собака! Лает где-то далеко. Нетерпеливый и тревожный лай. Кажется, повис меж землей и небом, а брешет от безнадежности и подлости. Проклятая собака!

Наконец все замирает. Становится до жути тихо. Долгое время ничего не слышно. Даже привычных, знакомых с детства звуков.

Только во всех жилах бьется невыносимое одиночество.

Где же выход?

«Ты доишь корову своей печали, потом пьешь ее сладкое молоко», — царапают сознание слова из «Заратустры» Ницше.

— Спишь?

— Сплю.

— Так я...

— Знаю, мама.

— Может, говорю, свеча... понадобится?

— Спасибо.

Повисает тишина. Тягостная, тревожная, душная, как пелена дыма. Когда она чуть отступает, я снова вижу на дверном косяке изувеченные подагрой пальцы. Почерневшие, пахнущие пчелиным хлебом, тмином, полевой ромашкой... Воском. Снова ощущается сухое потрескивание в постели. И я вспоминаю про собачий лай. Тишина становится нетерпеливой, серо-фиолетовой. Она тихо шуршит, как осенние листья под ногами или как осторожно сминаемая старыми руками бумага.

— Чего это собака разбрежалась?

— Кто знает? Мало ли кто теперь по ночам собак дразнит. Может, Балтулис, может, еще кто.

— Балтулис?

— Бригадир.

— Молодой? Старый?

— Да как сказать? Скорее старый, чем молодой.

Неужто тот самый? Длинный и сутулый, один глаз прищурен, взгляд рассеянный, печально повисли желтые усы, назойливо добродушное лицо... Неужто тот самый?

— Откуда он?

— Знакомый?

— Н-не знаю.

— Кто его разберет, половина людей в округе не та. Ходит к Рокасу.

И чего мать приплелась? Расспрашивать про жизнь, здоровье, работу? Ведь рассказывал уже. Забыла что-то? Снова начнет: «Не задумал тебе голову этот город? Все еще один и не думаешь, что лучше быть не одному?» Прекрасно понимает, как теперь трудно повстречать — просто днем с огнем не сыщешь — серьезного человека, добропорядочную, чистую девушку. Мать не собирается вешать тебе на шею абы какую. Боже сохрани, не собирается, но неужто и впрямь вовсе нет такой, чтобы нравилась? Огляделся бы по сторонам, поговорил, приятеля попросил бы... Разве другие не так делают? А то все один да один... А ежели вдруг болезнь какая, беда, кого дозовешься? Убереги нас, Боже, от всяких хворей, войны да чумы, но жизнь есть жизнь. Еще и ребеночка, а то и двоих успел бы... И глазу веселей, и сердцу

теплее... И на старости лет пристанище. Только один внучек, сиротиношка этот, только один у нее и есть.

— Не присмотрел ли себе там какой-нибудь?..

Пускай Анзельмас-де не сердается, не обижается, что она так побабьи, так прямо, ровно пальцем в глаз... Ведь годы-то бегут, текут, как вода в реке. И они так редко встречаются, разговаривают, утешение ищут друг у дружки. А не чужие небось. И сколько ей всего-то осталось этих дней, этих тропок пройти! Кто знает, может, и последнее лето... Прошлой ночью снова голос отца слышала: «Морта, Морта, что ж ты замешкалась? Разве не чуешь: человек ждет, мучается, холодно ему одному».

— Козьявка эта, Зельмис, совсем голову нам задурил Страной Елей... Ты хотел еще что-то сказать? — сухими пальцами снимая нагар со свечи, снова робко начинает она, виновато улыбаясь.

— Нет, мама.

— Все он теперь про нее, про эту страну. Что за страна такая, Анзельмас? Может, из книги или из сказки какой взял?

— Я ему когда-то... выдумал. В прошлом, а то и в позапрошлом году. А он и вцепился.

— Правда, что вцепился. Пойду, мол, да пойду туда. «Куда ты, малыш, пойдешь? — говорю. — Сначала подрасти, а тогда уж свисти: пойду, пойду!» — «А мы с дядей. Он мне обещал», — отвечает. Обещал, что ли?

— Какое там обещание.

— Козьявка, говорю, а ведь тоже свои заботы. А ты погостишь?

— Побуду.

— Спасибо, сынок, что меня, старую, не забываешь.

— А теперь иди, мама. Совсем сплю.

— Спи, Зельмис, спи. Свечку я оставляю. Если что... какой-никакой свет под рукой будет.

Дверь беззвучно затворяется. Пошаркивание калош, их едва слышное шлепанье переходит в шорох, который все удаляется, пока не стихает совсем. Еще какое-то время передо мной шевеление губ и глаза, тающие в темноте.

Почему сказал матери, что сплю? А она небось поверила. Старый человек легко верит чему угодно: живя прошлым, он все больше отдаляется от сегодняшнего дня. Так ли? Зачем приходила? Прошное искать? Бродит нет. Свечу принесла? Све-чу... (Злополучное совпадение? Символ недалекого будущего? Случайность?) Не так темно. Да и лег я уже. Напомнить, что жизнь есть жизнь и нельзя бежать от судьбы? Сказать, что у Гинтараса из головы не идет Страна Черных Елей? Едва ли. Спросить, не собираюсь ли уезжать? Но для этого впереди целый день. Так зачем же? Одиночество пригнало? Да, только одиночество. Всех оно преследует.

И меня снова охватывает это одиночество и невыразимая тревога. Сначала пытаюсь найти причины, докопаться до самых корней этих чувств. Перетряхиваю в голове последние события, основательно пересматриваю сегодняшнюю дорогу, снова выслушиваю бесстыдный разговор молодаяк. Все хорошенько продумываю. Пробую даже уцепиться кое за что. Может, тут и зарыта собака?.. Люди, не задумываясь, размножаются, а потом воюют. Воюют, воюют... тоже не задумываясь. Но какое отношение имеет это ко мне?

Теряю на полпути мысль, и снова возникает Гинтарас. Внимательно рассматриваю могильную пирамидку кротика со звездочкой, выслушиваю детскую болтовню, потираю ужаленную пчелой бровь, иду вслед за мальчиком к реке, смотрю на Страну Черных Елей, на Полярную звезду... Снова разговариваю с матерью в клетке...

Чем я могу помочь ей? Или она мне? Ничем. Да и что она знает о своем сыне? Ничего, абсолютно ничего. И никогда не будет знать. Родила, и оборвалась та связь, которая нас соединяла. Каждый пошел

своей дорогой. А что я знаю о матери? Тоже ничего, почти ничего. И она, и я — ничего.

Никак не могу докопаться до корней своей невыразимой тревоги. Кажется, еще никогда не был я так страшно одинок, как сегодня, лежа в кровати, где прошла такая большая часть моей жизни.

Встаю и начинаю бродить по клеті. Босой, в нижнем белье. Громко и монотонно поскрипывают пересохшие половицы. И собака снова принимается брехать. Чего она так остервенелась? Станный лай словно повис меж небом и землей. Лает, лает и начинает выть. Жутко и протяжно.

Подхожу к окну, отвожу занавеску и смотрю на залитый лунным светом сад, на серебряные листья деревьев, на спящие ульи... Но кто там? Какая-то тень проплыла... Мать! Подбирается к улью, опускается на корточки, прижимается ухом, слушает. Идет к другому, снимает боковую стенку, смотрит, снова вслушивается...

Хочется ей знать, и как сын себя чувствует, и что вбил себе в голову Гинтарас, и как там пчелы... Все-все хочет она знать. Почему? Потому что любит. И ко мне пригнало ее не одиночество, а любовь. Что же такое эта любовь? Не то же ли самое бегство от одиночества? И, наконец, помогает ли она, любовь, переступить ту черту, которая отделяет человека от человека? Может или не может — другой вопрос. Главное, пытается переступить. А это уже много. Нет ничего хуже в жизни отдельного человека и человечества, как сложить оружие, не попытавшись победить. Олицетворением любви является твоя мать. Лишь тот, кто использует все для победы, имеет право сказать: «Я сделал все, что мог, а ты?..»

Раздвинул занавеску. В оконном стекле дрожит пламя свечи. Задуваю его. А мать все еще стоит. И смотрит прямо на меня. Увидела? Нет. Двинулась дальше. Беззвучно, тихо, как тень. Зачем бродит, словно привидение? Шла бы спать. Отворачиваюсь, но чувствую, как крадется она меж отяжелевших яблонь, и ее ушами слышу сонно гудящие ульи. Закуриваю. В свете луны, блекло заливающим всю комнату, замечаю, что щели в полу широкие и темные.

А тогда? Были щели или нет? Когда?

Тогда...

Доверяй чему хочешь — инстинкту или рассудку, — это не так важно, но прежде вернись в прошлое. Вот обвиняю мать, что-де живет она прошлым и все больше удаляется от настоящего. Попытайся и ты так жить. История! *Historia est magistra vitae*¹. Учителю, который ничему не может научить. Не спорю. Но прошлое открывает человеку глаза. Согласен? Временами да... Будь же откровенен и искренен до конца. И никого не вини, никого не очерняй. Подтасовывать историю — то же самое, что осквернять могилы предков. Кто соглашается на первое, тот решится и на второе. Прошлое подскажет, что делать. С прошлым мы связаны, как не рожденный младенец с матерью. Забыть прошлое равносильно тому, что не ведать, откуда пришел и куда идешь. А если оно не откроет мне глаза? Что ж, значит, жизнь прожита... даром? Никто этого не говорит, но... Просто ты жил. И все? Да.

Медленно задергиваю занавеску. Иду к кровати. Все дальше и дальше от окна. Падаю навзничь и всматриваюсь в темноту.

Смотри объективно, Анзельмас, со стороны, ничего не приукрашивая и не замазывая, никого не обвиняя и не оправдывая.

Выскочив тогда из кузова грузовика, ты прежде всего на своих двоих отмерил добрый кусок проселка и остановился как вкопанный: вдалеке, за широкой плоской равниной, за еще не видимой, а лишь ощущаемой рекой садилось солнце. На его огромном розовом диске

¹ История — учитель жизни (латин.).

четко выделялись верхушки елей. Черные и таинственные, как башни сказочного града. От этой картины веяло светлой печалью и возвышенным покоем. Ты стоял и смотрел, пока не нарек в душе это видение, это место СТРАНОЙ ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ. Быть может, потому, что ели действительно были черными, а может, эта мысль, четкая и категоричная, просто пришла тебе в голову. Но, скорее всего, потому только, что всю картину и ее наименование ты унаследовал с кровью предков.

И знал уже, что там придется тебе жить и работать, однако решил провести ночь еще по эту сторону реки. К тому же после дороги хотелось есть и пить. Там-то ведь никто тебя не ждет. Завернул бы в родные места, но и до них не близко.

Что делать?

Зашагал к горбившейся неподалеку избушке и попросился на ночлег. Старушка поставила на скамью подойник с молоком, вытерла фартуком руки, помолчала. Потом поняливо и тепло глянула тебе в глаза, посмотрела на чемодан, доброжелательно улыбнулась и сказала:

— На сене. Хорошо будет?

— Спасибо, большое спасибо.

Ты сел на скамейку возле садочка, вдыхая аромат божьего деревца и цветов, мешавшийся с вечерней прохладой, слушал, как тихонечко, будто доверительно перешептываясь, шипит и опадает в подойнике пена.

Тебе понравилось, что старушка ни о чем не выпрашивает, что она целиком погружена в вечерние заботы, что молча и любовно, словно исполняя какой-то священный обряд, цедит молоко и не сердится на кота, который, задрав хвост, путается под ногами, за распахнутой дверью, на подоконнике желтеют два больших семенных огурца... Все-все тебе тут понравилось.

Угостили тебя парным молоком, домашним хлебом, испеченным на аире. Закусив, ты от всей души поблагодарил и сказал, что хотел бы пройти к реке. Хозяйка все так же доброжелательно покивала, объяснила, что сарай на ночь не запирает и постелит там. Можно было не спешить, да и какая причина спешить и тревожиться?

Вечер стоял теплый, как в середине лета. Ты шагал медленно, погруженный в свои мысли или вслушиваясь, как стрекочут на лугу кузнечики, будто тысячи потерянных и не найденных часиков, и ощущал благодатный покой, безграничное счастье.

Перейдя речку по плотине, ты остановился возле мельницы и послушал, как таинственно клокочет и шипит вода под высоким фундаментом. И вдруг... тихие шаги. Кто это? Затаил дыхание. На деревянном мостике показалась светлая фигура. Девушка! Ты инстинктивно вжался в тень у теплой кирпичной стены. Легкими прыжками девушка перебежала мостик и чуть в сторонке, у дамбы остановилась. Огляделась, что-то бросила себе под ноги, снова огляделась и быстро стянула через голову платье. Прислушалась и тихо вошла в воду. Зарябил утонувший в омуте месяц, во все стороны разбежались светлые круги. Поплавав по-собачьи, но ловко, она снова поднялась на дамбу. В лунном свете смутно белело ее гибкое тело. Казалось, что оно опутано серебряистой сетью. Нагая? Словно желая показать себя вблизи, девушка, легкая и грациозная, пробежалась по дамбе. В одну сторону, в другую. Нет, в купальнике. Вытерлась полотенцем, натянула платье, и... Подойти? Заговорить? Испугаешь. Сердце стучит глухо и редко. Только бы не заметила! Уже... Посмотрела тебе прямо в глаза. Остановилась, вскрикнула и скрылась, как вспугнутая косуля. Ты вскочил, перебежал мостик... Нет, уже нет. Растворилась в теплых вечерних сумерках, оставив тебе смутную тревогу. Видение? Возможно, и видение.

Как хорошо было бы встретить здесь девушку! И я встретил. Да, но... Ведь я никогда еще не любил. Нравились одна, другая, но чтобы

влюбиться — нет. Не было времени? Видимо. И еще чего-то не хватало. То ли смелости, то ли решимости... не знаю.

Перед глазами снова возникла та девушка. Отчаянная, таинственная, соблазнительная.

И ты чуть не крикнул: «Как здорово, что я сюда приехал!»

Постель пахла дымком, сеном, лунным светом. Лег на спину, заложил руки за голову и сквозь щель в крыше смотрел на мерцающие в небе звездные гроздьи. Может, и она теперь смотрит на те же звезды? Наконец после долгих разъездов, после всех своих блужданий я обрету желанный покой. И обрету его совсем рядом со своими родными местами. Если шарить взглядом по горизонту, никогда не заметишь того, что под ногами. А настоящее счастье человека чаще всего, наверно, бывает неподалеку. Только сумей распознать его, найти. Оно есть. Есть и после всех войн, бед, потрясений...

«Как здорово, что я сюда приехал!»

Тебя разбудили мелодичные звоны. Казалось, идет грибной дождик и у всех углов дома стоят медные тазы, собирающие прозрачные капли. Нет, кто-то отбивает косу. Твой отец всегда на рассвете отбивал косу. Спешить некуда. Успею.

Заставили встать длинные дрожащие солнечные щупальца, тянувшиеся к тебе из всех щелей сарая. Ты вскочил со своего ложа и поспешно оделся.

Второй раз подошел к плотине почти в полдень. Днем все тут понавирилось еще больше: и солнце, неназойливое и теплое, и многоцветье раскинувшегося за рекой парка, и трепещущий у могучей груди старой мельницы воздух, и струящая прохладу зеркальная поверхность пруда, незамутненную строгость которого нарушила вчера таинственная русалка, и сама плотина, прочная и вечная, на которую ты только что поставил ногу, и эти жирные, сытые рыбы — бросишь в воду пригоршню хлебных крошек, а они не бросаются, как поросята к корыту, лишь важно и лениво потычут их белесыми тупыми мордами или, нырнув в глубину, кружат там, словно любясь изяществом своих движений.

До чего же красиво!

Возле мельницы ты остановился и вновь, как ночью, послушал сонное и смиренное побулькивание воды под высоким фундаментом. Выбравшись на дамбу, еще раз оглядел мельницу. Ее серая громада походила на огромного, могучего быка, припавшего к живительной влаге. Пьет, пьет и не может оторваться.

Все началось в тот же день.

С не слишком тяжелым чемоданом в руках, в прекрасном настроении направился ты к дому, белевшему сквозь густую зелень деревьев. Шел, разглядывая окрестности, не торопясь, стараясь, чтобы ничто не осталось незамеченным, неосмотренным. И все равно чуть не прозевал подбитый танк. Он угнездился на краю парка, тяжелый и грозный, глубоко осевший в землю. Орудийный ствол беспомощно свернут в сторону, гусеницы — как развязанные шнурки гигантского кованого башмака.

Ты свернул с дороги, подошел поближе и с интересом рассматривал изуродованное чудовище. Внезапно из люка башни высунулся белый флажок. Что такое? Неужели только теперь, спустя почти полгода после конца войны, танкист надумал сдаться? И не кому-нибудь, а тебе, мирному и лояльному гражданину, Анзельмасу Друскянису? Шутник! Нет, вскоре показалась загорелая детская рука, светлые пушистые волосы, головенка. Глаза смотрели с любопытством, изучающе и одновременно бесконечно доверчиво.

— Что ты тут делаешь?

— **Играю**, — ответил мальчик, ловко соскочив с брони.

— А зачем флажок?

— Когда я туда залезаю, Удрята бросаются камнями, не дают вылезти. Считают, что только им интересно, а другим нельзя.

— И кто же они такие, Удрята?

— Сынки Удрасовы.

— А сам Удрас кто?

Мальчик поднял удивленные глаза, словно укоряя: «Надо же, не знает, кто такой Удрас».

— Директор мельницы.

— А-а... теперь ясно. Значит, сдающего не обстреливают даже дети директора мельницы?

— Ага.

— В школу ходишь?

— С первого сентября снова пойду.

— А где тут школа?

— Там, подальше, где высокие деревья,— показал он рукой.

— Тут тоже высокие деревья.

— Но школа там. Я вам покажу.

Мы пошли по широкой аллее. Мальчик впереди, ты следом.

— Вы... новый учитель?

— Угадал.

Очень славный мальчик. Такие внимательные, серьезные глаза, и речь тоже серьезная. И все у него получается солидно и серьезно. Как у взрослого.

— Немецкому языку будете учить?

Ишь ты, значит, о новом учителе уже идут разговоры. Быстро, однако же.

— Откуда это тебе известно?

— Весной наш учитель немецкого языка...

Не окончив, он сердито пнул ком земли, лежавший на дороге.

— Что же случилось весной с этим вашим учителем?

— Н... ничего.

— Почему не хочешь сказать? Я ведь тоже буду твоим учителем. Не скажешь даже учителю?

— Сбежал.

— Сбежал? Куда же он мог сбежать?

Мальчик покраснел. Было видно, что такой оборот беседы ему неприятен. Потом осторожно, оглядевшись по сторонам, словно желая убедиться, что никто не подслушивает, тихо сказал:

— К лесным.

— К лесным? — переспросил ты удивленно.

Мальчик остановился и боязливо, умоляюще посмотрел на тебя.

— Не знаю, ничего я не знаю. Только люди так говорят.

Какое-то время вы шли молча, как будто вам вдруг стало не о чем говорить или каждое новое слово могло привлечь чье-то внимание, нетерпеливое и злорадное.

Разговор не клеился. Ты попробовал узнать что-то о нем самом. Сначала он был очень осторожен и сдержан, но потом несколько оживился, рассказал, где живет, чем занимается его отец; похвастал, что учится музыке «у тети Клеопатры».

На прощанье ты протянул ему, как большому, руку и сказал:

— А вот как тебя зовут, я так и не узнал.

— Казис... Казис Растянис.

— Ага, теперь буду знать. Спасибо за помощь, за все, что ты мне рассказал... До свидания, Казис!

Но мальчик не спешит уйти. Трет друг о дружку босые ноги, переминается, исподлобья поглядывая на тебя.

— Ну, что еще?

— А вы?..

Да, он еще что-то хочет спросить.

— Говори, говори смелее. Ведь мы уже почти друзья.

— А вы... не сбежите?

Так вот что не дает ему покоя.

— А как тебе лучше? Чтобы сбежал или чтобы остался?

— Чтоб остались.

Вот какой червь его гложет! Видимо, очень хочет учиться.

— Посмотрим. Если подружмися, не сбегу. А пока не обещаю. Так что это зависит и от тебя. Ясно?

— Ясно. А про этих... лесных... я ничего не знаю.

— Я тоже не больно много о них знаю.

Не больно много? Пожалуй, так оно и есть. В городе не факты, а слухи. Один другого страшнее и невероятнее. А в газетах об этом ни слова. Мир и покой.

— Спасибо.

— За что?

Но мальчик не стал объяснять. Молниеносно развернулся и стремглав побежал прямо по стерне. От радости, что встретил нового учителя? Или слишком задержался? Пора домой? «Спасибо!» Это тебе, Казис, спасибо. Успехов, юный музыкант!

Директора прогимназии ты нашел в учительской с молотком в руке и большими ржавыми гвоздями, зажатыми в губах. Пожилой, неторопливый и неразговорчивый, он тебе понравился. Подумалось, что любит не столько приказывать, сколько сам работать.

Не спрашивая, зачем ты явился, не пускаясь ни в какие разговоры и объяснения, попросил лишь помочь ему придвинуть к стене стол, массивный и нарядный, в стиле барокко, с кривыми, как у таксы, ножками. Потом забрался на этот стол и начал вбивать гвоздь под самым потолком.

— Не слишком ли высоко? — усомнился ты.

— Лучше на вершок выше, чем ниже. А то снова усмотрят неуважение или еще что-нибудь похуже.

О каком таком неуважении он?..

Гвоздь гнулся, не желал лезть в стену. Директор постучал молотком в другом месте и перенес гвоздь немного в сторону. Тут он вошел. Кое-как загнав его, указал молотком:

— Подай-ка!

— Картину?

— Ну да.

Ты подал. Директор повесил, подбородком прижал к груди молоток, приподнял портрет снизу, чтобы висел под углом, вбил под ним еще один гвоздь, отстранился и попросил:

— А теперь глянь, ровно ли.

Не сводя глаз с портрета, ты отступил на пару шагов. Сдержанно и изучающе смотрел на тебя человек в расшитом мундире с золотыми погонами, пышными усами и низким лбом.

— Малость левее. Еще чуть-чуть. Так.

— Хорошо?

— Теперь ровно.

Окончив работу, директор неловко, как маленький ребенок, сполз со стола и облегченно вздохнул. Потом, не спуская глаз с портрета, отошел, глянул с одной стороны, затем с другой.

— Надо бы еще и Ленина, но того теперь труднее достать. Ты по окрестностям. Посматривай. Может, где и наткнешься.

За кого он меня принимает? За кого-то другого? Неужели еще не заметил ошибки?

— Вы меня, наверно, с кем-то путаете? — вежливо спросил ты.

Однако директор, углубившись в свои мысли, не услышал и продолжал:

— Теперь будет спокойнее. А то дрожь, если что... Помнишь, как в тот раз чуть из школы не выгнали? «Где атрибуты советской шко-

лы»? — и все дела. Я сначала даже не сообразил, о чем речь. Только потом, когда Витуристе сказала, что портреты не всегда можно в книжном магазине достать, понял, в чем дело. На стене пусто — и биография испорчена. Разве объяснишь таким, что школа в глуши? И к стенгазете привязались, почему название написано синей, а не красной краской. — Он внезапно умолк, снял очки, снова надел. — Стой, ты не?.. Не Визгирда? Черт побери! Вот разболтался. А где тот дезертир?

— Какой?

— Да Визгирда.

— Прошу прощения, я тут... новый человек.

— Да, да. Вы меня простите, товарищ... Как вас?..

— Анзельмас Друскянис.

— Простите, Анзельмас. Совсем одурел, окосел от этих забот. Придут, придут... А когда надо, ни Витуристе, ни Визгирды, все на директора. Бумажка какая-нибудь у вас есть?

Ты протянул направление отдела образования.

Внезапно шумно распахнулась дверь и вбежала молодая девушка в светлом платье. Остановилась, пристукнула каблучками и обеими руками протянула красное полотнище, на котором сияли красивые белые буквы: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

— Нравится?

Какая прелесть! Большие, темные, искристые глаза. Черные волосы, легкий румянец на щеках. Неужели всю дорогу бежала? Веселая, ладная. Та самая! Как славно, что меня направили сюда.

Прочитав протянутый мною документ, директор поднял глаза.

— Вот где она пропала. Можно бы и без этого обойтись. Только материал переводим.

— Уж не в мою ли честь? — вставил ты галантно.

Девушка сверкнула глазами, заодно передернула плечиком и улыбнулась, показав полный рот белейших зубов. А потом, будто декламируя, произнесла:

— В честь всех, кто пребывает в жажде знаний!

И густо покраснела.

— Знакомьтесь. — Директор кивнул, словно давая старт эстафете. — Новый солдат фронта просвещения товарищ Анзельмас... Как вы сказали?

— Друскянис, — напомнил ты.

— Витуристе, — представилась она громко и отрывисто.

— А Визгирду не видела? Когда нужен, так и не найдешь.

— У Удраса, где же еще, — усмехнулась Витуристе.

— Бидела?

— Видеть не видела, но кто не знает, куда ведут все его дорожки.

— Что знают все, еще не обязательно правда.

— Так что же тогда правда? Чего никто не знает?

— Очень часто, очень часто. — Помолчав, директор добавил: — Вы, товарищ Ниле, проводите-ка нашего новичка в Эглайняй и там... Если что-нибудь понадобится, обращайтесь к Клеопе, Удрене, ну и ко мне.

— Мобилизуем и самого товарища Удраса, если будет надо, — дерзко, но не без иронии сказала молодая учительница и, сложив кулачки, сунула его в шкаф.

Как странно для слуха это постоянное «товарищ»! Они небось этого не замечают. Даже директор. Привычка, уже привычка.

— Товарищ Удрас, насколько мне известно, не из тех, кого мобилизуют. Он любит...

— Что это вы все... на полусогнутых перед этим Удрасом?

— Не на полусогнутых, но Удрас... Как-никак он директор мельницы.

— Вы, кажется, хотели что-то другое сказать?

— Я сказала «директор мельницы». Видимо, это самое точное.

Вышли вы вдвоем.

— Как вам понравилось? — спросила она, когда вы двинулись по широкой липовой аллее.

— Директор или все?

— И директор, и все остальное.

— Очень понравилась плотина, мельница... подбитый танк, но для всего остального еще понадобится терпеливый гид.

— Вы, кажется, не из тех, кто ждет терпеливого гида.

Что она хочет этим сказать? Намекает на мое чрезмерное любопытство? Что у нее на уме? А может?.. Может, про вчерашнее?.. Скорее всего. Неужели узнала?

Видя, что ты замолчал, объяснила:

— Вы успели уже так много повидать: и плотину, и мельницу... А как вам наш директор?

— Какой-то, как бы это сказать... ни нашим, ни вашим.

Витурите громко рассмеялась.

Как она умеет смеяться! Ни тени искусственности. Так смеются только дети. Да она и есть девчонка, совсем молоденькая.

Подождав, пока она отсмеется, ты поделился своими впечатлениями от первой встречи с директором прогимназии.

— Значит, все-таки повесил? Не заметила. Это просто загадка. Видимо, раз война кончилась, весы качнулись влево. Можно было и раньше. Все откладывал да откладывал. То портрета нет, то он мятый, то рамка не готова... И так без конца. Но ведь ни для кого не секрет, что боится. Боится города, боится леса, боится единственного комсомольца... Всего боится.

— Видимо, по-другому и нельзя?

— Оправдываете? — Она остановилась и обожгла тебя взглядом.

— Его можно понять.

— А держать дома одновременно Сталина и Витиса¹? Тоже «по-другому нельзя»?

— Как так?

— А очень просто, я бы сказала, гениально просто: днем из рамы смотрит товарищ Сталин, а ночью в той же самой раме галопом скачет Витис. Кто приходит днем, в директорском доме — социализм, а кто стучится ночью — капитализм.

— Действительно гениально!

— Вас это восхищает?

— Я не биолог и плохо разбираюсь в перспективах подобных гибридов.

— Я серьезно. Сама видела. Захожу как-то раз по делам... по... по... В конце концов, это неважно.

— А мне интересно, зачем молодая девушка ходит к мужчинам.

— Какой вы! Ну, скажем, из-за командировки. Смотрю, на стене белый конь. Не удержалась и спросила: «Директор, что это значит?» Может, и не следовало, но я спросила. Он приложил палец к губам. «Тссс! Так надо, надо». Дескать, не хочу класть голову ни за того, ни за другого. «Один превратил день в ночь, а другой хотел из ночи сделать день». Так и ответил.

Чего это она волнуется? Нервничает, горячится, голос повышает? Видимо, накопилось у нее не за день или два, а за долгое время. И вот хватило капли, чтобы все заклокотало и выплеснулось. Как же доверчива! Но и до чего прелестна!

— У нас многие так. Зато ни пионеров, ни комсомольцев нет.— Внезапно закусил губу, умолкла, быстро и тревожно посмотрела тебе в глаза, снова отвернулась.— Я вам все рассказываю, будто мы давно знакомы, даже друзья.— Вновь замолчала, мимолетно коснувшись твоей руки.— Но вы наш человек? Наш?

¹ В и т и с — всадник на коне — герб независимой Литвы.

Что за импульсивность! Или нервность? «Каждая женщина склонна к истерии»,— мелькнула в голове чья-то фраза. Нет, нет, просто очень импульсивна. И ей это идет.

— Ведь так? Наш?

— Простите, я... не совсем понимаю вас.

— В том смысле, что вы... за нас.

— Безусловно, все мы за нас.

— Теперь я вас не понимаю,— помолчав, призналась она.

— Так давайте говорить на нормальном литовском языке,— пошутил ты.— Видимо, в нашем языке еще нет некоторых терминов.

— Может, и нет,— уступила она каким-то упавшим голосом.— Но зачем я затеяла этот разговор? Простите.

— Что вы! Мне так приятно вас слушать.

— Спасибо,— не ощутив в твоем голосе иронии, поблагодарила она.— Не знаю, почему, но испытываю к вам доверие. И по глазам вижу, что вы... И не только по глазам.

— Интересно, по каким же еще приметам?

— Вам не кажется, что мы уже как бы знакомы?

Куда она гнет?

— Н-не знаю.

Витурите остановилась.

— Не вы ли вчера мечтали на дамбе?

Ты смутился. И не столько от прямого вопроса, сколько от взгляда. Требовательного и чистого.

— Был я там. Ну и что?

— Очень много чего.

— Ну-ну,— еще больше смутился ты.

— Только не говорите так.

— Как?

— Так... назидательно, что ли... Ну, так... по-учительски... или как отец с ребенком. Хорошо?

— Постараюсь.

— Я часто хожу туда купаться. Прихожу в себя, дневную пыль смываю. Ну, и так далее. Другой смертельно испугался бы. А вы... нет. Может, мне потому теперь и кажется, что мы давным-давно знакомы и даже больше того...— кончила она мечтательно и стала милой, очень хрупкой, нуждающейся в опеке.

— Спасибо и вам.

— Меня зовут Ниле.

— Красивое имя. Вроде бы скандинавское. Шведское или норвежское.

Она улыбнулась. Открыто, дружески и очень сердечно.

— Я северная девушка. Дочь Белых Ночей. Правда?

— Да, в самом деле. Сольвейг.

— Мне тоже нравится Григ.

Просто очаровательная! И, наверно, очень, очень славная. Только зачем лезет в политику?

Какое-то время вы шли молча, погружившись каждый в свои мысли. Солнце уже клонилось к западу. Воздух удивительно прозрачен. Неужели под этим небом что-то может быть грязным, неясным? Аисты, провозвестники весны, сбивались в стаи, готовясь лететь в дальние края. А журавли, глянь, уже летят. Как тоскливо и печально-прозрачно их прощание!

— Журавли, видишь?— и смутился, непроизвольно перейдя на «ты».— Простите.

Ниле улыбнулась и внезапно вздрогнула.

— Что?— заволновался ты.

— Удрас,— шепнула она.

Метрах в ста впереди ты увидел человека, расхаживающего возле подбитого танка. Вы подошли ближе. Человек был одет по-городскому,

на голове шапка финского фасона, черты лица четкие, резкие. В начищенных сапогах и с ивовым прутиком в руке.

Внимательно оглядев не столько Ниле, сколько тебя, он стегнул по голенищу прутиком и возгласил:

— Привет народному образованию!

— Здравствуйте,— ответила Ниле тихо, не глядя на него.

Когда вы вступили в высокую еловую аллею, ты спросил:

— Кто он такой, этот Удрас, что все его поминают? И мальчонка Казис Растянис, и директор, и вы...

Ниле ничего не ответила, только ускорила шаги. Потом тайком глянула в одну сторону, в другую.

Почему она так изменилась? Что связывает ее с Удрасом? Посуrowела, стала совсем другой. Куда подевалась ее детская естественность, простота?

— А вы уже и с Казисом познакомились?

— Познакомился. Он меня и привел в школу. Вроде хороший, умный паренек.

— Удивительный! И ученик, и человек. А что он об Удрасе?..— Заговорив о мальчике, она оживилась.

— Вернее, об Удрятах. Они, видите ли, позволяют ему вылезать из танка только с белым флажком.

— Удраса надо знать, характеризовать его невозможно. Что это вы там увидели?

Ты раздвинул живую изгородь из акаций и вернулся к ней с книгой в руке.

— Смотрю, лежит под кустами.

— Чего тут только не найдешь. Убегая, господа многое побросали. Что за книга?

Ты вслух прочитал название:

— «Als wär es nie gewesen».

— Немецкая? Переведите.

— «Как будто этого и не было». Какого-то Копшина.

— О чем она?

Ты молча полистал страницы.

— Кажется, о революции 1905 года в России. На обложке красный флаг, разодранный и брошенный вместе с революционером на землю. Значит, первое встреченное здесь печатное слово — невеселое.

— Не надо быть суеверным.

— Знаю, но в жизни не встречал человека, который не верил бы в какие-нибудь приметы.

— Возможно. Покажите-ка.

Ты протянул. Она взглянула на обложку.

— Революция, войны, убийства... А когда жить?

— Человек — это революция,— философски возразил ты.

— Вот мы и пришли,— сказала она.

Первое, что ты увидел, был каменный сфинкс. Огромный и тяжелый, выставивший крутую грудь и застывшее таинственное лицо, он высился на бетонном постаменте рядом с массивными ступенями, поднимающимися к парадному входу, и равнодушно взирал на широкую замусоренную еловую аллею. У второго сфинкса была отбита каменная голова. И казалось, что кто-то сделал это в бессильной ярости, не сумев разгадать его загадку.

За сфинксами высился большой каменный дом. Старый и мрачный. Большинство окон прикрыто ставнями или забито досками. Только три окошка справа с целыми стеклами.

— Апартаменты Удраса,— поймав твой взгляд, пояснила она.

— Ясно. Как это вы о нем сказали?

— Ааа... Удраса характеризовать невозможно, его надо знать.

— Каждого человека надо знать, товарищ Витурите, каждого.

Вы оба, будто сговорившись, вдруг обернулись. Сзади, в несколь-

ких шагах, стоял Удрас и, прищурившись, загадочно усмехаясь, словно не на вас смотрел, а через ваши головы — вдаль.

Побледневшее лицо Ниле понемножку стало краснеть.

Как он тут оказался? Следил за нами? Почему же мы не слышали его шагов? Были заняты друг другом? Интересный субъект.

— Анзельмас Друкянис? — обратился прямо к тебе Удрас. — Die deutsche Sprache? ¹

Черт! Уже все знает. Откуда?

— Jawohl? ²

— Удивлены? Ничего особенного — заглянул по делам в отдел народного образования и случайно услышал. Разрешите представиться: Губертас Удрас. — И он крепко пожал тебе руку.

Какое мужественное лицо, упорный, твердый взгляд. А улыбка завораживает, гипнотизирует. Редкая женщина, наверно, устоит перед ним. Может, и Ниле?..

— Товарищ Удрас, — заговорила наконец Витурите, — нам нужна комната.

— Обоим или только товарищу? — пошутил он.

— То есть... нет... только товарищу Друкянису.

— Тогда другое дело. Поспешный брак непрочен.

Вслед за Удрасом вы поднялись по нескольким ступенькам деревянной лестницы, вошли в темную прихожую, потом побрели по узкому коридору, через кухню, снова по коридору, только более длинному и широкому, пока не очутились в просторном и довольно светлом зале. Сколько тут мебели, вещей, всевозможного барахла! Просто свалка старья. Припавшее на передние ноги фортепиано, массивный бильярдный стол под зеленым сукном, две продавленные тяжелые кровати, высокий, с резной спинкой стул, кресла, в углу рыцарские доспехи, на стене картина в позолоченной раме, на которой, словно отступая от вас, вторгшихся сюда без всякого права, человек с темным и мрачным лицом, закрученными усами, он грозно, но вместе с тем беспомощно сжимал в руке жезл с блестящим набалдашником. Все отдавало забвением, пылью и неуместной архаической роскошью. А книг-то, книг! И на полу, и на подоконниках, и на мебели...

В дверях щелкнул замок.

— Прошу.

Не решаясь войти, вы остановились на пороге темноватой комнаты, узкой и длинной. Возможно, потому, что в лицо пахло спертым воздухом, или потому, что в комнате стоял розовый полумрак, тишина неизвестности. Тогда, не дожидаясь, пока вы войдете, Удрас решительно подошел к единственному окну, сквозь которое едва сочился слабый свет, вытащил железный штифт и широко распахнул складные ставни. Ты даже прищурился, так больно ударил по глазам яркий день.

В комнате, кроме пустой кровати с высокими резными спинками, никакой мебели не было. В углу высилась старинная печь, изразцы которой были украшены гербами и какими-то вензелями... И всюду полно мусора.

Вы с Ниле вошли.

— Ничего другого пока предложить не могу. Нравится — живи, нет — не навязываю.

Ниле прежде всего заинтересовалась кроватью и печью, а ты — окном: какой из него вид? Однако внимание привлек не вид из окна, а книга на подоконнике.

— Эта повеселее — «L'amant de ladi Chatterley».

— Почему повеселее? — спросила Ниле.

— Уже само название свидетельствует: «Любовник леди Чаттерлей». Это будет вам интересно.

— Я не умею ни говорить, ни любить по-французски.

¹ Немецкий язык? (нем.)

² — Так точно (нем.).

— Перевод с английского. Сорок первое издание. Должно быть, нечто необыкновенное.

— Вы ни на что внимание не обращаете, только на книги.

— А на что еще следует обращать внимание?

Витурите приподняла ногу.

— Смотрите!

— Как у Афродиты, — усмехнулся Удрас.

Ниле покраснела чуть не до слез.

— В чем дело? — подошел ты с открытой книгой поближе.

— Блохи!

— Блохи? Здесь?

— Разумеется.

Внезапно ты и сам ощутил множество раздражающих укусов.

Ниле схватила тебя за руку, и вы со всех ног бросились вон. За вами не спеша последовал Удрас, притопнув каблуками.

— Теперь еще ничего. Раньше можно было пригоршнями черпать.

— Вам в сапогах, конечно, ничего, а вот мне... — потирая и почесывая голые икры, сердилась Витурите.

— Голодные, как волки.

— Откуда они тут? — обратился ты к Удрасу.

— Из рая.

— ? ? ?

— Ну, да, из кошачьего и собачьего рая. Недавно отсюда удалились почетные гости. Привезли их сюда и сами дали деру от войны, черт их там разберет. Кто такие, полагаю, объяснять нет надобности. Они и устроили тут приют для бездомных собак и кошек. Вот и собирай теперь урожай. Деваться некуда! Раз уж так сложилось, придется товарищу Анзельмасу на некоторое время опустить якорь в другой гавани. Жаль только, что выбор невелик. Может, у меня?

— Зачем я буду вам мешать?

— Мы должны протягивать друг другу руку в беде. Ведь мы же литовцами родились. Я через часок уезжаю в Ригу, привезу патентованное оружие, тайное или не тайное, покажет будущее, и будем уничтожать врага в его собственной берлоге. Согласны?

Принять его предложение или нет? Под открытым небом не заночуешь, а искать еще где-то уже поздно.

Ты инстинктивно взглянул на Ниле. Она стояла, опустив глаза, и носком белой туфельки чертила что-то на паркете.

— Не думаю, что товарищ Витурите найдет в этой ситуации лучший выход. Тем более что и сама показала достойный подражания пример, воспользовавшись сердечной добротой пани Клеопы. Ну что? Договорились?

Этот Удрас просто читает чужие мысли. Едва успел ты подумать о какой-нибудь другой возможности, и вот...

— Спасибо.

— Если так, то моя помощь больше не требуется, — сказала, возвращая тебе книгу, Ниле. — По крайней мере, сегодня.

Ты от души поблагодарил ее.

Удрас привел тебя в большую, красиво обставленную комнату и громко крикнул:

— Госпожа Удрене, принимай гостя!

В дверях кухни показалась еще молодая, довольно красивая женщина, но выражение ее лица было застывшим и невеселым. Ты поклонился. Она ответила тем же.

— Накормишь учителя Анзельмаса Друскяниса, устроишь его на ночлег, а ноги он помое сам.

Удрене, все еще стоя в дверях, кивнула.

Встретившись с твоим вопросительным взглядом, объяснил:

— Это только в Библии хозяйки моют гостям ноги и вытирают их своими волосами. Мы в двадцатом веке. Закусить найдется? — обернулся он к жене.

Удрене приоткрыла платяной шкаф и стала там что-то искать.

— Без церемоний. Я сейчас уезжаю, а товарищ учитель голоден — кишка кишке кукиш кажется. В кухне покорми.

Едва сели за небольшой стол, как Удрас глянул в окно.

— По традиции первое знакомство следует обмыть. Жаль, времени нет — карета подана.

Ты азартно наворачивал, а Удрас, выхлебав наспех и как-то без аппетита полтарелки свежих щей и проглотив котлету, выбежал из кухни. Вернулся уже в плаще, с чемоданчиком. Только теперь ты заметил, что под носом у него чернеют узкие усики.

— Auf Wiedersehen!¹ Чувствуйте себя как дома. Спокойной ночи, госпожа Удрене.

— Когда ждать?

— Через пару дней.

Скоро за окном затарахтел грузовик, набитый, в основном, женщинами. Они сидели между узлами, ящиками, корзинами, мешками. Удраса среди них не было. Наверно, устроился в кабине.

Ты собрался было побеседовать с хозяйкой, но она в долгие разговоры не пускалась. Только на вопросы отвечала. Вежливо и коротко. Перестал расспрашивать и ел молча. И она не проявляла желания что-то разузнать.

Тишину нарушили вбежавшие дети. Старший, лихой паренек лет двенадцати, протянул матери окровавленный палец и приказал:

— Перевяжи!

Удрене поморщилась.

— Когда вы наконец прекратите возню с оружием, оставите эти дурацкие игры? Поотрывает головы, новых не пришью.

— Сегодня мы не возились, — оправдывался младший. — Альгис только стрельнул из...

Но сердитый взгляд старшего заставил его замолчать.

Так вот какие эти Удрята, не разрешающие Казису Растянису вылезать из танковой башни без белого флага. Старший — вылитый отец. И лицом, и независимым видом. И глаза — копия.

Промыв и смазав йодом ранку, мать спросила:

— Так что же сделал Альгис?

Младший исподлобья глянул на брата и пробормотал:

— Н-ничего. Не знаю.

— Вот и не знай, до тех пор не знай, пока глаза не выжгло.

— В школу ходите? — поинтересовался ты.

— Чего молчите? Это же ваш учитель, — понукнула мать.

Альгис передернул плечами, недоверчиво, как старик, криво и небрежно усмехнулся. Кивнул. Его кивок точно повторил, не спуская глаз с брата, и младший; оба в один голос пробормотали:

— Не было у нас такого.

— А теперь будет, — заверил ты.

Удрята смылись.

Тебе отвели отдельную комнату с застеленной чистым бельем кроватью, круглым столом, двумя стульями, платяным шкафом и видом на подбитый танк.

Лег рано, но заснуть не мог. Гасло и безвозвратно испарялось вчерашнее блаженное состояние, в душу закрадывались сомнения, неуверенность, вставало множество вопросов. Даже образ Ниле был не в силах победить их. Да, она дружелюбна, естественна, проста, симпатична, независима... Независима? А ее категоричность? Решения без

¹ — До свидания! (нем.)

мотивировок? Отсутствие терпимости? Разве это не наивная стихийная борьба здоровой натуры за принятые, но до конца не усвоенные лозунги? Только молодость, безответственная и зеленая, может так судить о директоре, пожилom и, кажется, совсем не глупом человеке. Понятно, есть у него свои странности: и этот гениальный двусторонний портрет, и стариковская неповоротливость... Но у кого их нет? И наконец — минус это или плюс? Беспринципность? Приспособленчество? Но ведь директор ведет себя так не потому, что это ему нравится, а чтобы сохранить возможность выполнять свой долг — учить детей. Чему учить? Коммунизму. Когда Ленин в условиях царизма высказался за парламентскую борьбу, догматики тоже обвинили его в приспособленчестве, в предательстве дела социализма. Методы борьбы диктуются ситуацией, а не наоборот. Термин «приспособленчество» взят на вооружение теми, кто дрожит за собственную шкуру. Пусть сейчас у них нет надобности приспособливаться, но кто уверен, что им не придется делать это в будущем? О принципах больше всего кричат те, у кого их нет или кому уже больше не надо проливать за них свою кровь. Упрямо ратуя за принципиальность, ты лишь тешишь свой эгоизм, сытое мурло мещанина: «Будьте принципиальны, чтобы нам, тем, кто теперь выше всех принципов, не пришлось когда-нибудь стать беспринципными». Принципиальность надо не требовать от других, а исповедовать самому. И поступать так, как горьковский Данко, отдавший людям свое горящее сердце.

Чтобы следовать своим принципам, человек должен, по крайней мере, жить.

Доверить эти сомнения и мысли Ниле? Но имеешь ли ты право разрушать ее такую искреннюю и наивную веру? Она ведь наверняка во что-то верит. Большое дело, когда способен верить. Страшен тот, кто лишен этой способности.

Возможно, об Удрасе Ниле судит слишком прямолинейно. Крупную личность надо крупным масштабом и мерить. Однако кто может решить, какая личность крупна, а какая мелка? К тому же об Удрасе девушка почти ничего не сказала. Никак не отозвалась — не хвалила, не ругала: «Удраса надо знать, характеризовать его невозможно». Мысль верная! Похвальная мудрость. Но не скрывается ли здесь лишь элементарное увливание, биологический страх совершить ошибку и бумерангом вернуть ее себе же в лоб или в сердце? Так или иначе, с Удрасом надо быть начеку. И его глаза, поначалу подкупающе доброжелательные, стоит только привыкнуть и вглядеться попристальнее, уже не те. Способность читать чужие мысли... Случайность? И да, и нет. Особенно эти его намеки!.. Намеками оперируют лишь подозревающие всех злые неудачники или дальновидные провокаторы: «Я сказал, как умел, а ты волеи уточнить, разгадать, понять как можешь».

Нет, покой мне здесь не светит. Не теряй бдительности, работай, борись, чтобы обрести его. Отныне твоим девизом станет: «Живи и жить давай другим!»

Второй день прошел как во сне.

Вы катались в лодке по мельничному пруду, любовались его прозрачной глубиной и рыбами, большими и маленькими, которые плавали неторопливо и вальяжно, лишь изредка выпрыгивая из воды, словно желая показать, что в их обманчивом спокойствии таится гибкая сила и несказанная ловкость; бродили вдоль речки, по лугам и полям, восхищались колдовством и щедростью позднего лета; в сосновом бору разглядывали огромные муравейники, над которыми стоял пьянящий дух муравьиного спирта и смолы; видели белку, рыжим огоньком перелетающую с дерева на дерево; нашли дикую грушу, плоды которой были тверды, но необыкновенно вкусны; набрали на заросли лещины и набили орехами полные карманы; завернули на маленькое кладбище, где покоились останки бывших хозяев поместья, читали там глубокомысленные эпитафии... В конце концов устали неподале-

ку от господских надгробий, выбирали друг у друга из причесок еловые и сосновые иглы, сухие листики и соломинки, смахивали с бровей, ресниц и губ паутину и рассуждали о том, что человек приходит в этот мир из земли, радуется, любит ее и снова возвращает земле свои печали, тревоги, надежды.

В это мрачное и грозное время люди сходились легко, знакомились, делались друзьями, верными и настоящими, или вечными врагами. Ты и Ниле стали прекрасными товарищами. Вы не касались серьезных вопросов, не решали сложных проблем, вы только радовались друг дружке и природе.

В тот раз вернулись к вечеру, усталые, голодные, но переполненные светлой осенней печалью и счастьем. Возле парка встретили мадам Клеопатру, или, как называла ее Ниле, пани Клеопу — миниатюрную старушку с большими молодыми глазами на увядшем лице. Слово сдаваясь в плен и одновременно готовясь обнять вас, она театрально вскинула ручки в перчатках над небольшой головкой в черной, блестящей, чешуйчатой шляпке.

— О время, остановись! И вы, радостные часы, тоже не бегите! Дайте нам порадоваться быстро проходящим радостям наших лучших дней! — С выражением продекламировав по-французски строфу из «Озера» Ламартина, она кончиками пальцев прихватила с обеих сторон старинную длинную юбку и присела перед нами в реверансе.

Словно добрая фея, шагнувшая со страниц сказки. Не удивился, если бы вдруг стало темно, в небе вынырнул большой веселый месяц и в его неземном свете она стала бы танцевать менуэт.

— О-о! Я знаю вас, знаю! — протягивая тебе руку в перчатке, продолжала она щебетать на французском языке. — Мадемуазель Ниле сказала, что вы прекрасно говорите по-французски.

— К сожалению, мадам, — галантно ответил ты, — объясняюсь еле-еле.

— Не скромничайте, мой мальчик, не скромничайте! Мне страшно не хватает французского в этих джунглях.

Она говорила, мешая литовские и французские слова, экзальтированно и растроганно, с детски наивным энтузиазмом, словно вовсе не было ни войны, ни крови, ни лишений, ни горя.

Внезапно ее выразительное личико омрачилось, она глубоко вздохнула и печально произнесла:

— Война — отвратительная вещь! Боже мой, как это страшно!

И замолчала, словно все, что долгие годы копилось у нее в душе, выплеснулось, иссякло и она ждала, пока душа наполнится вновь.

Потом вы все трое пили в комнате пани Клеопы чай из крохотных фарфоровых чашечек с экзотическими китайскими миниатюрами. Больше всех болтала Ниле, повествовала о всяких веселых и грустных историях, приключавшихся с ней в детстве и в школьные годы, рассказывала простодушно, доверительно и вместе с тем интересно. Тебе понравилось, что она совсем не стремилась заинтриговать слушателя выпренными словечками, фразами или рассмешить юмористическими деталями. В конце концов разговор зашел о музыке, и она упомянула о Казисе Растянисе. До сих пор почти не участвовавшая в беседе пани Клеопа оживилась.

— Это вы о младшем Растянисе? Да, он исключительно талантливый ребенок.

Ты больше слушал, лишь время от времени вставляя словечко. Взгляд твой скользил с одной вещи на другую. Интересно было находить приметы былой роскоши. Однако в глаза ничего особенно не бросалось, разве что сверкающее фортепьяно, но никаких пейзажей, статуэток или изящных безделушек, которыми обычно бывают набиты

старые барские дома. Видимо, уловив твой взгляд и отгадав мысль, старушка сказала:

— У меня всего достаточно, мосье, мне всего хватает.— И добавила, переходя на французский: — Не недостаток создает аристократа. Только сердце делает человека благородным.

Ниле, провожая тебя, вышла в прихожую и спросила:

— Ну как?

— Редкий экземпляр.

— Но какая милая! Признаюсь, прежде чем поселиться у пани Клеопы, я немножко волновалась: начнутся разные нравоучения, жалобы, капризы, требования мелких услуг... Ведь она абсолютно одинока.

— И как же? Опасения подтвердились?

— Ничего подобного. Она больше готова помогать, чем пользоваться чужими услугами. Даже иногда неловко. Представляешь, в прошлом году я загрипповала, так она за мной ходила.

— Может, авансировала,— пошутил ты.

— Пусть так. Но все равно, все равно... А как интеллигентна, какая у нее внутренняя культура!

— А кто она?

— Пани Клеопа? Свояченица сбежавшего хозяина. Сестра жены.

— Почему осталась?

— Я не спрашивала. Может, еще на что-то надеется.

— На что она может надеяться?

— Думаю, не столько она, сколько те, кто оставил ее здесь. Старая, одинокая. Пускай, мол, посторожит имущество. Кто знает, вдруг да повернется вспять колесо истории?! А вот на что надеются те, которые...

Ниле не окончила фразы, только настороженно огляделась. Вы уже шли по широкой аллее парка довольно далеко от барского дома, едва проглядывавшего сквозь деревья.

— Едва ли у них есть хоть какая-то перспектива.

— Говорят, пани Клеопа была в прошлом известной красавицей и пианисткой,— поспешила Ниле вернуть разговор в прежнее русло.— Она еще и теперь хорошо играет, хотя лучше те вещи, которые выучила в детстве.

— Словом, Казис Растянис попал в хорошие руки.

— И я рада этому. Не берет с них ни копейки. «Когда станешь известным пианистом и будешь давать сольные концерты, посадишь меня в зале на приставной стул»,— говорит она мальчику. Как много в жизни хороших людей! Правда?

— Для хорошего все хорошие.

— Нет, я не хорошая.

— Это почему же?

— Ногти грызла, про директора разную ерунду говорю, про Удраса... А вы видели, как Удрас?... Мне все кажется, что его встречаешь обычно тогда, когда меньше всего ожидаешь. Наверно, меня не удивило бы, выйди он сейчас из-за дерева и скажи: «Каждого человека надо знать, товарищ Витурите, каждого».

— Да, сдается, Удрас — человек сложный.

— Я так много болтаю, что мне даже неловко.

— Как раз наоборот. Я хоть всю ночь напролет мог бы вас слушать.

— Правда?

— Правда.

— Тогда я сказала бы вам еще одну вещь, но не знаю...

— Если это касается меня, я готов.

— Знаете, когда вы говорили с пани Клеопой по-французски, я ей завидовала.

- Кокетничает?
- Как это понимать?
- Как хотите.
- Наверно, так, что мне следует поделиться своими знаниями?
- О, я была бы счастлива...

Ее слова прервала пулеметная очередь. Ниле инстинктивно кинулась к тебе. Рвалась и рвалась, рассыпаясь на тысячи, миллионы осколков, ночная тишина. Лес, безмятежно спокойный и тихий, словно приблизился, навис и тысячами глаз уставился на вас.

- Они... — дрожа, все крепче прижималась к тебе девушка.

Ты ни о чем не спрашивал, только механически поглаживал ее волосы.

Возвращаясь по той же еловой аллее, освещенной голубым светом луны, ты вдруг заметил, как много тут всюду битых бутылок, осколков стекла, консервных банок, пулеметных лент и... искалеченных, ободренных деревьев.

«Война — отвратительная вещь!» — еще раз прозвучали у тебя в ушах слова пани Клеопы.

Наконец ты переселился к себе. Порошок, привезенный Удрасом из Риги, действительно оказался чудодейственным: стоило посыпать им щели, переждать день-другой, потом начисто вымыть полы — и блох как не бывало.

Ты набил сеник, застелил массивную нарядную кровать, стоявшую в комнате, разыскал в зале подходящий стол, пару стульев, этажерку, облезлый платяной шкаф. А потом стал носить, волочить, таскать в свое новое жилище книги. Разгромленная библиотека имения была доступна всем: людям, мышам, крысам... дождям и ветрам... Книги на разных языках и всевозможного формата валялись повсюду: на полу и подоконниках, в коридоре и в подвале, на кухне и в туалете, в овине, хлеву, на чердаке, в бане, под кустами и на обочинах дорог, даже в дуплах деревьев... Удрята и дети бывших батраков строили из них дома и башни, клеили бумажные самолетики и змеи, выменивали друг у друга книги с картинками на порох, табак или сигареты. Удрене и другие женщины умудрялись использовать эту литературу на подстилку для скота и растопку, а сам Удрас не мог обойтись без нее, когда смолил свиней.

Ты заталкивал книги в шкаф и на этажерку, грудami наваливал на стол и подоконник, громоздил из них целые «скирды» на полу. Приволок старый улей, который тоже вместил немало томов.

Когда наконец привел все в порядок, уютно устроился и собрался уже приступить к серьезному изучению собранных сокровищ, громко хлопнув дверью, с двумя фанерными чемоданами в твою келью ввалился незнакомец. Редкая светлая борода, жидкие бачки. Пыхтя, добрал до середины комнаты, с грохотом опустил на пол оба чемодана, утер рукавом пот со лба и представился:

— Аугустинас Визгирда, если вы еще не имели счастья о таком слышать. Дезертировавший из медицинской гильдии педагог. Деловые, моральные и политические ресурсы личности раскроются несколько позже.

Зачем он приперся? Неужели собирается тут жить? А ведь и пальцем не шевельнул, чтобы навести здесь порядок, отвоевать помещение у блох и других паразитов. Дожидался, пока за него это сделают другие?

- Это не о вас как-то еще до начала учебы поминали?

— Не удивляюсь, приятель. Меня во многих местах и многие поминуют, — многозначительно подмигнул он. — Конфиденциально, так сказать, между нами, я на время вырвался из этой норы посмотреть, что творится в мире. Но повсюду та же шайка.

— Какая шайка?

— Такая, которая перед носом интеллигента с бесцветной кровью всюду захлопывает двери.— Он без интереса огляделся вокруг.— А книг-то, книг! Раньше, если не ошибаюсь, тут плодились блохи, а теперь, видимо, будут размножаться идеи. Если вдуматься, разница невелика, только одни лишают покоя тело, а другие — душу. Боюсь, все эти «духовные ценности» уже у кого-то на заметке. Ох, чую, и ты, приятель, из породы гнилых интеллигентов!

Что за тип? Что за фамильярность? Пьян или чокнутый?

— А Горький, Блок, Шолохов?! — взял со стола и сунул ему под нос несколько книг.— Разве они не советские?

— Я не утверждаю, что не советские. Но у русских был только один настоящий писатель — Достоевский. Вот это фигура!

— А Лев Толстой?

— Что нокаутировал Бонапарта, спасибо, но не люблю тех, кто восхищается своей особой. Гоголя люблю. Этот другой.

— А Чехов какой?

— Прокишее молоко. Он не одному буржую, мещанину и купцу желудок расстроил и набил мозги злобой.

Не переставая тараторить и время от времени подмигивая то одним, то другим отчаянно голубым глазом, он открыл чемодан, извлек оттуда череп, торжественно водрузил на стол перед тобой.

— *Eitelkeit und alles Eitelkeit. Vanitas vanitatum et omnia vanitas*¹.

Что за чудило? Почему не говорит, зачем явился? Вроде не так уж и пьян.

Вытряс один из чемоданов, принялся копаться во втором, вышвыривая его содержимое на кровать, стулья и просто на пол.

— Куда же он запропастился, черт побери?

— Что вы ищете?

— Эликсир жизни, ваша светлость, мудрейший и справедливейший визирь.

— Какой эликсир?

— Был у меня где-то пузырек с такими капельками. Действуют, как магия поэзии. Сами-то бесцветные, аполитичные, но каждого способны закалить идейно и расшатать морально.

Еще какое-то время порывшись в чемодане и побросав куда попало свое барахло, Визирда уселся на кровать и почесал затылок. Пол был усеян его бельем и рубашками, валялись штаны, грязные носовые платки, носки, полотенца, раскрошившийся сыр, колбаса, краюшка хлеба, несколько писем, кусок мыла, бритвенные принадлежности, папиросы, учебник русского языка, пульверизатор, зубная щетка и разная другая мелочь.

Он посидел, потом закурил, сплюнул, сполз с кровати и не спеша направился к двери.

— А все это? — указал ты рукой.

Визирда вернулся, сгреб ногой в кучу скомканные нестиранные шмотки и пнул их в сторону.

— Макулатура! Конфиденциально, между нами, можешь, приятель, отдать ее,— он горько усмехнулся,— пане Клеопе или, еще лучше, Ниле Витулите.

— Что?!

Визирда развернулся, хлопнул дверьми и застучал подковками башмаков.

Оставшись один, ты долго смотрел на заваленный грязным барахлом угол, плюнул и снова сел за книги.

Разбудили тебя громкий стук в коридоре и пьяная, бесшабашная песня:

¹ — *Суета сует и всяческая суета* (нем., латин.).

Смелее вперед, брат!
Родина не пропадет,
Родина не пропадет,
Пока жив ее сын — солдат!

Кто такой? Визгирда? Кому ж еще! Спать, что ли, явился?

Дверь с грохотом распахнулась от сильного пинка. Визгирда ввалился в комнату. Потом вдруг все стихло. Видимо, прислушивается. Соображает, куда попал. И разговаривает сам с собой.

— Т-с-с! Не надо, Аугустинас. Так и мертвого разбудишь. Очухайся, парень! Тихо. Главное — научись тихо. Все, кто в жизни чего-то достиг, умеют ходить тихо. И ты учись, Аугустинас! Не обучишься этому искусству, пропадешь, как муха в сыворотке. Что за черт под ногами болтается? Вот так, вот так, советский педагог. Аккуратненько, как кошечка. Браво, мальчик! Снова что-то... Какие-то кишки, потроха... туша какая-то. Пережитки капитализма? Ха-ха-ха!.. Ша, дурачок, ты что!

Внезапно загремело, затрещало, глухо рухнуло...

— Кто там? — сердито спросил ты.

Тишина. Долгая звенящая тишина. Только изредка тяжело пыхтит незванный гость. Пыхтит и то ли потягивается, то ли умачивается. Тяжело дышит. Потом начинает храпеть. Все громче и громче, с подвываниями, взвизгивая, задыхаясь.

Заснул. Ну и пусть себе. Где ж еще ему приткнуться? Только на своих шмотках. Как постелил, так и поспит. Нет, опять что-то бормочет:

— Лежишь, святой Аугустинас? И нравится тебе так валяться? Ну и свинья же ты! Забрался в чужой огород, мирного гражданина разбудил, рассердил. Настоящий носорог. Нет, красный комиссар. Вставай, полуночник! Нет? Еще не желаешь? Темно? Темно, темно в Литве у нас, темно... Ощери пасты! Покажи зубы. Вставай, говорю! Пошевеливайся. Живее, живее! Рычаги проржавели? А ты побрыкайся, покажи, на что способен! Ну же, ну!.. Гений — это воля. Хорошо, хорошо, Аугустинас! Вот так, вот так... Прекрасно! Удивительно! Колоссально! «Понемножку, кое-как поднимается кулак». Кулак? Какой я тебе кулак? Ты, Губертас, сам кулак. Нет, ты сороконожка. ДИРЕКТОР МЕЛЬНИЦЫ!

Пускай, пускай поболтает... о Губертасе. Губертас — Удрас, Губертас — директор мельницы. Пусть продолжает. Потерплю.

— Не-е... Я... я... Кто я? Кто я такой? Вот где дилемма! Семь смертных грехов. И не только... Я кляча. Ну и буду клячей, но ты меня, Губертас, еще не запрыг. Не-е. Пытался затолкать в оглобли — не выгнело! Я блоха. Нераздавленная блоха. Блоха? Да. Только помни, Удрас, что и блохи тоже себе на уме. И они кое-что могут. А ежели, скажем, в творческом экстазе блошка прямо в чувствительное местечко, ну хотя бы в... аппендикс? А? Победила бы социальная революция? Родился бы новый общественный строй? Или какая-нибудь другая формация? Сомневаюсь, сомневаюсь, милорд. Поэтому учтите, Губертас: и с блохами нельзя шутить! А теперь, Лазарь, вставай, бери свою макулатуру и дуй в культуру!

— Что вы там бормочете? — наконец не выдержал ты.

— А-а, это ты, святой отец-инквизитор! Ты? А я Аугустинас Визгирда, сын Евы, изгнанной из рая за любопытство. Разведи-ка, приятель, костер, пусть запылает факел или иной источник света, надоело кормить во мраке голодные мысли. Спали меня, уничтожь! Но я не перестану славить имя твое!

Ты поднялся с кровати, зажег лампу. Аугустинас Визгирда сидел на полу в груде беспорядочно разбросанного белья. Тут же валялись раскрытые чемоданы. Хрустя всеми суставами и бормоча что-то себе под нос, он наконец встал. Встряхнулся, пошатываясь, вяло доплелся до кровати и, как мешок мякины, уселся на нее.

— Устал я, приятель, чертовски устал. Жизнь не кляча, и кнутом ее вперед не погонишь. Кто это сказал? Не знаешь? Так это же Горький, твой любимый светский духовник.

— Советский.

— Не все ли равно? Что в пастухи идти, что стадо пасти. Хорошо старик придумал. Придумал, помер, а нас, грешных, его мудрость греет.

Угораздило же меня спрашивать, зажигать лампу, сочувствовать! Сколько я уже натерпелся и сколько еще натерплюсь по наивности своего доброго сердца. Кто только мною не помыкал, не водил за нос! Впрочем, куда теперь его такого денешь?

Словно угадав мои мысли, Визгирда предложил:

— Оба поместимся. Кровать широкая. Что? Боишься? Не бойся, не кусаюсь, поноса у меня нет и не занимаюсь ни гомосексуализмом, ни космополитизмом, ни каким-либо другим физическим или духовным измом. Девки? Да! Только подавай. Но кто на меня такого посмотрит? Ведь я блоха, которую кое-кто даже подковать не прочь... Однако бабушка надвое гадала. Смеется тот, кто смеется последним.

А может, порасспросить об Удрасе? Наверно, многое узнаешь. Пьяный — он все расскажет. Ведь уже и начинал было. Но выпытывать... и еще у такого — противно, низко.

— Есть тут одна. Может, обратил внимание? Сигарета с опиумом — «Airline»! Сексопильность гейзером бьет. Ниле зовут. Понравилась, а? В прошлом году попробовал приволокнуться, но где там! Горло дерет, на кремлевские звезды нацеливается. Какая-то, конфиденциально выражаясь, красная Гретхен. Как я сказал? Гретхен? Нет, красная весталка! Только совсем без практики. Теоретически, возможно, и подготовлена, но практически — нет, не закаленная. Неопубликованная героическая поэма. Земного рая с такой не создашь. Но мы еще посмотрим.

И я позволю, чтобы дорогого мне человека так трепал языком этот полуночник? Не дам отпора? Не собью спеси?

— Заткнитесь!

— Но, но! Это еще что такое? Ты?! Кто ты такой? Доверенное партийное лицо? Слуга народа? Брат лесной? Не-ет, выше пупа прыгаешь, приятель. Дай-ка лоб потрогаю. Горячка?

— Прочь лапы!

Визгирда отпрянул и трижды перекрестил тебя.

— Сгинь, злой дух. Чур, чур!.. Сгинь, дьявол! Смех смехом, однако придем наконец в себя. Этим меня не испугаешь. Ошибаешься! Я и не таких мотыльков встречал. Ведь ты книжная моль. Щелк — и нету, захлопнул книгу — мокрое пятнышко. А я? Знаешь, кто я? Не-ет! Откуда тебе знать? Я... я лакмусовая бумажка: нежно-синяя, кисло-красная, словом, испытанный кадр. Но тебе на своей шкуре проверять не советую. Ладно. Попытаемся отдохнуть. Утро вечера мудренее.

Закончив эту тираду, Визгирда устал, даже протрезвел. Глубоко вздохнул и завалился в ногах кровати, но глаз с тебя все же не спускал. Косился, бдительно следил за каждым твоим движением, за малейшим шевелением. Однако огонек угасал, веки набухали и наконец сомкнулись. Он громко захрапел.

Ты склонился к нему: заснул? Да, не притворяется. Что делать? Сбросить с кровати? И что дальше? Ты беспомощно оглядел комнату. Взял лампу, чуть не вплотную поднес к нему. Спит.

Держал лампу в руке и задумчиво рассматривал спящего. Лицо, только что бывшее насмешливым и даже злым, теперь как бы выщелело, стало по-детски простым, доверчивым и усталым. И даже бесконечно печальным. Было в нем что-то милое, какая-то глубокая обида и мука. Кто же он? Тертый калач? Клоун? Талантливый неудачник? Элементарный подонок? Или человек, сложенный жизнью?

Разул его, стащил жесткий и гремящий, словно жестяной, плащ, еще раз взгляделся, завалил на кровать ноги, поправил неудобно отки-

нувшуюся голову, задул лампу, ощупью перелез через спящего Визгирду и улегся у стены.

Со временем все вошло в нормальную колею. Визгирда оказался не таким шумным и назойливым, каким представлялся поначалу. На следующее утро он разыскал на чердаке сломанную, но еще вполне приличную кровать, починил ее и более или менее по-человечески застелил. Потом раздобыл где-то никем не используемую ширму и отгородил себе закуток поближе к двери. Закончив эту несложную работу, заявил:

— Теперь, приятель, остерегайся навлечь на себя мой гнев, а то придется как нежелательному элементу циркулировать через окно. Мне твоя светлость ни к чему; я люблю в темноте мечтать и ворон считать, и песочные замки строить.

Однако бывал он дома лишь гостем. Скитался по окрестностям, пьянствовал, пропадал целыми сутками вместе с Удрасом или в одиночку. Директор, опасаясь злого языка Аугустинаса, а может, по какой-то другой причине почти никогда его не упрекал, даже иногда проводил его уроки или распределял их между другими учителями, но чаще всего детей бросали на произвол судьбы. Лишь изредка возмущалась и открыто протестовала Ниле, когда в соседнем классе оставшиеся без присмотра ученики ходили на головах и мешали ей работать.

— Не понимаю, как могут люди смотреть на все сквозь пальцы.

В таких случаях директор бесшумно выскальзывал из учительской или, поглаживая пухлой ладонью свою лысую, всегда влажно блестящую макушку, виновато оправдывался:

— А вдруг у человека какие-нибудь дела? Разве можем мы все знать?

— Допустим, мы не можем, но ведь кое-кто не только может, но и должен это знать, — надменно возражала Витурите.

После возвращения из школы у тебя обычно было много свободного времени, и, наскоро подготовившись к урокам, ты отдавался книгам. Глотал их с жадностью. На какое-то время с головой окунувшись в толстенный том «Всемирной истории». Тут вся мировая история с древнейших времен и почти до наших дней, с картинками, с фотографиями всевозможных ископаемых сокровищ, копиями всяческих деклараций, манифестов, документов и договоров во всей своей достоверности, суровости и богатстве раскрывалась перед твоим потрясенным взором. Потом среди множества других книг попала тебе в руки «Реклама практических знаний». Тоже по-немецки. Солидная, в переплете с позолоченным названием — энциклопедия житейской мудрости. Чего только в той книге не было! Иссушили мозг абстракции и научные гипотезы теории относительности Альберта Эйнштейна, отдохни, вооружись знаниями об устройстве вселенной и отправляйся проветриться в далекие миры, отдаленные от нас световыми годами, сокрушил своей бесконечностью макрокосм, спускайся на Землю, на эту лучшую из всех небесных тел планету, посмотри историю ее самой, а также ее растений, животных, развития человечества, остановись и задумайся над жизнью и трудами Грегора Йоганна Менделя. Чарлза Дарвина, Майкла Фарадея и других титанов мысли; возник соблазн приоткрыть завесу будущего — углубляйся в астрологию (в звездах — написано!) или графологию; заразился детерминизмом, пессимизмом, нигилизмом или какими-нибудь там комплексами неполноценности — призывай на помощь гипноз, внушение или самовнушение, поучись у индийских йогов и факиров, как обуздать себя; засомневался в своих физических или духовных силах — к твоим услугам информация о различных видах спорта; не соблазнила физкультура, перед тобой прекрасная пища для души — квалифицированные трактаты о музыке, изобразительном искусстве, риторике; а вот и огромный обзор лучших произведений мировой беллетристики всех времен и народов; испугался этого сокровища эстетики и мудрости — листай даль-

ше: в этом огромном фолианте можешь отыскать статью о разнообразии вкусов, патентованный рецепт, как выбрать спутника жизни, да же... сведения о том, что творится за скорлупой насиженного яйца!

И все же книга, которую ты обнаружил на подоконнике, как только вошел в свою будущую комнату, тебя смутила, потрясла, наверное, сильнее и больше, чем все остальные, а кроме того, возбуждала не самые чистые желания.

Ты начал листать ее без особого увлечения, даже без особого желания, вроде бы в качестве легкого десерта после сытного обеда, то есть после серьезного научного и философского чтения, и читал не спеша, по одной-две страницы в день, однако, несмотря на далеко не идиллические впечатления, отдельные сцены постепенно все больше и больше привлекали тебя, заставляли упоенно кружиться в водовороте человеческих страстей. Хотя все действие свершалось в чувственной сфере, хотя описание откровенно интимных сцен, особенно эротических кульминаций — оргазмов — отмечены были несомненным литературным талантом и окружены дымкой истинной поэзии, хотя некоторые органы человеческого тела именовались там по-гречески и на латыни, все эти фиговые листочки не могли заглушить возбуждающее дыхание деградированной наготы, которое проникало в сознание и подсознание, отгуманивало мысли и будило не только сладкое опьянение, но вызывало одновременно безотчетный мятежный протест. Что-то в тебе было глубоко задето, сдвинуто, потрясено, как несколько лет назад, когда... Тогда ты услышал сначала, как за тонкой дощатой перегородкой булькает водой и фыркает крепкий и почти незнакомый рот, а потом... Ты очень спешил. Спешил трусливо и нервно, чувствуя лишь свои свинцовые виски и чужое податливое тело, в котором таяло твое пьяное оцепенение. А после она, расслабленная и уставшая, улыбнулась и сказала:

— Петушок!

Что это значило, ты не спросил и удрал от нее. А потом уехал из этого города и все время ожидал, что в один прекрасный день бесшумно откроется дверь и войдет она с младенцем на руках. Обопрется пухлой спиной о дверной косяк, улыбнется своей тупой, сальной улыбкой и скажет: «Растить будем вместе, Зельмис».

И ты бы растил, не спрашивая, что, как, почему и не оправдываясь, потому что было, было то пьяное утро, здоровый и почти незнакомый рот, который фыркал за тонкой дощатой перегородкой, были те подозрительные взгляды в сторону женщин, был тот перехватывающий дыхание стыд и то долгое беспокойство.

Теперь, читая эту книгу, ты уже обладал собственным опытом, пусть давним и единственным, поэтому сердился и сомневался, спорил с автором и с самим собой. Тебя раздражало, что суть любовных отношений, описываемых в других, посвященных этому книжках, обычно глубоко маскировалась и проглядывала лишь в намеках, а в этой книге она выдвинулась на первый план, стала главным объектом искусства и красоты, выражением полноценности жизни, искренности чувства и мерой его поэтичности. Этот мнимый триумф физического начала больше всего, наверно, смущал тебя. Вспомнились слова Льва Толстого: «Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни». И они заставили глубоко задуматься. Тебе стало неловко, что есть мужчины и есть женщины, есть Ниле, есть любовь, а вместе с ней все то, что обуславливает взаимоотношения полов, такие путанные, волнующе таинственные, веками окруженные глухим ореолом и вместе с тем такие отвратительно примитивные, даже оскорбляющие человеческое достоинство. И все-таки глубоко в душе ты жаждал еще одного опыта, не запланированного и стихийного, который был бы связан с поэзией слова и полностью опроверг бы навязчивый кошмар, оставшийся в душе с

зеленой юности, хотя и тревожился заранее, что в один прекрасный день она сама, Ниле, непременно осведомится о том романе. И действительно предчувствие не обмануло тебя. Однажды, когда вы шли из школы, Ниле спросила:

— Ну и как та книга?

— Какая? — Ты сделал вид, что не понял, хотя запечатленные в ней сцены то и дело всплывали в твоём возбужденном воображении и заставляли другими глазами смотреть даже на саму Ниле.

— Ну, которую ты нашел тогда... в своей комнате, когда напали... эти паразиты. О любовнике той дамы...

— А... Я только начал.

— Интересная?

— Так себе.

— О чем же она?

Ты неохотно пересказал пару эпизодов, не вдаваясь в детали.

— Сама не знает, чего хочет.

— Кто?

— Да эта... леди Чаттерлей.

Почему Ниле вдруг заинтересовалась этой книгой? Слышала что-то? Кто-нибудь рассказывал подробнее?..

— Расспрашивала про нее у пани Клеопатры?

Ниле покраснела, опустила глаза и отвела их в сторону.

— Немножко.

— Она дурно отозвалась?

— Нет, но ты все равно не читай. Прошу тебя. Или принеси мне. Ладно?

— Собираешься почитать сама?

— Что ты! Я же не знаю французского.

— Но ведь учишь.

— *Le livre est sur la table*¹.

— *Tu n'as qu'à l'ouvrir et lire*².

Вы громко рассмеялись.

Ниле придерживается об этом примерно такого же мнения, как и я. Значит, наши взгляды совпадают. Какая же она все-таки чистая и славная. Надеюсь, мы будем понимать друг друга и в дальнейшем.

— Принесу.

Вскоре ты заметил, что Визгирда стал интересоваться тобою больше, чем вначале. Старался вместе ходить в школу, даже если у него не было первого урока, и вместе возвращаться. Иногда навязывался на общие прогулки. Просил порекомендовать ему книги для чтения, охотно угощал папиросами или американскими сигаретами, которые доставал неизвестно где. Сначала ты думал, что такое его поведение надо понимать как желание чаще бывать с Ниле, которая подчеркнуто избегала его, однако не проявляла неудовольствия, когда мы проводили свободное время втроем. Тем более что Визгирда почти никогда не затевал с тобой каких-либо серьезных разговоров, а только шутил да острил. Частенько ты даже завидовал его умению легко заводить знакомства и располагать к себе людей. Другими глазами, кажется, начала смотреть на него и Ниле.

Вполне возможно, что с тайной целью почаще видаться и общаться с Ниле Визгирда предложил организовать спиритические сеансы, о которых тебе уже доводилось слышать.

Уговорил он и тебя.

За круглым столиком в комнате пани Клеопатры вы усаживались впятером: ты, пани Клеопатра, Ниле, Удрене и сам инициатор — Аугустинас Визгирда. Сначала у вас не клеилось — блюдечко не слуша-

¹ — Книга лежит на столе (франц.).

² — Надо ее только открыть и читать (франц.).

лось. И пани сетовала, что души стали не те. Но постепенно дела наладились. Несколько раз вам даже удавалось вызывать души больших людей. Самым послушным оказался Бонапарт, а самым несговорчивым — Витаутас Великий. Последний хоть и «явился», но все больше помалкивал, а если что-нибудь и «ронял», то лишь односложно: «да» или «нет». Зато корсиканский ловкач предстал по первому же зову, как только общей волей и стараниями блюдечко разогревалось и начинало скользить. А вот душа Гитлера и вовсе не отзывалась.

Во время этих злополучных сеансов все вы преображались, но больше других пани Клеопатра. Обычно добрая и внимательная, понятливая и уступчивая, она, как только прикасалась кончиками сухих пальчиков к доньшку блюда, становилась нетерпеливой, раздражительной, суровой и упрямой.

Со стороны все пятеро выглядели, наверно, странно и жалко: удивленные и сосредоточенные, бессмысленные, вытянутые, как у мраморных статуй, лица, руки дрожащие и оцепеневшие, губы отвисли или крепко стиснуты... Хотя вначале Аугустинас, Ниле и ты разрешали себе иронически улыбаться, но вскоре, увы, и ваши лица вытягивались, становились глуповатыми и доверчивыми, готовыми смиренно встретить любую весть, которую соблаговолит сообщить вызванный дух с помощью безучастного скольжения разогретого теплом ваших рук блюдечка.

И все-таки однажды, несмотря на пошатнувшуюся веру и наигранный скептицизм, вы не решились принять потустороннюю весть. Кто-то из вас спросил: все ли из сидящих здесь доживут до будущего года? И дух Наполеона после долгой паузы ответил:

— Не все.

Вы тогда не осмелились спросить: кто? Не спросили этого и на другой день, и на третий, хотя каждый, несомненно, только об этом и думал.

Не известно, чем бы все это кончилось, если бы Аугустинас не спросил однажды у Ниле:

— Не мешает ли тебе комсомольский билет общаться с духами всяких реакционных деятелей?

Больше Ниле за круглый столик не садилась.

Из солидарности с ней прекратил свое участие и ты.

Мнение твое о желаниях и намерениях Визгирды изменилось, когда он, застав тебя однажды над книгами, спросил:

— Как ты, приятель, ко всему этому относишься?

— К чему? — не догадываясь, о чем предстоит разговор, поднял ты беспокойные глаза.

— Разумеется, не к играм пани Клеопы, а к своей работе, школе, ну и к дальнейшим перспективам. Мы уже почти три месяца вместе просвещаем тут народ, а все еще не знакомы толком. Директор понятен мне как облупленный: помесь двух систем с ярко обозначенными признаками трусливой породы. Ниле — чистых кровей, а остальные — мелководные пескари. Только ты настоящий Янус. То грызешь Канта, Фихте, Гегеля, Ницше, глотаешь Гамсуна, Лоренса, Пруста, мусолишь «Всемирную историю» и всякие «Рекламы практических знаний», а то лакомишься нектаром из Красного Цветочка. Или же вновь приходит тебе на ум какая-нибудь головокружительная идея.

— Разве не вы сами отгородились от меня китайской стеной?

— Не спорю, приятель, был такой момент и с моей стороны. Но чего стоит эта китайская стена, когда мы вползаем сквозь одни и те же ворота в одну и ту же цитадель?

— Я учитель.

— Все мы, приятель, ~~учителя~~ только не все способны вести за

собой в рай. Кроме того, тебе, видимо, больше нравится, когда ведут тебя,— иронически усмехнулся он.— Я имею в виду Красную Весталку.

— Попрошу точнее излагать свои мысли.

— Постараюсь, приятель. Конфиденциально, между нами, у меня в котелке не уместается, почему ты киснешь тут, имея диплом высшего? Вероятно, и твоя валюта не всюду котируется?

— Всюду котируется только валюта дельцов. А я, увы, к таковым не принадлежу. Угнетал меня Сметона, преследовали Кубилиюнас с Рентельнасом¹, не питаю иллюзий и теперь. Дали бы только спокойно работать.

— Так какой же у тебя в таком случае двигатель?

— Только внутренний. Моя главная цель — научить людей думать своей головой и видеть своими глазами.

— Похвально, но не кажется ли тебе, что это смахивает на попытки спортсмена прыгнуть через ров со связанными ногами?

— Иногда надо испытать и такую возможность.

— Я не какой-то злостный ортодокс или шовинист и, возможно, согласился бы с тобой, если бы дали мне жить по-человечески. Только второй годок, приятель, не считая довоенной репетиции, а что они из меня сделали? Постояльца? Нет, хуже: шута, бродягу. Сегодня сюда, завтра туда, послезавтра снова... Как в той опере: «Фигаро здесь, Фигаро там...» А почему? Потому, что сумел кое-чего добиться в сметоновские времена, что люблю наш край, наш язык, наших людей... нашу историю, нашу веру...

Что ему нужно от меня? Такой же исповеди? Чтобы кому-то донести? Чтобы спленетать, как младенца, а потом шантажировать?

Визгирда нервно нащупал в кармане пачку папирос, закурил, предложил тебе, сердито выпустил дым и продолжал:

— Так и живу, приятель, как какой-то странствующий шут. И нигде не дают осесть, будто я человека убил. Только смахнешь пот, отрясешь пыль, расслабишься, а тут, глядишь, уже вновь земля горит под ногами. Начинаешь шевелить мозгами, и такая досада, такая злость разбирает, что в пору завывать. Может, думаешь, у меня головы на плечах нет? Всю «Молодую Литву»² от «А» до «Я» наизусть могу шпарить. И на все науки пороха хватает. Но кто же, скажи, даст такому ловкачу себя проявить?

— Не склонны ли вы преувеличивать?

— А что? Конкретнее, приятель.

— Ну, хотя бы... Вот говорили вы тут о стране, языке, людях, истории... вере... Никто, по крайней мере пока, не покушается на это и...

— А про вывозы не слыхивал?

— Болтают, конечно. Разное говорят.

— Не говорят, а знают, приятель. Знают и по практике того времени, и по новым фактам.

— Фактам?

— Да, приятель. Списочки уже составляются, уполномоченные подбираются, доверенные лица инструктируются. Органы во все стороны пальцами тычут. Закончат подготовку — и прости-прощай, дорогая Литва! У меня точные сведения. И что тогда?

— Всех не вывезут.

— Вот на что ты рассчитываешь.

— Их тоже надо понимать. Профилактика, недовольство, злоба, месть, беспорядки... лес...

— А откуда этот лес? Не от неуверенности в завтрашнем дне? Не от страха, что и тебя сошлют? Не от любви к родине?

— Я понимаю. Причин много и разных. И не последняя среди

¹ Сметона, Кубилиюнас, Рентельнас — политические деятели Литовской республики (1918—1940).
² Поэма Майрониса (1862—1932).

них — мобилизация после прихода русских. Но неуверенности и в лесу не меньше.

— Не спорю, однако из твоих речей следует, что надо ждать, пока не затянут петлю на шее? Да? Или броситься в объятия к какой-нибудь чистокровной и улучшить породу хотя бы своих потомков?

— Не будем касаться личных дел.

— Даже тогда, когда они затемняют человеку разум?

— О своем разуме я как-нибудь сам позабочусь.

— Что ж, пожалуйста, заботься. Да поможет тебе Бог. Ты в прошлом позволял себя унижать, дозволяй и в будущем. Но запомни, товарищ Друскянис, что выбор невелик: или — или...

Недоговорив до конца, хлопнул дверью и ушел.

Чего ему надо от меня? Удрас подослал или сам, по собственной инициативе? И что он за человек?

Время от времени ты посещал родителей своих учеников или их самих. В таких случаях, особенно поздней осенью, приходилось возвращаться уже затемно. Опасность таилась за каждым кустом, в любом овражке, яме. Самым опасным местом ночью был лес. Сравнительно спокойный и таинственный днем, он оживал с наступлением темноты, и его жаркое, душное дыхание ощущалось всюду. Нервное напряжение спадало и сердце успокаивалось, лишь когда очутишься в своей комнате.

Однажды, навестив Растянисов, ты несколько засиделся там и вернулся домой позже обычного. Всю дорогу шел, словно по тонкому льду, нервы натянуты, как струна.

По мере того как приближалось бледно освещенное окно пани Клеопатры, твое сердце билось все радостнее и нетерпеливее. Там Ниле. Что-то она делает? Может, готовится к завтрашним урокам, или читает какую-нибудь книгу, или пьет вместе с пани Клеопатрой чай из фарфоровых чашечек. А Лоренса я ей так и не отнес. И уроков французского она, наверно, ждет не дождется. А может, вовсе и не ждет. Кто знает.

Внезапно ты остановился. Словно что-то грохнуло или хлопнуло. Прислушался. Ничего. Тихо, спокойно. Только холодно шумят ели. Сделал шаг-другой. Нет, вновь стук, вроде кто-то бьет в дверь. Опять прислушался. Да, резко колотят в дверь. Ускорил шаг, подошел ближе. Какой-то мужик маячит возле дверей пани Клеопы. Сердце глухо забилося, подкосились ноги, в горле пересохло. Осторожно, бесшумно подкрался поближе. Визгирда! Один? Вроде один. Чего ему там надо? Ты неслышно и легко взбежал по лестнице.

— Вы, кажется, ошиблись дверью!

Визгирда обернулся.

— А-а, это ты приятель! Порядочные люди перво-наперво не забывают здороваться, а уж потом переходят к делу. Давайте и мы, товарищ Друскянис, не будем нарушать этих испокон века устоявшихся традиций. Дверей я, кажется, не спутал, собираюсь только поговорить кое с кем не по-французски, а по-литовски.

— Я хочу знать, что вы тут делаете.

— Тренируюсь в точности ударов. Спокойной ночи!

— Если не пускают, значит, не желают видеть.

Визгирда иронически усмехнулся.

— А-а, вот это, Друскянис, похоже на тебя. Виляй хвостом, пока не бросят кость или не дадут пинка под зад. Согласен, чтобы морочили тебя, шпыняли, били, лишь бы хозяин хоть изредка позволял любоваться своим низким лбом и пышными усами? — И, отвернувшись, он снова начал барабанить в дверь.

— Не уйду, пока вы здесь.

— Рассуждаешь, как младенец, господин Друскянис. Видать, не

терпится испытать на себе мои кулаки. Последний раз говорю: спокойной ночи!

— Вы меня не пугайте.

Визгирда медленно обернулся, глянул исподлобья по сторонам и, потирая руки, сделал шаг в твою сторону.

— Я не пугаю, только напоминаю, что можешь выбирать: или — или... А вообще-то хорошо, товарищ Друскянис, что вы невзначай подвернулись. Раньше ли, позже ли... К тому же у вас уже выработался иммунитет к битью, поэтому, думаю, не слишком удивит и это. — И он, размахнувшись, ударил тебя снизу в подбородок.

Сознание возвращалось постепенно. Открыв глаза, ты никак не мог сообразить, почему лежишь, а Ниле стоит. Только смотрел и удивлялся.

— Это ты, Ниле?

— Не ранен?

Почему спрашивает? Кто же мог? Неужели? А-а...

— Вроде нет.

— Чем это он тебя?

— Не знаю.

— Я искала рану.

Ты вспомнил нежное прикосновение рук к голове, к груди. О-о! Еще раз согласился бы получить нокаут, только бы она...

Когда встал, кружилась голова, звенело в ушах.

— Я стояла за дверью...

— А-а... Так неожиданно саданул... Я даже не успел защититься. Ниле проводила тебя домой.

Хотя недавно закончилась большая война, люди не были веселы. Поговаривали о новой, точно указывая срок, когда она вспыхнет. Шептались о массовых вывозах, которые уже прошли кое-где и скоро начнутся повсеместно. Все чаще по ночам слышались выстрелы, и нередко горели крестьянские хутора, а по утрам где-то находили убитого, обстоятельства смерти которого мало кому бывали известны.

Удрас, как и прежде, частенько пропадал сутками, а когда являлся снова, то резал визжащих свиней, палил их, коптил окорока и полти толстого сала в старой усадебной коптильне.

Он завел огромного пса с хищными глазами — Аргуса. Ты отнес Ниле роман Лоренса, и она вдвое усерднее принялась заниматься французским.

В школе ты составил себе репутацию трудолюбивого, исполнительного педагога, обладающего редкой эрудицией и большим тактом. Но на сердце у тебя было тревожно, оно чего-то ждало. А Ниле? Она организовала художественную самодеятельность, привлекла троих пионеров и поставила монтаж, о котором Визгирда во всеуслышание заявил: «Прелюдия к эпилогу».

Директор привез из уезда печать, собственноручно пошил для нее «красную рубашку»-мешочек, в котором и носил ее, сунув в жилетный кармашек. Его руководство проявлялось лишь в те моменты, когда надо было делить принесенные детьми или их родителями продукты и выдавать по ведомости зарплату. Тут он директорствовал, и этого всем хватало.

Визгирда по-прежнему оставался язвительно ироничным, насмешливым, не лез за словом в карман. Никто не ведал, где и чем он питается: может, у какой-нибудь женщины, может, у Удрасов, а может, и вовсе не ест, а только курит американские сигареты «Airline». Но, когда он отсутствовал, в учительской, где и без того было холодно, становилось еще холоднее. Первой это отметила Ниле, и все с ней со-

гласились, промолчал лишь ты, потому что тот злополучный нокаут прервал ваши еще не успевшие окрепнуть отношения и было непохоже, что они снова завяжутся.

И вот вы вдвоем возвращаетесь из школы. Бредете, как много раз прежде. Ниле впереди, ты следом — тропинка в глубоком снегу слишком узка, чтобы идти рядом.

Ниле шагает все медленнее и медленнее.

Внезапно останавливается, резко оборачивается и утыкается лицом тебе в грудь.

— Что, что?.. — встревожился ты.

Ее плечи вздрагивают, словно от сдерживаемого плача.

— Что случилось, Ниле?

Посиневшая рука как-то неуверенно шарит в кармане купленного навыворот пальто и вытаскивает маленькую мятую бумажку; протягивает, не глядя тебе в глаза.

Ты стаскиваешь рукавицы, разворачиваешь, разглаживаешь листок и пробегаешь глазами.

— Они?

Не поднимая головы, она зарывается лбом тебе в грудь, словно обиженный малый ребенок.

— Ага... Наверно.

— Когда?

— Нынче утром. Была приколоты к двери.

— Показывала кому-нибудь еще?

— Нет.

Вы долго молчите.

Нет, это уже не шутки. Тут дело серьезное. В конце концов, такое должно было случиться. Сколько можно играть с огнем? А она была так неосторожна, легкомысленна. Боже, как легкомысленна!

— Что мне делать?

— Гм... Может, еще не они?

— А кто же?

— Я говорю, может, это от их имени... Визгирда?

— А может... и правда? — В ее голосе проскальзывает надежда.

В тот раз он... Помнишь?

— Чего он стучался-то?

— Разве пьяного поймешь?

— Но он же все равно должен был как-то мотивировать свое поведение. Ничего не говорил?

— Вроде бы упоминал, что хочет что-то сообщить. Но я терпеть не могу его пьяного. Я вообще не выношу пьяных.

— А потом?

— Потом? Ничего. Даже не вспоминал.

Ниле немного успокоилась. Вы пошли снова. Она впереди, ты следом.

— Надо бы тебе быть поосторожнее.

— Как? Уехать?

— Не обязательно.

— Сообщить в милицию?

— Едва ли поможет.

— Так что же?

— Можно и здесь... потише.

— Например?

— Ну, с этими пионерами, комсомольцами... самостоятельность... с этим своим значком... Ты все еще демонстрируешь его.

— Спасибо.

— Ирония тут не поможет. Ведь они, предупреждая тебя, именно это, кажется, и имеют в виду.

- Работать в советской школе и сидеть сложа руки?
- Организация детей — это еще не советская школа.
- Так в чем же она?

— Надо показывать им, как мы жили прежде, как можем и как должны жить. А цель — научить мыслить и видеть. Организация? Что это такое? Пена, которая отнюдь не свидетельствует о том, каково пиво; шляпа прикрывает как умную, так и глупую голову. Гремит лишь пустая телега.

— Я комсомолка.

— Ну и оставайся ею. В душе.

— Будь в душе каким угодно, только не обнаруживай своих идей? Так? И... бандитов бы порадовали такие речи.

— Ах, если бы в данном случае только о бандитах говорили! Тогда вопрос был бы не так сложен. К сожалению, мы имеем тут дело с классовой борьбой, с широким движением белых партизан...

— Ты... оправдываешь их?

Ты вдруг спохватился, что не вовремя и неуместно расфилософствовался, и умолк.

— Ансельмас, из твоих слов следует, что ты... оправдываешь их?— снова спросила она.

— Почему? Суть не в том, оправдываю или нет. Надо трезво оценивать создавшееся положение. Разумеется, я не могу не страдать из-за национальной трагедии. Но тебя, Ниле, прошу, умоляю: будь осторожнее. Нельзя забывать, что их руки гораздо длиннее, чем мы иногда склонны думать. Я не удивился бы, узнав, что у них даже в нашей школе есть глаза и уши.

— Визгирда?

— Может, он, может, кто другой...

— Надеюсь, что не ты.

— Ты же знаешь о моих чувствах, Ниле.

— Знаю,— кивнула она, огляделась и тихо ахнула: — Удрас!

Действительно, неподалеку, на краю аллеи, у огромной ели стоял Удрас. Ему в глаза преданно смотрел Аргус, словно ожидая, когда хозяин прикажет кинуться на врагов.

— Так когда будем свадьбу играть?— колюче усмехнулся он. — Любитесь? Вот и любите. Жилье есть? Есть! Специальность имеете? Имеете. Чего же вам еще?

— Свата нету,— ответил ты.

— Могу и сватом побыть. Конечно, если не побрезгуете.

— Не забудьте, что свата вешают.

— Но не до смерти, товарищ Друскянис, не до смерти,— громко рассмеялся Удрас.— В последний момент судьба бывает к нему благосклонна.

— Этот... снова все слышал,— шепнула Ниле, когда вы отошли подальше от Удраса.— Всегда появляется там, где его меньше всего ждут.

— Может, на этот раз не слышал,— попытался ты успокоить и себя, и ее.

Опасность реальная и серьезная. Начало уже положено — ее взяли на заметку. И теперь будут следить, наблюдать вдвое пристальнее, усерднее. А она скорее всего не вытерпит и снова выскочит, ляпнет что-нибудь или организует. Может, ей, правда, уехать? Посреди учебного года? Жизнь дороже всего! Подумаешь, учебный год! Но согласится ли? Потребовать, припугнуть... заставить? А какое право ты на это имеешь? Сестра? Жена? А может, ей не ночевать дома? Тогда где? У подружки? У надежного соседа? Однако если есть глаза, которые все видят, губы, которые все доносят, то недолго узнать и новое место ее ночлега. Только возникнет еще больше подозрений: боишься, значит, совесть нечиста. Может, мне лично поговорить с Визгирдой? Хотя бы

выяснить. Незаметно, окольными путями, хитро расспросить, хотя бы узнать, что ему известно. Как ведут себя другие в таких случаях? Что он ответит? И что Визгирда вообще может сказать? «Что хотела, то и получила». Один раз он уже брякнул: «Прелюдия к эпилогу». И все. Конечно, нельзя оправдывать, по крайней мере, совсем оправдать и Ниле. Не малый ребенок, знает, в каких условиях живет и работает. И я не раз говорил, и другие намекали. Как с гуся вода! Пускай свою идейность и принципиальность демонстрируют горожане с трибун, там, где их охраняют армия, танки, разные органы, толстые стены...

А может быть, всего лишь припугнули?

И вот однажды поздним вечером, когда все, казалось, уже почти забылось, в стекло твоего окна кто-то тихонько постучал. Раз, другой. Ты прислушался. Снова. Вскочил из-за стола, бросился к окну, открыл ставни и глянул во двор. В темноте виднелась какая-то фигура. Наверно, Визгирда нашел дверь запертой. Взяв лампу, ты вышел из комнат и распахнул наружную дверь. На лестнице никого. Спустился, сделал шаг, другой...

— Не у вас ли Ниле? — донесся из темноты встревоженный голос.

Пани Клеопатра!

— Не вернулась?

— Уже десять, а ее все нет. — Она неслышно подошла, держа в руке длинный прут.

Тебя пронзила страшная мысль.

— Не-ет?!

Первым делом ты, задышавшись, побежал в школу.

— Кто там? — не сразу откликнулся на твой стук тихий встревоженный голос.

— Я.

— Кто — я?

— Друскянис.

— Какой еще... Друс?..

— Учитель. Откройте, директор.

— Что случилось? — спросил он спокойнее, видимо, узнав тебя.

— Ниле... Витурите не пришла домой.

— Где же она?

— Не знаю.

Директор открыл форточку.

— Давно ушла. Только смеркаться начало. У нее была репетиция народных танцев, и она ушла вместе с детьми.

— Ушла...

Какой ветер! Все качается, ходуном ходит, снег залепляет глаза. Кто из учеников посещает репетиции танцкружка? Баука, Лукошюте? Нет, они дальние. Таймутис ближе... А может, Дануте Кизните? Да, эта живет рядом, на центральной усадьбе.

Снова мучительный стук, снова перепуганный голос, снова долгое объяснение. Наконец дверь открывается.

— Дочка дома?

— Входите, учитель. Господи, что случилось?

— Дануте дома?

— Я тут, учитель.

Как же я не заметил ее! Такой снег, глаза залепило.

— Вы шли вместе с учительницей Витурите?

— Вместе. А где она? — пугается Дануте.

— Не пришла.

— Все время были вместе. Только тут... она пошла по аллее, а мы с Моркунайте прямо.

— И ничего не слышали? Не заметили? Ни голоса, ни?..

— Боже! Боже!.. — вскрикивает мать Дануте.

Вся семья бывшего батрака окружает тебя. Кизнене, причитая, сбивает перчаткой снег с твоих плеч.

— Ничего, учитель, абсолютно ничего не заметили и не слышали,— снова говорит Дануте.

Куда же она пропала?

Полдвенадцатого.

Удас. Остался еще Удас. Может, он что-то видел?

Удас отпирает дверь, как только ты постучал в окно.

Нет, он ничего не знает, ничего не слышал и не видел. Он сам недавно, примерно час назад, вернулся из Риги.

Куда же теперь?

Снова к Клеопатре.

Она лежит на кровати; в комнате, пропахшей валерианой, страшная духота.

— Нет?

— Нет.

Вы смотрите друг на друга.

— Что же теперь будет, мосье Анзельмас?

И правда, что теперь будет?

— Может, еще придет? А может... где-нибудь тут, в парке?

И снова ты стучишься к Удасу.

— Не найдется ли чем посветить, товарищ Удас?

Удас услужливо, преувеличенно услужливо подает тебе фонарь и продолжает стоять в дверях.

Ты тут же нетвердым шагом спешишь по аллее.

Язычок пламени дрожит, мечется, прыгает за стеклом. Такой ветер! Прикрываешь фонарь полой пальто. Скорее, скорее!.. С Кизните... она рассталась в начале аллеи. Ты приподнимаешь фонарь. Огонек мерцает, взмывает вверх и, сорвавшись с фитиля, куда-то улетает. Никаких следов, ни единого знака. Лишь белесая, морозно гудящая ночь.

Где же Ниле?

— Ни-и-ле-е!..

Никакого ответа. Тишина. Только шумят верхушки елей, режут лицо острые порывы ветра.

Бежать в волость? Сообщить в милицию? Поднять на ноги все местечко? Но кто поедет ночью? И вообще кто и что может сделать?

Старушка Клеопатра сидит на кровати и, сжимая ладонями щеки, качает головой. Вперед, назад, вперед...

Истоптанный двор, на снегу свежие капли крови, несколько вооруженных мужчин. Запах махорки.

Милиция.

— Куда? Куда?! Гражданин, куда прешься?

— К начальнику. Мне немедленно нужен начальник милиции.

— Документы!

Вооруженный штатский листает, чуть не обнюхивает удостоверение личности. Смотрит на тебя, сравнивает, оглядывает с головы до ног. Внимательно, с недоверием и затаенным страхом.

— Занят он.

— Мне очень нужно.

Он еще раз осматривает тебя с головы до пят.

— Что у вас за дело?

— Учительница пропала.

Он с сомнением почесывает за ухом и бурчит:

— Прямо, потом налево...

Коридор. Тут тоже капли крови. Несколько дверей — справа и слева. Ни души. Ты отворяешь первую попавшуюся дверь и мгновенно захлопываешь ее. Но перед глазами некоторое время остаются два трупа, уложенные прямо на полу. Ждешь, пока хоть немножко перестанет колотиться сердце, берешь себя в руки иходишь к другой двери. Тихо стучишься. Никто не отзывается. Приоткрываешь. За сто-

лом в профиль к тебе какой-то человек. В военной фуражке, военной шинели с блестящими пуговицами. Не вынимая изо рта папиросы, говорит по телефону по-русски. Заметишь тебя, гневно вглядывается и резко взмахивает рукой. Видит, что ты не понял его жеста, и нетерпеливо орет:

— Назад! Назад!

Ты затворяешь дверь. Ждешь. Где-то хлопают другие двери или ворота, скрипят во дворе санные полозья, доносится невнятный говор. И сквозь этот шум ты чувствуешь, нет, слышишь, как лежат там те двое.

Распахивается наружная дверь, и вместе с клубами морозного тумана в коридоре появляется черная старуха в сопровождении двух вооруженных людей. Ухватив голый рукой под подбородком платок, она быстро, нервно семенит впереди. Под сапогами сопровождающих громко скрипит занесенный снегом пол. Все трое останавливаются. Один из мужчин распахивает ту дверь, и наступившую сразу же тишину взрывает душераздирающий крик:

— Детка!

Двое вооруженных заглядывают внутрь и угрюмо молчат. Лишь изредка переступают с ноги на ногу, словно ищут более прочную опору. Тебе кажется, что у них закружились головы.

С ведром, лопатой и метлой в коридор вваливается молодая женщина. Икры ног у нее голые, а лицо красное, будто обожженное. Бросает взгляд на висящую под потолком электрическую лампочку и сразу же принимается за работу: громко и сердито плещет воду, скребет лопатой сметает снежное крошево, с грохотом переставляет ведро. Вскоре следов крови как не бывало.

Ты все стоишь и ждешь. Никто не приглашает тебя, никто тобой не интересуется. Сколько все это может продолжаться? А вдруг Ниле еще можно чем-то помочь? Собрав всю свою смелость, даже не постукавшись, вновь толкаешь дверь, от которой тебя турнули, и, задыхаясь от нетерпения и нервной дрожи, выпаливаешь:

— Уже скоро сутки, как исчез человек, и никто ничего не делает!

Сидящий за столом поднимает голову от бумаг, закуливает.

— Фамилия.

— Витурите. Учительница.

Милиционер громко и сердито сплевывает в угол кончик откушенной папиросы.

— Ваша?

— Друскянис.

— Документы!

— Мои или?..

— К чертовой матери!

Ты подаешь временное удостоверение личности.

Человек в форме тоже внимательно разглядывает тебя с головы до ног, вертит в руках удостоверение. Черкает несколько слов на листке настольного календаря. Потом откидывается на стуле, сбивает на затылок фуражку и спрашивает:

— Учитель?

— Да.

— Давно?

— С сентября.

Когда же наконец он кончит интересоваться мной? Время бежит, а тут... Сколько еще продлится этот допрос?

— Где был при немцах?

— Работал бухгалтером, делопроизводителем, санитаром... потом скрывался от призыва.

— Скрывался?

— Да. От вермахта.

ИОНАС МИКЕЛИНСКАС

ИОНАС
МИКЕЛИНСКАС

— Знаем мы таких...— Снова, откусив, выплевывает кончик папиросы.

— Товарищ начальник, очень прошу ускорить это дело. А вдруг человеку еще можно помочь?

— Мы работаем без суфлеров из леса. Понял?

— Понял.

— Можешь идти.

Ты уже повернулся, чтобы уйти, но он тебя останавливает, усаживает за свой стол, сует лист бумаги и велит изложить все письмен-но. Когда ты кончаешь, читает заявление, спрашивает, где Витури-те жила, что-то помечает в календаре и говорит:

— Все.

— Когда ждать?..

— Это наше дело.

Все боятся. Боятся друг друга. О люди! Что вы делаете?!

В учительской молчат. Не разговаривают, не обсуждают, не спо-рят. Молчат, молчат, словно никакой Ниле вообще не существовало. Будто она не жила, не работала, не ходила в школу, не говорила, не смеялась... тут же, в учительской.

Лишь когда скрипит дверь, все, как по команде, поднимают голо-вы и смотрят в одном направлении, словно она возвращается с урока. А у тебя в ушах даже звучит ее голос:

— Я сегодня снова поставила Растянису пятерку по литовскому, а Удрасова сынка отругала. Такой бузотер, такой непоседа. Знаете, что снова выкинул? Притащил порошу и сыпанул Кизните за шиворот. «Зачем ты это сделал, Удрас?» — спрашиваю. Молчит. Я снова: «Но ведь ты о чем-то думал, делая это?» Молчит и гримасничает. Разве не следует такого выпороть?

Все смеются.

Смеются? Нет, молчат. И Визгирда молчит. Только курит и смот-рит в окно. Где твоя ирония, Визгирда? Где твоя злость? Мрачное, свин-цовое остроумие? Где все это?

Директор приносит платежную ведомость.

Все по очереди расписываются, берут и пересчитывают деньги. Молчат, глухо молчат.

Директор вытаскивает из жилетного кармана мешочек из крас-ной ткани, не спеша развязывает шнурок, вынимает круглую печать, вертит ее, подносит к губам, легонько поплеывает, дышит на фиоле-товую поверхность, крепко прижимает к какой-то справке, потом берет ее за уголок кончиками пальцев, помахивает, складывает попо-лам и вручает... старшему Удренку. Тот важно, совсем не по-детски кланяется и убирается из учительской.

С ума сойти можно.

Звонок.

Учителя разбирают свои журналы. Расходятся.

Неужели и сегодня пойдут на уроки?

Но и ты берешь свой журнал.

Неужели я еще пойду в класс?

Исчез Визгирда. Вернее, таинственно и неожиданно исчез для всех, но не для тебя. Перед этим у вас состоялся длинный разговор, вернее, говорил только Визгирда, а ты больше слушал, изредка встав-ляя словечко-другое.

Вошел он и без всяких предисловий спросил:

— Злишься?

— Нам не о чем разговаривать.

Его взгляд сделался печально-теплым. И морщины возле губ тоже стали печально-теплыми.

— Есть, приятель, есть. У людей всегда есть, что сказать друг другу.

— Только не у нас.

— Ошибаешься, приятель. У нас тоже. Понимаю, что тебе скверно. Мне тоже. Может, даже хуже, чем кому-то другому. Подозреваешь меня? Напрасно. Возможно, я шут, нигилист, злобный неудачник, драчун, но не убийца. Может, когда-нибудь стану им, однако пока не стал. А Ниле, если хочешь знать, мне даже нравилась.

— Не смейте о ней!

— А вот посмею. И полагаю, имею на то серьезное право.

Ты вскочил.

— Какое такое право? Какое?

— А очень простое, приятель, очень человеческое. — Визгирда преспокойно продолжал сидеть на твоей кровати. — Слышал, снова лежит кто-то на площади перед костелом? Так вот, я уйду туда, откуда путь только к такой свободе.

— Допускаю, что от вас и этого можно ждать.

— Да, от охваченного безнадежностью человека можно ждать многого.

— Когда же уходите? — с интересом и одновременно с тревогой спросил ты.

— Очень скоро. Примерно через час. Поговорим, потолкуем, может, пойдем друг друга, а нет, разойдутся наши дорожки. И, скорее всего, никогда больше не пересекутся. Никто не протянет нам руку: ни Трумэн, ни Черчилль, ни его святейшество Пий XII. Им, приятель, абсолютно плевать, что какой-то там Анзельмас Друскянис или Аугустинас Визгирда тоже хотят жить, как люди. А я не желаю, чтобы меня, свободного литовца, запихнули в товарный вагон и вывезли в Сибирь.

— Никто же пока не вывозит.

— Повезут, попомни мое слово, повезут. Не сомневаюсь, фамилия Визгирды уже занимает подобающее место в их списках. А Ниле мне нравилась. Не только как женщина, но и как человек. Она верила во все, что делала. Уважаю таких, которые еще могут верить. И главное — верить в человека, в его будущее. Мало таких, но еще случаются. Разумеется, имею в виду не тех, кто совершает революции. Они верят не в человека, а в лозунги.

— Без лозунгов не было бы и революций.

— А ты, приятель, веришь в эти лозунги?

— Я хочу делать свое дело.

— А я не желаю, чтобы меня плетью гнали к счастью. Такое уже пытались сотворить с индейцами. Что из этого вышло, всем известно. Сделать другого человека счастливым может лишь тот, кто сам умеет быть счастливым, но не боится отказаться от личного счастья. Признаю, что и такие мечтатели еще не перевелись. Они работают, выкладываются, ночей не спят, пока не выдумают гениальных теорий, гуманных и на первый взгляд складных и реальных. Увы, такими они кажутся только на бумаге. Начинаешь воплощать в жизнь, и сразу же выясняется, что теория подходит, скажем, к классу крылатых, а практика — к отряду пресмыкающихся. И случи, спарь их — соловья с гадюкой, — если умеешь. Верх же берет какой-нибудь тупой догматик-садист, который дьявола с кукушкой умудрится спарить, лишь бы испугаться в человеческой крови.

— В ваших парадоксах о теории и практике, безусловно, есть резон. Но не следует забывать, что ни одна операция не обходится без крови. И не винят же за это хирурга.

— Я так понимаю, приятель, что хирурга не винят в том случае,

если точен диагноз. А если вместо того, чтобы лечить сердце, станет он латать желудок, то будет шарлатаном, а не медиком.

Визгирда помолчал, словно надеясь еще что-то услышать. Не дождался, нахлобучил шляпу и погладил стоявший на столе череп.

— Возможно, и тебя, безглазый, какой-нибудь маньяк-хирург отправил к Аврааму, полагая, что его миссия — лечить только зубы и брюхо. Ему и в голову не приходило, что в первую очередь надо лечить человеческое сердце.

Потом он сложил ширму, делившую комнату на две части, и протянул тебе руку.

— Не поминай лихом, приятель. Грызи свои молитвенники, но не забывай, что социальные перевороты начинают философы, а кончают генералиссимусы. А генералиссимус — форма без содержания, ноги без головы. Удачи тебе! И пусть между нами не будет никаких искусственных перегородок.

Однако, открыв дверь, он еще раз обернулся.

— От Удраса тебе никуда не деться. Однако води себя с ним, как с воздухом: вдохни и поскорее снова выдохни. А это, — он указал на череп, — побереги.

Ты не мог решить, проводить Визгирду или нет. Стоял у двери и слушал, как удаляются его шаги.

Ты выбежал из дома.

Темная ночь.

Едва белеет снег.

— Аугустинас! — негромко позвал ты.

Никто не отозвался.

Тишина.

Только траурно и холодно гудели, шумели ели.

И снова ты один.

Вынес сложенную ширму в забитый бараклом зал и сунул в угол.

И снова потянулись дни. Одинаковые и совершенно разные. Школа вновь стала обретать равновесие. Место Ниле заняла тихая, совсем еще молоденькая девушка с бесцветными глазами и какой-то виноватой улыбкой. На переменах она почти не поднимала головы от учеников, старых и новых, а на уроках то и дело слышалось ее плачущее:

— Мальчики, мальчики, ну, пожалуйста, мальчики!..

Часы Аугустинаса Визгирды распределили между педагогами. Тебе досталась география, не требовавшая почти никакой подготовки. Вспоминая Ниле, учителя всегда поглядывали на тебя, и, когда речь заходила о Визгирде, их взгляды тоже останавливались на тебе.

На ночь ты, как всегда, закрывал изнутри ставни, зажигал лампу, налив в нее рыжего керосина, и усаживался за стол. Читал дико много и дико беспорядочно, лишь изредка тревожась, что перед сном придется идти через огромный зал, заставленный старой мебелью и разным другим хламом, через анфиладу мрачных комнат и по холодному коридору, пока не окажешься во дворе...

Время чаще всего сообщали невидимые и таинственные часы, висевшие где-то за многими стенами, может, меж небом и землей, бывшие редко, но очень громко и звучно, словно стремясь воскресить покойников всего мира и созвать их на последний суд.

Однако тебе уже не удавалось углубляться в какую-нибудь книгу или философский трактат так, как прежде, забывая обо всем. Все чаще ловил ты себя на том, что оторвался от страниц и смотришь перед собой. Казалось, вот-вот кто-то постучит в окно, подойдешь, откроешь ставни... Ниле! Она улыбнется светло и молодо и скажет:

— А ты, Зельмис, уже успел похоронить меня? Я ведь только уез-

жала. Правда, неожиданно и таинственно, но пойми — каждой девушке таинственность к лицу.

И дальше что-то в таком же роде. Ты даже переставал работать, заранее радовался встрече, вставал и нетерпеливо расхаживал по комнате, чтобы в любое мгновение тут же подскочить к окну и распахнуть его.

Но она не приходила.

Твои мысли вращались вокруг того, что уже было и что еще могло и должно было быть. Однако и во сне, и наяву все сходилось на Ниле. И сходилось так, будто ты, только что появившийся тут, беседуешь с директором, а она вбегает в учительскую, запыхавшаяся, со здоровым румянцем на щеках, и разворачивает красное полотнище, на котором большими белыми буквами выведено: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Глаза мечут горячие искры, а сама она тает, тает и истает. И никогда не подходит близко, так близко, чтобы можно было ощутить ее дыхание, тепло, запах волос. Ни во сне, ни наяву. Все такая же далекая, почти нереальная, бесконечно хрупкая. Лишь однажды прочитал ты в глазах Ниле немой упрек: «Не сумел ты меня уберечь».

А как-то привиделась посреди бескрайнего, покрытого снегом поля. Стояла босая, в тонком цветастом платье, с непокрытой головой, а над землей бились, неслись волны ледяного ветра и снега, и ноги ее были кроваво-синими, и на лице отражались безнадежность и ужас. Ты тогда не спал и отчетливо видел Ниле, но не мог шевельнуться, будто парализованный. Не в состоянии был ни кричать, ни звать, мог только смотреть.

Вставал перед глазами и Визгирда. Слышались его шаги. Медленные и твердые, роковые и реальные, ступали они словно по сердцу, унося чью-то жизнь. Несостоявшуюся, нереализованную. Шаги эти все удаляются, удаляются, пока перед тобой не разливается непроницаемый мрак, в котором траурно шумят черные ели.

Однажды вечером явился к тебе Удрас.

— Все сохнешь над этими своими философиями?

Ты вытаращил глаза. Каким образом очутился он тут? Неслышно, без стука и шороха. Даже дверь не скрипнула.

— Как вы сюда проникли?

— Ну и шутник. Это я должен спросить, как вы сюда попали.

— Я тут живу, я учитель. Я ваших детей учу.

— Да знаю я, отлично знаю, что учишь моих наследников, и спасибо за это. И еще кое-что знаю. Но я не следовательно, мне все это ни к чему.

— Так что же вам нужно?

— Но-но, не так воинственно, не так воинственно, приятель, как говаривал Аугустинас. Привели меня сюда христианские чувства, а он мне, видите ли, клыки показывает. Не слепой же я, вижу, каким ты стал! Был и приветливым, и разговорчивым, а теперь монах монахом. Понимаю, жалко девчонку. Тем более что приглянулась. Но хватит носить траур, хватит горевать. Никто еще живым в землю не лез, а мертвым из нее не выбирался.

Мертвым? О ком это он? О Ниле?

— Почему вы говорите «мертвым»? Откуда вам известно, что ее?..

— Откуда? Знаю только, что при таком старте финиш по большей части один.

— При каком старте?

— Если что не так сказал, прости, учитель. Теперь важно не это. Важно, что видеть не могу, как раскис молодой человек. Только и делает, что сохнет над своими... библиями. Зашел бы ко мне, в «очко» сыграли бы... Нет? Не интеллигентно? Деревенское занятие? Можем и в преферансик или в винт. Скорее бы отвлекся. С господином Стрен-

жицкисом дни и ночи напролет резались. Вот был фрукт! Феномен! Интересно, где он сейчас, бедняга. И такие люди, такие головы от всего этого не убереглись! Не пренебрегаю и в шахи-маты. У меня все получается. Посидим, побалакаем, по стаканчику высосем, горло прополощем. И голове полегчает. Пивца я наварил к празднику. Пасха уж не за горами. Может, и придется когда от этого отвыкать, но пока... пока еще среди своих. По традиции, как говорится. Глядишь, хозяйка копченого бекона сыщет. Небось и провизией родители не больно-то студентов балуют?

Знает, дьявол, чем соблазнить. И в самом деле, давно я уже не держал во рту ничего вкусенького. Все всухомятку да всухомятку. Завтрак почти ничем от обеда и ужина не отличается. Чай, на тмине или ромашке настоенный, изредка желудевый кофе без молока и постоянно одна и та же пища — хлеб, сало, иногда кусочек масла, яичко или луковица, в зависимости от того, что принесут своему учителю дети или их родители. Суп — редкость. И сахар — тоже редкий гость. А на зарплату в сорок семь червонцев у спекулянтов что купишь? Разве несколько пачек папирос или американских сигарет? На полках единственного на все местечко магазина ветер гуляет.

— Так как, учитель? В будущем, если друг другу приглянемся, сладимся, госпожа Удрене сможет миску-другую своего варева принести. На сухом-то пайке далеко не уедешь. Заработаешь какую-нибудь, как старики говорят, холеру, а потом извивайся, ровно червяк в муравейнике. Сойдемся характерами — отыщется местечко и за общим столом. Ну как, господин ученый?

Кто он такой, этот Удрас? Атлетически сложен, красивое, волевое лицо, маленькие острые глазки, черная щеточка усов под носом. Красные, будто подкрашенные губы, мелкие белые зубы... Кто такой? Почему все к нему с подозрением, почему считают загадочным? «Мне кажется, что он появляется всегда в тот момент, когда его меньше всего ждут». Вот как сейчас. Рыжий полушубок, галифе диагональные, сапоги, новые и блестящие. Где-то был сегодня. В уезде или в волости? Ходит иногда, словно заспанный, но все видит, все слышит, все знает, что, как и где. Чего ж мне притворяться, будто я его знать не знаю, никогда не бывал? Ведь поначалу жил чуть не целую неделю, и не съел он меня. А подозрения — они подозрения и есть.

— Так как же?

— Спасибо.

И ты пошел.

Едва перешагнул порог квартиры Удрасов, как тебя ослепил яркий свет, словно кто-то в лицо горсть песка швырнул. Когда глаза немного попривыкли, ты прежде всего увидел примусную лампу и плотно закрытые изнутри ставни. И сразу вспомнилась твоя лампешка, освещавшая лишь маленький круг на столе, вся длинная и узкая комнатка тонула во мраке. Мне бы такую!

— Слепит?

— Да.

— А нравится? — заметив твое восхищение, спросил хозяин.

— Хорошо.

— Точно. Не для слепых кротов. Из Риги притащил. За добрый продукт и нынче можно еще кое-что получить. Немецкая. «Сделано в Германии». — Сказав это, хозяин подошел к лампе, придержал ее, несколько раз подкачал; витавший в стеклянном цилиндре сгусток пламени стал белым, словно огромная капля молока; комната осветилась, как в солнечный день.

Двое мальцов, сидевших за столом, один из которых был тебе хорошо знаком, второго видел лишь несколько раз, мгновенно сгребли свои вещички и поспешно ретировались в кухню. Видимо, дети в этом доме не болтаются под ногами у отца и его гостей. А может, просто застеснялись учителя? Не похоже. Тут царит деспотичный патриархат.

— Эй, госпожа Удрене, я гостя привел! — громко и весело крикнул Удрас, скидывая рыжий полушубок. — Неси пожрать. Да поскорее.

— Я только что поужинал, — попытался ты протестовать.

— Без дебатов, без дебатов, товарищ Друсканис.

Вы уселись за большой стол друг против друга. Удрас взял с радиоприемника еще запечатанную колоду карт.

— В «очко»? В преферанс? В винт? А?

— Не специалист я. Не успел научиться.

— А может, в жидовского конька? Альгирдас, подай-ка нам шахматы.

В комнате тут же появился старший из сыновей, ловко вскочил на табуретку, пошарил на шкафу и снял оттуда полированную коробку. Положив ее перед отцом, он по-военному вытянулся и снова исчез.

Вымуштрован! В школе-то разве так себя ведет? Учителя в один голос жалуются. И в то же время все ему с рук сходит.

Пока Удрас обдумывал очередной ход, ты разглядывал картину, висящую на стене. Раньше вроде не замечал. Там было изображено заходящее солнце и на огромном его диске — три черные ели, словно фантастические башни сказочного города. Весь горизонт розовый и печально застывший. А поодаль, сбоку, осевшая избушка с тремя светящимися окошками, похожими на большие капли крови. Настороженным и печальным покоем веяло от картины.

Ты вздрогнул и перевел взгляд на стол. Прежде всего увидел красный, словно кровью налитый графин, а потом уже холодец, хлеб, несколько тарелок, рюмок, ножей, вилок. Откуда это? Удрене?.. Когда успела? Все в этой комнате совершается тихо, ловко и таинственно. И Аргус тоже появился тихо и таинственно. Наставил на меня уши, пошевелил ими, принялся издали, подошел поближе, вильнул хвостом и отвел в сторону свои наглые и умные глаза: «Этот человек — гость хозяина».

Удрас потрепал пса по загривку и поторопил меня:

— Твой ход, учитель.

Ты двинул слона и вновь уставился на картину.

— Я называю ее «Страна Черных Елей». — Хитровато и сдержанно улыбаясь, Удрас откинулся на спинку стула. Потом налил в рюмки красную жидкость. — Prosit! ¹

Чокнулись, выпили. Ты закашлялся.

— Привыкнешь. Человек не собака, и к виселице привыкает. Закуси чем-нибудь. Может, щец с колбаской? Пока еще горячие.

Ты снова удивился: откуда что взялось? Кажись, и не было. Стояли хлеб, холодец.. но ни щей, ни колбасы не было. Как же я не заметил, когда эти блюда на столе появились?

Колбаса с жирными горячими щами просто таяла во рту. Уже давно не доводилось тебе так вкусно поесть.

— Ходи!

С полным ртом, не раздумывая, ты выставил коня.

— И что же ты такое замышляешь? Забраться ко мне в тыл? Нет, приятель, не выгорит! — бормотал он, снова наполняя рюмки. — Давай-ка еще по одной за риск. Кто не рискует, тот не выигрывает. За риск!

На этот раз ты лишь пригубил и двинул пешку вперед сразу на два квадрата.

— А этого? — Удрас поднял слона. — За спасибо отдаешь?

— Н-да-а... Пускай. На доске будет просторнее.

— Соблазнился простором или... или западню ладишь? А? Achtung ², Удрас! Значит, жертвуешь? Не жалко?

— Не очень, — коротко ответил ты и снова непроизвольно поднял глаза к картине, словно заметил на ней что-то подозрительное.

¹ — Твое здоровье! (нем.)

² — Внимание (нем.).

Удрас взял наконец слона, поставил его на стол и сказал:

— У нее своя история.

— У картины?

— Да. В господской гостиной висела. Мы там частенько резались в преферанс, в винт, фигуры двигали.. И, понятное дело, прикладывались к рюмашке, как мы сейчас. В один прекрасный день отвернулась от Стренжицкиса фортуна, которая, как известно, слепа. Человек сам должен вместо нее смотреть. Проигрался в пух и прах. И обвинил меня в мошенничестве, хамом обозвал и... за пистолет! Горяч был, черт, и злобен, вот и не справился с нервами. Хорошо еще, не попал. Пуля у самого уха просвистела. На другое утро тащит мне эту картину, злополучный «вальтеришко» и бутылку коньяка. Поставил все на стол, извиняется. Ксенья мы выдули, а картину я повесил.

— А «вальтер»?..— И сам не заметил, как спросил про пистолет.

— С тех пор много воды утекло...

— А пуля в картину попала?

— В верхушку средней ели.

Ты встал, подошел поближе. И правда, на верхушке средней ели виднелась черная дырочка величиной с горошину.

— Видишь, как оно иногда бывает,— сказал Удрас и снова наполнил рюмки.— Я ее нарочно не заклеиваю. Пускай остается как память. За светлое будущее!

— За «Страну Черных Елей»,— сказал ты, чокаясь.

— По душе припалась?

— Нравится.

За стеной слышались отчетливые звуки фортепиано. Ты прислушался. Казалось, что на жестяные крыши, теплые и зеленые, падают белые шарики пинг-понга. Ударяются о жесть, подпрыгивают, сталкиваются между собой, вздрагивают, на мгновение замирают в воздухе, чтобы сызнова начать свою беззаботную и светлую игру. И почему-то вспомнились далекие утра твоего детства, когда отец отбивал косу и весь мир наполнялся светлыми и веселыми звонами.

— Младший Растянис.

Откуда он знает, что я как раз слушаю музыку? Кто ему сказал? Откуда такая наблюдательность? Проницательность?

— Знаю.

— А-а, твой ученик.

— Хорошо играет.

— Его отец батраком был. Теперь от имения землю получили.

— Растянис и учится хорошо.

— Пани Клеопатра начала возиться с ним еще при немцах. Говорит: «Мальчик, у тебя есть голова, и я сделаю из тебя человека». Чудачка, будто без музыки нельзя быть человеком. Сперва таились, а потом и барин привык. Теперь не оторвешь, каждый вечер барабанит. Пионер!

Вдруг Аргус, до того спокойно лежавший, наставил уши, приподнялся на передние лапы. Смелые, умные глаза застыли. Кто-то едва слышно побарабанил снаружи в оконное стекло. Удрас прислушался. Тишина. Только четко звучала «Санта Лючия».

— Черт,— пробормотал Удрас.

Стук повторился. Тихий, как и раньше, но куда более нетерпеливый. Аргус встал, но не урчал и ушами не водил.

В дверях кухни появилась Удрене. Ее увядшее мелкое личико было бледным и озабоченным.

Почему стучат в окно, а не в дверь? Почему так тихо? И почему собака молчит?

Твои мысли прервал и развеял стук сыпаемых шахмат. Поставив желтую коробку на шкаф, Удрас приоткрыл дверь в спальню и шепнул:

— Прячься.

— Кто?

— Они.

Ни о чем больше не спрашивая, ты тишком прокрался в соседнюю комнату и встал за шкафом. Сквозь редкие и болезненные удары сердца слышал звуки поспешной беготни в гостиной, звяканье посуды, ножей и вилок, приглушенный шепот. Убирают со стола. Не хотят, чтобы кто-нибудь увидел следы угощения. Значит, точно знали, кто стучит.

В окно снова забарабанили. Теперь уже громче и настойчивее. Потом хлопнула дверь и все стихло. Только отчетливо звучали за стеной фортепианные аккорды.

Где-то далеко глухо ударила в косяк входная дверь.

Шаги. Жесткие, гулкие, тяжелые.

Они приближались.

Посомневавшись, ты осторожно приподнял свисавшее до пола покрывало и с опаской залез под кровать. Отполз от края, прижался к самой стене. Сердце твое безумно билось. Воздуха не хватало.

— Испытываешь наше терпение, господин Удрас.

Голос волевой, жесткий, привыкший командовать.

Почему не лает собака?

Словно в ответ на твой вопрос раздается веселое повизгивание, потом радостный лай.

— Да мне такое и в голову не приходило. Просто не слышали. То дети, то одно, то другое... К тому же за стеной эта нескончаемая музыка?

— Какая еще музыка?

— Папи Клеопатра. Младшего Растяниса дрессирует.

— Сынишку этого красного?

— Его самого.

Все, будто сговорившись, притихли.

Фортепианные аккорды. Светлые, беззаботные, веселые. Вальс Штрауса.

Казалось, все слушают.

— Недолго ему тут... — пробормотал кто-то, но, видимо, почувствовав, что брякнул лишнее, закашлялся.

— Прикуси язык!

— О, и Аргус здесь! — послышался чей-то радостный возглас. — Как дела, парень? Соскучился? Ну, давай нос!

Громко чмокает поцелуй.

Откуда они знакомы? Неужели это их пес?

Внезапно распаивается дверь спальни. В щель между одеялом и полом видны лишь большие, все в снегу сапоги.

— Одни? Посторонних нет?

— Кто может у меня быть? Да еще в такое время?

— Доверяй, но проверяй!

Дверь захлопывается.

Твое сердце немного успокаивается. Чужих трое. Как приветлив и угодлив голос Удраса! И сколько мне еще лежать тут? Затекала правая нога. Перевернулся на спину и прислушиваешься к малейшему звуку и шороху, доносящемуся из-за дверей. Снова звон тарелок, ножей, вилок. Неужели станут есть и пить? Всю ночь пробудут?

Да, все садятся за стол.

За стеной затихает музыка.

Так вот какие эти... о н и! Из Димшай, Эглайнай, Гинюнай, Лаурагяй, Пашилупяй. Сколько молодежи ушло! От бедных хуторян до зажиточных хозяев, от шаулистов¹ до бывших батраков...

Сколько народу подалось в лес, чтобы сражаться за свободную Литву. Тебе пока не доводилось ни с кем из них сталкиваться нос к носу, но кое-что ты знал. Несколько раз даже видел их издали. А уж сколько всяких слухов ходило! Вероятных и невероятных. И вот те-

¹ Шаулисты — члены «Союза стрелков», полувойскальной организации в Литве двадцатых — тридцатых годов.

перь они совсем рядом, в двух шагах, а ты вынужден лежать на полу и остерегаться, как бы большой, облипший снегом сапог не отпихнул тебя в сторону, как ненужный балласт. И сколько еще лежать? Вроде бы они уже начали угощаться. Причмокивают, постукивают ножами и вилками о тарелки. Рюмки позванивают — поднимают тосты за свободную Литву. Сколько все это может продолжаться?

И что задумали они учинить с младшим Растянисом? «Недолго ему тут...» Потом закашлялся. А другой голос сказал: «Прикуси язык!» Неужели собираются Растяниса?..

Голоса за дверью становятся громче. Беседуют о примусной лампе, о литовской колбасе, о вывозах, о гарнизоне и «стрибах»¹, о том, что весна уже не за горами. «Уж тогда мы...»

— В лес нас загнали. Еще аукнется им этот лес!

Действительно, что-то против Растяниса затевают. А не попытаться ли вылезти в окно? Ставни можно открыть изнутри. В окно? А если снаружи кто-то стоит? Уложит как собаку. Разумеется, стоит и охраняет. Не может такого быть, чтобы никто не стоял и не охранял. И, скорее всего, не один. Они тоже знают, что и ночь не и одним принадлежит. Не могут не знать.

А за дверью еще больше расшумелись. Говорят во весь голос, перебивая друг друга. Были бы они такими храбрыми, кабы не знали, что кто-то стоит и стережет их снаружи? Вдруг разговор прекратился. Что случилось? Что-то подозрительное усекли? Что же там?..

— «Как ты прекрасна...» — звучит чистый, прозрачный тенор.

— «...страна родная», — подхватывают мелодию два сочных баса.

Земля,

в которой спят герои!

Жила ты трудно, жила, страдая,—

Ты нам дороже за это второе².

Мощная, исполненная тоски песня. Мечтательная и суровая. Аж дрожь пробирает. Здорово это у них получается. Слушал бы да слушал, обо всем позабыв. Все трое поют. Может, и Удрас подтягивает? Сначала вроде бы молчал, но... Да, и он подтягивает. У него удивительный баритон. Такое пение никогда не надоест слушать.

А может, они действительно делают большое дело? Демонстрируют всему миру свою решимость и волю свободно жить. Миру? Что он знает, этот мир, об их решимости и воле? Даже в газетах об этом днем с огнем ничего не сыщешь. Тишь да гладь. Лишь тянутся красные обозы с первым урожаем в государственные закрома, лишь пестрят ликующие благодарственные послания Отцу и Учителю за солнце конституции, только и слышно: «...Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...» И никакой крови, ни капли крови. Мир осведомлен, что в Луизиане или Техасе линчевали негра, что в Греции снова преследуют Манолиса Глезоса, что в Кордове осужден коммунист, но, наверно, о том, что творится в Литве, он не знает ничего. Может, и большое дело они и делают, но безнадежное. Ведь такая силища, такое множество, такой необъятный простор!

Леса — как рута по горным склонам.

Дубисы светлой волна живая...

Их козырь — война. Война? Но разве те так легко повернут оружие против недавнего союзника? В это даже Визгирда не верит. «Никто нам руки не протянет: ни Трумэн, ни Черчилль, ни какой-нибудь Пий XII. Им, приятель, абсолютно не важно, что какой-то Ансельмас Друскянис или Аугустинас Визгирда тоже хотят жить по-людски». Сколько уже сроков назначали! Первого, пятнадцатого, двадцатого и снова

¹ Так называли в народе бойцов «истребительных отрядов», боровшихся с «лесными» в послевоенные годы.

² Здесь и далее строки из стихотворения Майрониса «Литва дорогая» в переводе Ю. Александрова.

первого... Но весной-то уж точно. Точно? Правда, Черчилль в Фултоне упоминал. И Трумэн его поддерживает. Однако могильщик Британской империи свой случай уже прозевал, а Трумэн...

Бежит привольно в краю зеленом,
Простую песню нам напевая...

Даже если бы и началось... После такой войны — снова война? Снова кровь, пожары, смерти... растоптанные жизни...

— Потихе, мужики! — все тот же волевой, привыкший командовать голос.

— А что? Ночи — наши.

— Не надо искушать судьбу.

— Она сама нас искушает.

— Отставить! Священная песня не для пьяных глоток!

Замолчали. Потом доносится приглушенный шепот. Кто-то небрежно отодвигает стул.

Шаги. Редкие, тяжелые, ритмичные.

Открывается дверь спальни. Комната освещается и снова тонет в серых сумерках. Кто-то вошел.

Ты прижался к стене.

— Баба и дети в кухне?

— Да, господин начальник.

Неужели начнут серьезный разговор? Ведь Удрасу точно известно, что тут посторонний. А если забыл? Невозможно: есть вещи, которые забывать нельзя. Как же он не подумал об этом? Попал в свой же капкан?

— Хочу я с тобой, господин Удрас, посоветоваться.

— Слушаю, господин начальник.

Да, будут совещаться. Теперь Удрасу ничего другого не остается, как «слушаю, господин начальник». Ирония судьбы!

— Во-первых, как всегда: никого у тебя не было, ничего ты не слышал, ничего не видел.

— Ясно, господин начальник.

— Во-вторых. Мы ждем дополнительных сведений о том новеньком. Где они?

— Они уже есть, господин начальник.

— Выкладывай!

— После того... он еще глубже в эти свои книги зарылся.

— Важно, в какие.

— Всякие философии, истории, литературы... Немецкие, английские, французские, польские, русские.... Русских немного. Книг в имении пропасть. Ложится и встает с книгой в руках.

Это обо мне. Ты затаил дух. А почему «после того»?.. После чего? Неужели?.. Докладывать Удрасу страх как неловко, но иного выхода нет. Вот почему говорит намеками, путается во второстепенных мелочах, старается представить все в наиболее благоприятном для себя и для тебя свете. А как же иначе? Ведь не сказать же, дескать, лучше нам поговорить в другом месте, здесь опасно. «Почему?» — спросят у него. Что ответить? Выдавать? Нет! Удрас слишком умен и опытен. Умен, опытен и... лезет в самым же собой расставленную ловушку?

— Без пены! Короче.

— Слушаюсь, господин начальник, короче. Ни с кем не встречается, ни с кем не дружит, словом, настоящий отшельник.

— Как это «ни с кем не встречается»? А с той?..

— Так это раньше было, господин начальник, — поспешно прерывает его Удрас, словно опасаясь, как бы лесной не сказал что-то страшное и непоправимое. — Видимо, после того как получил урок, полностью замкнулся.

«А с той?..» С кем? «Так это раньше было...» Когда? Какой «урок получил»? Выходит, раньше я был одним, а теперь, «после того, как

получил урок», стал совсем другим? Неужели... они имеют в виду Ниле? И внезапно тебя, словно молния, озаряет страшная догадка: Ниле — на совести Удраса! Да, да, с его подачи... Ты зашевелился, тебя охватило почти непреодолимое желание выскочить из-под кровати и крикнуть: «Убийца! Куда ты ее девал?» Но что с того? Укокошат, как бешеного пса. Ты лишь беспомощно стиснул зубы и до боли сжал кулаки.

За дверью снова возник тот же чистый, прозрачный тенор:

Однажды маленький мальчонка
У мамы ласково просил:
«Купи мне, матушка, конечка,
Чтоб был он краше всех других...»

Скрипит дверь, в спальню вновь врывается свет.

— Потихе там!

Свет тает, пение приглушено.

— Ты, Удрас, сегодня, будто с крыши свалился. Темнишь, все в одну кучу валишь. Не лишку ли хватил?

— Виноват, господин начальник. Пожалуй, угощая дорогих гостей, малость перебрал.

— Ну ладно, ладно. А в какую сторону он смотрит?

— Только в свои библии.

— Красный, спрашиваю, или нет?

— Вроде бы нет, господин начальник.

— В нашем деле «вроде бы» нету. Только «да» или «нет».

Вот зачем зазвал меня Удрас к себе. Хотел разобраться, какого цвета сосед.

— Изучи, разберись. Но не форсируй с агитацией, не стоит. Можно все дело испортить. С тем Аугустином мы малость поторопились. Свои люди нужны всюду.

— Правильно, господин начальник, свои люди всюду нужны.

Значит, и Визгирду изучали подобным образом. А меня, значит, еще будут изучать, проверять? Ладно, по крайней мере, сейчас опасность не грозит.

— В-третьих, у нас еще нет точных данных, принес Растянис винтовку или нет.

— Ясно, господин начальник.

— В настоящее время самое важное, чтобы с нами связало свою судьбу как можно больше литовцев. Вся нация! Тогда мы... Ладно, на сегодня хватит. Встретимся — где обычно. Пароль — Черная Ель.

— Слушаюсь, господин начальник, пароль — Черная Ель.

Шаги. Распахивается дверь. Пучок света пробивается и под кровать. Дверь снова закрывается. Темнота, хоть глаз выколи.

Ты переводишь дух и начинаешь массировать затекшую ногу. Да, да, теперь уже нет никаких сомнений. Ну и фрукт этот Удрас! Скоро они расправятся с Растянисом так же, как расправились с Ниле. Растянис... Земля, убеждения... винтовка... Скажем, взял он эту винтовку, но причем здесь мальчик?

Яблоко от яблони... Нет, нет! Кто сказал, что и мальчику грозит опасность? Хотя ему и не грозит, но как же он без матери, без отца?..

Кто этот «господин начальник»? Сметоновский офицер? Безусловно. У них есть кадровые командиры. Сын кулака, помещика, капиталиста? Замаравший себя при немцах невинной кровью? Или всего лишь простой, рядовой патриот? Кого теперь там только нет. Большинство! «...Самое важное, чтобы с нами связало свою судьбу как можно больше литовцев». Почему самое важное? Чтобы возросли шансы победить, чтобы партизанское движение приобрело такой масштаб, который уже нельзя будет игнорировать, чтобы меньше людей было выслано в Сибирь?.. Или всего лишь логика утопающего — утянуть за собой как можно больше тех, кто еще держится на плаву? Вот Визгирда — ни на что уже не надеялся, а все-таки ушел. Нет, неправда; и осужденный на смерть рассчитывает на чудо. Они тоже надеются на чудо. Однако по-

ка оно не явилось, пусть прогремит как можно больше салютов! Чтобы расколотить скорлупу мирового равнодушия! Вот их логика.

Но в чем вина младшего Растяниса?

За дверью тихий разговор. Потом скрип, покашливание, двигают стулья, шуршит одежда, стучат шаги. Щелкнул ружейный затвор.

— Спасибо за тепло, за угощение.

Шаги.

Ушли.

Наконец тихонечко открывается дверь спальни.

— Друскянис! — зовут тихо, но повелительно.

Почему только «Друскянис»? Раньше обращался «учитель», «приятель», «товарищ Анзельмас» или «товарищ Друскянис». А сейчас только «Друскянис». Как внезапно все изменилось.

— Эй, Друскянис! Спишь, что ли?!

В раздраженном голосе нетерпение. Нет, не сплю. Но мне надо подумать, как и что сказать. И вообще говорить ли.

Осторожно и неуклюже выползаешь ты из-под кровати. Встаешь, растираешь, массируешь затекшие суставы, оправляешь одежду, стряхиваешь пыль с рукавов, колен, с пиджака.

Удрас набычился, шея будто кровью налилась. Дорого обошелся ему этот вечер. Уголки стиснутых губ опущены. Обдумывает что-то. И вдруг нервно скидывает голову.

— Слышал?

— Слышал. Куда пропала Ниле?

Глаза Удраса вспыхивают злобой, снова притасают, но остаются острыми, колючими, пронзительными. Белые мелкие зубы поджимают нижнюю губу, нервно покусывают ее. Наконец цедит:

— Ты ничего не слышал, ничего не видал. Ясно?

— Верните мне Ниле!

Лицо Удраса худое, жесткое, жестокое.

— Ша! — шипит он и отворачивается.

Ты дрожащими руками стаскиваешь с гвоздя пальто, ищешь рукав. Лампа просто спит. Слишком долго пробыл в темноте.

Уходишь не простившись.

Выйдя из дома, останавливаешься у порога, вглядываешься в темноту, пока не начинают проступать нечеткие контуры предметов. Тихо шумят ели, где-то лают собаки. Одна начинает, потом отзывается вторая, третья. Брешут вблизи и далеко, по всей кромке горизонта. Это они и возвращаются. Хлопок выстрела. Да, это они. А может, народные защитники? Остерегайся и тех, и других. Беспечному человеку нет места на земле.

Внезапно тебе на плечо ложится рука. Вздрагиваешь и инстинктивно оборачиваешься.

— Чего стоишь? Ослеп? Не знаешь, где дом?

— А-а... Это вы.

— Пошли, провожу.

Удрас не хочет оставлять тебя одного. Непокойно у него на душе. Но Растянису, похоже, этой ночью еще не грозит опасность. Им еще не ясно, как там с этой винтовкой.

Посвечивая электрическим фонариком, Удрас идет следом за тобой к другому концу дома, пропускает тебя в прихожую, ведет по коридору и через зал, говорит:

— Открывай.

А если он меня сейчас?.. И собака не тявкнет. Ушел в лес...

Ты нашариваешь в кармане ключ и снова оглядываешься.

— Открывай, открывай!

Открыл, вошел. Пока ищешь спички, зажигаешь лампу, снимаешь пальто, Удрас стоит у дверей и светит фонариком. Потом пробормотав что-то себе под нос, наверно, «спокойной ночи», уходит. По залу глухо разносятся его шаги.

Ты суешь в топку дрова, разжигаешь и слушаешь, как потрескивает огонь.

Садись за стол, раскрываешь «Всемирную историю». Пробегает несколько строк об образовании Соединенных Штатов Америки и механически переворачиваешь страницу за страницей. Взгляд задерживается на гравюрах Альфреда Ретеля. Долго рассматриваешь, как по горам и долам скачет на резвом коне смерть. Привстав в седле, с пустыми глазами, в шляпе, в ботфортах и с длинной косой, скачет по миру и пугает смиренных бюргеров.

Встаешь, находишь платок и прикрываешь им оставленный Визгирдой череп.

А может, о н и просто собираются отнять винтовку? Им ведь нужно оружие. Придут, отберут, а человека оставят в покое. Разумеется, еще и пригрозят. Ведь они никогда не смогут равнодушно смотреть, как какой-то паршивый новосел вешает на плечо винтовку и начинает шнырять между своей хибаркой и волестью. Кто согласится терпеть ствол, нацеленный в спину? Никто! Дело-то идет о жизни и смерти.

Захлопываешь книгу и снова вышагиваешь по комнате. Глухо звучат твои шаги, и кажется, что кто-то слушает их и не может наслушаться. Снаружи тихо. Ни ветра, ни собачьего лая, ни внятного гула мельницы. Где-то далеко, на краю света, невидимые часы бьют полночь. Бьют громко, звонко, с удовольствием и очень медленно. Пора спать. Завтра на работу. Но разве я засну? Да и печь еще не протопилась.

Зашел ты тогда вместе с Ниле. Растянис вытесывал заготовку для клумпы¹, мальчик сидел над книгой, а дряхлая бабушка топталась возле печи. Завидев гостей, все трое наперебой бросились усаживать вас. Усерднее и ловче всех оказался глава семьи. Смахнул рукавом стружки с единственной табуретки, потом со скамьи, стола и беспомощно развел руками, словно говоря: «Вот так и живем!» Казис, вскочивший, чтобы куда-то бежать, чем-то услужить, насутился и покраснел. Видимо, мальчику стало неловко, что у них так бедно. Ниле дружески улыбнулась ему и что-то сказала. А старушка, трудолюбивая и сообразительная, лепетала беззубым ртом непонятные слова, которые напоминали беззвучно лопающиеся мыльные пузырики. Вы отмахивались, не разрешали угощать себя, но все равно пришлось вам выхлебать по миске картофельного супа и отведать желтого, жирного молозива.

До дверей провожали вас все трое, а до тропинки — один отец. Он был без шапки, ветер трепал его сильно поседевшие волосы и заставлял часто моргать добрые и честные глаза. Прощаясь, Растянис сказал:

— Один я у него. Бабка... видели — больше лежит, чем ходит. На мальчика жаловаться не могу.

В голосе чувствовались и гордость, что вырастил такого сына, и глубоко спрятанная тревога.

Когда он растаял в вечернем сумраке, ты спросил у Ниле:

— А где мать мальчика?

— Еще в самом начале войны ее во время бомбежки...— И она ускорила шаг.

Не уберег я Ниле, неужели и семью Растянисов не удастся спасти? Хватит сомневаться, пора действовать. Этой ночью они больше не явятся. Прежде всего Удрасу следует узнать, действительно ли Растянис принес винтовку. Только потом... А завтра, вернее сказать, уже сегодня у меня будет урок. Нет, ребенку нельзя говорить, чтобы его отец поостерегся или что-то в этом роде. Скажу лишь, чтобы привел в школу отца. Непременно, непременно. Очень важное дело. Когда

¹ Так называют в Литве деревянные башмаки...

он придет, все ему и выложу. О том ночном визите, конечно, ни гу-гу. Себя и других впутывать не стану. Просто по-дружески дам совет. Предупрежу, что и для него самого, и для всей семьи будет лучше, если, ничего не дожидаясь, он покинет свой дом. Куда податься? Это уж его личное дело. Пусть переселяется в волость, в уезд или куда-нибудь подальше... Да, наконец, пусть хоть к чертовой матери катится, лишь бы не дразнить лесных своей винтовкой. А может, лучше вернуть, отнести эту винтовку? Главное, чтобы образумился. Нельзя же так легкомысленно играть с огнем. Тем более что живет не один. Отец должен это понять. А если не поймет? Что ж! Разве это моя забота — беречь человека, который сам не хочет оберечься? Еще неизвестно, что будет завтра. Нет, на этот раз предупрежу. Это мой долг. Долг учителя, человека... А там пусть сам решает.

А как мне самому теперь себя вести? С Удрасом? После всего, что узнал, собственными ушами услышал? Сообщить в волость? Детская наивность. Однажды я уже пробовал. А что вышло? Пшик. Прикинуть, что примирился с существующим положением, и улыбаться гитлеровским усикам Удраса? Знать, что под одной с тобою крышей живет не тужит виновник смерти Ниле, и вместе с тем вроде бы ничего не знать?

Дрова прогорели. Вот только пошурую угли, чтобы не было зеленых огоньков, подожду немножко, закрою вьюшку и лягу спать. Читать не буду. И вообще мне теперь надо меньше читать, а больше смотреть по сторонам, что, как и где. Погрузившись в историю, философию, беллетристику прошлого, можно потерять ориентировку в книге современной жизни.

Но почему я думаю только о себе? Сделаю то, другое, поведу себя так или иначе... А Удрас? Директор мельницы — не малый ребенок, чтобы не понимать, какая опасность угрожает ему самому. Будет сидеть сложа руки и ждать? Отнюдь! Ни за что! «Ты ничего не слыхал, ничего не видал. Ясно?» Что же он предпримет? Захочет отделаться от меня? Или попытается как можно скорее превратить в своего собеседника, друга? И, таким образом, связать по рукам и ногам, заткнуть рот?

Печь давно протопилась, по комнате расплывалось душное тепло. Невидимые, но повсюду слышимые часы пробили час, два, три, однако глаза все не слипаются. Вертишься с боку на бок, считаешь до ста и больше. И снова, по второму кругу.

А если они дознаются, расшифруют? Как? Да очень просто: Удрас и х доверенное лицо, а я единственный, кто слышал тот разговор. Исчезнет с их горизонта Растянис со своей винтовкой, и станет ясно как дважды два, кто предупредил. А тогда не только конец моему покою, но и прошлой жизни! Исчезну, уеду куда-нибудь — еще явственнее докажу свою вину. И потом куда мне деваться? Где найти такое местечко, чтобы не дотянулась туда мстительная рука?

Вспомнил, что у тебя сохранилась одна американская сигаретка с опиумом. Купил за пятерку у бродящего по дворам спекулянта. Был тогда соблазн приобрести целую пачку, но пожалел денег. Вернее, не столько пожалел, сколько побоялся, что после такого курева обычная сигарета или папироса покажутся, как говорит Удрас, без характера и без сексопила. Купил ту единственную и берег на черный день, на день Икс. Этот день, возможно, наступил.

Встал, разыскал в ящике стола эту сигарету, снова лег и закурил. Дым как дым, только немного сильнее, а может, и ароматнее. Когда-то, кажется, ты уже втягивал похожий. Вполне возможно, что во сне. Однако нет, вроде бы забирает. Еще разок, еще! Тяни! Тяни! Глубже, сильнее! Вот так, вот так, Анзельмас! Пульс учащается, наступает что-то вроде опьянения. Странное такое чувство: опьянение не в голове, а в глазах, под сердцем, во всем теле. Мысли замедляются, светлеют, успокаиваются, истаявают.

Сигарета кончилась, и ты лежишь с широко открытыми глазами. Лежишь навзничь, смотришь в темноту и тихо повторяешь: «Я должен заснуть, должен заснуть...» Ниле! Нагая. Абсолютно нагая. Икупалась в пруду или просто так?.. Приближается. Легкая, грациозная, соблазнительная. Останавливается, смотрит широко раскрытыми глазами. Тихо вскакивает и... отступает. Все дальше и дальше.

— Ниле!

Бьют часы. Сколько раз? Один, два, три... «Надо заснуть...» К черту Ниле, Удраса, Растянис! «Всемирную историю», скелеты! Все к черту! Надо заснуть; мне необходимо хоть немножко подремать.

Тишина, какая тишина!

Приходишь в себя постепенно, медленно. Сначала пошарил вокруг, нащупал одеяло, половицы. Но как оказался я на полу? Упал? Наверно. Хорошо, что кровать невысокая. По лбу, по лицу, по груди струится пот. Голова кружится. Слишком рано задвинул вьюшку. А может, всему виной американская сигарета?

Ты медленно встаешь; придерживаясь за кровать, стены, стол, кое-как доходишь до окна и распахиваешь ставни. Утро. Серое мартовское утро. Деревья, кусты, дома тонут в липком белесом тумане. Открываешь окно. Утренняя прохлада отрезвляет тебя. Отходишь подальше от окна. Противно кружится голова.

По дороге в школу ты увидел стоящего возле дровяного сарая Удраса, и снова все заслонил Растянис. Сегодня ты встретишься с его сыном. Хорошо, что путь до школы не близок, у тебя еще будет время подумать, обмозговать, кое-что сообразить.

Ты приподнял шапку, а Удрас сначала окинул тебя долгим взглядом и лишь потом молча кивнул. Миновав его, ты обернулся, ваши глаза снова встретились. Не удавалось отделаться от мысли, что он все время провожает тебя долгим, подозрительным, ничего хорошего не сулящим взглядом. И Растянис тоже словно брел рядом, а когда вы подошли к школе, которая уже гудела, как пчелиный улей, он взглянул на тебя, как и те — из окон, дверей, ты увидел бегающие по двору ноги, мелькающие руки... Множество лиц, рук, ног. О, если бы я мог быть таким, как они!

Звонок.

Нету. Может, пересел за другую парту? Нет, не видать.

— Где Растянис?

Ученики переглядываются. Смотрят на тебя, смотрят друг на друга, смотрят в окно. Они что-то знают.

— Кто дежурный?

— Я.

— Где Растянис?

Старший Удренок осторожно, не спеша обводит взглядом класс и замирает, уставившись в одну точку. Его красивое лицо настороженно, на губах загадочная улыбка, уши слегка торчат, под носом след чернил. Всем своим видом он как бы говорит: «Откуда мне знать? Я только сын Удраса». Но, скорее всего, что-то знает и молчит.

— Не пришел, — отвечает за него Кизните и отворачивается.

— Не пришел, — повторяешь ты с тревогой и странным предательским облегчением, словно сбрасывая с плеч огромный груз.

Может, еще придет? Впрочем, Растянис никогда не опаздывает. Это самый образцовый ученик во всем классе. Еще не было случая, чтобы он опоздал или явился в класс, не выучив урока.

Растянис не пришел. Никогда не придет? А может, оставить класс, бросить все и отправиться на поиски? Так-то оно так, но куда я пойду? Ведь за каждым моим движением следят.

Больше не спрашиваешь, кого еще нет. Ученики сидят тихо и спокойно, не глядя на тебя, только то и дело посматривают на дверь, слов-

но боятся, чтобы кто-то незаметно не прошмыгнул в класс и не занял пустое место, которое зияет, как яма свежевыкопанная и ждущая. Никто не поднимает руки и не просит, чтобы его вызвали. Нет, сегодня ты не станешь никого спрашивать.

Ты дважды прочитал стихотворение Гете «Лесной царь», перевел, попросил нескольких учеников повторить перевод, выписал на доске новые слова, велел выучить наизусть первые четыре строфы и встал возле окна, спиной к классу.

Сначала в твоих ушах звучал тихий шепот многих губ:

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик¹.

Но этот шепот постепенно угасал, а перед твоими глазами оставался за окном лишь нечеткий мутный день, в котором тонули высокие ели, придавленные серым небом.

А может, когда они вышли из дома, Удрас сказал, что у Растяниса уже есть винтовка? Точно знает, потому что видел собственными глазами. Просто не хотел говорить в спальне, чтобы не услышало постороннее ухо.

Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?

Чей это голос? Растяниса? Но ведь его нет в классе. На кой черт я велел им выучить наизусть это стихотворение? Зачем мне это понадобилось? И в чем тут моя вина? Ведь я только смотрю в окно. Смотрю на оттаивающие после зимы поля, на эти нечеткие силуэты елей, на серое небо... Еще раньше, давным-давно, наверно, с самого первого дня моей жизни я смотрел на эти черные ели, застывшие на фоне кровавого солнечного диска, и думал... Нет, не только думал, меня со страшной силой влекли, тянули к себе розово-синие закатные дали с таинственными черными башнями. Я даже во сне уходил туда, и ноги бывали легкие, невесомые. Уходил и не мог оторвать глаза от тех черных башен, тонущих в золотом круге. Это было во сне? Стоило лишь подумать о той стране, как становилось хорошо и спокойно на душе.

В руках его мертвый младенец лежал...

Что? Что они там шепчут? Разве я велел учить наизусть до конца? Один только Растянис с самого начала выучил все стихотворение. Хотя я этого не задавал. Он продекламировал вдохновенно и трогательно, а ты погладил его по голове и сказал: «Браво, Казис». А эти!.. Мертвый младенец лежал...

— Замолчите!

Глаза всего класса устремлены на тебя.

— Наизусть пока не нужно,— говоришь ты уставшим голосом, хватаешь классный журнал и поспешно выходишь.

Точно. Они что-то знают. Разве сидели бы так спокойно, доверчиво, если бы ничего не знали? А сам я разве не знаю? Знаю, и знаю лучше, чем все они вместе взятые. Знаю, что человеку грозит смертельная опасность, но ничего не делаю.

Теперь я пойду домой, что-нибудь поем, а там видно будет. Конечно, надо поостеречься Удраса. Он всегда встречается в тот момент, когда меньше всего этого хочешь. Что за человек? Постоянно колет свиней... Откуда они? Принадлежали бежавшему барину? Видимо, да. Почему молчит пани Клеопатра? А что она может сказать? Ну, разумеется, две-три он может выкормить и сам. Мясо? Зачем ему столько мяса? В Ригу возит? Да, возит в Ригу. Добыл себе отличную лампу, курит хорошие сигареты, одет-обут, сыт, в карты поигрывает, гостей угощает... А с ним и небось давно уже плечом к плечу.

¹ Здесь и дальше перевод с немецкого В. А. Жуковского.

Стоит. Удрас все еще стоит. Вроде бы разглядывает прохудившуюся крышу дровяного сарая, а в действительности ждет меня? Посматривает на вороньи гнезда? Нет, только ждет. Ясно, кого.

Встречи не избежать. Слишком поздно заметил. Не следовало мне уезжать из города. Лучше жить впроголодь в городе, чем тут, под боком у Удраса, быть сытым. Но все... думалось, что будет лучше с питанием, спокойнее...

— Подойди, подойди поближе, товарищ Друскянис.

Утром ничего не сказал. Видимо, я был не нужен. А теперь что-то хочет сообщить.

— Не закуришь ли?

Заискивает. Этого портсигара я у него вчера не заметил. Нозый, сверкающий, с вмонтированной зажигалкой. Опять похвастается, что немецкий? Нет, ничего не говорит. Сначала прикуривает сам, потом протягивает огонек тебе. Не дрожит ли у него рука? Или показалось?

— Что нового?

— Где?

— В школе.

Раньше никогда не спрашивал. Даже не осведомлялся о собственных детях. Откуда же эта внезапная перемена? Но мне ни к чему выдавать, какие мысли бродят у меня в голове, какие планы там зреют. Еще не время. Если хочу остаться живым и здоровым, Удрас ничего не должен знать о моих замыслах и намерениях.

— Ничего нового.

— Вот и ладно. Новости теперь редко бывают хорошими. Пока ничего не знаешь, можно считать, что все хорошо.

Наверняка уже что-то знает. Безусловно, что-то знает. Но что?

— Вот явились среди ночи,— уставился он на тебя.— А что ты им сделаешь?

Ты отводишь глаза от его, маленьких и вьедливых.

— Ничего не сделаешь. Когда хотят — приходят, когда хотят — уходят. Радуйся еще, если приходят, как люди. А те... другие, ничего поделаться не могут. Нос у нас не дорос преградить и м дорогу, спутать их планы.

Какие планы? Намек? Какой? На Растяниса?

— А поперек пойдешь... Они долго цацкаться не любят.

С этими словами Удрас берет стоящую возле дровяного сарая палку и постукивает по голенищу. Потом не спеша рисует ею на снегу сердце и... втыкает конец палки в самую его середину.

— Вот, товарищ Друскянис, что нам следует помнить.

Да, сомнений быть не может, это ясный намек. Даже не намек — обдуманная, недвусмысленная угроза.

— Так, говоришь, в школе ничего нового?

Что ему надо? Чтобы туда притащили мертвого Растяниса? Но почему мертвого? Ведь он и еще не знают, что он принес винтовку.

— Пока ничего.

— Будет время, загляни.

Снова начинается. Нет, от Удраса мне так легко не отделаться. Не собирается он отказываться от своих планов.

— Спасибо.

И ты отошел, чувствуя, что почти совсем созревшее решение сразу же идти к Растянисам поколеблено и на смену ему приходит гнетущая усталость.

Очутившись в своей комнате, ты запер дверь, скинул пальто и завалился на кровать. Улегся на спину, заложил руки за голову, взгромоздил ноги на высокую кроватную спинку и попытался задремать. Но сон не брал.

Когда комната начала погружаться в полумрак, тебе вспомнилось, что чуть ли не каждый вечер младший Растянис посещает мнани Клео-

патру. Не раз отчетливо доносились до тебя звуки фортепиано. Прислушался. Тишина. Только с крыши дома все еще падали на жестяную крышу пристройки большие и редкие капли. Дело к вечеру. Весна приближается. Что она принесет? Растяниса не было в классе, наверно, и к пани Клеопатре не придет. А если попытаться через нее? Вероятно, она очень любит этого парнишку, если занимается с ним. Может, зайти? Поговорил бы, посоветовался, глядишь, и какой-нибудь выход нашли бы. Но одно дело — любить талант, который заложен в Казисе, и совсем другое — любить его самого. «Приходил — хорошо, больше не придет — еще лучше». Занималась только потому, что не могла равнодушно смотреть, как гибнет у мальчишки талант. А с политикой она не желает иметь ничего общего. Разве ей мало, что не пришла Ниле! Разве у нее, у пани Клеопатры нет глаз, разве она не видит, что творится вокруг!

Опять тишина. Кажется, само время разбилось в мельчайшие брызги льда. Нет, оно окоченело.

Время наваливается на грудь, заполняет все пространство, но мозг твой работает ясно и четко.

У пани Клеопатры отдельный вход. Лестница в несколько ступенек, по сторонам ее два каменных сфинкса, у одного из них отбита голова. Скрипит тяжелая дверь; прихожая; перед тобой старый тяжелый шкаф со старинным гербом; справа и слева двери. Левая дверь крест-накрест забита досками, справа пани Клеопатра со своими думами, тоской и одиночеством.

О-о! Ты ничего не забыл из виденного неоднократно. За забитой дверью жила Ниле. А вот пани Клеопатра помнит далеко не все. После таинственного исчезновения Ниле она очень изменилась. Сразу постарела, сгорбилась и замкнулась в себе. Можно сказать, стала совсем другой. Особенно неприятно ощутил ты эту перемену, когда зашел к ней вместе с представителем волости, чтобы переписать ее движимое и недвижимое имущество.

— Ничего у меня нет, господа, совершенно ничего, — сказала она тогда.

— Так-таки ничего? — попытался ты пошутить, но сразу же пожалел об этом.

Старушка подняла на тебя пустые глаза, вздрогнула, словно вспомнив что-то неприятное, и мелкими, мышинными шажками, сгорбившись, засеменила за выступающий чуть не до середины комнаты старинный шкаф. Вскоре вернулась, держа в обеих руках маленькую металлическую шкатулку на гнутых ножках. Небрежно перевернула, сердито встряхнула. Посыпались клубочки, катушки — пустые и с нитками, разноцветные лоскутки, желтый наперсток, пуговицы, булавки, иконка... по столешнице покатился маленький почерневший шершавый зубик. Чей? Сына? Дочери? Внука? Я ведь почти ничего не знаю о ней.

— Описывайте, берите, уносите!

Она стояла с нездоровым румянцем на лице и с дрожащими от беспомощности губами над этой оскверненной шкатулкой, которая показалась тебе похожей на детский гробик. Стояла маленькая, дрожащая, бесконечно старая и никому, абсолютно никому не нужная.

Ты страшно смутился и почему-то забормотал по-французски:

— Это я, мадам Клеопатра, Ансельмас, учитель Друсканис. Разве вы меня не узнаете?

Ее глаза живо заморгали, в них проблеснула далекая надежда, словно они узрели мираж в пустыне, но тут же вновь угасли. Она схватила со стола загадочный зубик, зажала его в немощных, высохших пальцах, будто ему грозила какая-то опасность.

— Теперь все учителя и все свои.

Тогда, поняв, что прежней пани Клеопатры уже нет, ты оставил того человека из волости, а сам ушел.

Очутившись в прихожей пани Клеопатры, на ощупь отыскиваешь правую дверь и тихонько стучишь. Подождал немного и снова стучишь. Видишь пробивающийся в замочную скважину неяркий лучик света — дома. Стучишь погромче.

За дверью неуверенное шарканье.

— Это ты, мальчик?

Такого вопроса ты не ожидал и не сразу находишь, что ответить. Поэтому стучишь еще раз.

— Кто там?

Голос встревоженный, дрожащий. И бесконечно старческий.

— Это я, пани Клеопатра.

— Кто? Кто такой?

— Учитель... который тут живет.

— А-а, учитель. Снова описывать?

— Нет, на этот раз нет, мадам Клеопатра!

— Так чего же вам?

Боится. Знать ничего не знает, а боится. Почему люди стали так бояться друг друга?

— Я по очень важному делу. Спрошу кое о чем и сразу же уйду.

Тишина. Только глухой стук сердца. Моего собственного или пани Клеопатры?

Что-то поскрипывает, едва слышно позвякивает, щелкает замок. Дверь осторожно приоткрывается, резко брякает цепочка, натянувшаяся поперек возникшей щели. Откуда цепочка? Раньше не было. Или я просто не замечал?

— В чем дело?

В костлявой руке вздрагивает свеча, на пальцы капает растаявший горячий воск, но пани Клеопатра этого не чувствует. Она очень старая и встревоженная.

— Что случилось?

— Простите, пани Клеопатра, что я так поздно. Хотел только узнать, не заходил ли к вам Казис Растянис.

Пани Клеопатра испуганно смотрит сквозь щель, потом косит глаза в одну, в другую сторону, словно ждет чьей-то помощи.

— Т-с-с! Не было и не знаю, будет ли.

— Почему?

— Его отца увели.

— У-ве-ли?

Значит, все. Уже все. Но я еще тяну.

— Когда? Кто? А он... сам?

— Не знаю, ничего не знаю.

Уже проговаривая эти слова, пани Клеопатра всхлипывает, подсвечник в руке дергается, и свеча гаснет. Полный мрак. Ты ничего больше не видишь, только слышишь безутешный плач.

— Пани Клеопатра, пани Клеопатра,— шепчешь ты.

Хлопает дверь.

Ты остаешься один.

Что же еще ждешь?

Тянешь руки, нащупываешь дверь. Да, закрыта. Медленно, осторожно начинаешь пятиться. Натыкаешься спиной на какой-то твердый, угловатый предмет. Остановившись, снова на ощупь находишь входную дверь и с грехом пополам выбираешься в ночь. Никогда прежде не чувствовал ты себя таким беспомощным и таким одиноким. Хочется завывать от безнадежности.

Шаги. Осторожные, крадущиеся, как шаги кошки.

— Кто там?

Никто тебе не ответил. Только за голым кустом персидской сирени хрустнула ледышка.

Следят. Удас бдительно наблюдает за каждым моим шагом.

Он все слышал.

Лишь очутившись в большом зале, вспомнил, что, уходя, погасил свою лампешку да еще прикрыл дверь. Поэтому оказался в крошечной темноте. Протянув вперед руки, как в незапамятные времена тебя, совсем еще маленького, научила мать, ты очень медленно и осторожно продвигался вперед. Тут припавшее на обе ножки фортепиано, там, справа, грозно гремят старинные рыцарские доспехи без шлема, чуть левее массивный бильярдный стол, прямо перед тобой должна висеть картина в золоченой раме, на которой с каждым днем все дальше и дальше отступает вглубь человек с подкрученными усами, держа в руке палку со сверкающим золотым набалдашником, а по обеим сторонам от картины множество всяческой мебели, домашней утвари и разного старого барахла. Как прекрасно запомнил ты все это! Вершок за вершком, пядь за пядью, шаг за шагом и... Что это? Твои вытянутые вперед, ищущие руки утыкаются во что-то круглое, скользкое и холодное. Пальцы растопыриваются, и ты с ужасом ощупываешь нечто. Нога? Нога висельника! Амины! Теперь всему амины! Содрогание и жуткий крик. Долгий, леденящий душу... Тело твоё растворяется. Тебя нет, пустота. Пустота небытия. Впрочем, думать ты еще думаешь. Голова плавает в темноте и светится. Плотные, толстые, как щетина, волосы. И они тоже светятся. Что-то вонзается, проникает в мозг, доходит до горла, сжимает его... И снова крик. И в наступившей тишине — топот ног, скрип снега за невидимыми окнами. Кто-то убегает. Почему убегает? Испугался? А может, это я сам снова вскрикнул? И раньше, когда наткнулся на эти скользко-холодные ноги, и теперь? Наверно. Опять крик. Мой или нет? Как не взорвался я от такого крика? Жив ли еще? Тан-н-н, тан-н-н! Часы? Я мыслю, я слышу, я живу! Моя комната слева. Спазм постепенно отпускает руки. Пропадает ощущение чего-то холодного, осклизлого. Да, я еще жив. Касаюсь ладонями головы — волосы стоят дыбом.

Если бы не этот глухой топот за окнами, не удаляющийся скрип снега, а особенно не бой часов за стеной, ты, скорее всего, окаменел бы, превратился в мумию.

Скованный ледяным ужасом, ты с грехом пополам отыскиваешь собственную дверь. Входишь и долго стоишь в темноте, вслушиваясь в каждый звук. Ничего, абсолютно ничего, только бешено и глухо стучит сердце.

Зажигаешь лампу. Осматриваешь руки: ладони влажны и посинели. Принюхиваешься: пахнут дымом и... кровью. Трешь их, приглаживаешь все еще вздыбленные и жесткие волосы.

Немного очухавшись и успокоившись, закуливаешь и вспоминаешь другие странные явления, которые пугали тебя и заставляли постоянно быть начеку: таинственные звуки пианино в полночь, загадочные скрипы на чердаке, чьи-то вздохи, стоны...

Что могло там быть? Неужели висельник? Откуда? Растянис? А как он сюда попал?

Нет, надо убедиться самому. Недолго думая, хватаешь лампу и, преодолевая страх, выходишь в зал.

Когда свет разогнал мрак, ты даже плюнул от досады и разочарования. Оказывается, напугали тебя копченые окорока недавно заколотой свиньи. Ясно — из запасов Удраса.

Ты еще раз сердито сплюнул, прошелся по жуткому залу, заглянул в другую комнату, вышел через коридор в запущенную кухню и снова очутился на воздухе. Светит спокойный месяц, мирно блестит снег. Кое-где лениво летают легкие снежинки. Долго разглядываешь безмолвное небо, черные ели, дремлющую неподалеку старую мельницу и никак не можешь представить себе, что в такую тихую ночь, может быть, даже в это самое время где-то в лесу... что такой ночи, наверно, никогда уже не увидит Растянис или кто-то другой.

Осторожно опускаешь лампу на ступеньку лестницы, свет ее желтеет в свете луны, проходишь за угол дома. Возвращаясь, натыкаешь

ся на крыльце на какой-то предмет. Поднимаешь лампу, освещаешь... Желтая кобура! Быстро подбираешь, дрожащими от нетерпения и волнения пальцами отстегиваешь и вытаскиваешь... «вальтер»! Немецкий «вальтер»! Сразу же вспоминаешь поспешное топтание за окном и замечаешь на снегу свежие следы убежавшего и падавшего человека. Становится ясно, кто-то крался к дому, возможно, собирался войти, но, услышав твой жуткий, полный ужаса крик, перепугался и удрал. Удрал, выронив пистолет.

Ты растерянно стоял, держа находку в руке, и не знал, как поступить: оставить на лестнице или взять? Взять-то взять, но куда спрятать? А если обыск?

Не взять тоже нельзя — следы четко отпечатались на снегу. Явятся из волости, все расследуют, ухмыльнутся и заявят: «Хватит болтать чепуху, контра, тебя выдают следы! Выбрался среди ночи из дома, выбросил оружие и ищешь дураков. Не на таких напал!»

Скажешь: «Шел, увидел и взял». — «Тогда почему не принес нам, народным защитникам? Общего порядка не знаешь? А еще учи-тель! На кой черт народу такие учителя!» А потом без конца: почему, почему, почему?..

Так что делать? Версия находки «вальтера» крайне неубедительна. Как же! Так он и ни с того, ни с сего и потеряют! Крик?! «Криком бандита не испугаешь! Можешь бабушке своей такую чушь молоть!» К тому же на кобуре и на пистолете отпечатки твоих пальцев.

Хоть бы снег пошел, да побольше! Замел бы следы. А я обтер кобуру и «вальтер», бросил бы там, где нашел, и концы в воду. Но тут, как нарочно, небо прояснилось: белый лик луны и серо-синее небо. Хоть какое-нибудь облачко, что ли! Лишь лениво парят невесомые снежинки.

Если бы не эти следы, тогда другое дело. Бросил бы, и пускай себе ждет другого такого «счастливчика».

А может, безопаснее все-таки взять пистолет? Взять и снести в милицию? У тебя что, с головой неладно?! Разве один раз ты уже не был там из-за Ниле? Что тогда сказали, что посоветовали, чем помогли? Кукиш под нос. И после того явился с оружием? Сразу же утопят в болоте расспросов, допросов, подозрений. Хорошо тот, кто подхалимничает перед начальством, но еще лучше тот, кто не мешает ему делать свое дело. А если еще проводят об этом в лесу, тогда прощай, жизнь!

Но взять — еще не значит перед кем-то похвастаться!

Ты долго стоял на лестнице, не в силах принять решение. Искал аргументы за и против, сравнивал, обдумывал, оценивал. В конце концов окоченевшими от мороза пальцами взял кобуру с пистолетом и снес в комнату. Но тут началось все сначала.

Куда положить? Где припрятать? На печке? Хорошенькое местечко! Под самым потолком выступает орнамент карниза... Голова ты, голова! Если вдруг обыск, то первым делом туда нос и сунут. В зале? Среди рухляди? Заберутся дети. Эти Удрасовы наследники. Оглянуться не успеешь, а они уже копаются, разнюхивают, лазают по этой свалке. В прятки играют, книги рвут, порох поджигают... Не хватает только, чтобы кроликов своих сюда перетаскали! Найдут и, разумеется, чертovo отродье, захотят испытать. Глаз выбьют, зубы повышибают, мозги друг другу разбрызгают, кишки вывалят... Навсегда покалечат! И что тогда? Я буду виноват. Видел опасность, знал, что над головой нависла, но не отвел от несмышленных мальцов.

Нет, этот вариант тоже не подходит. Не могу же взять на свою шею и на свою совесть еще и эту ответственность.

В конце концов, совсем измучившись и потеряв всякую надежду придумать что-нибудь дельное, ты сунул «вальтер» под подушку. И тут родилась новая идея: почему бы не вынуть пистолет из кобуры, не завернуть в бумагу и не упрятать в шкаф? А? Хотя бы на время? Ра-

зумеется, ты хорошо понимал, что и это место не вполне надежно: вдруг обыск? Ткнул штыком и сразу обнаружат. Но что делать? Утопающий и за соломинку хватается.

Ты завернул пистолет в старую вощаную бумагу, распорол тюфяк, спрятал в сене и снова зашил. Потом прихватил лампу и отнес кобуру в зал. Долго искал надежное местечко. Не найдя ничего лучшего, подняла тяжелую и скользкую крышку фортепиано и положил кобуру на струны.

Выходя из зала, еще раз осветил висящие окорока, глянул на них с дикой ненавистью и еще раз в сердцах сплюнул.

— Это ты, падаль проклятая, во всем виновата!

А может, лучше сходить к пруду? Неподалеку от мельницы есть местечко, которое никогда не замерзает. Но Удрас?.. А если... Удрас сам? Специально подбросил на крыльцо пистолет. Вроде ловушки... Ведь больше никто по этой лестнице не ходит. Найду, возьму, а потом все пойдет как по-писаному: небольшой обыск и... оружие! Вот как придумано! Хитер, черт. Вообще-то ему необходимо было найти какой-то выход после того, как я услышал их разговоры. Теперь Удрас разделяется со мной чисто, по всем правилам и тихо. Руками самих же народных защитников. Так и только так. Ведь, если хорошенько подумать, как могли они и потерять оружие? Да еще в таком месте — на ступенях крыльца? Что-то тут не так. А вот Удрас — другое дело. После всего случившегося ему любой ценой надо от меня отделаться. Отделаться ради святого спокойствия, для собственной безопасности. И ночное посещение, и угощение, и разговоры за столом, и Ниле, и Растянис — все спишется. Свидетели — его гибель. Однако сам марать руки Удрас не хочет. Подозрение, шум, следствие... Зачем ему это? Пускай уж лучше стробы расправятся. А он лишь положит на нужное место «вальтер», который однажды уже пощадил его. Да, да, пощадил. Пусть поможет еще разок. Все ясно, просто. И гениально. Недаром Удрас голову на плечах носит.

Каждой клеточкой своего тела, каждым нервом ощущал ты под собой страшный «вальтер».

Утро было хмурым и холодным. Ты совсем забыл, что надо истопить печку. Идти в школу или нет? Ответом на вопрос был громкий стук в дверь. Ты вскочил с кровати, подбежал к двери. Перед тобой стоял человек. Крупный, в сером ватнике, широко расставив ноги, он сжимал обеими руками ствол винтовки.

— Учитель?

— Учитель.

— Друскянис?

— Да, Друскянис.

— Повестка вам.

Ты взял маленький, сложенный пополам листок. И неприятно ощутил, как дрожат руки. Придвинулся к окну. Буквы мельтешили, прыгали одна на другую, расступались, сливались, колыхались. Кое-как ты их усмирил и составил в предложения: «Сегодня, т. е. 23 марта с. г., вы должны явиться в волостное отделение милиции. При себе иметь паспорт, военный билет или другое удостоверение личности. В случае неявки вы будете привлечены к уголовной ответственности». Последняя строчка была подчеркнута красными чернилами. Подчеркнута сердито и жирно. Подпись неразборчива. Но ты уже знал, кто скрывается за этой неразборчивой подписью. Это латунные зубы, горбатый, хищный нос, безгубый рот, чугунный подбородок и подозрительные глаза.

— Следуйте за мной.

Ты обернулся. Мужик, держа винтовку за ствол между расставленными ногами, все еще стоял в дверях.

— Куда... товарищ? — ~~прямаяли ты~~

— Живее, живее!

— Я не знаю...

— Даю пять минут.

Что происходит? Неужели успели пронюхать? Скорее всего.

Ты поспешно надел пиджак, пальто, нахлобучил шапку...

— А штаны, гражданин?

— Какие штаны?

— Белены объелся или еще какого черта?

Лишь теперь ты заметил, что толчешься в одних подштанниках.

— Извиняюсь, товарищ, что... заставляю вас ждать.

— Кончай сборы!

Куда он меня поведет? На расстрел? К чему же тогда та бумажка? На очную ставку с Удрасом? Но разве Удрас может попасться? Нет, тут, видимо, что-то совсем другое.

Во дворе стояли запряженные парой коней широкие сани, в которых около пулемета серо-зеленого цвета сидели двое военных. Один из них дымил огромной «козьею ножкой», а другой возился с автоматным диском. Кожух тупорылого «максима» похож на цилиндр маслобойки, а вылезавший из него и направленный на окно пани Клеопатры тонкий и черный ствол — на злобно высунутый язык. Чуть в стороне, возле колодца, расхаживал тот вооруженный мужик в штатском и поглядывал на верхушки деревьев.

Двоем поднялись вы по широким мраморным ступеням парадного входа и вошли в распахнутые двери комнат пани Клеопатры. И двери прихожей, и дверцы шкафов, старинных и тяжелых, и дверь комнаты, где жила Ниле, и даже дверка огромных часов с медными гириями — все настезь. Казалось, что тут только что пронесся сторукий ураган. Пол был завален книгами, одеждой, предметами домашнего обихода и утварью, всевозможными мелочами и листками бумаги. Маленькая посеребренная шкатулка, похожая на детский гробик, была вытряхнута и брошена возле дверей. За круглым столом сидел, сдвинув на затылок солдатский треух, мужчина и, позевывая, что-то писал. О присутствии второго свидетельствовали только сапоги: он лежал на спине под фортепиано и что-то искал в его брюхе. Пахло махорочным дымом, дегтем и ворванью.

А где же сама пани Клеопатра? Неужели ее выгнали или где-то заперли? Может, у Удраса? Нет, где же еще ей быть, вон тихонько притаилась в уголке, за скомканной постелью. Сидит, кутаясь в рыжую шубку, засунув руки в рукава, и молчит. Смотрит перед собой бессмысленными глазами, непрерывно покачивает головой.

Обыск? Да, по всему видать, обыск. Но что они ищут у пани Клеопатры? Донесли? Кто-то навел? Из этой квартиры исчезла Ниле. В эту комнату приходил Казис Растянис... Растяниса небось уже точно взяли.

Сидевший за круглым столом человек встал, подошел к фортепиано и ткнул ногой по торчавшему оттуда сапогу.

— Хватит тебе копаться, Шальтис! Слышишь?

— У Крамшиса в такой бандуре целый склад обнаружили, — слышался бодрый голос. Однако копался этот Шальтис под фортепиано еще недолго. Вылез. Совсем еще молодой парень с непокрытой головой. В руке немецкий штык. Взял стоящую в углу винтовку, насадил на нее штык и швырнул на лакированную крышку фортепиано. Винтовка глухо стукнулась, пани Клеопатра вздрогнула и перестала качать головой. Бросила на парня укоряющий взгляд, но постепенно снова принялась раскачиваться.

А меня?... Какого черта меня сюда притащили? В свидетели? Я же ничего не знаю.

— Товарищи, у меня уроки.

Военный в сдвинутой на затылок шапке, словно только этого и ждал, пододрнул мне мелко исписанный лист и сказал:

— Распишись.

Расписываться? Почему? Не ловушка ли это?

— А зачем?

— Ты свидетель, все по закону. Ничего не пропало, ничего не испорчено, огнестрельного оружия не нашли и все прочее.

Ты исподлобья оглядел комнату: беспорядочно наваленные одежки, опрокинутые вещи. Черт теперь тут разберется, пропало ли что-нибудь, испорчено ли. А фортепиано уж точно пострадало. Ведь этот парень не клопов же там штыком искал. Ты смущенно глянул на беспрерывно раскачивающуюся старушку и пробормотал:

— Так ведь я только сейчас...

— Пошевеливайся, пошевеливайся,— поторопил тот, кто писал.

— Живее, живее,— поддержал его другой, который привел тебя сюда.

— Пиши, сынок, пиши,— вмешалась все время до сих пор молчавшая пани Клеопатра и прикрыла ладонями глаза.

Ты взял протянутую ручку и черкнул свою фамилию.

— Можешь идти,— приказал писавший.

Ты поднял голову, и твои глаза встретились с глазами пани Клеопатры. Старушка дернулась и протянула высохшую руку в сторону стоящей поблизости этажерки.

— Это ваше.

Ты сразу же заметил книгу, обернутую в серую бумагу, там аккуратно были написаны твои собственные имя и фамилия. Почерк Ниле? Так ли? Да, точно ее. Значит, Витурите еще сама собиралась вернуть книгу. Не довелось. Встретимся ли мы еще когда-нибудь, Ниле?

Ты взял книгу, кивнул пани Клеопатре, вздохнул и вышел. Но не успел еще спуститься по лестнице, как тебя окликнул народный защитник, который вручал повестку:

— Эй, ты, что за книгу прихватил?

Ты остановился и показал ему обложку. Мужик подошел, наклонился и стал по буквам разбирать название.

— L'amant...

— Что еще там за литература? — послышался из-за двери нетерпеливый голос того, кто писал.

— Гм... какая-то буржуйская галиматья.

— Посмотри автора.

— Слушаюсь, посмотреть автора! Сейчас, сейчас... Карл Маркс,— хитро ухмыльнувшись, ответил народный защитник. Потом заговорщицки подмигнул тебе. Только теперь ты заметил, что это уже немолодой человек с печальными, отвисшими, будто влажными усами. Его скулы блестели, как розовые райские яблочки. Ты благодарно кивнул.

— Отставить! — снова послышался голос из квартиры.

— Кругом! — скомафдовал усатый. — Ша-а-гом марш!

— Куда?— спросил ты, не веря в счастливый исход.

— В школу.

Ты поспешно спустился по лестнице. Увидев грязно-зеленый пулемет, толстый ствол которого уставился прямо на тебя, ты снова вспомнил о повестке.

Растяниса в классе не было. Ты не проверял, кто в тот день не пришел в школу. «Лесного царя» не выучил никто. Велел выучить в классе, а сам встал у окна, чувствуя, какой бесконечно пустой коридор за дверью. Дети, как и вчера, бормотали, шептали малопонятные им слова, а твой взгляд блуждал по уже тронутому весной полю, по серому небу, пока не остановился на застывших елях, которые все больше вылезали из белесого тумана. Наконец их острые верхушки стали черными и отчетливыми, как зубья огромной пилы.

Дома спрятанный в тюфяке «вальтер», а тут, в моем собственном кармане повестка из милиции. Казис Растянис опять не пришел и едва ли когда-нибудь придет. Крепко Удрас меня подставил. Но куда он

сам подевался? Ни разгуливающего, как обычно, по двору, ни при обыске у пани Клеопатры, ни «дежурящего» возле дровяного сарая... Нигде. А для чего ему? Свое дело он сделал. Сделал тихо, спокойно и скрылся с глаз.

Еще в парке, когда шел из школы, тебя встретила громкая и бодрая песня:

Все выше и выше, и вы-ы-ше
Стремим мы полет наших птиц...

Ты остановился, прислушался. Песня доносилась из дома. Ясно, это у Удраса. Что надлежало, они сделали, теперь довольны и могут развлекаться. Вручили повестку, описали имущество пани Клеопатры, обыскали ее жестяную шкатулку на серебряных ножках, поковырялись в фортепиано, проверили, чтобы никто не вынес и не стал распространять запрещенную литературу, и теперь спокойны. Спокоен и Удрас. А чего ему волноваться? Он тоже выполнил свой долг. Выполнил по-деловому, проворно, талантливо. Ни тени подозрения на него не упало и не упадет. Так почему бы ему теперь не угостить дорогих гостей? Тех, которые скоро сами, собственными же руками расправятся с ненужным свидетелем, вернут директору мельницы душевное равновесие и возможность трудиться на благо человечества.

Пройдя еще несколько шагов к усадьбе, ты свернул к хлеву, каменному и мрачному, чтобы незаметно, с другой стороны попасть в свою комнату. Пулемет грязно-зеленого цвета все еще стоял на широких санях. Только солдат больше, пять или шесть. В полушубках, с автоматами на груди, они собрались в кружок, незаметно передавая из рук в руки бутылку самогона; отхлебывали прямо из горлышка, дымили толстыми самокрутками. Значит, Удрас и про них не забыл. Немного в стороне, у забитых досками окон зала, нетерпеливо топтался шикарный рысак, запряженный в роскошные санки. Стоило жеребцу мотнуть головой, как весело и светло позвякивали многочисленные бубенцы. Такую сбрую с шорами тебе доводилось видеть и слышать разве что на богатых свадьбах или когда мимо вихрем проносились господа... Значит, эти ехали кружным путем. По лесу так не прокатись — разнесут вместе со всей музыкой.

Однако незамеченным попасть в свои апартаменты тебе не удалось. Из-за угла хлева появился мужик с печальными, повисшими, словно влажными усами. Тот самый, который утром вручал тебе повестку и с винтовкой вел к пани Клеопатре.

— А-а, учитель,— протянул он, левой рукой волоча за ствол винтовку, а правой застегивая ширинку. — А ведь мы, браток, знакомы. Не позабыл, а? Утром познакомились. Ранехонько!.. Хи-хи-хи...

Уже успел нализаться. Теперь от него так легко не отделаешься. Подходит поближе.

— Выпили?

— Выпил? Угадал, браток. Точно, выпил. А кто сейчас не пьян? А? Кровью пьян. Нет, скажешь? Пьян, пьян! Кровью матушки Литвы пьян. И я, и ты, и они... все мы пьяные. Но придет и похмелье. Не придет, говоришь?

— Ничего я не говорю.

Закончив возиться с пуговицами, он встал поперек дорожки, обеими руками оперся на винтовку и впился глазами в твое лицо.

— Вижу, браток, что ничего не говоришь. Ты только стрижешь ушами да озираешься. Справа — белый, слева — красный... Да, ты пока что еще ничего не говоришь и не делаешь. Но, что впереди, тебе неизвестно. И мне тоже неизвестно. А что позади, я тебе скажу: позади — мертвяки, мертвяки, мертвяки... Бакшис, Гайлутис, Читаюс, Растянис... те, что, оскверненные, лежат теперь перед костельной оградой... Мертвяки, мертвяки...

Растянис?! Что он знает о Растянисе? Видел его?

— Что с Растянисом? Его что, больше нет? А сын? Нашли?

— Не так шибко, не так шибко, браток. Дай отдышаться.

— Нашли Растяниса?

— А как же. Мы, когда захотим, все найдем. Из самой земли, из черной выколупываем... но... только мертвяков. Идем, нападаем, наваливаемся, деремся из-за земли, из-за тряпки, из-за набитой мошны, из-за ложки похлебки, ищем, бьемся, а находим одни трупы. Нашли и этого. Смотрит на верхушки елей, сосен и улыбается. Лицо такое хорошее, спокойное, святое. Я сам глаза ему закрыл. Подымить найдет-ся?

Дал ему папиросу. Он прижал винтовку коленями и прикурил.

— А сын?

— Сын? Не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Совру, если скажу, что знаю.

— Дома у него не были?

— Нет. Может, кто и был, но я нет. Что это за курево у тебя? Ровно сухой конский навоз.

— Другого нет.

— Несладко, видать, ныне и учителю. Днем одни, ночью другие. И все не лыком шиты, свое требуют. Не говори, браток, черт не белее дьявола. А ты, человек, знай себе, крутись! Крутись, востри уши, оглаживайся! Думаешь, я не знаю? Я все знаю, все понимаю. Знаю, что теперь и тебя пощупают. Получил повесточку?

Ты почувствовал, как чья-то холодная рука сдавила сердце.

— Так вот, порасспрашивают, пощупают! Они свое дело знают. Из порожнего — полное нальют. Но ты ни гу-гу. Знать, мол, ничего не знаю. Ничегошеньки! Спрашивать станут, грозить, брауник под нос совать, глядишь, и отлупят, в кутузку сунут... а ты все равно — ничего, мол, знать не знаю. Ты младенец, дурачок, теленок... Только такие отсюда и вылазят. Висунешь язык — со всеми потрохами выдерут. Усек?! — Последний вопрос он задал по-русски.

— Так я ж и впрямь...

— Не оправдывайся, ты только не вздумай оправдываться! И рук не отмывай. После драки кулаками не машут. Ныне ни белого, ни черного, ни красного нету, браток, есть только музыканты да плясуны. Я тебе петли на шею не вяжу. Кто другой, может, и вяжет, только не я. Ты мне даже нравишься. Чистенький такой, добрый, такой литовский с лица... А глаза... как у того еще не облизанного телка. С бабой-то хоть спал?

— Это мое личное дело, — буркнул ты, покраснев, и почему-то вспомнился тебе любовник леди Чаттерлей.

— Вишь, вот и наступил на большую мозоль! Предрассудки, буржуазные предрассудки, браток! Личных дел нынче не осталось. Все должно пройти через жернова революции. Еще папироской не разживусь?

Ты снова протянул ему папиросу.

— А что там будут спрашивать, если не секрет?

— Секрет, братец, секрет. Большая тайна. Мы теперь из всего тайну делаем. Она нам даже в музыке тетушки Клеопы мерещится. Но я же сказал, что ты мне нравишься. Имел когда-нибудь с ними дело?

— С кем?

— С полицией, милицией... или еще с какой-нибудь коалицией? Все едино.

— Нет.

— Тогда, браток, зелен ты, как лопух, хоть и набит у тебя котелок разными премудростями и политиками. Каким же ты слабаком среди этих своих книжонок тыркался, когда я утром пришел! Горы, груды! И глянцево-корочки, и цветные, и с золотыми да серебряными обрезами, сколько же их! А ты посреди — в одних подштанниках топ-

чешься, мечешься. Одна нога во что-то обута, другая голая... босая... Этаким несчастненьким казался, беспомощным, ровно младенец, которого первый раз обмыли и из корыта вытащили. Не лучше смотрелся и в квартире тетушки Клеопы. Словно с креста снятый. Мне уже тогда ударило в голову: спеленают тебя там и разделают за милую душу. Хочешь знать, про что спрашивать станут? Да про все. И про сосерей, и про директора, и об учителях, что помоложе, и об учениках... О том, что тебе в уши да глаза встряло. Таким перед Советской властью черным выставят, что тебе и во сне не снилось. А потом эпитимью наложат.

— Какую еще эпитимью?

— Тяжелую. Намного тяжелее, чем в костеле. И еще подписью скрепить придется.

— Зачем?

— А что обещаешь не только хорошим, послушным гражданином быть, но и изо всех сил искупить свои грехи согласен.

— Какие? Как?

— Там скажут, научат. Но ты молчи и нигде не подписывай. Конечно, о себе-то что-нибудь ляпнешь. Человек не рыба, о чем-то сболтнет. Но больше... ни гу-гу. Ничего, мол, не знаю, ничего не ведаю, ничего не слышал. Как в той сказочке: «Ничего не ел, ничего не пил». И про Удраса ничего не знаешь. Этого не цепляй, браток! Такие люди под счастливой звездой рождаются. Попомни мое словечко: он если министром, то председателем колхоза точно станет. Нет, говоришь? Станет, станет, уж это я тебе точно говорю.

Внезапно он умолк и прислушался. Прислушался и ты. Как это с самого начала не заметил его печально повисших, будто влажных, желтых усов? Лицо было простым и добрым.

— Слышишь? — спросил он.

— Что?

— Это он запел.

Ты опять прислушался.

Наши дни и наши ночи,
Мы творим большое дело...

— Узнаешь, чей голос? Он, только он! Слыхивал ли когда такую песенку?

— Нет, — коротко ответил ты.

— И я нет. Это он сам сочинил. Не веришь? Честное слово, сам. Такие все умеют. Во, во, давай послушаем, браток, этот Удрасов псалом!

Наши дни и наши ночи,
Широко шагает смелый.

— И что ты ему сделаешь? — спросил народный защитник. — Его и дни, его и ночи. И шагает он широко. Только пока что по ровному шагает. А потом — раз! — и взлетит вверх. Слыхал? «Все выше и выше, и вы-ы-ше стремим мы полет наших пти-иц...»

— Слыхал.

Кончив напевать куплет, желтоусый сплюнул и сказал:

— Вознесется к солнцу и крыльев не опалит. Такие, браток, и сквозь игольное ушко пролезают. И когда это кончится, а?

— Что?

— Да вся эта... Содом и Гоморра, братоубийство это.

А кто начал? Разве не такие, как ты? Захотели, вишь, мир переделывать, господами стать. Ради чьих интересов таскаетесь вы все с этими винтовками? Купаете друг друга в крови! Подумай! Кто тебе в руки сунул оружие? Порядочный человек не станет шастать по чужим домам да пугать соседей...

— Откуда мне знать?

— Вот так-то, браток: откуда тебе знать? Ребятенка и того не всегда научишь, остережешь, что уж о таких жеребцах говорить... Вот и режут друг дружку, стреляют. А еще и такие есть, что стравливают да руки от радости потирают. Думаешь, нет? Там, наверху? Есть, есть, я, браток, все знаю. Они считают, чем больше мы тут друг друга переколем да перестреляем, тем меньше вагонов потребуется.

— Так почему же вы... позволяете, чтоб вас на поводке водили? Желтоусый снова харкнул, растер черный плевок большим башмаком и огляделся.

— Мы с тобой ни о чем не говорили,— он поднес палец к губам.— Ни гу-гу. Усек?

— Понимаю.

— А тот мальчишка Растянисов, может, еще и отъщется. Пока никто с детьми не воюет. У тебя того конского навоза не осталось? Ты опять дал ему папиросу.

Мужик закурил, неуклюже закинул за плечо винтовку, встряхнулся, щелкнул каблуками и сказал:

— Ухожу. Балтулис я. Балтрамеюс. Не слыхивал про такого?

— Нет.

— В человеке надо видеть человека.

Проводив взглядом его широкую раскачивающуюся спину, ты тяжелым шагом пошел своей дорогой. Кто он? Провокатор? Или просто субъект, не умеющий держать язык за зубами? А вдруг кто-то его специально подослал? Увидел, как я возвращаюсь из школы, и подослал. Почему это он так про науськивание, про тех, кто наверху, про Удраса? Чего доброго, тот сам его и подослал. Не знаешь ничего, ничегошеньки не знаешь и помалкивай, а завтра — а то и сегодня — небольшой обыск и... «вальтер» у них в руках. Тогда уж прости-прощай, родимый край. Если, конечно, этим ограничатся. За хранение огнестрельного оружия по головке никого еще не погладили. А перед тем сами через провокатора прощупали мои политические настроения. Но ведь я же ничего такого ему не сказал. Не соглашался, не спорил. Только слушал, что несет подвыпивший народный защитник. Правда, хотелось кое-что ответить, очень хотелось что-то добавить, ткнуть правду в глаза, но удержался. Однако не дать отпор человеку политически незрелому иногда равносильно тому, что стать его сообщником. Да, конечно, не дал я Балтулису должного отпора. Даже со многим в душе соглашался.

Часы пани Клеопатры пробили три. Пробили еле-еле, словно чья-то могучая рука навалила одну на другую огромные каменные глыбы и придавила ими чуть дышащего человека. Стало так тяжело и до жути тихо, что ты отчетливо слышал свое сердце, свое неровное, прерывистое дыхание.

А может, Балтулис — просто честный литовец? Увидел, как беспомощен, растерян этот учитель, и дал полезные советы. Судьба у всех нынче смешала карты. И не поймешь, кто, как, где, кого... Ничего, уже абсолютно ничего не поймешь, не разберешь: «Ты только стрижешь ушами да озираешься. Справа — белый, слева — красный... Да, ты пока что еще ничего не говоришь и не делаешь. Но, что впереди, тебе неведомо. И мне тоже неведомо. А что позади, я тебе скажу: позади — мертвяки, мертвяки, мертвяки... Бакшис, Гайлутис, Читаюс, Растянис... те, что, оскверненные, лежат теперь перед костельной оградой... Мертвяки, мертвяки...» А младший Растянис? Придет ли еще когда-нибудь заниматься музыкой? Такие синие и чистые были у него глаза. В такие глаза можно смотреть, имея только чистое, незамутненное сердце, молитвенно, как смотрел ты некогда на причастие. И лицо у паренька такое светлое, бесконечно доверчивое. И весь он был... Почему «был»? По-че-му? Я обязан пойти и отыскать его. Немедленно. «Один я у него.

Бабка... видели — больше лежит, чем ходит. На мальчика жаловаться не могу». Растянис, безусловно, хотел дать мне понять, что... если вдруг... «Один я у него». И родственники наверняка из-за этих войн, из-за всех этих пертурбаций порассеялись, порастерялись. Растянис — отец. Скорее всего, он что-то подозревал. Предчувствовал... Так на кой черт лез в огонь? А я сам?.. Почему мучаюсь с этим «вальтером»? Но это же несравнимые величины. Откуда знаешь, что несравнимые? Разве мне известно, что Растянис приплелся домой с винтовкой? Может, за покаяние, может, за землю, может?.. Ведь Балтулис ясно дал понять, как иногда бывает. Но когда же мне искать младшего Растяниса, если пора уже идти в волость? Попробуй только послушайся! «В случае неявки будете привлечены к уголовной ответственности». Ясно, кто привлечет. Теперь шуток уже никто не понимает.

Надо отправляться не мешкая. Семь километров. К тому же лесом теперь не пойдешь. Придется переправляться через реку — лед еще выдержит — и шагать кружным путем. Наберется не семь, а десять, а то и все двенадцать километров. Нет, лесом не пойду. Только гарнизон с американскими грузовиками, с кухней, с пушкой, с пулеметами может это себе позволить. И то не всегда.

А что если «вальтер» с собой захватить? Еще что выдумашь?! Вдруг в дороге кто-нибудь проверит? Тогда объясняйся, оправдывайся, клянись. Никто не поверит, что в волость несешь. Стрибы не поверят, а те?.. Что я им скажу, как выкручусь? Пойду, как стою. Понятно, следует прихватить торбу с краюхой хлеба, ломтем сала, щепоткой соли, с куревом... Теперь все в волость по повесткам так ходят. Хорошо, что ребята вместе с продуктами иногда и торбочки свои оставляют. Неплохо было бы взять теплую рубашку, пару носовых платков, носки, кусок мыла. Кто знает? А может, вырезать из газеты или какой-нибудь книги портретик Сталина и сунуть в бумажник? Если там станут вдруг обыскивать так, пожалуй, как говорят люди, очень и очень поможет. Сразу углядят, что у самого сердца ношу. Мелочь? Но мелочь — самый верный союзник судьбы.

С торбой в руке ты отправился в путь. С каждым шагом идти становилось все тяжелее. Мучили тревожные мысли, даже не замечал, что и жаворонки уже поют в небе, и чибиры кричат. Возле мельницы остановился, послушал ее монотонное жужжание. Интересно, где Удрас? Целый день не видал. С гостями занят? Учит их петь «Наши дни и наши ночи...»?

Мельница давно осталась позади, только мысли ни на шаг не отстали. Чувствуешь, что ничего хорошего не сулит тебе это путешествие по раскисшей весенней дороге. Главное, не видно никакого выхода, никакой перспективы. Во всем мире война уже закончена, а тут только начинается. Беспощадная, суровая, не на жизнь, а на смерть. И с каждым днем все шире и шире втягивает в свою орбиту не только деревню, но и город. А что будет через неделю-другую, когда зазеленеют леса, когда пойдут новые депортации или кто-нибудь чересчур ретивый попытается ускорить коллективизацию? Злым стал народ, нервным, подозрительным, люди сводят истинные и мнимые счефы, зубами друг на друга клещают, многие уже ни в рай, ни в ад не верят. О справедливости ни в жизни, ни в газетах — ни словечка. Хлещут себе свекловичную да самогон, топят друг друга и стреляют, стреляют. Нейтральному человеку нет больше в мире места.

В невеселье твои раздумья вмешались бубенцы. Живой, веселый звон длинными и светлыми волнами догонял тебя. Ты инстинктивно посторонился, даже не осмелившись оглянуться, соспустил за обочину и ухнул по пояс в полную снежной каши придорожную канаву. Мелодичный, многоголосый перезвон, похожий на праздничный в костеле, все приближался. Уж не ладаном ли повеяло? Однако вскоре чет-

кий и ритмичный цокот копыт, их накатывающаяся угроза заглушили праздничные и мирные звуки. Все ближе и ближе, пока непрерывным дробным грохотом не забарабанило по спине, не забило уши. Ты уперся руками в снег. Галопом проскакали лихие кони, на передке саней примостился немолодой мужик в штатском, непрерывно крутивший над головой вожжами, а сзади, раскачиваясь, восседали двое вооруженных автоматами военных. Вскоре их унесла веселая, залихватская музыка бубенчиков и ритмичное поцокивание копыт, хотя кое-где санные полозья должны были уже визжать.

С грехом пополам выбрался ты из канавы. Башмаки полны воды. Огляделся в поисках валуна, присел, снял свои американские ботинки, вылил талую воду, отжал носки, вновь обулся и, чувствуя, как коленеют мокрые ноги, поплелся дальше. Небо было ясным, темно-синим, низкое солнце назойливо било в глаза. На какое-то время ты позабыл, куда идешь. Забитые грохотом уши отошли, но во всем теле все еще звучали залихватские удаляющиеся бубенчики. Ты ускорил шаг.

А чего мне волноваться, о чем тревожиться? Кто я? Преступник? Против Советской власти выступал? Немцам пособничал? Расстреливал евреев? Что я, кулацкого или дворянского рода? Ничего подобного. Я один из тех, кто с самого детства вынужден ходить на своих двоих. Меня некому было лелеять и баюкать. Никакой систематической учебы, никакого нормального воспитания, никаких образцовых педагогик. Читать выучился, гоняя чужое стадо; потом обремененные непосильным трудом годы батрачества, бессонные ночи над языковыми самоучителями, ничтожная должность в страховой фирме, бухгалтер в кооперативе, свободные профессии — чертежник, переводчик... Всюду, где нужны были усердные, честные руки и непустые головы. Еще позже — скрипящая и шаткая лестница к высшему образованию. Выучил иностранные языки. Причем словно бы между делом, вышагивая по улицам, сам себе еду готовя, даже во сне долбил чужие слова. И еще книги, горы книг. Философия от Платона до Августина и Фомы Аквинского, от Аристотеля до Бэкона и Спинозы, от Декарта до Канта, от Гегеля до Маркса, Энгельса, от Шопенгауэра и Ницше до Шпенглера, от Бергсона до Ясперса. Художественная и критическая литература, книги по эстетике, истории, социологии и так далее. Все дивились твоей эрудиции, логике, глубине и последовательности аргументации, универсальности мышления. А сам ты все чаще вспоминал слова Байрона: «Наука — это замена одного незнания другим».

И все-таки, невзирая ни на какие науки, я являю собой классический образец пролетария. А таких людей большевики вроде бы не должны ставить к стенке или ссылат в Сибирь. Сметоне я был не нужен, или, как говорил Визгирда, моя валюта в ту пору не котировалась, при немцах меня преследовали. Я никогда не претендовал на высокие государственные должности, на какие-нибудь посты, учился исключительно потому, что испытывал постоянную и неутолимую жажду знаний или хотел, когда наваливались духовные кризисы, выяснить, зачем вообще живу. Так какой же из меня враг народа? Разве можно наказывать за то, что у человека на плечах собственная голова? Я достиг всего (разумеется, если тут можно говорить о достижениях, ведь я всего лишь простой, рядовой учитель) исключительно своим трудом. Так чего же мне сейчас бояться? С другой стороны, какая власть без подозрения относится к человеку, у которого есть свои мысли, идеалы, свои мнения, мировоззрение и мировосприятие, словом, который самостоятелен, независим? Но ведь я этих своих идей и мыслей не распространяю, никому не навязываю. Нет, конечно же, нет. Это не в моем характере. И вообще я уверен, что человеку надо прививать лишь любовь к науке и искусству, а не вбивать ему в голову разные идеи, которые и без того липнут, как пыль к потному телу, и мешают дышать. Всякая идея хороша и привлекательна лишь до тех пор, пока она идея. Начинаешь претворять ее в жизнь и видишь, что она ничем не

лучше той, которая уже была. И тогда понимаешь, что сама суть таится не в идее, а в человеке, который эти идеи воплощает. Топор в руках умного человека дворцы строит, а в руках дурака — головы рубит.

Правда, совесть моя не совсем чиста. Надо было как-то отвести беду от дома Растянисов. Я же тогда ясно слышал, что замышляется. Но разве я так уж ничего не делал? Вернее говоря, разве я не пытался что-то сделать, чтобы отдалить опасность?

Что ты за человек, Анзельмас? То есть как это? Человек, и все. Разве в глубине души, в самом тайном ее уголке ты не обрадовался?.. Чему? Когда от Балтулиса, а перед тем еще и от пани Клеопатры услышал о судьбе Растяниса? Клевета! Нет, не торопись! Не его трагической смерти — эта весть действительно была для тебя большим ударом, но тому, что все уже разрешилось, что нет больше надобности бежать, сообщать, да и мучиться из-за самой мысли... Выходит, я трус? Нет, этого не скажешь. Кое в чем я способен проявить настоящее мужество, но... Что «но»? Но кое-кого больше мучает принятие решения, чем его исполнение. Какой же из этого вывод? Может, скажешь, та-кой, что...

— С дороги!

Ты оглянулся и увидел широкие сани, на которых вповалку лежали вооруженные люди. Отпрянул в сторону и снова едва не сунулся в залитую водой канаву. Сани поровнялись с тобой, и ты ощутил на затылке жаркое дыхание разгоряченных коней. К тебе подскочил молодой парень в кожаной куртке, с ямочкой на подбородке и строго потребовал:

— Документы!

Ты пошарил за пазухой и нашел временное удостоверение личности. Протянул. Парень повертел, посмотрел на свет.

— Куда идешь?

— В волость.

— А это что? — ткнул он дулом автомата в торбочку.

— Провизия и вообще... — проямил ты и, вспомнив, что это терминология Удраса, смешался.

— Я же тебя по-литовски спрашиваю.

— Еда, вещички...

— Ну-ка, покажи!

Теперь от него так легко не отделаешься. Обыщет до последней нитки. Дрожащими пальцами ты развязал мешок.

— Дай-ка полу!

— ???

— Полу, говорю! — И, не дожидаясь, пока ты сообразишь, парень левой рукой встряхнул полы твоего пальто, приподнял их вверх, а другой рукой ухватил торбу и вытряхнул оттуда все содержимое. В растерянности, словно рассчитывая на какую-то помощь, ты огляделся. «Как хорошо, что не захватил тот «вальтер». Сразу обнаружили бы и привязались».

Из саней выбрались и обступили тебя еще несколько вооруженных мужиков. Кожаная Куртка, внимательно и тщательно осмотрев, одну за другой побросал высыпаемые вещи в сани: хлеб, сало, носки, рубашку, несколько пачек папирос, носовые платки, немецко-русский словарь...

— Кому несешь?

— Себе.

— Себе? Нашел дурака!

— Он получил повестку.

Ты поднял глаза и узнал Балтулиса, с которым у тебя был длинный разговор возле хлева. С печально повисшими, словно влажными, желтыми усами он стоял тут же. Ты благодарно улыбнулся ему и вдруг вспомнил что и в самом деле получил утром повестку.

— Дав-й-ка ее сюда!

Ты протянул Кожаной Куртке сложенную бумажку.

— Ишь, какой хитрован! — громко удивился пожилой крестьянин, державший в руке длинный кнут.

— Знает, что без надобности вызывать не станут, — усмехнулся другой.

— А что? Небось по-всякому бывает, — снова попытался заступиться за тебя Балтулис.

— По-всякому-то по-всякому, но тут сразу видать, что совесть не чиста.

— Не твоя забота, Жибас. Там посмотрят, разберутся, чиста или не чиста. Ты бы лучше о своей совести позаботился.

— Нашелся заступник. Сколько же он тебе дал?

— Столько, что на твоём языке не уместится.

— Про свой язычок думай!

— Оставить разговоры! — строго прикрикнул парень в кожанке и, ещё раз встряхнув мешок, сложил повестку. — Ты вручал, Балтулис?

— Я.

— Собери свое добро, Друсканис.

Ты взял торбу и подошел к широким саям. Уложил обратно хлеб, шмат сала, носки, рубашку, носовые платки, словарик... и смущенно осмотрел вооруженных людей, которые молча наблюдали за тобой.

— Папиросы...

— Что папиросы? Исчезли?

— Нету.

И, словно для того, чтобы все убедились, опять вытряхнул содержимое мешка, вновь собрал все, приподнял серый брезент, которым были укрыты сани и... увидел сапоги! Видать, кто-то хватил лишка.

— Нет?

— Нет.

— Так... выходит, что мы воры! — снова взвизгнул Жибас. — Да?

— Я не говорю.

Тогда к саям подскочил парень в кожанке, сердито приподнял грубый, толстый брезент и сказал:

— Пропали, нет их... Не этот же выкурил?

Ты внезапно побледнел, отпрянул на шаг, зажмурился, снова открыл глаза и слабо охнул:

— Рас-тя-нис!

В саях лежал человек. На восковом лице с темными веками спокойная, сдержанная улыбка. Как в тот раз на перекрестке, когда он провожал нас с Ниле из своего дома.

— Растянис, — повторил ты, конвульсивно сжимая в руках торбу.

Сани с народными защитниками давно укатили, а ты продолжал стоять посреди дороги. Перед глазами все еще лежал Растянис, длинный, спокойный, без шапки, с темными веками, и сдержанно, таинственно улыбался.

— Посторонись!

Ты съехался, вновь неуклюже и поспешно отступил, а окоченевшие пальцы все теребили торбу. Мимо с визгом пронесли еще одни сани, набитые вооруженными людьми. Когда один из них качнулся в сторону, ты увидел грязно-зеленый кожух пулемета. Маленькая черная дырочка смотрела прямо на тебя. Ты опустил глаза и тронулся вслед за саями, теми самыми, что стояли во дворе имения.

Захотелось покурить. Хорошо, что несколько папирос еще оставалось в портсигаре. Табак малость привел тебя в чувство. Главное, помог сосредоточиться, собраться с мыслями.

Внезапно ты осознал, что уже пришел в местечко. Перед тобой просторная площадь, на которой в нескольких десятках шагов от тебя группа людей — мужчин и женщин. Они уходили, другие приходили.

И у тебя в ушах снова прозвучали слова Балтулиса: «...мертвяки, мертвяки, мертвяки... Бакшис, Гайлутис, Читаюс, Растянис... те, что, оскверненные, лежат теперь перед костельной оградой...» Да это он и.

Когда ты подошел, широкая крестьянская спина сдвинулась в сторону, образовалась брешь. Ты сунулся ближе и увидел их... Все трое лежали рядком. Серые лица, стеклянные глаза, с непокрытой головой, босые. Средний застенчиво и неудобно свернулся калачиком, желто-серыми детскими руками обхватив живот, словно опасался удара. Женщина! Что это женщина, ты понял, по груди, полуобнаженной, высокой, высокой, наивно бестыжей и одновременно жалко беспомощной. Внезапно сквозь группу тесно сгрудившихся людей пробился луч заходящего солнца. И тогда ты, страшно удивившись, заметил, что рука одного из трупов, серая и сухая, с окровавленными, разбитыми ногтями, вздернута ко лбу, словно мертвец только что прикрыл глаза от солнца, чтобы лучше рассмотреть тебя.

Ты нервно отвернулся и отошел на несколько шагов в сторону. И в тот же миг почувствовал, что кто-то внимательно следит за тобой. Поднял голову, и ваши глаза встретились. Человек стоял у железной ограды, откусывал от целого батона и, не опуская узких глаз, смотрел на тебя. Ты оторопел и тут же понял, что это народный защитник, на груди автомат с диском.

— Чего ищешь? — спросил он, дожевав кусок.

— Мне в милицию...

Парень небрежно повел своим еще ни разу не бритым подбородком, ткнул зажатым в руке батонном в сторону и сказал:

— Вон там.

Ты свернул в указанном направлении, ощущая, как дрожат поджилки; шея напряглась, ладони вспотели.

У железной калитки тебя остановил человек с винтовкой.

— Куда?

— Вызвали меня.

— Бумагу, — по-русски потребовал он.

Ты засунул между высокими штaketинами свою торбу и стал шарить по карманам. Где же она? Вытащил бумажник, и на землю спланировал мелко исписанный листочек. Постовой метнулся и поднял бумажку. Долго вертел ее в руках, пытаясь прочесть, время от времени искоса взглядывая на тебя.

— Что здесь нацарапано?

Ты взглянул в бумажку.

— А-а... так. Одна... сентенция.

— Что-что?

— Сентенция... такое высказывание... ну, мысль такая.

— Немецкая?

— По-немецки.

— А зачем по-немецки?

— Тот человек писал только по-немецки. И Маркс с Энгельсом тоже писали...

— Какой человек?

— Фихте.

— Друг Маркса и Энгельса?

— Я бы не сказал... Ну, видите ли, не совсем.

— Я-то вижу.

Теперь я влип. Придется все объяснять этому парню от Адама и Евы. На кой черт держал я эту сентенцию в бумажнике?

— Фихте жил раньше, чем Маркс и Энгельс, и потому не мог...

— Прочитай.

— An meinem Leben und meinem Schicksal liegt nichts, an den Wirkungen meines Lebens liegt unendlich viel ¹.

¹ См. примечание к стр. 3.

Народный защитник грозно стукнул прикладом винтовки о цементные плитки тротуара.

— Mein... mein... Какой-то прогневивший ипериалистический лозунг. Drang nach Osten¹. Правильно я сказал?

— Wundenbar!²

— Как, как?

— Вы прекрасно говорите по-немецки.

— А что? Думаешь, мы лыком шиты? Даром, что ли, протирали штаны в гимназии. И...— Тут он, видимо, сообразил, что пускается в лишние разговоры, не кончил и строго спросил, сунув бумажку в карман:— А в мешке что?

— Рубашка, хлеб, немножко сала...

— Зачем?

— Может, думаю, пригодится...

— Трефной?

— Говорят, тут всякое бывает.

Постовой с головы до ног оглядел тебя и многозначительно, даже сочувственно усмехнулся.

— Ясно, ясно, запас не помеха. Развяжи!

Дрожащими, огрубевшими пальцами ты никак не мог развязать узел. Потеряв терпение, постовой нагнулся к торбе, ловко перекусил веревочку, громко сплюнул и показал здоровые, иссиня-белые зубы.

— Хорошие зубы.

— Я и стакан могу сжевать.

В нескольких шагах затахтел и остановился огромный грузовик. Крытый, трехосный, американский. Из него, не дожидаясь, пока откинут задний борт, посыпались солдаты в белых полушубках, вооруженные автоматами, винтовками и тремя ручными пулеметами. Они топтались, толкались, колотили друг дружку по спинам и размахивали руками, видимо, крепко замерзли. Заметив лежащих возле костельной ограды мертвецов, все вместе направились к ним. Окружили покойников. Смотрели спокойно, сосредоточенно. Один из них, отойдя в сторонку, громко сказал по-русски:

— Вот оно что здесь делается!

Постовой, какое-то время глазевший на прибывших солдат, сунул в мою торбу руку и стал шарить там, словно искал что-то, лишь ему одному ведомое и нужное.

Ты же нашел наконец повестку и протянул народному защитнику. Взглянув на знакомую подпись, тот вытащил руку из торбы и послушно отступил на шаг от железной калитки.

— А бумажка? Та сентенция?..

— А... не знаю, дадим на спертизу.

— Что-что?

Парень широко улыбнулся, недвусмысленно демонстрируя свое превосходство.

— Это военное слово. По-литовски — дадим на расследование.

Ты взял мешочек, повестку и рукавом вытер выступивший на лбу пот. Еще раз посмотрел на уже выстроившихся солдат. В твоих ушах отозвались четкие, краткие выкрики: «Первый, второй, третий... тринадцатый...» Казалось, каждое произнесенное слово, энергичное и четкое, бьет в самый висок.

— Разойдись! — раздалась команда.

Строй сразу же рассыпался, и солдаты принялись есть, пустив по рукам блестящие жестяные банки. Американские грузовики, американские ботинки, американская свиная тушенка... Вот кому помогают янки. А те еще надеются... Какая наивность!

Человек с винтовкой, пропуская тебя, по-армейски вытянулся,

¹ — Поход на Восток (нем.).

² — Прекрасно! (нем.).

щелкнул каблуками и почему-то подчеркнуто поджал толстые губы, словно боясь прыснуть.

Возле обитых железом дверей тебя вновь остановили. Но на этот раз объясняться не пришлось — повестка была у тебя в руке. Солдат пропустил, указав в конец коридора.

Ты подошел к дверям и осторожно постучался. Никто не откликнулся. Немного подождав, ты постучал снова. Тишина.

— Открывай, открывай! — послышался за спиной словно бы знакомый голос. — Там он, Зубченко, там!

Нажал ручку вниз, и дверь легко отворилась.

Перед тобой, навалившись на письменный стол, упершись лбом в сцепленные кисти рук, под которые была сунута ушанка, сидел военный. Лица видно не было, только темные, поседевшие на висках волосы и маленькие, будто съезжившиеся от холода ушные раковины. Человек громко посвистывал, иногда всхрапывал, а его широкие плечи, обтянутые грубой шинелью с капитанскими погонами, едва заметно приподнимались. Одна звездочка то поблескивала, то вновь гасла — под потолком мерцала тусклая электрическая лампочка. На столе стояли миниатюрная пушечка, массивный, розового мрамора чернильный прибор с кремлевской башней, графин с желтоватой водой; валялось несколько серых папок, стопка исписанных фиолетовыми чернилами и чистых листов бумаги, несколько длинных и толстых папирос, початая пачка «Казбека», карандаши, ручка, пара огромных брезентовых рукавиц, спички... Видимо, писал, писал и, уставши, задремал.

Ты кашлянул. Капитан продолжал спать как ни в чем не бывало. Тогда ты прикрыл дверь, вышел и умоляюще глянул вдоль коридора. Вскоре застучали шаги. Подошел народный защитник.

— Балтулис! — обрадовался ты. Он одобряюще улыбнулся.

— В чем дело?

— Спит он...

Балтулис открыл дверь кабинета, впустил тебя, вошел сам и, немного поколебавшись, легко потряс спящего за плечо.

Капитан нервно дернул головой, правая рука потянулась к кобуре. Лицо сразу стало напряженным, хмурым, глаза — бдительными и колючими. Лишь ниточка слюны, тянувшаяся от уголка губ к подбородку, свидетельствовала, что он только что очнулся от сладкого сна. Но рука Зубченко тут же обмякла, замерла на полпути, а глаза приобрели выражение усталости.

— Что случилось, Балтулис? — спросил он спокойно.

— Тот человек пришел.

— Какой?

— Товарищ учитель явился на свидание.

— Черт подери, заснул.

Ты положил повестку на стол. Капитан выгтер шапкой подбородок, небрежно взял бумажку, зевнул и некоторое время о чем-то думал. Потом потянулся, налил полный стакан желтоватой воды и выпил до дна. Все еще не произнося ни слова, раскрыл серую папку, локтем и ладонью разгладил сложенный лист и уставился на тебя. Смотрел долго и изучающе. До тех пор, пока у тебя не закружилась голова. Однако взгляд капитана ты выдержал.

Балтулис флегматично щелкнул каблуками и, проходя мимо тебя, тайком пожал тебе локоть и шепнул:

— Держись!

— Так-с, Друскянис, так-с. По-русски говоришь?

— Понимаю.

— Садись!

Ты сел.

— Какими языками владеешь?

— Литовским, английским, немецким, французским... польским...

— Да-с. Поляк наш... хотя... Англичанин, американец, француз — капиталисты. Немецким тоже?

— Да, товарищ капитан.

— Wie geht es ihnen? ¹

В душе ты очень обрадовался, что сможешь договориться и объяснить на языке, которым довольно прилично владеешь. Тебе сразу стало уютнее и спокойнее. Ты даже улыбнулся. Не так страшен черт, как его малюют. Оказывается, и тут есть культурные и образованные люди.

— Danke schön. Es geht, Herr Hauptman, aber ich weiss nicht warum... ²

— Варум,— шарум... Хватит! Английский, немецкий, французский... Запад, запад... ишь, какая сво...— Однако спохватился и стал шарить по карманам, ничего там не найдя, оглядел стол, взял две папиросы, одну сам закурил, другую протянул тебе. — Ну, ладно, ладно. Кури!

Вы задымили, и капитан, не спуская с тебя пристального взгляда, начал куда спокойнее:

— Так вот, Друскянис, я хотел бы кое-что от вас узнать. Прежде всего нас интересует личность человека, отношение его к Советской власти. Какое оно?

— Хорошее.

— Как-то не видно, не чувствуется. Гражданской активности нету. Почему?

— Не знаю.

Капитан со свистом выпустил дым, подтянул к себе серую папку и принялся быстро листать подшитые и мелко исписанные страницы, изредка останавливаясь и вчитываясь. Тогда его лицо приобретало болезненно-сосредоточенное выражение. Перелистав все содержимое папки, он взял ее обеими руками и так стукнул об стол, что даже подскочили разбросанные папиросы и звякнул графин, а желтоватая вода зарыбила.

— Тут все есть. Даже твои мысли. Где раньше работал? При Сметоне?

— В Каунасе.

— Кем?

Кое-как ты объяснил ему, что работал бухгалтером, писал заявления, занимался переводами и одновременно учился в университете. Наконец прибавил, что являешься настоящим пролетарием.

— Где находился во время немецкой оккупации?

— Университет. Дома работал. Помогал родителям. А потом... ну... ну...

— Что? Что?

— Мне трудно говорить по-русски. Я только понимаю, а говорить... Ich versteckte mich ³.

— К черту немецкий! Ненавижу этот язык. Скрывался в лесу?

— Да, да, товарищ капитан.

— Врешь, сво!..

— Извините. То... то... есть... скрывался не в лесу, но так... Как это сказать? Ходил, все время ходил... с одного места на другое, дабы не взяли в плен.

Зубченко усмехнулся, но тут же снова поджал губы, нетерпеливо побарабанил костяшками пальцев по столу. Ты заметил, что на его правой руке нет двух пальцев — безымянного и мизинца.

— Знаем мы таких, знаем. Зачем приехал в Пашилупяй?

— Поступил на работу в школу.

¹ — Как дела? (нем.)

² — Большое спасибо. Дела идут, господин капитан, однако я не знаю почему.. (нем.)

³ Я прятался (нем.)

Вошел тот самый народный защитник, который задержал тебя возле калитки, и, козырнув, положил перед своим начальником клочок бумаги. Ты сразу узнал его.

— Что это такое? — спросил капитан, принимая «трофей», ты лишь теперь заметил, какие маленькие у него руки. Тебе даже стало неловко, что эти руки так по-детски малы и хрупки.

Народный защитник с помощью рук и каких-то телодвижений на ломаном русском языке стал объяснять:

— Там есть *mein, mein...* по-немецки. Я бумага... он... вот этот... — Не найдя нужного слова, он ткнул в тебя пальцем.

Когда толстогубый постовой вышел, Зубченко еще какое-то время вертел твою бумажку, поднимал ее к электрической лампочке, словно желая убедиться, не тайнопись ли это какая-нибудь. Наконец сунул листок в пустую папку и снова взял со стола две мятые папиросы. Одну из них предложил тебе:

— Ну, теперь-то мы... Кури!

Ты поблагодарил, но от папиросы отказался.

— Кури, тебе говорят!

Вы опять задымили, а капитан вытащил из кобуры и положил перед собой на стол... пистолет.

Сейчас спросит о «вальтере». Ты съежился. Наверно, уже успели сделать обыск и?.. Ты инстинктивно подался вперед. Нет, пистолет другой. Этот заметно больше и тяжелее. И форма не та. Но зачем он положил перед собой? Попугать?

Довольно долго капитан сидел, опустив голову, задумавшись, нервно глотая дым. Вдруг поднял пронзительные глаза.

— Где твой товарищ по комнате?

Так вот зачем он меня вызвал! Но ведь Визгирда исчез уже давно. Откуда же мне знать, где он шатается? Аугустинасу все время мерещились ссылка в Сибирь, разные репрессии... И однажды нервы сдали. А может, совсем по другой причине? У него своя голова на плечах. Кто теперь разберет, зачем да почему?..

— Визгирда?

— Где он?

— Не знаю, товарищ капитан. Он уже давно не работает.

Зубченко взял пистолет и принялся сильно дуть в ствол. От этих усилий его сосредоточенное лицо, словно бы прочно сшитое, разошлось по швам и стало бесформенным, по-детски капризным. Но вдруг, будто взглянув на себя со стороны, он перестал дуть и нервно, наспех стал разбирать пистолет. Постепенно лицо снова приобрело обычное, немного усталое выражение.

— Я спрашиваю, где он.

— Не знаю.

— Говори, пока не поздно. У нас есть возможности и опыт любому рот открыть. Подумай!

По правде сказать, Аугустинас уже давно к этому готовился. В тот день, когда впервые доверил тебе свою тайну, он все-таки еще вернулся. Очень поздно, но пришел. Был взволнован, нервничал. Сердито стащил с себя пальто, швырнул его на твою кровать и встал у тебя за спиной. Постоял, тяжело сопя и чуть не задыхаясь, потом вдруг захлопнул книгу, которую ты тогда читал.

— Снова пьяный,— сказал ты, не оборачиваясь.

— Ты страус!

— Вчера я был гнилым либералом.

— И знаешь, почему?

— Не знаю и знать не хочу.

— Ясно, ты ничего не хочешь знать и слышать. Только сосеешь, как теленок вымя, эти свои книженции и не имеешь ни малейшего понятия о том, что творится вокруг. А в один прекрасный день, прия-

тель, грянет гром. Да так грохнет, что вспомнишь меня. Тогда и с тебя судьба спросит, что положил ты на алтарь Отечества.

— Громкие слова.

— А ты распинаешь его своим молчанием.

Не дождавшись ответа, он повалился на твою кровать и закурил. Смотрел в потолок и о чем-то мучительно размышлял. Ты разыскал в захлопнутой книге нужную страницу и выписал на клочок бумаги ту сентенцию Фихте. Мысль тебе понравилась, и ты забыл о лежащем на кровати Аугустинасе. Однако Визгирда не желал, чтобы ты так легко забыл о нем. Внезапно он вскочил с кровати, наспех надел пальто, зашел за перегородку и начал складывать в чемодан свои холостяцкие пожитки. Неужели и вправду?

— Ты куда?

— Ухожу.

— Шутишь.

— Не стану я, как ты, ждать, чтобы меня, морально изнасиловав, зарезали, как ягненка, и потащили продавать в дальние края.

— Но никто же пока не тащит.

— Потащут — не отбрыкаешься.

Однако не ушел. Не ушел и на другой день, и еще через много дней. Конечно, ему было дьявольски трудно решиться. Ушел он позже, лишь после таинственного исчезновения Ниле. Тогда сказал: «А от Удраса тебе никуда не деться. Однако веди себя с ним, как с воздухом: вдохни и поскорее выдохни!»

Рассказать об этом Зубченко? Поведать ему все-все? Как мы познакомились, как Визгирда отгородился от меня «китайской стеной», как потом мы поссорились, как долгое время не разговаривали, как потом снова помирились, как... Но разве он поймет? Поверит? А я, не владея как следует русским, только еще больше запутаюсь. С другой стороны... «Но ты ни гу-гу. Знать, мол, ничего не знаю. Ничегошеньки! Спрашивать станут, грозить, брауник под нос совать, глядишь, и отлупят, в кутузку сунут... а ты все равно — ничего, мол, знать не знаю. Ты младенец, дурачок, теленок... Только такие оттуда и вылазят. Высунешь язык — со всеми потрохами выдерут. Усек?!» — звучали у меня в ушах настойчивые советы пьяного Балтулиса.

— Долго мне ждать?

— Не знаю, я ничего не знаю.

А что еще мог я ответить? Разве мне известно, где теперь Визгирда? Ушел и ушел.

Капитан взял пистолет, прицелился прямо тебе в лоб, прищурил левый глаз, латунными зубами прикусил нижнюю губу.

Неужели все? Застрелит, оттащат к тем тресам, и все. Скажет, что в лесу или при попытке к бегству уложил.

Ты сам удивился, что можешь так спокойно и равнодушно думать о собственной судьбе. После нервного напряжения, бессонных ночей и душевных мук последних дней ты, наверно, совсем отупел. На все было наплевать: «Будь что будет, только бы поскорее это кончилось».

Впрочем, нет. В глубине души было тебе горько и досадно, что все сложилось так бессмысленно, что придется покинуть этот мир, не свершив множества важных дел, которые не давали покоя с раннего детства.

Зубченко опустил пистолет.

— А что скажешь об Удрасе? Жил у него, встречался, беседовал... Мы все знаем.

— А я ничего не знаю.

Капитан встал.

— Что ж! Не хочешь говорить, подумай еще.

И он вышел. Перед тем убрал со стола несколько папок, стопку

белой бумаги, пистолет, собрал разбросанные папиросы и выпил стакан желтоватой воды. Захлопнул у себя за спиной дверь.

Когда в коридоре смолкли медленные и тяжелые шаги, ты глубоко вздохнул и закурил. Зарешеченное окно все больше окутывали сумерки. Где-то громко и сочно затарахтело, по унылой площади протянулся длинный пучок света, который вырвал из темноты большой и тяжелый каменный пьедестал бывшего обелиска в честь Независимости, задержался возле мертвых тел, уперся в серую каменную костельную ограду и, словно старательно и тщательно протирая ее, скользнул влево. И вновь площадь утонула во мгле, тарыхтение стихло. Тебе стало еще досаднее и грустнее. И вдруг захотелось забраться на тот каменный пьедестал, уместиться там и посматривать вокруг. Сидел бы себе и ни о чем не думал, забыл все свои мысли, книги, всех удрасов и все «вальтеры», всех визгирдов, всех капитанов в мире и Ниле... Нет, Ниле вспомнил бы. Брел бы вместе с ней по росистому лугу, по плотине, разглядывал флегматично проплывающих в воде рыб, искали бы мы в лесу муравейники и дикие яблони; сидя на меже возле господских могил, выбирали бы друг у друга из волос еловые и сосновые хвоинки и говорили о том, что человек приходит в этот мир из земли, радуется, любит и снова возвращает свои печали и тревоги той же самой земле. И не было бы ни народных защитников, ни органов безопасности, ни леса, ни гарнизонов. Но кто меня теперь отпустит, чтобы пойти и посидеть на том благословенном камне? Дверь заперта, на окнах решетки, со стены из черной рамы бдительно смотрит на тебя человек с пышными усами, низким лбом, мясистым носом, в мундире с широкими золотыми погонами; у ворот постовой. И еще большой вопрос, выйду ли я вообще из этого дома.

Медленные, тяжелые шаги. Все ближе и ближе. Остановились. Слушает. Шепчет. Не один. Щелкает замок. Дверь скрипит, взвизгивает и открывается. Входят. Двое. Капитан и еще кто-то. Коренастый, плечистый, в черной кожаной куртке и сапогах. Чернявый, застывшее лицо, глубоко посаженные глаза, кривая ямочка на подбородке... ушанка с кожаным верхом. Ни одной светлой краски. Кажется, что и мысли у этого человека черные. Будет пытаться? Лицо настоящего палача, никакого проблеска мысли. Будет истязать! Нос крупный, костистый. Безгубый рот. От такого всего можно ждать. Это тот самый, который в дороге обыскал мою торбу, который потребовал: «Документы!»

— Садись, Янаудис.

И сам молча садится на свое место, выкладывает на стол папки, пистолет и пачку «Казбека». Янаудис усаживается в стороне, упирается спиной в нескороаемый шкаф, кладет на свои обтянутые кожей колени большие коричневые руки, словно готов в любой момент вскочить и оказать своему начальнику нужную услугу. Сидит, не спуская глаз с лица капитана, и ждет лишь знака. Но начальник не торопится. Открывает папку, читает, что-то подчеркивает красным карандашом и курит, курит. Что они будут теперь со мной делать? Зубченко снова берется за пистолет. Но лицо у него усталое, апатичное. Сует оружие в кобуру.

— Ну, будешь говорить?

— Ничего я не знаю.

Капитан встает из-за стола и прохаживается взад-вперед по кабинету. В голове у тебя мелькает глупая и неуместная мысль, что у Зубченко и ноги маленькие, какие-то по-женски маленькие и до отращения хилые, словно с малолетства держал их, как какая-нибудь японка, в деревянных колодках. Эту веселую мысль ты стараешься удерживать, вцепиться в нее и силой вбить себе в голову. Ищешь терпеливо и со злорадством другие подобные сопоставления, благодаря которым капитан предстал бы в призрачном и жалком свете. Однако скоро устаешь.

Зубченко снова садится за стол, открывает папку, вытаскивает пистолет и тычет стволом в твой листок.

— Что тут за ерунда? Переведи!

Ты приподнимаешься со стула и склоняешься над тем местом, которое он указывает. Фихте! Ты долго думаешь.

— Мне... по-русски трудно.

— Читай по-своему.

Ты никогда не пробовал перевести эту сентенцию, поэтому снова какое-то время соображаешь, как поточнее выразить мысль философа по-литовски. К своему удивлению, убеждаешься, что, даже хорошо понятная, она не так-то легко поддается переводу на другой язык. И этого вполне достаточно, чтобы Зубченко заподозрил тебя в злом умысле. Шмыгает курносый носом.

— Выкручиваешься, дубина? Хочешь из черного сделать белое? Лучше не хитри! Ничего не выйдет!

— «От моей жизни и моей судьбы не зависит ничего,— начинаешь ты наконец,— от деяний моей жизни зависит бесконечно много».

Капитан вопросительно смотрит на Янаудиса. Тот, беспокойно пересав на стуле, велит мне написать сентенцию по-литовски и пытается перевести ее на русский. Но у него не получается, и вскоре он окончательно запутывается. Тогда вы оба принимаетесь за перевод. Наконец мысль Фихте звучит по-русски. Зубченко, не снимая шапки, чешет затылок. Думает. Что-то кажется ему тут весьма подозрительным. Все еще чешется. Безнадежно и яростно, словно от его решения зависит судьба всей страны. Шапка сползает на лоб, глаза, переносицу, а уголки губ подрагивают. Подрагивают жалобно и по-детски. Они поднимаются, замирают, снова вздрагивают; щеки и подбородок кривит капризная, пренебрежительная гримаса, и вдруг губы, сжатые, выдрессированные, распускаются, рот открывается. Но он берет себя в руки, поправляет шапку и деланно бодро повторяет:

— «От моей жизни и моей судьбы не зависит ничего, от деяний моей...» Какой-то гнилой идеализм, настоящий... фатализм! Мракобесие!

Время течет бесконечно медленно и утомительно. На площади тяжело взревел грузовик. Звякают стекла окон, вздрагивают графин на столе и лампочка под потолком. И снова тишина. Только глухо доносятся мерный перестук солдатских шагов.

Капитан вдруг встает, наклоняется и смотрит на твои ноги. Смотрит долго, внимательно, затем усмехается, будто озаренный неожиданной идеей, злорадно, но сдержанно. Что пришло ему в голову? Наклоняется еще ниже, хватает и поднимает с пола твою торбу. Кладет на стол, вытряхивает крошку хлеба, белье, мыло, носки, словарь и все, что там было.

— Подготовился?

Ты молчишь. Нет, они еще ничего не знают о «вальтере». Знали бы, по-другому разговаривали. А сейчас, видимо, нет оснований привязываться ко мне. Что до Визгирды, то убежал, и все дела. Не в моих силах было его удержать.

Капитан снова садится за стол, берет чистый лист бумаги. Пишет. Закуривает и пишет. Спрашивает некоторые данные твоей биографии и снова пишет. Берет второй лист, кое-что уточняет и снова пишет. Осведомляется о пани Клеопатре, Удрасе, Визгирде, директоре прогимназии, учителях и, хотя ты не успеваешь ответить или даже сказать «да» или «нет», немедленно фиксирует все на бумаге. И ни слова о Ниле, словно ее никогда не было на свете. Наконец аккуратно складывает все три исписанных листа, загибает уголок, надрывает его в двух местах, подкалывает в дело и говорит:

— Так что же, Друскянис, твоя вина очевидна.

— Почему? — спрашиваешь ты, почти не удивляясь равнодушию своего голоса.

Зубченко откинулся на спинку стула и сформулировал резюме допроса и твоей вины приблизительно так: на работе ты не проявляешь никакой активности и инициативы, не подготовил ни одного комсомольца, ничего не сообщил о намерениях Визгирды, не давал отпора антисоветским выпадам врагов народа, сам почитываешь антимарксистскую литературу и, в частности, интересуешься фатализмом, который затемняет человеку мозги и связывает руки.

Заканчивая обвинительное заключение, подытожил:

— Вышесказанного достаточно для привлечения к уголовной ответственности, но наша цель не наказать человека, а дать ему возможность исправиться.

Янаудис услужливо перевел на литовский. Ты промолчал.

— Значит, и в данном случае,— продолжал Зубченко,— все зависит от твоей доброй воли и степени понимания гражданского долга. Кстати, и на твоей бумажке, если я не ошибаюсь, написано: от деяний моей жизни... зависит бесконечно много. Не так ли? Согласен, Друскянис, помогать нам?

— Как это?..

— Не валяй дурака!

— Я ни с кем не встречаюсь, ничего не знаю.

Капитан подробно разъясняет тебе, как в дальнейшем должен ты вести себя и как вообще работают в подобных случаях. Растолковывает спокойно и вдумчиво, с примерами.

Выходит, Балтулис был прав, сто раз прав: любыми средствами они постараются завербовать меня, заставить сотрудничать. И я вынужден буду прислушиваться, кто что говорит, замечать, кто с кем встречается, знать, кто что делает, куда ходит... И абсолютно обо всем придется докладывать самому капитану или уполномоченному им лицу.

— Ну как, товарищ Друскянис? У нас соблюдается строжайшая тайна.

Держись, Ансельмас! Они хотят сделать из тебя обыкновенного стукача, предателя, а может, и провокатора. Хотят отравить твою жизнь. Для них не имеют никакого значения ни твои книги, ни науки, ни твое спокойствие, ни твоя совесть. А за что? Ведь я никогда никому не сделал ничего дурного. И никогда ни во что не вмешиваюсь. И никогда всерьез не интересовался никакой политикой. У меня не было настоящей жизни при Сметоне, меня шпыняли Кубилиюнас с Рентельнасом, и вот теперь... Нет, я хочу остаться свободным и независимым до конца. Что бы ни случилось, даже если каменный дождь на меня обрушится! Не устою сейчас — не устою никогда. Вспомни слова Балтулиса: «...молчи и нигде не подписывай... Ничего, мол, не знаю, ничего не ведаю, ничего не слышал. Как в той сказочке: «Ничего не ел, ничего не пил».

— Нет! Нет!

Зубченко выплюнул в угол недокуренную папиросу и махнул рукой.

— Хватит! Уведи его! Пусть еще разок обо всем подумает.

Янаудис, до той поры сидевший спокойно и чуть ли не дремавший, резко вскочил, прищелкнул каблуками и бодро, почти весело скомандовал:

— Встать!

Ты медленно поднялся.

Вы прошли пустой и гулкий коридор, очутились в скованном морозом дворе и направились прямо к складу с забитыми до половины маленькими оконцами.

— Стой! Приставить ногу!

Ты остановился.

Янаудис шумно открыл дверь и крикнул в темноту:

— Пагауга!

В сумраке скользнула тень и в нескольких шагах от нас остановилась. В бледном свете луны лицо казалось маской с глубокими темными глазницами. Тебе даже показалось, что ты услышал лязг костей этого человека. Янаудис подтолкнул тебя в дверь. Сухо щелкнул задвинутый засов, ты оказался в непроглядной тьме. Стоял, всем существом прислушиваясь к удаляющимся за невидимой дверью шагам. Когда они затихли, ты осторожно, на ощупь сделал несколько шагов вперед и вслушался. Тишина. Ощупал стены. Они были влажными, холодными и шершавыми. Ты медленно обошел камеру вдоль всех четырех стен.

— Эй, есть ли тут кто?

Никто не ответил. Ты был один-одинешенек. Понемногу освоился. Помещение небольшое, узкое и холодное. Койки не было и вообще не было ничего, на что можно было бы сесть. Хоть бы валун какой или колода! И походить негде — тесно, как в шкафу. Как долго продержат меня тут? Втолкнули и ушли. Значит, так легко от них не отделаться.

Ты вспомнил, что у тебя есть спички. Чиркнул одну. Стены кирпичные, местами осклизлые, заиндевелившие, с потолка свисает паутина, пол усыпан старой, гнилой соломой. Сыро, разит мочой и куриным пометом. Когда же меня отсюда выпустят?

Сдвинул ногой в угол кучку соломы и опустился на нее, спиной упершись в стену. Куда девались мои рукавицы? Ощупал, облазил карманы. Нету. Оставил в кабинете у Зубченко? И торбочка там же осталась с едой и бельем. Зря готовился.

Сунул руки в рукава, подтянул под себя мокрые ноги и уставился в холодный мрак. Нет, не соглашусь! Буду стоять до конца. Кое-что мне уже доводилось слышать и читать об аналогичных случаях, а Балтулис все скрепил местной практикой. Прежде чем завербовать, они всегда находят какую-нибудь вину. Что-то ты там не так сказал, сболтнул, усмехнулся не к месту, а если еще и рассмеялся, намекнул на что-то, кому-то не в меру разоткровенничавшемуся поддакнул, не сообщил куда следует... Один старшекласник, показывая на карте столицу Таджикистана, скривился, и этого оказалось достаточным, чтобы навсегда отправиться в Воркуту. А если еще привяжутся к происхождению, к прошлому или нынешнему социальному положению, распают за границей какого-нибудь родственника, пусть это родство — седьмая вода на киселе, — тогда держись! Но как прижать меня? Я работал, из сил выбивался, ночей не спал, с раннего утра глотал книги и лишь изредка одним ухом слушал, что творится рядом. Если бы хоть кому-нибудь ляпнул неосторожное словцо о новой власти! Еще с сорокового года хорошо знал, что государственная машина действует порой с перебоями, но строго по плану и что в ней множество «винтиков», которые боятся даже собственной тени, не имеют ни малейшего понятия о чувстве юмора и что властям всюду мерещатся реставрация капитализма, тайные сговоры и заговоры...

И чем смогу я удовлетворить любопытство Зубченко? Следить за тем, что делают соседи? Тайком подслушивать, что они говорят? Угадывать, что собираются делать? Провоцировать, чтобы «раскалывались»? А потом все это запоминать и сообщать? Какая ирония судьбы! Ведь для таких дел нужен не только субъект без угрызений совести, требующий и специфические способности. Никогда в жизни не отличался я изворотливостью. Особенно когда приходится трястись за собственную шкуру. И вообще стукачество — деятельность, весьма опасная и изнуряющая. Она может удовлетворять лишь тупых фанатиков, наглых карьеристов или безмозглых роботов. Нет, никто не имеет права втягивать меня в такие низкие, подлые занятия. Есть множество других способов, которыми я могу доказать свою любовь и преданность власти трудящихся.

Твой внутренний монолог был прерван криком. Коротким и жутким. Он будто разорвал тебя на части и застыл во мраке. С замираю-

щим сердцем ждал ты, что вот-вот он вновь обрушится. Нет, не упал. Как дамоклов меч, навис над тобою. Этот тип... Пытает кого-то? Наверное. А может, хотят напугать меня?

Тишина. Душащая, тяжелая.

Стали коченеть от холода ноги, поясница, спина. Особенно ноги. Они промокли, когда ты соступил в канаву.

Время течет медленно, монотонно, лишь изредка останавливается около сердца, на миг исключая его из всеохватывающего потока.

Встал, потер затекшие суставы, отодвинулся подальше от угла и принялся разминаться: мотал головой, потягивался, размахивал руками. Устал, но совсем не согрелся.

Снова садишься, упираешься коленями в мучительно пустую грудь, кладешь на них подбородок, засовываешь окоченевшие руки в карманы пальто и съезживаешься. Сон не идет.

Шаги? Да. Осторожные, едва слышные. Кто-то крадется по двору. Все ближе и ближе. Подходит к двери. Останавливается. Затихает. Ты настораживаешься. Наверно, и за дверью сейчас прислушиваются. Еле слышно звякает засов. В темноте прорезывается сине-серый клинышек света. Он понемногу становится шире. Мерцают три звездочки.

— Учитель?

— Кто там?

— Т-с-с... Я это.

Ты поспешно встаешь и двигаешься к приоткрытой двери. Останавливаешься. И тут же узнаешь Балтулиса. Человека, который вчера принес тебе повестку, заступился в пути, ободрил перед допросом.

— Нате, учитель.

Ты берешь из его рук еще теплую торбу.

— Может, думаю, у человека кишка кишке кукиш кажет. Хотя бы хлебушком со шматком сала побалуется.

— Долго меня тут продержат?

— Не знаю, браток.

Да и откуда ему знать? Разве он тут начальник? Балтулис лишь исполнитель чужой воли.

— Закурить не найдется?

— Найдется, для такого человека всегда найдется.

Он шарит по карманам. Вытаскивает кисет, ловко развязывает его, отсыпает тебе на огрубевшую ладонь щепотку табака, отрывает клочок газетной бумаги.

— Огонек есть?

— Спасибо, есть.

— Отпустят, точно отпустят. Они часто так делают. Порасспрашивают, помучают и отпускают. Только ты держись. Держись, браток!

— Кто там кричал?

— Кричал? Когда?

— Примерно час назад.

Балтулис стоит, опустив голову. Кажется, борется с самим собой. Внезапно приотворяет дверь и шепчет:

— Не знаю, ничего не знаю.

Дверь тихо прикрывается; почти неслышно, еле-еле щелкнув, закрывается засов.

— Не сдавайся.

Шаги удаляются.

Почему Балтулис хочет, чтобы я не сдавался? От доброты сердечной? Знает, что та к и х ждет?

Почему?

Всюду есть хорошие люди!

Первым делом ты кое-как, на ощупь лепишь самокрутку и закуриваешь. Дым горький, газетная бумага то и дело вспыхивает, но зато в голове словно просветлело. Ты уже можешь спокойнее обдумать свое положение. Разумеется, отпустят. Балтулис не стал бы говорить

зря. Подобных случаев он, конечно же, знает много. Еще какое-то время помучают, потаскают и обязательно отпустят. Я же ничего такого не сделал, ни в чем не провинился, чтобы возиться со мной тут дни и ночи. Дела не заведут. Улик никаких. А про «вальтер» они пока еще не знают. Главное теперь не пасть духом, не терять головы и ждать. Кто умеет ждать, тот может все. К нужде, бедам, трудностям я сызмала приучен. Если бы не этот промозглый холод, и тут можно было бы терпимо устроиться, даже попытаться вздремнуть пару минуток. И надо наконец что-то съесть.

Холодает. За окошком прихватывает все крепче. Даже ограда временами потрескивает. Скрипит на зубах и промерзший хлеб. Бедная краяха тогда тоже промокла. Но ничего, с салом пойдет. Закурил, успокоился — и аппетит появился. Хорошо, что тот желтоусый подвернулся. Не надо падать духом, если еще осталось столько добрых людей.

И ноги чуть отпустило. Варешки? Где они, где?.. Нету. Ну и черт с ними! Закутай руки в ту рубашку, что взял про запас. Вот так, вот так. Одну уже замотал, теперь другую. Это, конечно, труднее. Но безвыходных положений нет. Теперь, имея такие кулаки, можно боксировать с самой судьбой.

Подготовившись к сражению с холодом и ночью, ты задремал.

Проснулся внезапно и неожиданно. Нет, не от холода. В камеру проникал луч света. А ты только что видел, как тебя кто-то ощупывал в темноте. Возможно, даже и не искал, просто тянулись к тебе длинные дрожащие пальцы, с которых капала кровь. Кап-кап — редко и гулко капала эта пурпурная кровь.

И, открыв глаза, ты все еще видел эти длинные вздрагивающие пальцы, которые становились все длиннее, а ты медленно, непроизвольно отступал от них все дальше, пока не уперся спиной в стену.

Да, мне снился сон. Не было ни тех белесых пальцев, ни той крови... Есть лишь кишачий мириадами пылинкок полумрак камеры, рассеченный узким длинным лучом на рыжие и серые куски; есть лишь обмотанные чистой рубашкой руки, затекшие или отмороженные ноги и торба возле них. Я тот, каким пришел сюда. Нет, уже не такой. Я изменился, постарел. Постарел на десять, двадцать... на сто лет! Невыносимо давит на плечи этот многолетний груз.

В камере становится все светлее. Солнце, наверное, уже высоко-высоко в небе. Когда же наконец меня выпустят отсюда?

Постанывая от острой боли, ты тяжело поднимаешься и пытаешься ходить. Три шага вперед, три шага назад. Ходишь тихо, осторожно передвигая ноги, словно боишься самого себя.

Капает, что-то капает. Вслушиваешься. Кап-кап-кап... Да, действительно капает. Солнце уже высоко, пригревает основательно, начинается капель с сосулек. Конец марта. Так вот что во сне капало. Не кровь, а вода. Капало? Но ведь ночью не было солнца. Как же в таком случае капало? Только сон. Капало во сне? Ах, Анзельмас, Анзельмас, тебе опять снится сон. Хотя не спишь, а вышагиваешь три шага вперед и три назад. Посидишь тут еще день-другой и станешь смотреть на мир совсем другими глазами. Сумеешь и на себя взглянуть со стороны, немножко иронично, немножко печально. Если человек способен на это, то он способен на многое. Ну же, Анзельмас, попробуй глянуть на себя со стороны, где твоя самоирония? Ирония — оружие мудрецов. Кто ты теперь, кем был ты прежде? А был ты и есть большой ребенок. Только привык себя и других отыскивать в книгах, в толстых фолиантах. А что нашел? Нашел чьи-то мысли, чью-то жизнь, чью-то любовь, чьи-то радости и заботы, чьи-то судьбы. А о себе забыл. Забыл, напроць забыл! Все тебе нравилось, что находил в книгах. А теперь поищи себя в жизни. Поищи здесь, в этой камере, где только что к тебе тянулись белесые окровавленные пальцы. Человек начинает познавать себя лишь тогда, когда другие теряют к нему интерес, когда

от него отворачивается сама судьба. Тогда он приучается быть один, сам себя обвинять и судить, а оправдывать оставляет самой жизни. А чтобы обвинять, он должен хорошенько углубиться в себя, в своих близких, во всех людей. Ведь оправдывать себя куда легче, чем обвинять. Обвиняет разум, оправдывает сердце. С кем же ты, самозванный мудрец?

Попробуй-ка, Ансельмас, вернуться в недавнее прошлое, все вспомнить, во всем разобраться. И подольше остановись там, где задерживаться тебе вовсе не хотелось бы. Ну и что с того? Разве всякий раз я не делал этого? Попытайся еще. Младший Растянис? Остановись и на нем, и на Ниле... На Ниле? Да, и на Ниле. Ведь мысленно ты уже примирился с тем, что потерял ее. Нет! Никогда! Однажды Ниле играла на гитаре. Очень славно играла. И вдруг лопнула струна. Раздался звук такой жалобный и пронзительный, что показалось — раскололся пополам весь мир и никогда больше не сплотится. И улыбка на ее лице стала такой жалкой, что раскололось и твое сердце. Охваченный недобрым предчувствием, ты тогда еще спросил себя: «Смог ли бы я пожертвовать собой ради нее?» И ответил вопросом на вопрос: «Разве я могу уследить за каждым ее шагом?»

А тут еще этот динамик на площади. Бравурные марши. Они вытаптывают мысли, рвут кишки и... заставляют двигать ногами в такт. А те лежат там. Лежат все трое: посередине женщина, неловко свернувшись и обхватив руками живот, словно кто-то намеревался прыгнуть в него, а один из мужчин прикрыл ладонью глаза от заходящего солнца. Ничто его больше не интересует. Ни зеваки, ни вооруженные и накормленные американцами солдаты гарнизона, ни бравурные мелодии, которые вытаптывают мысли, рвут кишки и... приводят в движение ноги, руки, спускают с цепи все инстинкты и заставляют шагать, шагать. Шагать, не оглядываясь по сторонам, не видя, что делается справа и слева, что остается за спиной, не глядя, что под ногами.

Почему же никто не вспоминает обо мне? Сколько может продолжаться все это? Воскресенье, капитан, наверно, не работает. Ему тоже положено время от времени забываться. Неужели больше не приоткроет дверь даже Балтулис, этот смущенный народный защитник с опущенными и печальными, будто влажными усами?

Не выкручивайся, Ансельмас! Почему избегаешь остаться с глазу на глаз с самим собою, с собственной совестью? Не избегаю, но... Ох уж этот динамик... Диктор вещает о товарище Сталине, отце и учителе, вдохновителе и организаторе всех наших побед. А теперь бьют часы! Удары четкие, резкие, беспощадные. Будто кто-то щелкает кнутом. «Жизнь не клая, и ее вперед кнутом не погонишь». Горький. Где теперь Аугустинас?

Двенадцать.

Снова динамик. Какая-то радиопостановка. Вновь поминают Сталина, родину... Гитлера.

Ты вытаскиваешь хлеб, ломтик сала. Ты голоден, но кусок застревает в горле. Хочется пить. Когда же наконец отпустят?

В детстве, когда служил я подпаском у богатого хозяина, часто возле речки мечтал, что в один прекрасный день найду большую рыбу. Рыба, ободранная и покрытая слизью, будет биться и мучаться на мелком месте, и я ее, уже вялую, легко добуду. Почему я мечтал об огромной рыбине, а не о чем-то другом, мне и теперь не ясно. Потому, вероятно, что в ту пору такая рыба была бы для меня чем-то существенным: добыча, желанная и редкая. А к чему еще мог я тогда стремиться? Однако сколько ни бродил по берегу, так никогда и не увидел этой рыбы. Потом эти глупые мечтания забылись, я вырос. И вот однажды весной мне и в самом деле довелось наткнуться на выброшенную на берег рыбищу. Только она была уже дохлая, ее окружили большие и маленькие птицы, и еще издали ощущалось зловоние.

Динамик умолк.

Приближался вечер.

Неужто забыли? Скорее всего придется просидеть тут еще одну ночь. Хоть бы кто-нибудь принес тарелку супа, стакан чая или кружку горячей воды — я утолил бы жажду, согрел бы желудок. Нет, Анзельмас, тебе нельзя соглашаться. Никогда!

Шаги. Редкие, твердые, военные.

Звякает засов.

Капитан!

— Ну, договоримся?

— Я ничего не знаю.

Зубченко стоит в дверях и молчит. О чем-то думает. Ему надо принять решение. Такого упряма, такого барана он еще не встречал. «Я или ты», — говорит его мужественно красивое, свежевыбритое лицо. Он теперь совсем не тот, что был ночью. Даже одеколоном несет от его помолодевшего лица. Меня всегда раздражают и отвращают надутые мужчины, потому что кажется, что они хотят кому-то понравиться. Желание понравиться — признак слабости. И действительно, едва донесся запах одеколона, как капитан в моих глазах стал совсем другим — будто уже не военный, а безнадежно слабый человек.

— Мотай отсюда!

Ты смотришь удивленно и смущенно. Тебе не совсем понятны эти слова.

— Кому говорю!

Ты не спеша разбинтовываешь руки, берешь промерзшую торбу. Зубченко раскрывает папку.

— Распишись!

— Нет. Я ничего не знаю.

— Идиот. Подпиши, что не будешь болтать.

Ты пробегаешь глазами несколько строчек и дрожащей от нетерпения рукой подписываешь.

— А теперь сгины!

С торбой в руках ты поспешно выходишь; кто-то у тебя за спиной громко и злобно смеется, но ты, не глядя по сторонам, даже не обернувшись, пересекаешь двор, проскальзываешь мимо постового... Уходишь все дальше и дальше.

В городке робко затеплились первые фонари. Они ничего не освещают, только вызывают еще большую тоску и чувство одиночества.

Возле развалин памятника тебя кто-то окликает. Остановившись, ты осторожно оглядываешься. Балтулис! Настороженно посмотрев по сторонам, он берет тебя под руку.

— Я же говорил, что отпустят.

— Спасибо за все.

— Не втравили?

— Нет.

— Но ты попомни, браток, это только цветочки, это еще не конец. Ой, нет! Они так легко не отвязываются. Потому первым делом затыркой куда-нибудь эти свои книжонки. И чтобы следа не осталось! — Он приложил грязный палец к губам. — И главное — тссс!

Оставшись один, ты должен был решить, какой дорогой идти. Лесом почти вдвое ближе, но и вдвое опаснее. Так свернуть или напрямки?

Будь что будет! Пойду там, где короче. Я дико устал и голоден, как волк. Приду домой, истоплю печку, согрею воды, выпью тминного чая, найду что-нибудь перекусить и попытаюсь хоть малость вздремнуть.

Поднимается ветер, и тучи затягивают месяц. Холодает. Брр! Только в нескольких местах робко мерцают огоньки да поскрипывает под

ногами снег, потрескивает ледяная корочка, затянувшая лужи. Нарушение тишины тебя особенно тревожит. А когда углубляешься в лес, не на шутку начинаешь жалеть, что не пошел кружной, но более надежной дорогой: здесь опасность подстерегает на каждом шагу, а каждый шаг производит такой шум, что весь лес гремит, как от пулеметных очередей. И впрямь предчувствие не обмануло. Внезапно тебя ослепляет яркий свет.

— Стой! Кто идет? Руки вверх!

Скрип снега. Медленные шаги. Все ближе и ближе.

— Чего тут шатаешься?

— Я... я учитель.

— Шпион?

— Из волости иду.

— Документы!

Их двое, а может, и больше. С автоматами, в ушанках и сапогах. Ясно, кто такие. Может, сказать пароль — «Черная Ель»? Я слышал, как тем вечером их командир сообщил его Удрасу. Если сказать пароль, то и их поведение по отношению ко мне сразу изменится. А когда доставят в свой штаб или еще куда-то, сообщу, что в городок прибыл гарнизон, что у костельной стены лежат трое, что им следует поостеречься. Но разве они сами не знают? Сказать или нет? Однако этот пароль может тебя здорово подвести. Откуда узнал? Кто сказал? При каких обстоятельствах? И так далее. Пошлют человека к Удрасу, и все выяснится. Нет, не имеет смысла козырять паролем.

— Не слепи человеку глаза! — сказал тот, что стоял чуть поодаль.

Яркий луч отклонился в сторону. Ты кое-как находишь свое временное удостоверение и протягиваешь. Не снимая варежек, парень берет его, посвечивает, оборачивается в темноту.

— Что будем делать?

— Из волости? — в свою очередь, спрашивает второй, тот, что пожалел твои глаза.

— Да.

— В штаб!

— Так я же...

— Отставить разговоры! Там разберемся.

Первый тут же стаскивает с твоей шеи шарф, завязывает им тебе глаза, крепко затягивает, холодными пальцами проверяет, шаря около носа и щек, вертит на месте несколько раз и строго приказывает:

— За мной.

Ты идешь вслед за скрипом снега, потрескиванием льдинок и гулками шагами, вытянув перед собой руки, чтобы не разбить лоб о дерево или какое-нибудь другое неожиданно возникшее препятствие. Теперь мне уж точно конец. Заведут поглубже в лес и... пулю в затылок. А может, нет? Зачем бы тогда стали завязывать глаза?

Каждый шаг — мука, неизвестность. Оступаешь, падаешь, но поспешно встаешь. Тот, кто шагает впереди, время от времени ухватывает тебя за рукав, помогая, когда надо переступить через овражек или пробраться к чащобе.

Сколько же мы будем так шагать? Уже два дня и одна ночь, как у меня почти ничего во рту не было. Ноги подкашиваются, а сердце стучит неровно, спотыкаясь и покалывая, словно и оно туго перетянуто грязным жарким шарфом.

— Да я же только из волости шел...

— Отставить разговоры!

И наша вереница двигается дальше. Глухо чавкает, а то и вновь скрипит под ногами уже осевший наст, нет-нет да и хрустнет льдинка, и снова угрюмо и морозно шумят ели, сосны. Ох, знаком мне этот гул! Долго ли еще идти?

— Ребята, куда вы меня?..

— Отставить!

Неужели все они знают теперь лишь это: «Отставить!» Каждый понимает, что разговорам и болтовне сейчас не время и не место. Теперь — кто кого, теперь — быть или не быть. Но нельзя же как ни в чем не бывало затыкать себе уши перед каждым объяснением или разумным словом. И какого черта меня, мирного человека, который никому не причинил вреда, тягает к себе безопасность, заталкивает в холодную, а теперь гонят через жуткий лес?

В глазах лишь черная ночь, в глубине которой изредка вспыхивают редкие искорки. Они ничего не озаряют, ничего не высвечивают, ничего не дают разглядеть, лишь мучительно вспыхивают и, подрагивая, гаснут, как падающие в черноте ночного неба звезды. У каждого есть своя звезда... «Справа — белый, слева — красный... Да, ты пока что еще ничего не говоришь и не делаешь. Но что впереди, тебе неизвестно. И я тоже не знаю. А что позади, я тебе скажу: позади — мертвяки, мертвяки, мертвяки... Бакшис, Гайлутис, Читаюс, Растянис... те, что, оскверненные, лежат теперь перед костельной оградой... Мертвяки, мертвяки...»

В глазах бездонный мрак. А что будет потом, когда этот мрак рассеется?.. Ведь рано или поздно он должен будет рассеяться.

Но когда?

Ты спотыкаешься, падаешь в снег. Ничком, дрожа всем телом, бесконечно уставший. Как славно было бы остаться так лежать! Вокруг ночь, и лес так усыпляюще гудит, гудит:

Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?..

— Встать!

— С меня хватит, мужики.

— Отставить разговоры!

Сильные руки берут тебя за плечи, грубо встряхивают и ставят на колени. Кругом сплошной мрак. Он так давит, режет глаза этот бесконечный мрак.

— Куда вы меня ведете?

— Встать!

— Да уж кончайте тут. Я больше никуда не пойду.

— Пошевеливайся! Кому сказано? Вперед!

И снова мучительная дорога. Сколько времени мы уж топаем? Час, два... сутки? И никогда никуда не придем.

— Мужики...

— Предупреждаю последний раз: будешь вякать, найдем способ заткнуть тебе глотку.

Попел снег. Ты ощущаешь на губах капельки живительной влаги. Задираешь голову и ловишь ртом крупные, редкие, сочные и холодные снежинки. Тебе становится легче.

Теперь ты бредешь послушно, покорно, ни о чем не спрашивая и не бормоча, лишь, закинув голову, разинутым ртом ловишь в непроглядной темноте падающие снежинки. Ты даже видишь их. Рыхлые и неловкие, они падают с ветвей, падают с неба, падают из темноты, отовсюду и опускаются тебе на губы, подбородок, голую шею. И, забыв обо всем на свете, жадным ртом ловишь ты живительную манну небесную.

— Стой!

Ты замираешь на месте и ждешь, что будет дальше. Уши улавливают невнятный разговор. Кто-то кому-то что-то объясняет, доказывает или кто-то с кем-то советуется, спорит.

Потом кто-то берет тебя за руку и ведет. Останавливается, проверяет шарф, который так стягивает тебе лицо. Пискнула и скрипнула дверь. Вроде бы дверь сарая, хлева, а может, и овина. Тебя дергают за руку. Вы переступаете через порог или подворотную доску, еще немного проходите вперед. Приказывают лечь ничком и ползти задом наперед.

— Что вы со мной собираетесь делать?

— Заткнись!

С огромным трудом ты ползешь задом наперед, стараясь как можно дальше убраться от догоняющих тебя тяжелых кованых сапог. Стиснув зубы, ты еще отталкиваешься локтями и коленями примерно на метр и носками башмаков упираешься в какую-то перекладину. Одновременно чувствуешь, что сзади яма, пол кончается и ты начинаешь спускаться по лестнице. Первая перекладина, вторая, третья... Пять штук. Снизу несет спертым, проплесневевшим и влажным воздухом. Ноги нащупывают твердую поверхность, ты больно ударяешься лбом о какой-то предмет, еще раз наклоняешься, вытягиваешься и чувствуешь, что шарф развязывают. Привыкая к полумраку, видишь, что находишься в подземелье. На столе подрагивает желтый хвостик свечного огарка, за ним белеет неясное лицо. На темном фоне, едва освещенное, оно походит на нечеткую фотографию, вмурованную в гранитное надгробье.

— Куда шлялся? — доносится глухой, словно идущий из глубокого колодца голос.

— Я учитель, мужики...

— Кому мужики, а кому воины свободной Литвы, — уточняет кто-то у тебя за спиной.

— Комсомольцев высиживаешь?

— Нет, воины свободной Литвы, я преподаю немецкий язык.

— И Маркс по-немецки бред свой нес, и вся его свора по-немецки сквернословила, и в «Манифесте коммунистической партии» по-немецки всякая чушь понаписана, все по-немецки... Что делал в волости?

— Повестку мне принесли.

Сидящий за столом и задающий тебе вопросы человек закусывает мундштук папирсы, наклоняется к свече прикурить... Ты чуть не вскрикиваешь: массивный, обросший щетиной подбородок, вздернутый нос, маленькие глазки... Неужели тот же самый капитан? Он выпускает клуб дыма, откидывается на спинку стула и снова тонет в полумраке.

— Кто вызывал?

Как он тут очутился? А может, за мной следили? «Не сказал одному, посмотрим, что другому скажешь. Выясним, кому ты служишь».

— В эту... в безопасность.

— К Зубченко?

И скрипучий тембр тот же. Охрипший голос. Точно, он. Наверно, теперь и такое делают. Теперь ничему не удивляйся! Чего только не делают, чего не бывает?! Но он же говорит по-литовски. Язык можно знать и забыть, а если надо, снова вспомнить.

— Да.

— Дальше? В гостях надо быть скромнее и послушнее. Терпение хозяев тоже имеет границы.

Ты все еще не можешь отделаться от сомнений и трешь ладонями глаза. Он или нет? Все-таки нет. У капитана были другие погоны, другая шапка, другая...

— Я жду.

...папка. Папка? Ее можно взять и потом бросить. И погоны, и шапку... Все можно взять и в случае чего бросить. Руки! Смотри на руки!

— Эй, Педагог! Разбуди-ка гостя!

Крепкие руки грубо встряхивают тебя за плечи. Кажется, даже шейный позвонок вывихнули. Ты поворачиваешься и разеваешь рот.

— Визгирда!

— Знакомы?

— Мы вместе работали, — оживившись, объясняешь ты.

— Тебя не спрашивают.

— Да, он говорит правду, — подтверждает Визгирда. — Мы действительно вместе с господином Друскянисом грызли учительский хлеб.

— Визгирда остался там, в красной школе, а тут Педагог. Понял?

- Понял.
- Продолжай.
- Спрашивали о Визгирде, о директоре...
- Мельницы?
- И о директоре мельницы тоже.
- Об Удрасе?
- Да.
- Он кто?
- Мы живем в одном доме.
- Дальше?
- Потом меня заперли в холодную и продержали ночь.

Лицо выныривает из темноты. Строгое, суровое, с угловатыми и крепкими челюстями. Бесконечно усталое. И несколько пальцев упираются в край столешницы. Не-ет... пальцы совсем другие.

- Солдаты прибыли?

Он или не он? Лицо у Зубченко уже, главное, руки гораздо мельче, какие-то неприятно женские, и двух пальцев нет. Но и у этого я всех пальцев еще не видел. И все-таки это другой.

- Прибыли.
- Сколько?
- Американский грузовик. Полный.
- Вооружение?
- Автоматы... пулеметы... три...
- Пушка?
- Не видел.

Лицо постепенно отодвигается от света и снова становится тусклым, нечетким, словно фотография на граните надгробья.

Наступает тишина.

Ты слышишь, как кто-то неровно и тяжело дышит. Косишься в сторону, но в темноте не можешь никого разглядеть.

- Дальше?

Чего он еще хочет? Неужели думает, что кто-то их считал? Солдаты повыскакивали из грузовика и разбрелись кто куда. Нет, сначала столпились возле тех, лежащих у костельной ограды. Двадцать, тридцать... кто же там точно их сосчитает?..

— У костельной ограды лежали трое: двое мужчин и одна женщина.

- Почему тебя заперли на ночь?
- Зубченко хотел, чтобы я подписал.
- Что?
- Что согласен... сотрудничать, доносить.
- Подписал?
- Нет.
- Врешь.
- Могу поклясться.
- Поклясться? Чем? А на нас согласен работать?

Этого тоже можно было ожидать. Вот почему они меня сюда приволокли. Им нужен связной с мозгами. И я уже сделал первый шаг, проболтавшись о прибывших солдатах. Где же твое: «Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал»?

- Так я же никуда не хожу.
- Пойдешь. С этого дня пойдешь.

Ты снова слышишь тяжелое, прерывистое дыхание.

— Послужишь во благо свободной Литвы,— говорит кто-то у тебя за спиной.

Тонущее во мраке перед тобой лицо снова приближается. Ты впииваешься взглядом в его черты. Нет, это не Зубченко. Но почему же сначала так показалось? Это лицо шире, суровее, жестче, но тоже мрачно-усталое.

- Я жду.

Что ему ответить? Один раз мне удалось вырваться, удастся ли теперь? Почему не пошел домой той дорогой? Ты украдкой косишься по сторонам. Всюду мутный и беспокойный сумрак. Лишь на большом столе из нетесаных и некрашенных досок горит свечной огарок. Время от времени его пламя, словно задыхаясь, вздрагивает, отрывается от фитиля, приводя в движение густые тени, контуры деревянных нар, низкий дощатый потолок. И тогда кажется, что все убежище дергается в предсмертных конвульсиях.

— Не знаю, я ничего не знаю.

Тебя прерывает сильный удар по столу. Свечка опрокидывается и гаснет. Все погружается в непроглядную тьму, будто кто-то опять ловко завязал тебе глаза. Лишь едва заметная красная точка мерцает в темноте.

— Так кто же знает?!

Гаснет и красная точка.

— Так кто же знает? — повторяет тот же голос.

И снова тяжелое, прерывистое дыхание. Можно подумать, что в темноте мучается смертельно раненный зверь.

Вспыхивает спичка, и тебе ясно видно, что на правой руке у этого человека все пять пальцев. Крупные, сильные, с четкими фалангами. Нет, это совсем другой человек. И, безусловно, еще более опасный, более жестокий: он загнан в угол, в мышеловку, он будет защищаться и нападать до последнего.

Свеча опять горит.

Отсюда мне так просто не выйти. Упав в лужу, сухим не вылезешь. Сам себе петлю на шею накинул, свернув не на ту дорогу. Впрочем, теперь не время сетовать и раздумывать об этом.

— Со... гласен.

В темноте кто-то облегченно вздыхает. Тяжелое, прерывистое соение утихает.

Долгое молчание.

— Первое задание — выяснить, что из себя представляет Удрас. Сколько понадобится времени? Месяца хватит?

Теперь мы, значит, будем следить друг за другом? Кто кого? Удрас осторожен и угрызения совести его не мучают. А я...

— Хватит, — решает тот же голос, не ожидая моего ответа. — Конкретные указания получишь позже. Педагог, позаботься о подводе.

— Слушаюсь, господин майор.

Вскоре сапоги Аугустинаса исчезают в дыре потолка, сверху слышно глухое постукивание, словно падает на крышку гроба влажная земля.

На столе появляются три бутылки, каравай хлеба и кусок сала. Ты просишь воды. Тебе суют полную литровую жестянку. Подносишь к губам и не можешь оторваться. Пьешь и пьешь. Чувствуешь, что находящиеся в бункере удивленно переглядываются.

Глоток самогона ударяет в голову. О ни не разговаривают, не проносят никаких тостов. Только руки поднимают бутылку, наполняют стаканы и берут их, а губы, едва видимые в полумраке, высасывают. Потом те же самые руки вяло ломают хлеб, режут сало и лук, а те же самые рты равнодушно и угрюмо жуют. В этой тишине и в этом движении челюстей ощущается какое-то мрачное величие и одновременно мистическая обреченность.

Когда пришло время, тебя выволокли из землянки. В таинственном сарае, куда сквозь едва заметные щели проникали острые мелкие снежинки, тебе снова завязали глаза. Ты не имел ни малейшего представления, где находишься.

— К нам, приятель, приходят слепыми и уходят тоже слепыми, — узнал ты голос Визгирды. — Символично!

Гудело в голове, в глазах сильная резь, все тело затекло, и ты не откликнулся на этот мрачный юмор.

В нескольких шагах фыркнула лошадь, потом встряхнулась.

Тихо скрипнула дверь, в лицо пахнуло холодным ветром. Ты покачнулся, оперся о чье-то плечо. Чья-то рука ухватила твою руку и легонько дернула.

— Выше ногу, переступи подворотню.

Ты так и сделал. Но все равно зацепился за доску и чуть не растянулся во весь рост. Невидимая лошадь снова фыркнула. Значит, пришел пешком, а уезжаю на лошади. Они теперь многого от меня ждут. А если нет?.. «У нас длинные руки».

Чьи-то ручищи обхватывают тебя за талию, приподнимают и заваливают в сани.

— Тебя никто не задерживал,— сказал майор.— Понял?

— Понял. Меня никто не задерживал.

— А теперь попутного ветра. Не забывай, с кем имеешь дело. Лошадь сразу припустила рысцей.

Возница пыхтит, изредка сплевывает, понукает лошадь, сморкается. Кто меня везет? Молодой? Старик? Вооруженный или безоружный? Не важно.

Ты прислушиваешься к веселому цоканью копыт и стараешься ни о чем не думать. На этот раз хватит. Всего было с лихвой. Хорошо бы ехать так и ехать, бесконечно катить невесть куда и слушать монотонный, но бодрый перестук копыт. Пусть даже и с завязанными глазами. Где был я вчера, что случилось со мной теперь, какая судьба ожидает в будущем — не важно. Важно лишь то, что сейчас я еду, что никто уже не допрашивает меня, не требует ответа, зачем я родился, зачем живу, чем занимаюсь, с кем встречаюсь, о чем думаю... что дорога приятна и не скоро еще кончится. Погрузиться в блаженство забытья и ни о чем, ни о чем не думать!

— Тпру-у!

Сани останавливаются. Неловкие, грубые руки шарят по твоему затылку, вокруг шеи. А, это развязывают глаза. Быстрее всего в мире кончаются сладкие сны.

— Где я? — очнувшись, спрашиваешь ты.

— Приехали.

Так не хочется вылезать. Хоть километрик еще! Неужели сейчас меня оставят одного?

Незнакомый мужик в длинном тулупе с высоким, стоячим воротником, с заиндепевшими усами сам выкатился из саней, велел вылезать тебе и указал кнутовищем, в какую сторону идти. Потом отвернулся, повалился в сани, стегнул лошадь и укатил, умчался. Ты остался посреди дороги. С обеих сторон чернел лес. Он высился глухой стеной. Все кончилось, и я снова один. Место совершенно незнакомое. Ночью все места незнакомые. Куда меня завезли? И что со мной сделали? Что? Теперь-то уж...

Наконец ты двинулся. Пошел медленно, шаг за шагом, повесив голову. А куда спешить? Где спрятаться? Что ожидает дома? В школе? Всюду... С кем поделиться, кому пожаловаться? Кому?!

Некому, абсолютно некому.

Анзельмас, ты...

Кто?

Ты...

— Тьфу!

Плюнь, плюнь еще раз и иди прочь, сгинь с глаз!

ТЕБЯ ДОКОНАЛИ.

Ступай, ступай себе и оставайся... амебой.

Тебя остановила заколыхавшаяся под ногами земля, длинные мельтешащие тени. Это еще что такое? Ты поднимаешь глаза и цепенеешь

от неожиданности и ужаса. Вся восточная часть неба залита багровым светом. Нет, это не солнце. Это огоны! Бьются тугие кроваво-красные сполохи. Зарево пульсирует, вздымается, опадает. И стволы деревьев то высвечиваются, то снова темнеют. Кажется, что удивленно моргает огромный пурпурный глаз. Горит. И горит совсем близко!

Ты еще раз замираешь на месте, не решаясь идти дальше. Озираешься по сторонам. Потом ускоряешь шаг. Место вроде бы знакомое. Похоже на Бичкальнис... Вон и могилы бывших хозяев, и высокие ели возле поместья. И они, черные и островерхие, словно башни таинственного города, то освещаются, то вновь сливаются с серой тьмой. Будто из всех своих орудий палит огромный сверкающий аредноут.

Усадьба справа, а пожар слева. Уж не старая ли мельница? Когда еще было тепло, да и в последующие дни я ходил туда, сидел на узком мостике и восхищенно вслушивался в таинственное журчание воды. Тогда я еще был счастлив. Неужели и впрямь был счастлив? Кто же ее поджег?

Шаги невольно переходят в бег. Все быстрее и быстрее. Сквозь кусты уже явственно просвечивают жгуты пламени. Мечутся, переплетаются, дрожат под ногами тени. И земля колеблется. Воздух наполняется веселым, озорным треском, который постепенно становится все громче. Да, это мельница! Все вокруг кажется непрочным, нереальным, призрачным.

Снова останавливаешься. С холма Бичкальниса все видно как на ладони. Пламя уже целиком охватило мрачное строение. По крыше ползают огненные змеи и, сплетаясь в клубки, падают вниз. А как шипят, как извиваются! Все горит, полыхает. И весело потрескивая, и злобно шипя, и жарко вздыхая, и свободно, мощно гудя. Сухой треск. Еще и еще. Но что это? Протяжный грохот. Боеприпасы? Целая серия взрывов. Огненные змеи взвиваются вверх, растут, раскачиваются, превращаются в переплетающиеся языки золотистого пламени. Вдрагивают, раскачиваются и шуршат, гудят, как гигантский, освещенный солнцем орган. И опять взрывы. Глухие, редкие, как далекое постукивание барабанов. Знал ли Удрас, что хранит мельница? Кому же еще знать? Где он теперь? Посматривает, стоя в сторонке? Как мог он не ведать, что спрятано на его мельнице! Он директор. Но почему нет ни одного человека? Никто не тушит, никто ничего не делает. Боятся? От адского грохота вдрагивает земля. Кругом все горит, пылает: кусты, деревья, снег... В глазах искры, в ушах звенит, трещит, гудит. Мельница взлетела в воздух и разбилась на мириады осколков.

А потом тишина. Только парят еще лохмотья пепла, взбудораженные, угасшие, черные. Как спутанные птицы.

Нет, ближе не подойду. Зачем мне лезть туда? Чтобы пало подозрение? Мало того, что уже было? Хватит, и так всего дополна.

Ты спускаешься с холма и шагаешь напрямик через поле в сторону имения, не в силах оторвать взгляд от высоких елей, которые выныривают и вдрагивают в бликах вздымающегося пламени. Но все это уже не так пугает, не волнует тебя. Сейчас главное — незамеченным очутиться у себя в комнате. Вот коптильня, осевший в землю танк, угол дома, еще несколько шагов...

— О, мосье Друскянис! Сто лет вас не видела.

Пани Клеопатра!

Зачем она здесь? Любуется пожаром? Почему же издали?

Ты подходишь ближе на шаг, другой.

— Пани Клеопатра, что вы тут делаете?

Она, будто только и ждала этого вопроса, театральным жестом указывает в сторону пожара и по-французски декламирует из Ламартина:

— «Прекрасная природа, хоть воспоминанье Ты сохрани об этой ночи!..»

— Кто поджег?

— ...Я эту ночь молю: «Не убегай так быстро! Пусть лишь заря тебя рассеет...» — продолжает старуха.

Ты хватаешь ее за плечи и встряхиваешь, встряхиваешь сильно и отчаянно.

— Пани Клеопатра, очнитесь!

— Ступайте прочь, умоляю вас!

— Кто поджег?

Помолчала, словно стараясь что-то припомнить, и произносит:

— Не досталось людям, пусть не достанется и ему.

— Так вы сами?..

— Нет, это свершил рок. «Мане, такел, фарес» — исполнено, взвешено, разделено. Как на пиру Валтасара. Пусть все ведают, что рок существует. И вы, и те, кто похитил Ниле, и те, кто в городах, и Удрас, и все-все! Пусть все знают, что нельзя безнаказанно издеваться над Клеопатрой. Она не только может дать жизнь, но и отнять ее!

— Мадам, вы нездоровы!

— Нет, это раньше я была больна, теперь здорова! Я уничтожила то, что было создано мною. На чьи деньги воздвигнута эта злополучная мельница? Я целый год копила керосин, чтобы свершить задуманное. И вот пробил час расплаты. Теперь смотрите, смотрите все! Пробил мой час. Все изменилось по воле Клеопатры. Да, все суета сует и всяческая суета. Теперь я ухожу. Довольно. Прощайте!

— Уходите? Куда уходите?

Пани Клеопатра внимательно вглядывается в тебя, словно видит впервые. Ты отводишь глаза и лишь теперь замечаешь, что она укутана в длинную шаль, скрывающую ее голову и часть лица, а подмышкой зажата шкатулка с посеребренными ножками, похожая на гробик младенца. И, не глядя, ты видишь, что глаза ее блестят хитро, но и жестоко. Чувствуешь, что навсегда исчезла старушка, растерянная после таинственного исчезновения Ниле, и перед тобой незнакомая пани Клеопатра, решительная и деятельная, верящая в себя и властная.

— Куда ухожу? К черту, мой мальчик, на вечную стоянку.

— К черту? Я не понимаю вас!

Она медленно подносит к шее руку в перчатке, маленькую и хрупкую, собирает у подбородка складки шали, словно внезапно ей стало очень холодно, покачивает головой.

— А и не надо понимать. Главное, чтобы вы поняли, кто такой Удрас. Это страшный человек. Это он отправил на тот свет нашу дорогую Ниле!

— Вы в этом уверены? А может, она еще жива?

— Нет, нет!

— Откуда вы знаете?

— Я знаю все.

Тебе вспомнился приход лесных, разговор Удраса с «господином командиром» и... «Как это ни с кем не встречается? А с тобой?..»

— Прощайте, мой мальчик!

— До свидания, — сказал ты, в задумчивости наблюдая, как спешными шажками, не оборачиваясь, пани Клеопатра все больше удаляется по аллее, обсаженной высокими елями. Вскоре ее маленькая фигура тает в сумерках раннего утра. Лишь когда ненадолго полыхнуло со стороны догорающей мельницы ярким светом, ты замечаешь свежие следы. Маленькие и беспомощные на тонком слое снега, они выглядят, как ожерелье, брошенное чьей-то злой рукой. Где же она?.. Закутанная в длинную шаль, в белых летних перчатках, с этой своей шкатулкой под мышкой, загадочно оживленная, на что-то решившаяся... Куда она уходит?

«К черту, мой мальчик, на вечную стоянку».

Ты оглядываешься по сторонам. Нет никого, абсолютно никого. Лишь слова пани Клеопатры эхом звучат в тебе. Ты смотришь и никак не можешь отделаться от ощущения, что эта встреча — последняя.

Ты еще в зале зажег спичку и к себе вошел с уже принятым решением. Нет, больше ни минуты не буду ждать. Уже давно следовало мне так поступить. К черту все эти иллюзии, этот сознательный самообман. Все бросить и уходить! Немедленно. Даже не вздремнув. А «вальтер»? Да, еще этот проклятый «вальтер»! Оставить, забыть? Никогда больше не вспоминать? А если обыск? Балтулис ясно намекнул, чего следует ожидать. Найдут, а тогда уж разыщут, из-под земли выкопают. Не найдут «вальтера» — не станут искать и человека: исчез, и все дела. Мало ли кто теперь исчезает, пропадает без вести. Разве так уж искали Аугустинаса Визгирду? Главное, чтобы не нашли «вальтера». Не найдут его — не найдут ничего.

Первым делом закрыл ставни, извлек из матраса пистолет, поспешно завернул его в вощеную бумагу, сунул в носок, потом в портфель. Немного подумав, положил сверху толстый том «Всемирной истории». Следовало предусмотреть все до мелочей: если кто-нибудь задержит и сунет нос в портфель, пускай сразу же увидит, что я несущу и что я за человек.

Жаль оставлять книги. Столько собирал, тащил из всех углов, выпрашивал, выманивал у детей, копался на чердаке и в завалах старой мебели, в рухляди, которой здесь была набита каждая комната. Особенно жалко собственных книг. Но что поделаешь. Книги — мудрость человека, книги — и его погибель. А как с другими вещами: с посудой, двумя чемоданами, старым бельем? Не вызывать же подозрение тем, что тащишь все с собой? Бросить на произвол судьбы, оставить все как есть? И опять обзаводиться с самого начала? Мелочь, суета сует, Ансельмас! А что взяла с собой пани Клеопатра?

Торопливо и нервно складывал, паковал самое необходимое, изредка присаживаясь на кровать, с грустью и тревогой поглядывая на груды книг, с которыми пришло время прощаться. Будь что будет, но оставаться тут я больше не могу. И так уже здорово замешкался. Мне бы радоваться, что удаётся унести ноги... Дома выплыву, отдохну, а там... видно будет.

Ты еще раз обвел помещение глазами и ушел, задержав взгляд лишь на голодных и пустых глазницах черепа.

Назад оглянулся, лишь добравшись до большака. Из-за леса вставало солнце. Верхушки елей снова стали черными и тихими, манящими и влекущими к себе.

Какая-то нечеткая мысль пришла было тебе в голову, но вспомнил о своей тайной ноше и, мгновение поколебавшись, двинулся дальше. Правильно ли ты поступил или глупо, думать уже не приходилось. Главное, принял решение и уже никогда больше не воротиться сюда, на место, где столько выстрадал. Никогда!

И снова вооруженные люди! Полные сани. Все они, как по команде, устали на тебя. Ты переступил через канаву, перебросил тяжелый портфель в другую руку. Тебе казалось, что несешь свой «вальтер» в прозрачном пакетице. Спрятаться? Убежать? Но куда? Незаметно покосился в одну сторону, в другую. Кругом чистое поле. Ни кустика, ни деревца, ни избы. Лишь пылает, спит поднявшееся над лесом мучительное солнце конца марта. Лишь сверкают, искрятся снежные просторы. Плетьешься шаг за шагом. А жаркое дыхание лошади все ближе и ближе... Слабеют колени, виски пульсируют, шершавеют, в глазах темнеет, а в ушах звенит. Но ты идешь. Продвига-

ешься вперед, понутив голову, с замирающим сердцем. Шаг, еще шаг...

— Эй, ты!

Спотыкаешься и едва не падаешь. И ощущаешь, что тебе уже не по силам тяжесть «вальтера».

Замер и смотришь перед собой, как лунатик.

— Что там горело?

— Мельница.

— Вот черти! А не встречалась ли тебе, случаем, подвода с двумя гробами?

Подвода с двумя гробами? И снова... «мертвяки, мертвяки»!..

— Подвода с двумя?..

— Лошадь такая, в яблоках, гробы некрашенные. Не встречалась?

— Не-ет... Сожалею, товарищи, но... не встречалась.

— Чего шатаешься?

— Домой иду...

— Домой? Это куда же?

— В... Римкишкес.

— Если встретишь, скажи, что мы уехали.

— Кто?

— Они знают.

— Хорошо, скажу, что мы уеха-а-ли.

Один из народных защитников глянул на тебя с подозрением.

— Не все дома?

— Идиот,—буркнул второй и стеганул лошадь длинным кнутом.—

А может, учитель?

Уехали.

А если бы отдать им? Вытащить, развернуть бумагу и отдать: «Я его нашел, и он мне, товарищи, не нужен. Поверьте, абсолютно не нужен». А раньше был нужен? Нет, так нельзя. Я должен взвешивать каждое слово, только бы не проговориться, только бы не выдать себя, не навлечь новых бед. «Куда я его дену, что мне с ним делать? Я таких штук отродясь в руках не держал. Вы другое дело. Вы народные защитники, «вальтер» вам очень даже может пригодиться. Какое-никакое, а оружие». И они поймут. И совсем не рассердятся, не станут дознаваться. Только возьмут, осмотрят, глядишь, даже испробуют и поблагодарят: «Спасибо, большое спасибо, сразу видать, чем бьется твое честное, благородное, патриотическое сердце». И уедут. У них и времени не будет тут, на дороге, со мной возиться. Их ждут большие дела на благо народа.

— Товарищи народные защитники!..

Однако вооруженные были уже далеко и услышать тебя не могли. А может, я вовсе их и не звал? Только подумал. Мгновение, не больше. А может, оно и славно, что не услышали? Видать, так уж было угодно судьбе, чтобы этот «вальтер» остался у меня.

Мать страшно обрадовалась. Помолодев лет на сто, носилась по избе, метала на стол всякие вкусности и не могла мне нарадоваться. Она с самого начала не хотела, чтобы сын вмешивался в политику. А школа — это политика.

Отца не поймешь. В угрюмом молчании выкурил трубку. Выбил ее об угол печи, сдул пепел и спросил:

— Не выдержал?

— Да.

— А они тебя там не хватятся?

— Может, и хватятся. Я и тут недолго побуду.

— Не поживешь? — как вкопанная остановилась мать.

— Не маленький. Пусть своей головой живет,— сказал отец.

Мать ~~недалеко~~ подошла к окну, медленно перекрестилась.

Рокасу на все наплевать. Что до него, так ты можешь и на руках ходить, акробатом заделаться или в стробы записаться. Посмотрит, усмехнется в усы и скажет: «Делай как знаешь».

Ты вздохнул с облегчением, когда наконец, хорошо смазав «вальтер» вазелином, снова обернул его вошеной бумагой, замотал паклей, уложил в чутунок, а потом в клетки закопал под пол.

Двадцать лет!

Сколько же воды утекло с тех пор! Судьба не жалела меня: бросала, швыряла, била, как листок, сорванный осенью с дерева. Не спасло ни скромное местечко бухгалтера, ни искренние и героические усилия приспособиться к новой власти, ни похвалы начальников, ни безупречная работа... Сибирь, лесоповал, лесопилка, каменоломни... санитар, репетитор, учитель иностранных языков... Снова Литва, и ни одного спокойного уголка.

Но тогда, надежно спрятав «вальтер», я уснул. Хотя за те дни со мной произошло столько всякого, но спал я долго и не мог проснуться. Лишь сквозь сон чувствовал, как неслышно подходит к кровати и снова отходит мать.

Подарила бы мне судьба такой сон нынче! Выспался бы, отдохнул и, глядишь, придумал бы что-нибудь...

Достаточно оторвать всего лишь две доски, широкие и скрипучие, немного покопать, пошарить, и он у меня в руках.

Отчетливо чувствую, как лежит там «вальтер». В чугунке, завернутый в вошеную бумагу и паклю, смазанный вазелином... Сантиметров семьдесят, от силы — метр.

В голову лезут самые разные мысли, перед глазами проплывает жизнь, ее картины, события, фрагменты давно уже канувших в прошлое происшествий и ощущений. Все это приостанавливается, вздрагивает, еще какое-то время мельтешит в голове, словно поднятая порывом ветра пыль, а потом начинает вращаться. Выныривает и вновь тонет. Все быстрее и быстрее, словно затягиваясь в водоворот. Все глубже и глубже, туда, куда двадцать лет назад канул «вальтер», из которого господин Стренжицкис прострелил черную ель.

Постепенно затихают таинственные удары сухих молоточков, все время постукивавших в ногах кровати. И вдруг приходит на память, как несколько лет назад я шел лесом. Жил в ту пору на даче, притулившись к одной дружественной семье, и мне часто приходилось возвращаться уже ночью. Сразу же перед глазами встают прямые и редкие сосны, пепельное небо, утоптанная тысячами, миллионами ног земля; местами на ней белеют проплешины песка, словно с покрытого капельками росы тела содрали кожу. Я крепко навеселе и очень спешу домой. Кажется, шагаю уже довольно долго, очень давно, с незапамятных времен и никак не могу выбраться из леса, и меня гнетет, прямо-таки давит тишина. Навалилась на виски, на сердце, на сознание и совесть... Слышу лишь собственные шаги, глухие и монотонные. Будто доносятся они из темного прошлого, глухо ударяются в еще более мрачное будущее, эхом возвращаются в настоящее и снова устремляются к будущему, которое вот-вот, как только кончатся эти сосны, должно открыться. Открыться как ясное, логическое и неумолимое следствие всего, что уже было. Всем своим существом я уже знаю: непременно должно что-то произойти. Именно этой ночью, именно в этом затоптанном сосняке, именно под этим пепельным небом. И чувствую, как летит время. Ощущаю физически, всеми нервными окончаниями, всем своим существом. Окружающее пропадает, исчезает, теряет смысл, остается лишь этот ток времени. Широкий, мутный, и бесшумный, в котором изредка мелькает клоч волос, череп или чья-то гримаса. «Я должен что-то сделать, — пронзает подсознание мысль. — Но что? Должен... Но что?» И тогда я вспоминаю... о

пистолете, об этом «вальтере». Лихорадочно ощупываю карманы, выворачиваю их, словно там должно быть оружие. Когда же не нахожу его, то охватывает безумное, безудержное желание закричать, даже спазмы в горле. Сжимаю зубы, на лбу проступает холодный пот. Ноги заплетаются, но все же медленно, ритмично движутся вперед. Однако каждый шаг дается все труднее и труднее. И я... вскрикиваю. Громко и коротко. Тишина лопается, как созревший нарыв, и радостно отзывается эхо. О чудо! Сразу же все возвращается в прежнее нормальное состояние. Вижу, что лес уже кончился, что совсем рядом дом, в котором живут друзья. Тот выкрик, произвольный и спазматический, как бы утверждает меня в мире, во вселенной, и я, очень осторожно, почти тайком проникнув в свою комнатку, по-царски высыпаюсь.

Утром, идя на работу, я увидел вытащенную из колодца женщину. Была она босая, с разбухшим животом, большой лист лопуха прикрывал лицо. Эта женщина жила в соседнем доме, и я узнал ее по старинной сборчатой юбке, которая уже немного обсохла на солнце. Положив папку на крышку колодца, что-то писал милиционер, зевая и форменной фуражкой отгоняя больших, отливающих синим золотом мух. Потом подъехала санитарная машина, оттуда вышла женщина и двое мужчин в белых халатах. Пока они топтались возле утопленницы, машина тихо урчала, мелко подрагивала одна ее треснувшая фара. Когда машина уехала и люди разбрелись, у колодца осталась вытоптанная трава, большой лист лопуха, пустая пачка из-под сигарет «Паращотист» и красные шлепанцы, которых я раньше не заметил. Вокруг цвел вереск, летали пчелы, а по асфальтированной дороге неслись машины.

Это она, та несчастная, сбросила свои красные шлепанцы и положила конец всему.

Мысли, словно втянутые в водоворот, снова начали вращаться около пистолета. Он лежит в земле, сантиметрах в семидесяти, самое большее — в метре от моих ног. Лежит в сером чугушке, смазанный вазелином, старательно обернутый воощеной бумагой и паклей... Три патрона, желтых, тяжелых. Они тоже смазаны вазелином.

Мой отец был рядовым в гвардии императора Николая. Нет, не рядовым, вроде бы ефрейтором. Вместе с другими храбрецами он «забрасывал шапками япошек» под Мукденом и каким-то Лаояном. С войны принес Георгиевский крест, а потом, будучи уже не первой молодости, штурмовал Зимний. Дед впутался в восстание шестьдесят третьего года и усовершенствовал мушкет. А прадед примкнул к армии Бонапарта и вступил в горящую «Максву».

Все они не искали покоя и в случае надобности умели принять решение.

Я, можно сказать, не знаю случая, чтобы кто-то из мужчин нашего многочисленного рода не был связан с какой-нибудь войной или другой героической кампанией: бунтом, восстанием или революцией. Даже брат Рокас отправился в волость, чтобы понять, что к чему, когда белополяки предъявили нам печально известный ультиматум. Так что все мои предки, дальние и ближние, вдоволь нанюхались в своей жизни пороха.

К своей чести, с гордостью должен признаться, что и во мне кровь праотцев заговорила очень рано. Еще ребенком я не раз забирался на огромный камень, торчавший посреди пастбища, и, запрокинув голову, смотрел, как по небу плывут облака. Эти облака в моих истосковавшихся по подвигам глазах превращались во враждующие армии, которые, оцетинившись копьями и мечами, напозлали друг на друга. Одной из них командовал я сам. Раскаты грома напоминали мне пушечные залпы, а молнии — летучие искры от скрепляющихся мечей. Мой взгляд буравил горизонты и выстраивал человеческие судьбы.

Во мне сызмала струилась кровь солдата, а возможно, и великого полководца.

А вот один из нашей обширной родни... застрелился. Сунул в рот ствол охотничьего ружья и — все. Все сразу.

— Надо бы глянуть, как там «вальтер»...

Эти слова, чтобы подбодрить себя, я произнес вслух. Потом слез с кровати и подошел к окну. Яблоневые листья в саду блестели фосфорическим светом и словно замерли; за рекой чернела стена леса. Месяц становился все призрачнее, одна за другой гасли звезды. У меня на глазах таяли тени, выныривали из сумерков предметы, пока не становились мучительно четкими, реальными.

Все это видано уже сотни, тысячи раз. Разве может принести что-то новое будущий день? Нет, ничего, абсолютно ничего. «Если ты не надеешься открыть сегодня какую-нибудь тайну, можешь не вставать с постели». Слова покойного отца. Его давно нет, а слова остались. На что же я еще надеюсь? Чего жду?

Прихлопнул ладонью к стене моль и в тот же момент подумал: мне и в самом деле не на что больше надеяться. Болезнь, эти зубы, которые я во сне без боли вынимаю и снова вставляю, близкие, которые не поняли меня и уже никогда не поймут, люди, которым я чужд и не нужен. И они мне тоже не нужны. У каждого из них своя замкнутая жизнь. Что же это, наконец, такое — человеческая жизнь? Наверно, ничто иное, нежели длинная или короткая цепь разлук и утрат. Разлучаемся с детством, разлучаемся со сказками, героями и призраками, разлучаемся с иллюзиями; теряем дедушек и бабушек, терпеливых и тихих, добрых и бесконечно мудрых, теряем родителей, друзей, теряем любовь и веру. Все, все теряем. А что находим? Ничего, абсолютно ничего, лишь широкую дорогу, которая ведет в неизвестность.

Гинтарас? Гинтарас больше всех мучает меня, и кто знает, чем все это кончится. Он, чертенок, наверно, и не подозревает, как я его люблю. Может, по-своему, может, ворчливо, может, болезненно, но люблю. Сколько он бегает, сколько носится! Каждый вершок земли обогрет тут теплом его ног. Следы, следы, следы... Нет, ты никогда не узнаешь, кто тебя любит. Дети почти никогда не испытывают благодарности к тому, кто их слишком сильно любит. Настоящая любовь крайне редко бывает обоюдной. Но разве стала бы она другой, если бы Гинтарас знал это?

На этажерке нахожу очень толстую книгу, «Всемирную историю», открываю и придвигаю поближе к окну. Рассматриваю уже много раз виденные гравюры Альфреда Ретеля. Когда-то, в незапамятные времена, мне нравилась его всадница в саване на резвом рысаке. Привстав в седле, заломив шляпу, в длинных ботфортах и с еще более длинной косой, с пустыми глазницами скачет она по белу свету и нагоняет страх на добропорядочных бюргеров. А теперь все меня раздражает.

Дни текут, похожие друг на друга, абсолютно одинаковые и бессмысленные. Только что я пытался вспомнить, что делал или думал месяц назад, примерно в такое же время, и ничего не вышло.

А ведь намеревался что-то сделать и теперь еще пытаюсь и все откладываю, откладываю... Почему?

Первым делом сдвигаю в сторону кровать, сундук, этажерку, набитую старыми газетами, книгами и журналами. Подготавливаю все так, чтобы действовать можно было быстро и точно.

Решившись на роковой шаг, присаживаюсь на кровать и жадно выкуриваю сигарету. Когда выдыхаю последнюю затяжку, понимаю, что не ощутил даже вкуса табака. Поэтому запаливаю новую сигарету и стараюсь думать о ней.

За дверью какой-то стук. Наверно, встал Рокас и вышел во двор оглядеться. Скрипнул колодезный журавль. Жалобно, ноюще. Перед началом дневных трудов брат всегда прикладывает к ведру холодной воды. Вскоре доносится мелодичный и приятный звон отбиваемой косы. Можно подумать, что в поставленные на землю медные блестящие тазы падают с крыш прозрачные и веселые капли. И снова не ощутил вкуса сигареты.

Оторвал от пола, приподнял доску. Пахнуло плесенью и куриным пометом. Аж дух перехватило.

— Что ты так рано, детка?..

Чуть не сел на пол от неожиданности. На пороге за приоткрытой дверью стоит мать. Смотрю на ее ноги. Как бесшумно научилась она ходить в этих своих допотопных калошах!

— Я тут... кольцо уронил,— растерянно бормочу первое, что приходит на ум.— Золотое... Надо же... Прямо в щель.

Выгляжу, наверно, страшно смущенным: еще никогда не лгал матери. Не припомню, чтобы когда-нибудь так по-мальчишески соврал.

Тишина.

Мать верит и не верит. Не знает, с чего начать разговор. А ей непременно надо со мной поговорить.

— Снова не спал?

Теперь она так легко не отстанет.

— Спал, только рано проснулся.

— Что тебя томит, детка? Скажи. Легче станет.

— Ничего, мама.

— Погостишь и снова уедешь, а я так ничего и не узнаю. Скажи, детка.

Еще никогда не была она такой упорной: скажи да скажи!.. Чувствует что-то. Но что? Ничто так быстро не надоедает, как преданная любовь.

— Вроде бы нездоровится мне, мама.

— Ты что-то скрываешь от меня, Зельмис.

Разумеется, скрываю. А кто не скрывает? Даже самый лучший сын, самая верная дочь никогда не скажут матери всего, что у них на душе. Человек человеку — надгробный гранит, который говорит о лежащем в земле покойнике все и почти ничего. Матери должны это знать и мириться с этим. АНЗЕЛЬМАС ДРУСКЯНИС. 1917—196... Что еще? Эпитафия? Сентиментально. Или нет... «Оставьте в покое хотя бы могилу человека». Как пьяняще весело бывает иногда от мысли, что люди смертны! Наверно, нет ничего страшнее и губительнее, чем бессмертие. Хаос! Ведь тогда все откладывалось бы на завтра, то есть до конца не доделывалось бы никогда. И верх взяли бы всеобщие лень и вялость.

— Что мне скрывать, мама?

— Не знаю, детка, но ты такой... не такой, как всегда, как все.

Как все? Какие все? Как Гинтарас? А что он видел? Что пережил? Ты с ним, вот как сейчас со мной, поговори, мама, лет через десять, двадцать, тридцать. Тогда... А теперь у него еще все впереди. Может, как брат Рокас? Что происходит у него в душе? А может, и ничего, скорее всего — ничего. Вон напился холодной воды, отбил косу, отправился к овражку и... вжик, вжик, вжик... И счастлив. Люди чего-то ищут, на что-то надеются, а я уже нет. Или сомневаюсь во всем. А главное, ничегошеньки не жду. Ни от мира, ни от людей, ни от науки... Только изредка мечтаю о хлебе, испеченном на листьях аира. И удивительно хорошо, когда уже ничего не ждешь. Самый счастливый на свете тот, кто не умеет, не способен думать, кто ничего не знает, ни в чем не сомневается, а только вкалывает. «Знать — значит, страдать», — сказал даже франт Оскар Уайльд. Рокас попотеет, позавтракает, снова неслешню уйдет в поле, спокойно будет делать свое дело...

Обед, ужин, ночью крепкий сон... Самое ценное и прекрасное на свете — честный, заслуженный сон, ежедневный ритм.

— Этой ночью такой плохой сон приснился.

Начнет, теперь-то уж точно начнет о своих снах. И вечно мамини сны не такие, как у всех. Иногда они светлые, иногда кошмарные, но всегда глубокомысленные и пророческие. Их можно толковать, кому как нравится. Неужели матери кажется, что другим ничего не снится?

— Вроде бы наступает вечер... вечер как вечер, а солнышко садится так странно, не как всегда. Большое такое... красное и беспокойное. И вроде бурлит там, кипит что-то внутри. И три ели, вроде башен, торчат. Черные такие, высокие, стройные. И птицы, черные-черные, парят, летят к тому солнцу. Только фьют-фьют, только хлоп-хлоп — все летят и летят мимо. И вдруг вспыхивают эти ели. Сначала бегут по верхушкам, шныряют, качаются в ветвях красные длиннохвостые белки. А потом — ш-ш-ш — и запылало. Горит, горит... Взмывают в поднебесье черные птицы. «А одна не взлетела, мама», — будто говорит мне кто-то. Такой привычный, знакомый голос. Оборачиваюсь, вглядываюсь — ты, Зельмис. «Кто не взлетел?» — спрашиваю. «Моя птица», — отвечаешь сердито. Нехороший такой сон привиделся. То ли к перемене погоды, то ли еще к чему...

— Ерунда это, мама!

— Не ерунда, детка, уж я-то знаю. Ничего в жизни не случается, чего во сне еще не было. Только мы не всегда помним.

Теперь не собьешь! Разве мало ее вещих снов нашло подтверждение? И еще сколько в будущем должно исполниться! Мать сто лет проживет и еще многим успеет раскрыть глаза на пророческое царство снов.

— Это потому, мама, что тебе не дает покоя Гинтарас с этой своей Страной Черных Елей.

— Вот тут ты, может, и попал в точку. Вбил себе мальчонка в голову эту страну. И ложится, и встает со своими елями. Что ты ему рассказывал?

Мать усаживается на высокий порог, сцепляет почерневшие, иссохшие, как хлебная корка, скрюченные подагрой пальцы на комельке своей палки, упирается в них подбородком и смотрит на тебя выцветшими, то ли цвета отбеленного льна, то ли мертвыми рыбьими глазами. Теперь от нее легко не отделаешься. Надолго устроилась.

— Так... Сболтнул что-то.

— Так я и думала. А то откуда бы ему знать о ней?

Она смотрит изучающе и с доверием, словно ожидая чуда. Нет, теперь я вынужден объяснить ей еще что-то. Хотя, кажется, уже говорил об этом.

— Прилип однажды как банный лист, а у меня не было времени долго объяснять, что, где, как, я и ляпнул, мол, солнце садится в Стране Черных Елей. Он и отстал.

— Вон, значит, как оно было. Вот где подхватил эту страну мой баламут. Так хочется ему все знать, так хочется! Давеча глянул на небо и спрашивает: «Бабуля, а кто живет там, за звездами?» — «Боженька, — говорю, — детка, живет за этими звездами». — «Боженька? А он спускается на землю?» — снова ему важно. «Спускается, Гинтарелис, а как же, и на землю спускается. Боженька и тут, и там, и в каждом месте». — «Где?» — не успокаивается. «И тут, возле тебя, только теперь не видать». Неугомонный, вертит головкой и так хитренько зыркает вокруг глазенками, а сам невинно улыбается. А ты-то, Зельмис, вспоминаешь когда? Ходишь в костел?

Так и знал, что обязательно спросит об этом. Непременно спросит. Уже очень давно, поди несколько лет не спрашивала. А что ты ей ответишь? Не омрачать же ее старость. Для нее костел — опора нравственности, любви к ближнему, всяческого постоянства, надежности и твердости духа. Да, мне нравятся костельный полумрак, торжествен-

ная тишина... Иногда и пение церковное, органная музыка, запах ладана, степенные и исполненные какого-то тайного смысла воздевания рук у алтаря, строгость ликов святых... Как-то раз я даже проснулся, бормоча «Падем на колени»... Давно уже.

— Заглядываю иногда.

— Не забывай, детка, ходи. Костел человека из греха, из грязи поднимает. Я не говорю, что все там хорошо, но лучше, чем на этих ваших митингах. И на кладбища заглядывай. Кладбища человеческую гордыню обуздывают. Там наш настоящий дом, а тут мы только гости. Только гости,— говаривал твой покойный отец. Мудрый был человек. Лишь однажды мы с ним крепко повздорили. И знаешь, из-за чего?

— Ты уже рассказывала, мама.

— Может, и рассказывала. Говоришь, потом забываешь. Не та голова стала. Все из-за телки. Так я не хотела, так не хотела, чтобы отдали ее еврею. Рассказывала, значит?

— Говорила, мама.

— Может, и говорила, но приятно вспомнить о хорошем человеке.

— Мама, испечешь еще хлеба на аире?

— Понравился?

— Очень.

— Испеку, детка, доедим этот, сразу и заквашу.

Обрадовалась! Чему? Что нужна. Наверно, нет ничего страшнее для человека, чем внезапно понять, что никому ты уже не нужен. Бухнула дверь сений. Гинтарас! Глянул на солнце, чихнул. Раз, еще раз. Протер глаза, и босые ноги понесли его к клетки.

— Бабуля! Бабуля!

Мать, хрупкая и сухонькая, всем телом поворачивается на этот голос.

— Чего глотку дерешь?

— Почему не разбудила? Мы с дядей пойдем в Страну Черных Елей. Он вчера обещал.

— Дядя кольцо потерял.

Только этого не хватало. Когда же они оставят меня в покое? Неужели не видят, что я не спал, что устал как собака!

— Где потерял? — сверкнул глазами малец.

— Под пол закатилось, — ответила за меня мать.

— А что тому, кто найдет?

И Гинтарас немедленно ныряет под высоко стоящую на больших валунах клеть. Переполошенные куры, неистово кудахча и маша крыльями, кидаются во все стороны. Из-под пола в широкую щель, там, где оторвал я доску, врывается искрящийся в солнечном луче клуб пыли.

Через некоторое время этот мой злокозненный мучитель наконец вылезает. Весь в пыли, в песке, в земле. Штаны и локти перемазаны куриным «золотом», сам опутан паутиной. Никакого кольца, понятно, не нашел. Мне неловко и досадно. Говорю ему:

— Да ладно. Больше не ищи!

Укладываю доску,двигаю на место кровать, сундук и этажерку с книгами, старыми газетами и журналами. Мать не спускает с меня внимательных и изучающих глаз.

— Так и оставляешь? Больше не будешь искать, Зельмис?

— Да ладно,— бормочу снова и еще больше смущаюсь.

— Золотое, говоришь?

— Да,— подтверждаю.— В другой раз. Не пропадет.

Лицо у матери озабоченное и очень старое. Но разве в силах я успокоить ее, развеселить? Неужели сказать ей, зачем оторвал ту доску? Нет и нет. Есть вещи, которые должен тащить только сам и не имеешь права возлагать на другого.

Посидев еще немного, она тяжело поднимается и потихоньку шлепает вслед за своей палкой в избу.

Весь тот день я был сам не свой. Хотелось сосредоточиться, кое-что обдумать, но не давал покоя Гинтарас. Как тень, следовал за мною. Не знаю, есть ли на свете более надоедливое существо. Стоило мне оторваться от него на пару шагов, отойти в сторонку, остановиться, уже орет:

— Дядя, дядя!

Такой Гинтарас за один день может свести человека с ума, последнюю каплю крови из него высосать. И главное — все это делается бесцеремонно, с превеликим удовольствием.

По правде сказать, хотя я уже далеко не первой молодости, измучен болезнями, многое повидал и испытал в жизни. Но еще младенчески наивен. Кому другому могла прийти в голову такая дурацкая идея: «Отдохну, навещу старую мать и брата, погощу...» Вот тебе и навестил, вот и отдохнул! Этот чертенок заживо в могилу вгонит. Это он умеет и непременно сделает.

— Что ты разорался?

— Дядя, иди сюда!

— Иди да иди! Ну, что скажешь, лягушонок?

— Ракета на елке повесилась.

Повесилась? Ишь, змееныш, и образно умеет! Такие похитрее стариков.

Дьявол меня подбил привезти ему эту проклятую игрушку! Теперь мне из-за нее покоя не будет.

— Куда же ты ее запулил, лягушонок?

— Вон, видишь ту ветку? — указал он пальцем и прикоснулся щекой к моему виску. — Видишь, дядя? Качается еще?

Раздраженный, даже взбешенный, я посмотрел баловнику в глаза. Прозрачно-голубые, ясные и шаловливо-веселые. Но мне почудилась в них коварная насмешка.

— И какая только сила занесла тебя к этим высоченным деревьям?!

— Достань, дядя, а я тебе за это золотое колечко найду.

— Золотое колечко?! Еще что выдумал!

— То, которое ты под клеть уронил.

Так и хочется выкрикнуть ему прямо в глаза: «Нет его! Слышишь, мучитель, нет! Никакого колечка не было». Но стискиваю губы. Приволок длинную жердь и тычу ею в еловые лапы. Наконец эта злосчастная ракета плюхается Гинтарасу под ноги.

Гинтарас глазееет и ехидно посмеивается. Как же много в нем коварства и хитрости! А что будет, когда вырастет? Почему нынче нет таких детей, как прежде? Матери умирают, а они ни о чем другом и не думают, как только устроить кому-нибудь какое-либо свинство.

Разглядывая Гинтараса, все больше убеждаюсь, что человек рождается со старым и хитрым лицом.

А тот Растянис? Тоже родился со старым и хитрым лицом? Растянис, Растянис!.. Тут совсем другое. Он был ребенком военной годины. Теперь таких уже нет. А ведь я так и не узнал, куда исчез младший Растянис. А когда же узнаю? Узнаю, непременно узнаю. Для того и приехал, чтобы узнать, чтобы...

Маленький Растянис каждый вечер, нет, через день, тихонько приходил к пани Клеопатре и еще тише уходил. И играл тихо, сосредоточенно, полужакрыв глаза. Две вертикальные морщинки над переносицей, четкие бровки, лицо вдохновенное и бледное. А как этот малец декламировал «Лесного царя»!

Почему я задал им выучить то стихотворение? Потому что оно мне самому нравилось? Ученики путали слова, кошмарно их произносили, зубрили, зубрили, но запомнить не могли... Наказывал, оставлял после уроков, всячески настаивал... Но добиться не мог! Едва выбил из них четыре строфы. Понятно ли им было, о чем стихи? Только он

один, самый младший в классе, выучил до конца. Поразительный паренек!

В классе тишина, мертвая тишина. По щекам мальчика текут слезы. «Что, что с тобой?..» Как его звали-то, Альгис? Витас? Римас? Нет, нет, как-то по-другому, проще и надежнее. Казис! Да, Казис! «А вот как тебя зовут, я так и не узнал». — «Казис... Казис Растянис». — «Ага, теперь буду знать. Спасибо за помощь, за все, что ты мне рассказал... До свидания, Казис!» Сердце у него было таким ранимым и необыкновенным. Талант, настоящий талант! Почему-то всегда так больно смотреть на настоящий талант. Где он сейчас?

Гинтарасу позарез необходимы лук и стрела. Откуда этот неутолимый голод? Вот каким растет наше молодое поколение. Космическое поколение космической эры. Акулы! А их еще хвалят, балуют, поют им дифирамбы. От захваливания мозга сжимаются, а живот раздувается. Гляди, еще год-другой, и люди начнут думать животами.

Почему мы учим и ориентируем молодежь лишь на достижения? Зачем с раннего детства стараемся вбить им в голову, что их ждет прекрасное будущее, широчайшие перспективы, непрерывная череда побед? Главное — научить их выдерживать поражения, разные напасти, всяческие трудности. Ценность человека зависит от того, как он умеет преодолевать несчастья.

И снова Гинтарас! Теперь ему вздумалось изучать немецкий язык. Прежде всего захотел узнать, как будет «руки вверх». Я сказал.

— Hände hoch! Hände hoch! — беспрерывно долбил он, уставив мне в грудь черный пластмассовый пистолет. — А как «руки вниз»?

— Hände ab! Но лучше: «Без надобности не поднимай, без чести не опускай!»

— Знаю! Знаю!

— Что ты знаешь?

— Так говорили литовским офицерам, когда вручали им сабли.

Чего только не знают такие? Все знают, во всем разбираются. И всем интересуются. Как то, как это? И больше всего хотят знать про войну, выстрелы, оружие. Им в голову не приходит, что война убивает не только тело человеческое, но и душу. Ох, с какой радостью ухватил бы сейчас Гинтарас этот «вальтер»! Откуда эта неумемная дьявольская энергия? Воевали люди в каменном веке, будут воевать и в век кибернетики. Лишь тогда перестанут воевать, когда не останется с кем. Нет, человек будет воевать, и оставшись в одиночестве. Сам с собой.

И так целый день. Измотал, замучил, растерзал нервы. Выжал, как тряпку, и только с наступлением вечера унялся, чтобы завтра вновь приняться за свою палаческую деятельность.

Когда я остался один, то долго стоял возле клетки, глядя перед собой. Хорошо еще, что солнце зашло в тучи. Снова примчался бы со своими необузданными планами и намерениями. Но где там! Заскрипел, затарахтел велосипед, и, проносясь мимо, Гинтарас бросил в самое сердце:

— Дядя, когда пойдем в Страну Черных Елей?!

Как же, забудет он! Такие ничего не забывают и никогда не устают.

Я заперся у себя, зажег свечу, долго тыкал спичкой, возился с расплавленным воском, чтобы пламя окрепло. Одну за другой выкурил две сигареты. «Если и дальше будете так курить, лучше не ходите к нам». Разве ж я хожу? Лишь в тот раз зашел. Врачи только и знают: «Если, если...» Если серьезно относиться ко всему, что они говорят, то все болезни мира в одночасье удушили бы тебя: «Диета, отдых, режим, минеральные воды...» Пугая людей, они оправдывают свою нужность.

Человек, человек!.. «Все для человека, все для его блага. Человечек — величайшее богатство». Не слишком ли много разглагольствуют о человеке? Само собой понятно, что все для человека, а, скажем, не

для козы. Но нет ли в этом неумеренном прославлении человека лицемерия, безнадежной путаницы, девальвации или даже полного равнодушия? Ведь и величайшие подлости тоже совершаются во имя Человека и Его Свободы. Больше всех твердит о здоровье тот, кто его лишен.

К черту все эти указания врачей, если мир еще кишмя кишит множеством таких Гинтарасов, которые, едва сделав первый самостоятельный шаг, озираются в поисках оружия, чтобы крикнуть: «Руки вверх!»

Принял таблетку и долго сидел на кровати.

Завесил оконце, поправил фитиль свечи, огляделся. Все четыре угла клетки залиты мягкой зеленоватой темнотой. О, если бы можно было забыться! Полностью и навсегда.

Открывается дверь.

— Зельмис, хочешь молочка? Пойдем.

Разве от нее отвяжешься? Не пойдешь, она и не уйдет. Сядет на пороге и примется допрашивать.

Молоко пью большими глотками, не чувствуя вкуса и сердито посапывая.

— Может, еще?

— Спасибо, мама, хватит. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, сынок.

Месяц окутан дымкой. Соберется ли Рокас починить крышу? И в прошлом году, и в позапрошлом, да и еще раньше все не находил времени. А нынче? Хорошо спать, когда большие капли дождя барабанят в окно, когда знаешь, что никто не наступает тебе на пятки. А если крыша течет?

И с каких это пор так ужасно разохлись половицы? Просто куда ни ступишь — скрипят. Одряхлело все, расшаталось.

Хватит тянуть! Пора приниматься за дело.

Старался не грохнуть чем-то, не стукнуть, чтобы никого не разбудить. Но едва успел приподнять доску, как совсем рядом, во дворе, слышался нетрезвый голос:

Ох, солдатик-бедолага,
Где ж ты ночь проспичь, бедняга?
То ли в поле, то ль в лесочке,
То ли у хозяйской дочки?..

Бригадир! Это его гимн. Подвыпив, он гундосит этот свой мотивчик непрерывно. И впадает от него в эйфорию. Я уже как-то слышал сию песенку, и мать сказала, что голосит бригадир Балтулис. Видать, учуял полуночник, что в доме гость, вот и явился в надежде выпить. Рокас небось всегда ему угождает, прямо задницу лижет. Бойтся? Разумеется. Может, потому, что Балтулис воевал, а потом был стрибом? Конечно, вернулся домой с латунными зубами, в выгоревшей гимнастерке и с медалью «За отвагу». В позапрошлом году после долгого перерыва навелит наших, упился, крепко растрогался и приколот Гинтарасу на грудь эту медаль. Мальчишка от счастья чуть сознания не потерял. Однако, опохмелившись, бригадир сменял медаль на красную звездочку, снятую с солдатской фуражки. Этой-то звездочкой племянник недавно украсил могилу кротики.

И снова приходится откладывать задуманное. Как знать, не придет ли этому проходимцу в голову желание посетить столичного гостя?

И в самом деле шаги. Чьи? Нет, это не материнское шарканье. Но шаги знакомые. Вот они уже на крыльце. Наверно, Рокас.

Точно, Рокас. Конечно, нет у человека никакой охоты одному сидеть с пьяным бригадиром. Ну и пусть убирался бы туда, откуда пришел. Полуночник несчастный!

— Спишь?

— Чего тебе?

— Может, посидишь с нами часок? Вы с Балтулисом вроде еще не знакомы... Бригадир он. Придешь? Ненадолго.

Брат просит. Брат хочет. Всех-то Рокас боится. Как в те годы перепугался, так до сих пор и не может в себя прийти. Все еще мерещатся ему стробы, депортации, лесные и всякие жуткие допросы. Вот и угождает всем. Когда повсеместно торчали еще сталинские бюсты и портреты, он на всякий случай загодя ломал перед ними шапку. И при этом что-то шептал сухими, вечно потрескавшимися губами...

Балтулис, широко развалясь, уселся в красном углу, оперся о темную стену, и курит.

— Добрый вечер.

Он поворачивает голову, неуклюже встает и тянет тебе руку.

На лысине крупные капли пота, из ушей торчат пучки седых волос, рука большая, липкая и теплая.

— Здрасте, здрасте.

Он или не он? Крупный, мясистый нос, один глаз прищурен, вислые сивые усы. Лицо вроде бы незнакомое. Отекшее и раскрасневшееся, словно впитало в себя весь свет лампы. Но каждое движение этого человека далеким эхом отзывается в сердце.

И Балтулис тоже, прищурившись, пристально и изучающе рассматривает меня. Вновь с трудом поднимается со скамьи, поправляет абажур, подается вперед.

— Постой, постой... Не встречались ли мы с тобой, браток?

Чего это он так уставился своими подслеповатыми гляделками? Лицо вдруг тускнеет, глаза словно отдаляются, капельки пота на лысине высыхают. Изо всех сил старается Балтулис вспомнить, где мы с ним могли встретиться. Нет, нет, нигде мы не встречались и не могли встречаться! Не надо никакого прошлого: что было — сплыло, давным-давно ухнуло в небытие.

— Не знаю.

Постепенно его глаза снова приближаются.

— Не знаешь? А мне... мне...

Балтулис не кончает своей мысли, опрокидывает в себя стакан пива, вытирает ладонью губы, закуривает, но все не спускает с меня глаз, стараясь что-то вспомнить. Это заметно по каждому его движению, натужному и скованному, об этом говорит и его взгляд, то прячущийся в темных глазницах, то снова вынырывающий. Наконец он раздраженно отсекает рукой:

— К чертям собачьим! Но тебя, браток, я не первый раз вижу.

— И мне тоже кажется... — не выдерживаю я.

— Во-во, покрути ученой головой, раз моя не вытягивает, — повеселел бригадир. — Двое — не один, двое — почти партиячка!

Нет, он не уймется. Желание вспомнить целиком овладело им. Его взбудораженный мозг во что бы то ни стало постарается вернуть прошлое. А я даже Сибирь умудрился заглушить припевом легкомысленной песенки: «Было, было, да сплыло...»

Вдруг Балтулис энергично вскидывает голову.

— Пэстой, постой, уж не вместе ли с тобой форсировали мы Неман?

— Что?

— Да говорю, уж не вместе ли форсировали мы Неман, батюшку рек литовских? В Отечественную? В армии-то был?

Я отрицательно помотал головой.

— Так где же, черт побери, я мог с тобой встречаться? Теперь... в столице?

— В Вильнюсе.

— Красивый городок! Замок, река, костелы, памятник Ленину...

А Трех Крестов¹, поди, нет. Взорвали вы их или «сталинцем» пова-
лили?

— Не знаю.

— Сам-то кем там?

— ???

— Высокое, говорю, место занимаешь?

Начинается. Неужели ни дня не может прожить без допросов и доносов? Как начал в свое время, так и не может утихомириться. Не один том составишь из вопросов, на которые мне пришлось отвечать...

— Бухгалтером работаю.

— У нас тоже бухгалтер. Такой дотошный, такой въедливый... Мы его фрицем зовем. Значит, говоришь, бухгалтером? Жить можно?

— Можно.

Балтулис наваливается на стол, вытягивает шею.

— А с лица не скажешь — тощее. Очень даже тощее... Небось цифры эти крепенько мозги сушат?

«Несладко, видать, нынче и учителю. Днем одни, ночью другие. И все не льком шиты. Не говори, браток, черт не белее дьявола. А ты, человеке, знай себе крутись! Держи ухо востро да кругом поглядывай! Думаешь, я не знаю? Я все знаю, все понимаю. Знаю, что теперь и тебя пощупают».

Да. Тот самый.

Я встаю, не желая вспоминать то, что было много лет назад.

Балтулис сидит и вяло, рассеянно ухмыляется. В глазах Рокаса покорная мольба.

Снова сажусь.

— А раньше где работал? Когда беспорядки были?

— Раньше... тут, неподалеку от волости, в Эглайняй, в школе.— Понимаю, что качусь под откос, но уже не могу удержаться.— Жил в Эглайняй, а работал в Пашилупяй.

Балтулис еще сильнее подается вперед. Уставился на меня. Снова отстраняется, утыкаясь спиной в стену. Его глаза сужаются, остается лишь тоненькая полосочка. Как лезвие ножа. Снова расширяются. Вспомнил.

— В Эглайняй, говоришь?

— Да.

Бригадир пощелкивает себя по виску, ловя воздух, как рыба, открывает рот и удовлетворенно хихикает.

— О чем бишь мы?

— Про Эглайняй,— пробормотал с набитым ртом Рокас, наполняя стаканы.

— А-а... Как-то получил ты там повесточку?

— Было дело,— неохотно согласился я.

— И потом потопал в волость?

— Да.

— И тебя догнали сани с народными защитниками?

— Догнали.

— И вывернули торбу?

— Вроде того.

— И один человек за тебя заступился?

— Он сказал, что я получил повестку.

— И потом тебя сунули в холодную?

— Сунули.

— И кто-то принес ночью твой мешок и курево?

— Принес.

¹ Три Креста — памятник, установленный в 1915 году на одном из вильнюсских холмов. В 1950 году был разрушен, в 1989-м — восстановлен.

Балтулис встал в полный рост, стукнул себя кулаком в грудь и торжествующе произнес:

— Я! Это был я! — Он еще сильнее выпятил грудь, огладил ее обеими руками, подкрутил вверх кончики усов. — Я один из многих.

— Надо же, как оно все было, — пробормотал Рокас, пытаясь разжевать окаменевший сыр.

Балтулис щелкнул каблуками, по-военному отдал честь и сел.

С чего бы ему гордиться и важничать? Разве просил я ту повестку? Нет, Балтулис лишь радуется тому, что вспомнил. Теперь ему весело, хотя тогда они везли Растяниса. «Пропали, нет их... Не этот же выкурил?» В саях лежал человек. Лежал длинный, спокойный, простоволосый, с темными веками, он будто смотрел в небо и сдержанно, загадочно улыбался. Да, тогда они везли старшего Растяниса. А где теперь младший, Казис?

— Ну и времечко было! Люди-то, как мухи на морозе, мерли. Но и в той заварухе случались такие, кто в человеке не только волка видел, но и человека. Скажешь, нет?

— Бывало.

— Давай выпьем. За дружбу между людьми!

Бригадир поднял стакан. Мы все трое чокнулись.

А ведь Балтулис может, должен знать о Ниле, о Казисе Растянисе. Тогда он был народным защитником, работал в милиции или в органах, все сведения стекались к ним. Позже, возможно, все выяснилось.

— Сам ты жил тогда у... у... Как ее?

— Пани Клеопатра.

— Во-во, у пани Клеопы. Нет ее больше.

— Где же она?

— Знаю, хорошо знаю. И могу сказать, браток, не секрет. Подо жгла мельницу, спалила дотла, одни каменюки остались, а сама добрела до кладбища и там у господских могил повесилась. Вот так бабка! На кресте! Привязала веревку к поперечине креста, накинула петлю, и аминь. Без глаз, без носа и без губ уже была, когда мы ее нашли. И ни письма, ни записочки, ни бумажки какой-нибудь, только на бугорке рядом шкатулка на посеребренных ножках. В ней четки, наперсток, нитки, пуговицы, лоскутики разные, иконка... и, постой, что же там еще-то было? А-а!.. Детский зубик. Зачем он? Может, ее собственный, а может, внука, а может, и колдовство какое-то? Кто поймет старого человека? Вот тебе и пани Клеопа! Козьявка, гнилушка, а большой воз перевернула. Осветила себе этой мельницей дорогу в царствие небесное.

Значит, тогда... Укутавшись в длинную шаль, со своей шкатулочкой под мышкой, странно оживленная и сосредоточенная...

— А про Ниле... ничего не знаете? Про Витурите?

— Про Витурите? Про учительницу?

— Да, про учительницу.

— Не. Ее так и не нашли. По правде сказать, всерьез и не искали.

— Всерьез вы искали только безоружных, таких, как я, — сказал я иронически.

— А Визгирда? Безоружный?

— Что с ним?

— Знал его?

— Жили вместе.

— Этого нашли. Он подорвался, но мы нашли. Загнали его в овин. Отстреливался до последнего. Потом затих. Ждали полчаса, час, два часа — ничего. Никакого знака. Сколько можно ждать? И мы ведь не горохом бросались. Крадемся. Осторожно, потихоньку, бесшумно ползем. Все трое: я, Гайгарас младший да Зигмас, сынишка Пакаркиса. А сзади, у господского кладбища, прикрывает нас гарнизонный наряд с двумя пулеметами: тяжелым и легким. Поднимаем-

ся. Я ногой по створке ворот, Гайгарас шмыг внутрь с автоматом наперевес. Глянул в одну, в другую сторону. Никого. Тогда глубже полез — очень уж отчаянный был и больно горяч. «Осторожно!» — ору. Куда там, разве такой шальной услышит? Только — бабах! «Аминь!» — подумал я. В открытые ворота — пламя, дым. Я снова жду. Когда дым слегка рассеялся, мы с Зигмасом кинулись в овин. Все! Глаза Гайгараса еще что-то ищут, кипят. Увидел меня, рванулся, замер, а потом остывать стал, как снятый с огня горшок с водой. Сорвали мы шапки и стоим. И Визгирда там. Едва узнали. Как разделанная туша. Когда ребята швыряли совком на воз то, что от него осталось, нашли окровавленную фотку. Обтерли — девица, волосы густые, тканой лентой пережавченные. Молодая, красивая, улыбается, будто ее поцеловали. И теперь у меня перед глазами стоит.

Тканая лента в волосах? Ниле! Как же ее фотография попала к Визгирде? Подарила? Выкрал из альбома? Разве имеет это сейчас значение? Нет больше Ниле.

— Когда было-то?

— Сразу после того, как ты смылся... Так вот, ту картинку положили мы на его останки. Там, знаешь, где всегда, на площади у костела... А ночью карточка исчезла. Может, ветер, может, собака или ворона какая унесла, а может, и так кто-то... Никто сокровище это и не искал.

«Знаю, что ты подозреваешь меня. Напрасно. Возможно, я шут, нигилист, злобный неудачник, драчун, но не убийца. Может, когда-нибудь стану им, однако пока что нет. А Ниле, если хочешь знать, мне даже нравилась».

«Не смейте о ней!»

«А вот посмею. И полагаю, приятель, что имею на это серьезное право».

«Какое такое право? Какое?»

«А очень простое, приятель, очень человеческое. Слышал, снова лежит один на площади перед костелом? Так вот, я ухожу туда, откуда ближайший путь только к такой свободе».

«Допускаю, что от вас и этого можно ждать...»

«...А Ниле мне нравилась. Не только как женщина, но и как человек. Она верила во все, что делала. Уважаю таких, которые еще могут верить. И главное — верить в человека и его будущее. Мало таких, но еще случаются. Разумеется, имею в виду не тех, кто совершает революции. Они верят не в человека, а в лозунги».

— А про младшего Растяниса чего-нибудь не слыхал?

— Сын, что ли, того?..

— Да, того самого.

— Не слыхал, — глубоко вздохнул Балтулис. — Чего не знаю, того не знаю. Знаю про Клеспу, Растяниса, Визгирду, Янаудиса... Много про кого знаю. А про этого нет. Он маленький был?

— Маленький.

— Маленькие счастливее. Нет, о нем ничего не было. Сказал бы другое — соврал. А врать не хочу.

— Вот, значит, как оно все было, — повторил свое Рокас.

Балтулис вынул стакан до дна, вытер рукавом губы.

— Не было, а есть. Есть, Рокас, есть. Маленькие всегда счастливее.

— А где Янаудис?

— Наш?

— Народный защитник.

— Знал его?

Сначала расспросит, допросит и лишь потом соизволит ответить. Хорошую школу прошел.

— Немножко. Он тогда запирал меня.

— Выходит, помнишь. И до гробовой доски будешь помнить.

Серьезный был мужик, но не скажешь, что колун или паразит. Его гоже нет. Как-то раз в одном имении обыск делали. Постой, постой, уж не тогда ли это было, когда ты сам погорел? И не твою ли, браток, комнатенку мы тогда шерстили? Перед тем как раз мельница сгорела. Сам-то ты драпака дал до пожара или после?

— Когда горело.

— Надо, надо было тебе тогда смываться! Да, да, в самый раз. Сейчас точно припоминаю. Только двинулись мы в обратный путь, как вдруг — тр-р-р, тр-р-р, ту-ту-ту, бах-бабах!.. Такое заварилось! Засаду устроили в самом имении. И гарнизон впутался, и три тяжелых было, и наш отряд... Ничего не помогло. Половину уложили, кровопийцы! И остальных изрядно покалечили. Глянь-ка! — Он встал, выпростал из штанов несвежую рубашу, повернулся — на боку, вверх от бедра глубокий синий шрам. — Глянь, глянь! Потрогай. Боишься? А?

Осторожно, одним пальцем прикасаюсь к шраму и сразу же отдергиваю руку.

Балтулис поспешно заправил рубашу и сел.

— Тогда-то мы и хватились Андрея. Ну, Янаудиса. А вот Зигмаса Пакарклиса и по сей день не нашли, — помолчав, продолжает бригадир. — Где только не искали, чего только не делали, как ни старались — все впустую. Голову даю на отсечение, не обошлось там без участия Удраса.

— Где?

— Всюду, браток, всюду. Сам Зубченко его опасался.

— А он-то хоть жив?

— Нет и его. С бубенцами летал — ничего, всюду первый голову совал — ничего, без охраны по уезду шастал — ничего... Ничего-то ничего, а расправился с ним свой же культ. Видать, не угодил кому-то, или слишком мягким показался, или еще что... Исчез — как в воду канул.

Балтулис закурил сигарету, несколько раз жадно затянулся и, дымя, как мокрые ветки в костре, продолжал:

— Такие дела, браток, вот как оно все повернулось. А Губертас процветает. Всем нос утер. Правда, прищемили было ему хвост. Кажись, тогда же, после обыска в твоей комнатенке. Но куда там, продержали ночь, да и отпустили. Выкрутился. Улик не хватило. Вот как оно выходит, браток. Знаешь, что такое улика?

— Знаю.

— А я вот тебе скажу: не знаешь. Не знаешь, ой, не знаешь! Улика — это сам человек: коли варит котелок, то и слон наступи — вывернется, а не варит — и блоха жизнь перекусит. Удрас, браток, из другой глины слеплен, чем мы с тобой. Он среди бела дня докажет, что волк — не волк, а ягненок.

Рокас разевает рот, будто намеревается возразить, но удерживается, только тяжело и медленно тянет натруженную руку, наполняет стаканы пивом, потом берет кусочек сыра и не спеша грызет его. Балтулис моргает покрасневшими глазами, выпивает свой стакан, отворачивается к окну. Долго смотрит на свое отражение в темном стекле и, вновь обернувшись к нам, говорит:

— Все нуль, ежели столько хороших людей попадало. Сгребали бедолаг, как листья осенью. И Бакшиса, и Гайлутиса, и Читаюса с Растянисом, и Андрея, и Гайгараса, и Зигмаса Пакарклиса... Такое множество в землю уложили. А мы сами что, не укладывали? У костельной стены бросали. Беременных не щадили.

— То-то и оно, — пробормотал Рокас и снова принялся грызть свой сыр, потом отнял от губ обглоданный кусок и сказал: — Все кануло в прошлое. Все.

— Все? — впился в него Балтулис. — Нет, не все кануло, Рокас. Обступают меня иногда по ночам со всех сторон и друзья, и враги. Друзья молчат, покачают головами и снова молчат, а те... и Аугусти-

нас, и Буткус, и Гирджюте, и Балтапуга со Скавярдисом... и все-все, что на площади тогда лежали, сверкают глазами и друг за дружкой вопрошают: «Балтрамеюс, у тебя же за плечами шестая часть земного шара, который из нас теперь на очереди?» А что? И ответить нечего. Правда, браток, нечего.— Вдруг Балтулис поворачивается ко мне.— Так за что мы проливали кровь, пожирали, убивали друг друга? Ответ!

Меня уже начинают раздражать его тирады и поучения.

— За брюхо свое,— кидаю.— За светлое будущее детей.

Ну, что новенького скажешь? Станешь хныкать, искать, охваченный пьяной жалостью? Лить свою и не свою желчь, разбавленную пивом? Каяться станешь, совесть свою облегчая? Поздно.

— Что? Плохо ответил?— Я не скрываю иронии.

— Плохо. Ты... не должен, браток, так говорить. Нельзя, не надо,— вскакивает Балтулис.

Неожиданно слышится стук — из огрубевших пальцев брата выпадает сыр. Рокас наклоняется, сует голову под стол и, громко постукивая по полу костяшками непослушных пальцев, пытается нащипать кусок. Снова садится, желтый огрызок сухого сыра обтирает о полу пиджака и подносит ко рту.

— Ладно, пусть плохо. Так за что же?

Балтулис окидывает нас долгим взглядом, скрипит зубами, потом сцепляет кисти рук, будто собирается что-то раздавить, пугливо озирается и глухо сипит:

— А знаешь, что они мне отвечают? Нет, откуда ж тебе знать! Так вот их слова: «Ты боролся, кровь проливал не за свое брюхо, не за светлое будущее своих детей, а за то, чтобы директор мельницы стал директором совхоза». Понимаешь? За УДРАСА все мы кровь проливали. Ну, и что ты на это?..

Что? Я чувствую, как мое сердце останавливается, отрывается, повисает в темноте. Но вот снова начинает трепыхаться медленно и безнадежно, стук его болезненно отдается в висках и ушах. Вцепился в сиденье стула, и с губ срывается:

— Так он?..

— А как же. Директор! Руководящий кадр. Куда-то улетучивался, а недавно снова объявился. Осмотрелся, обнюхался тут и там, повилал хвостом — вот тебе и директор.

«И про Удраса ничего не знаешь. Этого не цепляй, браток! Такие люди под счастливой звездой рождаются. Попомни мое словечко: он если не министром, то председателем колхоза точно станет. Нет, говоришь? Станет, уж это я точно тебе говорю...»

— За что? — повторил свой прежний вопрос Балтулис.— За то, чтобы он нами правил, а мы жирели да радовались?

Рокас все время молчит. Только гложет свой окаменевший сыр и молчит. Улыбается в усы, когда ему кажется, что я или Балтулис сказали что-то смешное, прикладывает к пиву и помалкивает. Вообще-то он едва ли слышит, о чем мы тут толкуем. Он погружен в себя. Только в себя. Всегда таким был, таким и остался: «Слушай и молчи!» И пьянеет Рокас не так, как все. Постепенно и тяжело, словно медленно бредет за плугом по дышащей влажной земле. Чей характер унаследовал этот шалопай Гинтарас? Уж только не отцовский! Мусолит и мусолит Рокас этот свой сыр. И улыбается сам себе. Кротко и печально, будто извиняясь за то, что он такой, смиренный и работающий, живет на этом свете. Но стоит только ему заметить на чьих-то губах улыбку, как сразу же прекращает жевать сыр или свои мысли и старается подстроиться к общему настроению. Однако всякий раз выходит у него это немножко запоздало, и потому иногда кажется, что Рокас — эхо чужой радости, тревоги и боли. Гинтарас вспоминает об отце лишь тогда, когда переполнен впечатлениями. Наверно, нет на свете лучшего и более терпеливого собеседника, чем

мой брат. Целыми часами, целыми днями готов слушать, век с места не сдвинется, не перебьет, лишь изредка вставляя свое «то-то и оно» или озираясь, не подслушивает ли ненароком чье-то недоброе ухо.

УДРАС — ДИРЕКТОР СОВХОЗА!

— А где ты прятался до сих пор? Не нашим ты был человеком. С ними заодно шел?

Неожиданный вопрос повергает меня в смущение. Снова начинается. Страсть допросов, дознаний въелась им в кровь. Неужели после стольких лет, после таких бед и страданий не дадут покоя? Если хочешь победить, нападай сам!

— Болел за бандитов?

Ясное дело, Балтулис уже жалеет о том, что недавно сказал. Хочет все исправить или уточнить. Пусть гость из Вильнюса не думает, что колхозный бригадир заблудился в лабиринтах политики. А я? Как должен вести себя я?

— Во-первых, с моей точки зрения, сам термин «бандит» — не точный и не марксистский. Коль скоро мы признаем классовую борьбу, то не можем не признавать и ее движущих сил. Разве есть такой класс — «бандиты»? К сожалению, марксизм этого еще не знает. Бандит — слово, лишенное всякого социально-классового содержания. Бандит — продукт желчи, а не мозга.

— Не спорю. Больно хитро и по-ученому ты начал. Меня интересует только, где ты до сих пор ошивался.

— Всюду. В Каунасе, Вильнюсе... и еще кое-где.

— Не выкручивайся, попробовал ты морозца и покрепче. Ну хотя бы ту же Сибирь.

— Вроде того.

— В лесу или на угле?

— Всюду. Дольше всего на лесоповале.

— Это еще полбеды. А всего сколько?

— Девять.

— Поморозили тебя. Здорово поморозили.

Балтулис говорит так, будто и там все было в его власти — знакомое и свое. А скорее всего, о том крае ни малейшего представления не имеет и во сне не видел. Хорошо такому жить на свете!

— Что же пришили?

— Ничего. Взяли и без всякого суда — в телячий вагон.

— Небось до того еще побеседовали, допрашивали, а может, и ступни погрели? Как?

— Допрашивали.

— Если бы ты тогда не бросил все и не сбежал из Пашилупай, может, все и обошлось? Как считаешь?

А кто отговаривал? «И про Удраса ничего не знаешь. Этого не цеплай, браток!.. Ни гу-гу. Знать, мол, ничего не знаю. Ничегошеньки! Будут спрашивать, грозить, брауник под нос совать, глядишь, и отлупят, в кутузку сунут... а ты все равно — ничего, мол, знать не знаю. Ты младенец, дурачок, теленок... Только такие оттуда и вылазят. Высунешь язык — со всеми потрохами выдерут. Усек?!» Неужели не надоело ему об этом вспоминать? Мелет и мелет все об одном и том же.

— Не придумай они тогда тот обыск, может, и сегодня... не тут, так в другом месте сидел бы за столом и Янаудис. Наверняка сидел бы и пил, как мы теперь. Андрей никогда от хорошего не отказывался. А теперь вот нету его. Кранты!

Этот недвусмысленный намек потряс меня. Вот, значит, как отплатил я за то, что Янаудис лишь выполнял свой долг. Заманил его в настоящую ловушку. Но разве мог я знать, что случится такое?

— Помню, теперь уж точно припоминаю, что отправились мы тогда искать оружие. Кто-то подозревал, кто-то разнюхал или видел. Было у тебя?

Удрас. Всюду он поспевал и тепрь успевает. Помчался куда на-

до и донес, желая поскорее отделаться от меня. Как хорошо, что я тогда все бросил и удрал. Но чего добивается Балтулис? Видимо, и его тоже грызет какой-то червь.

— Нашли?

— Где там! Все обыскали, перерыли, и ни следочка. А книг-то книг! Зигмас Пакарклис штыком их колол, перетряхивал, прикладом молотил, и все — пшик. Вот тогда-то нас и прижучили, как свиней, освежевали. Андрей, Гайгарас Второй, Юргис... всех, всех там на крюк подцепили. Только мне да еще нескольким удалось выкрутиться. Вот тебе и «вальтер». Я вдруг сейчас вспомнил, что искали «вальтер». Был у тебя? Сейчас можешь не бояться. Ты, браток, тоже свое получил. А?

— Есть, видимо, такие, кто лучше про то знал и знает.

— Ты не серчай, не обижайся, браток. Я в шутку. Где тебе, такому книжному червю, с огнестрельным оружием управляться! Конечно, и мы виноваты, что тогда с тобой так... Сунули в холодную, заперли, поморозили ночью. Но я же тебе торбу приволок. Заикнулся было перед той лисой, перед нашим Зубченко, мол, ни в чем ты не грешен, только разве такому что-нибудь насоветуешь... Ему сексот требовался, а ты не раскис. И правильно сделал. Знаю, я все знаю! Не нравятся мне слабаки, хотя тогда и такие нужны были, которые посматривают, принимают, испытывают, а потом черным по белому настроят или на ушко шепнут. Так как там с «вальтером»?

На стенке, перегораживающей избу до середины, мелькает тень. Старая? Не спит и она. Сунет голову и снова спрячется. И все время слушает. Вот и сейчас, почуяв, что сыночку грозит опасность, встревожилась.

— С каким?

— Был у тебя пистолет или не было?

В глазах бригадира недобрый, маниакальный огонек, седые космы топорщатся возле ушей. День и ночь преследует его тот «вальтер».

— Ищите, ищите и обрящите! — сказал я, стараясь вспомнить, где уже слышал похожие слова.

Балтулис поднимается, скрипит зубами, вновь садится, но тут же вскакивает.

— И пойду, и буду искать! Думаешь, не буду? Не на моей совести Андрей, младший Гайгарас, Юргис, Зигмас Пакарклис... Не-ет! Но я буду искать, из-под земли достану, всех разоблачу!.. Если надо, в подпольную спущусь — не испугаюсь. Не остановлюсь и перед самим...

— Остановишься... перед Удрасом.

Балтулис выпучил глаза.

— Откуда знаешь?

— Знаю.

Балтулис грохает кулаком по столу.

— Я все раскрою!

К столу, шаркая, подходит мать. Дробно постукивает палочкой и идет с трудом, будто навстречу мутному потоку воды, который то и дело отбрасывает ее назад. Продвинется чуть-чуть, остановится, к чему-то прислушиваясь, болезненно улыбнется, потом снова шажок-другой. Постойт, поднимет высохшую, как щепка, руку, коснется плеча Балтулиса, небритой его щеки, виска. И все время что-то шепчет, словно укрощает разбушевавшегося зверя, или молится, или хочет заговорить дурную болезнь. Наконец в наступившей тишине слышится:

— Не надо, Балтрас. Будет. Пошутковали, и хватит. Только что сын приехал, только вошел... больной, худой, измученный... Не видишь разве? Нет, не надо. Пейте, мужики, эту бурду, жуйте сыр и... живите в мире. Так-то оно лучше будет. Все вы материнские дети. Ладно, соседushка?

Балтулис дрогнул всем телом, словно отряхнулся. Встал и какое-то время стоит, о чем-то напряженно думает. Потом обеими руками хватается себя за ворот рубахи, сильно дергает. Одна пуговица отлетает,

скользит по столу, падает и катится по полу; белая и маленькая, растворяется в темноте. Медленно, неохотно, отфыркиваясь, Балтулис уходит. А мать все гладит да гладит ему плечо. В конце концов бригадир шлепается на скамью и стонет:

— Нет, Андрей, не могу!

Наваливается на стол, обхватывает руками голову и всхлипывает. Его плечи трясутся, пальцы влажные, порыжевшие, обросшие седыми волосками... Мать наклоняется и что-то ищет, постукивая палкой о пол. Скорее всего, пуговицу. Балтулис скрипит зубами, будто собирается отгрызть край столешницы, он еще ниже опустил голову. Вдруг снова вскидывает ее, обводит всех ошалевшими глазами и встает. Мрачный, широкоплечий, огромный, с оголенной волосатой грудью, возвышается он над столом. Лицо бледное и злое. Бригадир продолжает о чем-то напряженно раздумывать. Мать снова подбирается к нему и опускает в оттопыренный карман пиджака пуговицу. Балтулис хватается со стола наполненный пивом стакан и опрокидывает в широко раскрытый рот. Потом упирается взглядом в меня. Смотрит. Взмахивает рукой.

— Пошли.

— Куда? Куда же ты его поведешь, соседка? — встревоженная мать хватается за руку.

— Встать! — кричит Балтулис по-русски.

Я продолжаю сидеть, не обращая на него внимания.

— Шагом марш!

Внезапно мать падает перед бригадиром на колени и умоляюще тянет к нему руки.

— Мама, встань! — строго приказываю я. Потом осуждающе смотрю на гостя. Я готов на все.

Балтулис продолжает гневно скрипеть зубами и медленно, как лунатик, нетвердым шагом направляется к двери. Останавливается. берет за дверную ручку. Оборачивается.

— Пстой! — строго окликаю его.

Бригадир удивлен.

— Вот вы все помните, все знаете, — начинаю я, подходя к нему, — а о том, что советовали мне тогда не говорить правду про Удраса, забыли. Почему?

Балтулис опускает голову и огрубевшими пальцами крутит пуговицу пиджака. Рокас перестает грызть сыр и бессмысленно смотрит перед собой.

— Почему? Молчите? Так я вам напомню. Потому, что пили вы вместе, что Удрас держал всех вас в кулаке, что...

— Нет, он не был моим другом, — неуверенно возражает Балтулис. — Только молчал мне без очереди. Я ж один был, дети малые, жена больная...

— Он и людей молчал без очереди. А кое-кто ему помогал. Своим языком.

— Я... я...

— Иди-ка ты прочь!

У Балтулиса отваливается челюсть, он ловит ртом воздух.

Я закуриваю.

Из сеней доносится стук, грохот. Слышно, как Балтулис выругался. Хлопает дверь. За окном удаляются тяжелые шаги.

— Вот как оно все.

Я оборачиваюсь к брату. По его лицу не поймешь, весел он или печален. Меня одолевает зевота.

Мать, наверно, уже не впервые так. Зачем унижается? А Балтулис, видимо, к таким сценам привычен. А может, и нет. Раньше был привычен... Мама, мама, когда же ты наконец поймешь, что твои сыновья уже выросли и даже состарились? Ты все равно бессмертна со своим хлебом, испеченным на листьях айра.

— Ступайте, детки, вздремните.

Всюду находит нас мать со своим «вздремните». Нарочно говорит так или по привычке? Знает ведь, что теперь уже никто не уснет. Наверно, по привычке. Вздремнуть — счастье. Снова все повторяется, снова все как двадцать лет назад.

Почему я нигде не нахожу покоя?

ДИРЕКТОР МЕЛЬНИЦЫ СТАЛ ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА!

Я задернул занавеску на окошке и лег.

Черт принес сюда этого Балтулиса! Притащился, налкался, наболтал невесть чего, разбередил всех и убрался. Неужели и вправду что-то учуял? Столько лет прошло!

Может, и не надо было с ним так? Но зачем же он привязывается к человеку, если и сам не без греха? Не стал оправдываться, не возмутился...

А вот что Удрас хотел расправиться со мной руками народных защитников, теперь уже не вызывает никакого сомнения. От кого еще могли узнать о том «вальтере»? Ясно, кто донес.

Сегодня Удрас — «руководящий кадр».

Пиво, примусная лампа, преферанс, шахматы, Аргус и... «мертвяки, мертвяки, мертвяки». Бакшис, Читаюс, Янаудис, Растянис, оба Гайгараса, Пакарклис... Буткус, Балтапуга, Гирджюте, Скиявядис, Визгирда и множество других.

А Ниле? А младший Растянис?

«За что? Скажи!»

«За брюхо свое, — кидаю. — За светлое будущее детей. Что? Плохо ответил?»

«Плохо. Ты... не должен, браток, так говорить. Нельзя, не надо...»

«Ладно, пусть плохо. Так за что?»

«...ты боролся, кровь проливал... за то, чтобы директор мельницы стал директором совхоза. Понимаешь? За Удраса все мы кровь проливали. Ну, что ты на это?..»

Если бы человек чаще задумывался над каждым прожитым днем, месяцем, годом, тогда знал бы, что делать. Задумывался? Я же пересмотрел свою жизнь. А что дальше? Дальше? Все слишком поздно! Значит, остается поступить так, как полагает мать. Мать? При чем тут она? Подумай!

Мать... упала на колени. Да, упала.

Неужели и я такой же, как мать?

Мать встала на колени ради сына, а я?..

Ради себя? И только?..

Нет!

Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ.

Проснулся я отдохнувший и посвежевший. И куда более бодрый. Мне показалось, что сон был вещим и сулил мне что-то хорошее. Вышел во двор, чихнул, глядя на высоко поднявшееся солнце.

Усидел десяток вареников и постарался как можно больше находиться на воздухе, что-то делать по хозяйству и ни о чем не думать, да и зачем? Разве мало того, что я чувствовал себя намного лучше? И к тому же я принял решение. Сомнения редко помогают действию.

Подпер яблони, вставил граблям недостающие зубья, починил завалившийся забор, проложил по саду несколько прокосов.

Матушка тайком поглядывала и наверняка радовалась в душе, что ее Анзельмас не особенно огорчается из-за болтовни и придирок пьянчужки бригадира. Потом я пошел к почти заросшей яме-мочилу для льна, где двадцать лет назад собирался утопить «вальтер», но в последний момент удержался. И мне впервые не было жалко, что я тогда не сделал этого...

И Гинтарас весь день не приставал ко мне. Прилип к соседскому

парню, который, как аист, босиком, в подвернутых штанах вышагивал вдоль реки с удочкой.

После обеда я снова заперся в клети и принялся за «Один день Ивана Денисовича». Прочитать эту повесть посоветовал мне один хороший друг. Сначала никак не мог сосредоточиться: то и дело тревожно поднимал голову и прислушивался, не раздадутся ли шумные или крадущиеся шаги Гинтараса, не нарушит ли тишины его невыносимая болтовня. Но постепенно книга меня захватила, и я забыл обо всем на свете, как живые вставали передо мной главный герой повести Шухов, его друзья и недруги, голодные бараки и холодное небо.

И вдруг вынырнули огромные глаза... Ребенок, завернутый в толстый платок, который прикрывает ему лоб, щеки, губы, подбородок. Понуро плетется лыдающая лошаденка, еле переставляя ноги. Колеса по ступицы увязают в разъезженных колеях, с тележной грядки, ободьев, спиц капает жидкая грязь, а детские глаза смотрят на раскисшую дорогу, на голые ошетилившиеся поля, на мутное холодное небо и криком кричат: «Куда меня везут? Разве я виноват?»

Но чем дальше я читал, тем больше чувствовал, что автор многого недоговаривает. Не пишет о самом главном. Это раздражало, вызывало досаду и даже своего рода разочарование. Мне довелось побывать там, видеть все собственными глазами, многое испытать на своей шкуре. Почему никто не напишет и не ответит на вопрос, что надо делать, чтобы человек не чувствовал себя таким одиноким среди людей, таким бесконечно ничтожным и слабым, когда борется сам с собой и когда решается исполнить свой долг?

И вдруг все исчезло

Когда я пришел в себя, журнал с той жуткой повестью валялся на полу, а снаружи слышались чьи-то поспешно удалявшиеся шаги. Казалось, кто-то тайком подкрался, посмотрел, что я делаю, а теперь сломя голову бежит прочь, прячась от моего возмущения и заслуженного возмездия.

Ноги и руки мои все еще были онемевшими и холодными, но сознание действовало уже ясно и четко. Я даже вспомнил, что первая мысль, которая пришла мне в голову, как только я ощутил мрак небытия в глазах и пьянящую пустоту во всем теле, была: «Прощай, Гинтарас! Будь честным, справедливым человеком и не иди по стопам дяди».

Почему Гинтарас? А кто еще у меня остался? Мать? Старая. Брат? Мы никогда не понимали и не поймем друг друга. Значит, я люблю этого маленького шалопа больше, чем кажется.

Теперь мне стало почти досадно и грустно, что не удалось покинуть мир с этой благородной и простой мыслью.

Нет, я все-таки люблю этого мальчика.

Как легко и просто уйти из жизни, когда кого-нибудь очень любишь, но не так уж сильно нужен ему!

Однажды я случайно заглянул на кладбище, хоронили некоего государственного деятеля. Светило солнце, цвела сирень, карабкались на холмы, спускались в низинки памятники, где-то совсем рядом весело щебетали пичуги. Стояло много людей, и играли медные трубы, рассыпавшие солнечные зайчики. Лица музыкантов торжественно окаменели, глаза молитвенно полузакрыты, музыка умиротворяет и усыпляет. Казалось, что вокруг бушует самум, а тут, под деревьями, освежающе прохладно и до боли хорошо. И у меня тогда мелькнула мысль: когда вокруг весна, когда играют золотые трубы, из которых льется печальная музыка, и брызжет ослепительное солнце, когда по кругу мчится горячий самум, заноса все песком забвения, когда гроб закрыт и люди не толпятся и не вытягивают шеи, чтобы посмотреть,

как выглядит покойник, умереть совсем не страшно. Но сразу же у меня перед глазами возникла и та давняя картина, когда хоронили молодую и очень красивую студентку с нашего курса. С огромным цветком каллы на высокой груди, лежала она в гробу, абсолютно не изменившаяся и даже ставшая еще красивее. И все вокруг было очень красиво и возвышенно печально, пока на ее гроб не упал тяжелый пласт мерзлой земли и в яме жутко хрустнуло. Тогда я убежал с кладбища, смертельно напился, а через несколько дней пристал к ни в чем неповинным музыкантам и во весь голос потребовал: «Замолчите!»

Но не это главное. Главное, что я со странным удивлением и ужасом понял: с этого случая, с этого моего обморока, с этого мгновения моя жизнь раскололась. На то, что уже было, и на то, что еще будет. То, что уже было, потеряло для меня всякий смысл, а то, что еще будет, возникло перед глазами, как огромный безжизненный, погруженный в мертвую тишину мрачный сосновый бор, в котором невозможно заблудиться. И охватывает непреодолимое желание свершить задуманное... Как-то Ниле играла на гитаре. Было очень весело. Вдруг лопнула струна. Раздался пронзительный дребезжащий звук. Мне тогда тоже почудилось, что мир раскололся надвое и никогда уже не будет таким, каким был. Я подошел, положил ей руку на плечо, подождал, пока эта трещина затянется, и сказал: «Не горюй, Ниле, мы еще что-нибудь придумаем».

Да. Мы еще что-нибудь придумаем.

Я уже кое-что задумал.

Задержал занавеску на окне, зажег свечку, поднял половицу, оторвал еще одну. Под клетью земля была белесая, будто присыпанная мелкой солью. И очень сухая, местами растрескавшаяся. Валялись всякие бутылки, битые и целые, большие и маленькие, разной формы и разного цвета. Были тут щербатые тарелки и чутунки, ржавые железки, причудливо спекшиеся куски шлака, будто специально отлитые из свинца в святочные гадания, птичьи перья и прочий хлам. Истлевшая калоша, и в ней детская пустышка. А осколков-то, черепков сколько!словно каждый день и каждую ночь тут яростно били и крошили хрупкие вещи и чье-то счастье.

Я воткнул лопату в землю. Твердая какая!

Руки дрожали, и все время, будто его кто-то толкал, колотилось сердце. Ступни то горели, то мерзли, голова кружилась. Руки не могли совладать с лопатой. Закурил.

Курево хорошо просветляет мозги.

Возьму с собой и Гинтараса. Надо наконец показать ему эту Страну Черных Елей. Все равно не выкручусь. Гинтарас не помешает. А если я вдруг не вернусь, домашние будут знать, что мы ушли вместе. Мальчика легко найдут, а меня?.. Нет, Гинтарас не сможет мне помешать. К тому же он, скорее всего, не потащится за мной туда. Увидит что-нибудь... скажем, комбайн, трактор, косилку, веялку и прилипнет. Наконец, наткнувшись на кота, кролика, цыпленка, тоже захочет лучше их рассмотреть. Мало ли что может встретить ребенок на совхозной усадьбе! А может, еще и тот танк стоит? Я в доме долго не задержусь. Выясню, что надо, сделаю свое и уйду. Потом провожу Гинтараса домой.

А если что не так, отправлюсь к реке. Туда, куда не раз таскал меня Гинтарас. Стану спиной к воде, на самом обрыве. Там тихое и уютное местечко. Все уже обдумано и подготовлено. Главное, чтобы рука не дрогнула. Ни одного серьезного дела не сделаешь, если рука не послушается. Перед тем, несомненно, надо будет выспаться. И легко, ровно нажать. Бабахнет — и тишина, тишина. Только река будет течь, как текла. Как вчера, как позавчера, как всегда.

Никого всерьез не озаботит мое отсутствие. Мать? Дряхлая, ис-

сохшая. Она уже почти что на том свете. Уже давно зовут ее к себе души предков. Брат? Чужой. Хлебнет холодной водицы и скажет: «Вот так-то оно все». А потом отобьет косу и возьмется за дело. Разве мало у него своих бед и забот? Гинтарас? Этот мучитель? Дядя — не кротик.

Что и с кем меня тут связывает? Когда узнают, когда хватятся, все уже будет кончено. С хутора уберусь в тот же день. Скажу, что забыл о срочной работе в городе, и они поймут. Должны будут понять. Уйду, как обычно. Попрощаюсь, расцелуюсь, а Гинтарасу скажу: «Будь честным, справедливым человеком...» А может, еще прибавлю: «И не иди по стопам дяди». Нет, этого — «И не иди по стопам» — не надо. Ни в коем случае не надо. Родные смогут что-то заподозрить. Нет, сказать такое было бы просто неосторожно. Даже глупо и жестоко. Все должно совершиться как можно спокойнее и тише. Попрощаюсь, подхвачу чемодан и отправлюсь на станцию. До вечера пересажу в каком-нибудь укромном местечке, пусть даже в кустах или в овраге, а потом прямо к реке. Летом ночи светлые. На берегу понадобится немножко терпения, сосредоточенности, холодного рассудка, и — тишина, тишина... И главное — ни одна душа не узнает, куда я подевался. Все будут ждать, ждать, если, конечно, вообще такие ожидальщики найдутся. И пускай себе ждут. Смысл человеческой жизни придают лишь ожидание и вера. Лучше не знать и ждать, чем знать и смириться.

И снова я не ощутил вкуса табака. Но надо копать. Незачем закуривать новую сигарету. Я должен спешить. Надо успеть.

Лопата натолкнулась на твердый предмет. Разгреб руками прелую сухую землю, нащупал. Чугунок!

— Дядя!

Гинтарас! И никто уже не заткнет эту глотку!

Наступила тишина. Только сердце не унималось. Билось часто и неровно, замирало и снова прыгало. В глазах потемнело.

— Дядя! — голос раздался у самых дверей.

Я не отозвался.

Гинтарас попытался открыть. Хорошо еще, что я раньше задвинул засов. Потыркается и уйдет несолоно хлебавши.

Довольно долго не было слышно никаких звуков. Только тихое шуршание. Вероятно, ветер в ветвях яблонь. Чего доброго, нагонит Рокасу дождь, а мне — еще один день ожидания и бесконечную ночь.

Ушел.

Я снова принялся за дело.

— Дядя, все еще кольцо ищешь? — голос прозвучал совсем рядом,

Как же это я забыл, что под клеть можно подползти? Да еще такому шустряку! И тут же увидел запыленную, облипшую паутиной, ухмыляющуюся мордашку.

— Кого ты собираешься тут хоронить, дядя?

Как объяснить ему, чем оправдаться? Застал на месте преступления. Хорошо, что не увидел большего.

— Ты тоже нашел мертвого кротика?

— Не мешай, малыш. Если дашь мне поработать, то завтра пойдем в Страну Черных Елей.

— Правда?

— Да. Теперь уж точно.

Довольный Гинтарас стал задом выбираться из-под клетки. Скоро по двору застучали легкие, веселые шаги. Обрадовался.

Я расширил яму лопатой и начал выгребать землю руками.

Наконец удалось извлечь чугунок. Достал завернутый пистолет. Пахнуло далеким прошлым. Осторожно развернул порывевшую бумагу; вазелин затвердел, местами совсем испарился или прилип к бу-

маге, но металл нисколько не пострадал. Остатки вазелина и бумаги удалил я с него чистой тряпкой, сцарапал ножом и палочкой. «Вальтер» — как новенький. Холодная скользкая тяжесть заставила меня содрогнуться. И те три патрона — латунные, сверкающие, тоже чистые и тяжелые.

Двадцать лет!

И почти не было дня, часа, минуты, чтобы эта вещица не напоминала о себе. «Вальтер» врос в сознание, в каждую клеточку тела, в каждый толчок крови, как заноза, как запущенная злокачественная опухоль, как темное пятно на совести. Он жил во мне, а я в нем. Мы жили друг в друге. Симбиоз судьбы!

Внезапно ощутил смертельную усталость и пустоту, словно сдал трудный экзамен, подготовке к которому отдано много бессонных часов, отданы все физические и духовные силы.

— Дядя, дядя!

Опять! Когда же наконец даст он мне возможность хоть раз побыть одному? Неужели Гинтарасу передалась моя тревога?

— Что тебе, чертенок?!

Маленькие и твердые кулачки колотили в дверь.

— Нашел, нашел!

— Что нашел?

— Твое кольцо!

Что это он несет? Угораздило же меня тогда совраты! Никакого кольца не было и никогда не будет!

Я сунул «вальтер» в карман брюк и открыл дверь.

— Ну что там у тебя?

Гинтарас разжал перепачканный землей кулачок. На ладони блестело золотое колечко. Чудо!

— Во! — победоносно сказал мальчик; лицо его покраснело, глаза сияли гордо, но в них таилось что-то недосказанное.

Я взял кольцо с детской ладони и внимательно осмотрел. Где он нашел эту вещь? Кто ему дал? И вообще, кто придумал эту комедию? Неужели мама?

— Пойдем в Страну Черных Елей?

— Я ведь уже сказал.

— А теперь, дядя, ложись спать.

Откуда у него это дурацкое и наивное желание опекать меня?

— Зачем? — удивился я.

— Завтра нам рано вставать, чтобы идти, — очень серьезно объяснил Гинтарас и, ласково пожелав мне спокойной ночи, важно, как старик, пошел в избу.

Я надел кольцо на мизинец. Оно было скользким и холодным. Надо же, как странно все обернулось!

Я опустился по сложенным из камней трем ступенькам и крикнул:

— Обязательно пойдем, Гинтарас!

— Вот хорошо!

Неподалеку, возле куста крыжовника, стояла мать. Наши глаза встретились. Она! Я понял все. Да, она. Ее изобретательность безгранична, если сын страдает.

Искреннее всех и дольше всех будет меня жалеть и ждать мама.

Что еще я должен сделать этой ночью? Письмо писать не стану. Архаично и сентиментально. Все должно быть буднично, просто. И надежно. Я пришел в жизнь не по своей воле, зато уйти могу по собственному желанию. Только перед этим надо еще кое-что сделать. Сделать то, что много лет откладывалось.

Этой ночью буду спать. Должен спать. Я не какой-то там герой фильма или романа, который мечется и клянет судьбу перед роковым

мгновением за то, что она не удержала от скоропалительного поступка. К этому шагу я готовился двадцать лет. Возможно, уже с того момента, как злосчастная судьба сунула мне в руки оружие. Правда, я убегал, выкручивался, скрывался. От кого? Вернее, от чего? От своего долга? От собственной судьбы? Знал, что обязан, и все откладывал? Даже старался забыть? Чего только не предпринимал, чтобы взрастить в себе равнодушие. Но жребий брошен!

Я даже не стану мстить, буду лишь орудием судьбы. Как пани Клеопатра.

Какая тихая и душная ночь! Хоть какой-нибудь звук! Не слышно даже мышиного скреба за обоями. Серая застывшая тишина, которую изредка нарушает качнувшееся пламя свечи.

Я задуваю свечу.

Войду спокойно и спокойно скажу. Лишь три слова скажу: «Мане, таке, фарес!» Как тогда пани Клеопатра. Но Клеопатра сказала это мне, человеку, который вобрал в себя мудрость множества книг, которому смысл этих слов не надо объяснять. А что скажут эти слова Удрасу? Ничего, почти ничего. С ним разговор должен быть иным. Простым и ясным, как удары меча. Риторикой и сантиментами Удраса не проймешь. Да он и не верит ни во что.

Нет, спрошу только: «Куда ты девал Ниле и младшего Растяниса?»

Удрас не сможет выкрутиться. Не сможет избежать ответа на такой конкретный и точный вопрос: «Куда ты девал Ниле и младшего Растяниса?» Смутится ли от неожиданности этот «руководящий кадр» или прикинется, будто не расслышал, не понял? Иронически усмехнется? Не важно, совершенно не важно. Главное, что первый шаг будет сделан. А потом...

Теперь все, Анзельмас! Необходимо заснуть. Завтра тебя ждет нелегкий день, предстоит большая работа.

Один, два, три... одиннадцать, двенадцать, тринадцать... семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... Двадцать лет назад я отправился искать покой. И сначала все шло хорошо. Мне понравилось, что та старушка, которую я увидел на отдаленном хуторе, куда заглянул в поисках ночлега, ни о чем не спрашивала, что целиком была погружена в вечерние заботы, что умела тихо и любовно, словно свершала какой-то обряд, цедить доверчиво шепчущее молоко и не сердилась на кота, который, задрав хвост, крутился у нее под ногами, что не захлопнула передо мной двери, что на подоконнике в горнице желтели два огромных семенных огурца... А на другой день еще больше все понравилось: и солнце, неназойливое, теплое, и густая зелень раскинувшегося за рекой парка, и сдержанные порывы ветерка везле старой мельницы, и веющая прохладой зеркальная поверхность пруда, чью ничем не замутненную строгость потревожила ночью таинственная русалка, и те серые птицы, холодно пронесшиеся над тростником с порыжевшими верхушками, и та плотина, прочная и вечная, на которую я уже успел ступить, и те жирные, сытые рыбины, которые не кидались к брошенным в воду хлебным крошкам, как поросята к корыту, а лишь важно и лениво тыкались в них белесыми и тупыми рыльцами или, ушедши поглубже, легко кружили там, словно наслаждаясь грациозностью своих движений и темно-синей свободой... Но больше всего понравилась Ниле, которую я повстречал сразу после того, как из башни подбитого танка выкарабкался славный застенчивый паренек с белым, молящим о мире флажком.

Тогда мне казалось, что я нашел то, чего жаждал, о чем втайне мечтал.

Все? Да.

Теперь я принял решение.

Принял решение? А когда? Теперь, теперь!.. Позавчера, после то-

го, как узнал, что... ДИРЕКТОР! Ну и что? Пойдешь, разыщешь, объяснишься... Одним станет меньше, но жизнь будет течь, как и текла.

Испытываешь меня?! К черту, сколько же раз придется принимать решение?

Столько, пока слово не станет делом.

Нет, мне снова не уснуть: пространство клетки становится белесым, мрак рассеивается. Сначала выныривают дверные щели, острые и колючие, занавеска на оконце, цилиндр лампы, желтый портсигар, кольцо — любовь матери и эгоизм Гинтараса, все уже посветлевшие вещи, которые множеством глаз следят за мной. Теперь самые короткие ночи.

Если хочешь заснуть, не старайся сделать это. Отдайся сполна всем чувствам, ощущениям и мыслям. Не стремись регулировать, приводить в порядок, выстраивать их! Мысли, как и красивые женщины, любят, когда за ними наблюдают. Отвернись от них, не обращай на них внимания, глядь, они уже другие. Куда скромнее... и... не такие... О чем бишь? Я... теперь?

Завтра... завтра ————— уже —————

Сначала мы шагали вдоль оврага, потом пошли прямо по широкому, еще не скошенному лугу. Гинтарас впереди, я за ним. Над землей стелился туман, молочный и густой; строения, деревья, кусты казались перерезанными пополам и висящими между небом и землей. Крича и призрачно шурша крыльями, ныряют чибисы, высоко и низко простреливают пространство ласточки, воздух вибрирует от жаворонков. Всюду пьянящий запах полевых цветов и очнувшейся от ночного сна земли, свежих кротовин.

Гинтарас и теперь ни минуты не стоит на месте, его прыгкие бо-
сые ноги шныряют там и тут, оставляя на траве темно-зеленый след. Сколько мальчик будет так бегать и резвиться? Как хорошо, что все уже решено. Тогда и мир выглядит иначе. И Гинтарас другой. Может, он шалопай, сорвиголова, но абсолютно нормальный ребенок. Бесконечно много зависит от того, каков ты сам.

Я тоже скидываю туфли. Сначала ступням колко. Привыкну. Будем оба детьми. Как славно босиком!

— Не слишком ли ты разбегаешься, приятель? Я для вашей милости запасных ног не припас.

Послушался. Остановился и ждет, когда я подойду. В руках у него букетик полевых цветов. Теперь зашагал не спеша, опустив голову, то и дело нюхая сорванные цветы. Оборачивается, но ничего не говорит. Через какое-то время снова смотрит на меня. Задумался. Искорки в глазах погасли. Он чем-то озабочен. Совсем другой мальчик.

— Дядя, а в Стране Черных Елей есть маленькие дети?

Вот что его волнует!

— Но ведь ты уже не маленький. Сам не раз говорил. Или нет?

— Говорил, но дома.

Что-то его угнетает. Предчувствие? Чего?

— Как же это получается? Дома был большой, а тут нет. Уменьшился?

— Ты тоже уменьшился.

Я невольно глянул вокруг, посмотрел в небо. Ни единого облачка, лишь синева в дымке. Чувствую легкое головокружение. Действительно, и я стал тут меньше, в тысячу раз меньше. Подуй ветер, взмахни возле меня крылом нежданная птица, рассыпья кротовина — и я исчезну, сольюсь с первозданной тишиной утра.

— Туманно говоришь, приятель.

— Угу. Так есть или нет?

Не забыл. Такие ничего и никогда не забывают.

— А куда же они денутся? Детей всюду хватает.

Мы вышли на дорогу. Ее белая лента тянется до синеющего вдали леса, над которым висит клуб дыма. Крутлый и серый, он кажется приближающейся к земле таинственной планетой...

— Что там? — словно угадав мою мысль, указывает Гинтарас на дым.

— Видимо, кто-то сжигает прошлогоднюю листву.

Мальчик молчит и думает. Почему я так глупо объяснил? Ведь там наверняка дым от какого-нибудь кирпичного заводика.

— Пойдем дальше или подождем попутной машины?

— Подождем.

— Договорились. Ты чего нос повесил?

— А почему солнце садится в Стране Черных Елей?

Хитер — чтобы не отвечать на вопрос, спрашивай сам.

— Вот тут, дружище, ты припер меня к стене. М-м... А кто тебе сказал, что оно там садится?

— Я сам видел. Много раз видел.

— Но солнце садится там не для всех, Гинтарас.

— А для кого же садится?

Почему я сказал «Но солнце садится там не для всех»? Значит, для кого-то садится, а для кого-то нет? Следовало сказать: «Для тех, кто там живет, солнце садится в другом месте». Простая ошибка или что-то еще?

— Дядя, о чем ты там говоришь?

Оказывается, я разговариваю сам с собой.

— Поедем, говорю, и ты увидишь, что не для всех людей солнце садится там.

И снова я говорю то же самое. Что-то мысли путаются. Дважды сказал одно и то же, только другими словами.

— А для тебя?

— Поживем — увидим.

Что «увидим»? Я ведь точно знаю, что солнце не садится, вообще не садится... Сунул руку в карман брюк, нащупал «вальтер».

Гинтарас сморщил лоб, понюхал цветы и еще больше помрачнел. Он все напряженнее о чем-то думал.

Подъехал грузовик; в кузове гравий, но водитель остановился и открыл дверцу. В кабине мы вдвоем не уместались, и я взял племянника на колени.

Гинтарас оставался тихим и задумчивым. Что с ним? И водитель тоже молчал. Его большие темные руки лежали на руле, а глаза были устремлены вдаль.

— Куда везете гравий? — спросил я.

— А... недалеко, в совхоз, — объяснил он, не поворачивая головы, словно не желая говорить о пустяках.

ДИРЕКТОР МЕЛЬНИЦЫ СТАЛ ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА.

Мимо проносились зеленые луга, деревья, кусты, редкие усадьбы.

— Где это ты так рассадил колено?

Гинтарас прикрыл ладошкой подсохшую ранку.

— Когда под клеть лазил.

— Нужно тебе было туда лезть!

Гинтарас покосился на меня и ничего не ответил. Только притронулся пальцем к царапине. Потом снял шапку и стал вертеть прикрепленную к тулье звездочку.

— Уж не обидел ли ты кротика?

— Что?

— Я говорю, не с могилки ли кротика эта звезда?

— Эта белая.

— А она откуда?

Гинтарас хитро усмехнулся.

— Свалилась с неба.

— И прямо тебе на язык? Остановите тут, пожалуйста, Машина остановилась.

— Сколько с нас?

— С вас «спасибо».

— Большое спасибо.

Мы сошли, грузовик поехал дальше.

Звездочка «свалилась с неба». Хитрец. Юморист. Поэт! Гинтарас и впрямь не лыком шит.

— Когда же она упала, эта твоя звездочка?

Гинтарас оборачивается. В его глазах искры лукавого, почти коварного смеха. Он уже забыл, что солнце садится в Стране Черных Елей.

— Ну, отвечай.

— Когда на небе было много звезд.

Вот и поговори с таким. До чего же хитрым стал мир! Даже маленькие дети. Но разве я сам остался таким, каким был?..

Неподалеку отсюда должна быть избышка, где я в тот раз попросился на ночлег. Хуторов уже почти не видать. Все они, словно желая согреться друг подле друга, сбились в кучу. Я даже и не помнил как следует, где стояла та изба. За долгие годы все выветрилось из памяти. Домики новые, белые и желтоватые, с большими и веселыми окнами, уютным дымком из труб... Будто все ждут большого праздника.

Надо бы попробовать найти старушку. Зачем? Чтобы переночевать? Но ведь пока только утро. Все равно попробую. Надо посмотреть, как она там живет.

— Чудак ты, дядя,— сказал Гинтарас, когда мы потеряли надежду найти ту маленькую, простенькую избышку.

— Это почему?

— Все говорят, что чудак.

— Кто же эти все.

— И папа, и Дайнюс Бальсис, и... и бригадир. Все.

А может, я действительно чудак? Хочу найти то, что было двадцать лет назад. Ищу прошлое. Ищу самого себя в прошлом, ищу утраченное время.

— Все чудачки, пока что-то ищут и не находят.

— А когда находят?

— А когда находят, то из чудачков превращаются в мудрецов.

— А если не находят?

— Чего не находят?

— Того, что ищут.

— А... Если не находят, то в глазах людей так и остаются чудачками.

— И умирают чудачками?

— Да. И умирают такими же.

— Выходит, что и ты, дядя, умрешь чудачком.

— Почему ты так считаешь?

— Тебе не везет. Ты уже старый.

— Может, и умру. Вскоре выяснится.

— Нет, я не хочу, чтобы ты умирал.

Мы направились к реке. Снова огромный луг, пестрые цветы, ослабевшие от жары птицы. И нигде ни капельки росы. Ее выпило солнце. Оно белое и изнуряющее. Гинтарас идет впереди, я следом.

— Еще не пришли?

— Еще нет.

Поднимаю глаза и вижу, что мы уже у самой плотины.

— Вот мы уже и пришли в Страну Черных Елей. Теперь давай помоем ноги и обуемся.

Гинтарас, сосредоточенный и молчаливый, смотрит на другой берег реки. Потом замечает большую пеструю бабочку, порхающую с цветка на цветок, и гонится за ней. Работы ему тут хватит надолго. И пускай.

Я, пожалуй, поброжу по плотине, кое-где обрушенной и старой. Передо мной через белые камни перекачивается, струится веселая прозрачная вода. Идти дальше некуда. Солнце в небе, солнце в воде, солнце в глазах... Никуда от него не спрячешься.

«Когда на небе было много звезд...»

Внезапно у меня темнеет в глазах. Неужели снова?.. «Прощай, Гинтарас! Будь честным, справедливым человеком... и не иди по стопам дяди». Я хватаюсь руками за синее небо... Медленно сажусь, опускаю босые ноги в воду... Приятная и свежая прохлада поднимается вверх, достигает сердца, глаз, мозга...

Слабость прошла.

Сию и смотрю перед собой.

Мы идет вдвоем с Ниле. Странное, не наше имя! Однажды она сказала: «Я девушка Севера. Дочь Белых Ночей».

Ночь. Мы смотрим в черное небо на звезды. Смотрим в черную воду — и там звезды... Ниле совсем рядом. Светлое платье, непокрытая голова, босые ноги. Залитая неземным светом, девушка фантастична и нереальна.

— Анзельмас! — тихонько окликает она, по-детски восхищенная.

Я подхожу, кладу руки ей на плечи.

— Анзельмас, — Ниле оборачивается ко мне; ее лицо, освещенное луной, одухотворенно, вокруг головы ореол. Глаза темные, таинственные. И от них — тепло.

— Что, Ниле?

— Мы же идем по Млечному пути! Смотри. — Она протягивает обнаженную до локтя руку; рука светлая и прохладная — Звезды над нами, звезды под нами, звезды вокруг. Ты только посмотри!

Я запрокидываю голову и смотрю вверх. Действительно какое звездное небо! Звезды, звезды, звезды... Кажется, что они движутся, шуршат, трепещут, как светлые пчелы, как кристаллы инея...

— А теперь — вниз!

Я смотрю себе под ноги. Черная бездна. И она тоже полна звезд. Справа и слева, высоко и низко — всюду блещут, моргают, мерцают звезды. Большие и маленькие. А под ногами едва белеет узкая полоска плотины. Она как забытый холст, сохнувший днем на солнце.

— Да, мы и впрямь идем по Млечному пути.

Ниле сталкивает ногой камушек, потом другой.

— В нашей власти — разбрасывать звезды! Какие они легкие и нежные! Как пылинки широких дорог.

— Ты — поэт.

— И ты — поэт.

— Почему? Я не сказал ничего поэтического.

— Но... скажешь.

— Что?

— Ну... что-нибудь такое, чего я не забуду всю жизнь.

Она внезапно замолкает, словно сказала слишком много, и отворачивается. Мы оба молчим. Будто во сне, над водой выпрыгивает рыба, вздрагивает и расплывается глубоко затонувший месяц и бесчисленное множество звезд, которые, угасая и вспыхивая, расходятся кругами по черной бесконечности. Со стороны темной мельницы доносится едва слышное бормотание воды.

— Скажу, — говорю я шепотом, но твердо. Потом бережно обнимаю Ниле за влажные плечи, прижимаюсь грудью к ее спине. Меня пронзает странная, еще никогда не испытанная теплота, трогательная

доверчивость. Возвышенная и светлая. Ниле кладет горячие ладони на мои пальцы и смотрит вдаль, на едва видимую полосу леса, которая тянется по кромке горизонта. Внезапно она сжимает мои пальцы, чуть отклоняется, ловко выскользывает из моих рук и бежит по плотине. Бежит легко, бесшумно, как светлое видение, пока из-под ее ног не падает в черную воду камешек, снова ровными кругами возмущая покой потонувших созвездий. Когда замирает последний круг, я устремляюсь за ней. Мы останавливаемся у самой мельницы. У нас под ногами журчит, шелестит, торопится, то сверкая, то снова темнея, вода. Вода похожа на серебристую пряжу. Ее нити все плывут, все куда-то проваливаются, все сверкают.

— Как пряди серебряной шерсти,— слышится в темноте задумчивый голос Ниле.— Там, за теми черными кустами, добрая фея стрижет серебряных овец и бросает шерсть в реку.

— Ты угадала мои мысли.

— Правда?

— Почти.

Ниле слегка откидывается назад и снова упирается спиной мне в грудь. Импульсивно поворачивает голову. Ее волосы щекочут мне шею, подбородок, губы.

— Я поймала ее на лету. Твою мысль.

— Ниле, я тебя...

Внезапно она вновь отшатывается и тут же прикрывает ладонью мои губы.

— Не говори, не говори тут!

Она почти умоляет.

— Почему, Ниле?

— Нет... Тут не надо.

Ее глаза большие, таинственные, полные путливой темноты. На губах я все еще ощущаю ее горячую ладонь.

— Люблю, люблю, люблю...— повторяю я много раз поспешно, задыхаясь от счастья и горячо, словно боюсь, как бы кто-нибудь не помешал; потом стремительно припадаю к припорошенной мукой, освещенной лунным светом мельничной стене и пальцем вывожу: люблю!

Ниле стоит и смотрит. Стоит такая светлая и хрупкая, словно не в силах оторвать глаза от стены. Потом вздрагивает, стремительно поворачивается, утыкается лицом мне в грудь, прижимается всем телом. Ее плечи содрогаются, наконец успокаиваются.

Время останавливается.

Медленно поднимает она голову. Смотрит мне в глаза. Долго, испытующе. Потом вскидывает руки, дрожащими пальцами, как незрячая, проводит по моим щекам, губам, лбу, бровям...

— Я говорила...

— Что, Ниле?

— Ты — поэт.

Видю, как подергиваются уголки ее губ, будто преодолевая какое-то внутреннее сопротивление. Наконец губы раскрываются, как цветок на полуденном солнце. Ниле улыбается.

— Только этой ночью.

Мы долго молчим.

Вдруг ее глаза расширяются, вспыхивают, снова гаснут.

— Что?

— Не наша, нет.

Она обнимает меня, крепко прижимается.

— Что с тобой, Ниле?

— Н-н... ничего.

— Почему не хочешь сказать? — Я встряхиваю ее за плечи.

— Звезда...

— Улыбка?

— Да.

Она снова поднимает глаза. Постепенно они наполняются, проливаются слезами. Вспархивают ресницы, и две слезы блестят на щеках. Катятся. Ниле не утирает их.

Вдруг у меня перед глазами возникает бескрайняя черная равнина, на которой истает теплая светлая точка.

— Да, не наша,— говорю я тихо и убежденно, проводя пальцами по ее щекам. Она снова улыбается. Только теперь улыбка жалкая и неуверенная. Ниле прижимается ко мне еще крепче. Даже дыхание перехватывает. Я нежно глажу ее виски, щеки, подбородок, шею... Потом утыкаюсь лицом в ее пышные волосы. Они пахнут лунным светом, сеном и... звездами.

— Будем беречь друг друга,— шепчут ее губы, а руки ищут мои руки.

— Дядя! Дядя!

Я вздрагиваю, тру глаза, словно пробудившись ото сна. Озираюсь. Сажу на полуразрушенной плотине, опустив босые ноги в воду. Ослепительно сверкает солнце.

— Дя-дя!

Поднимаюсь и иду по плотине. Крича во все горло, навстречу бежит Гинтарас. Подскакивает, хватая за руку и тащит. Лицо раскраснелось, уши оттопырены и словно горят от нетерпения. Я иду большими шагами, согнувшись, беспомощно озираясь и немного сопротивляясь.

— Что ты там нашел?

— Скорее, скорее!

Он заводит меня в заросли камыша, раздвигает руками эластичные и скользкие стебли; под ногами мягкая, приятная прохлада, между пальцев мелкий, нежный, тягучий песок.

— Вот! — торжественно указывает Гинтарас.

Скелет огромной рыбы. Он выгорел, занесен илом.

— Что это?

— Скелет крокодила!

Вот ведь дотошный. Не может, чтобы чего-то не найти, не откопать, не сотворить.

— Почему он тут?

Теперь начнется. Почему? Как? Когда?..

— Откуда же мне знать? — говорю я раздраженно.

Лицо мальчика меняется. Уходит доверчивая радость открытия, появляется удивление, даже смятение. Мне становится стыдно.

— Эта рыба плавала всюду: по рекам, озерам, морям и океанам. Плавала, пока не состарилась. И приплыла умирать в Страну Черных Елей. И вот нет больше могучей рыбы. Так со всеми бывает. Наверно, застряла между льдинами и осталась на берегу.

Гинтарас слушает и внимательно смотрит на меня. Его глаза полны слез и ужаса.

— Ее надо похоронить.

— Это тебе не кротик.

— Все равно надо.

— Еще чего выдумашь! От нее остались одни кости. А кости можно и не хоронить. Пошли.

Я беру мальчика за руку. Он неохотно подчиняется. Мы уходим тихие, задумчивые. Вновь идем по плотине, перешагиваем через узкие и широкие струйки, обуваемся. Возле мельницы на минутку останавливаемся, слушаем тихое шуршание воды. Нет, мельницы нет больше, давно уже нет. И пепелища никакого не видно. Только камни и обломки бетона, поросшие лозняком, полынью, марью, шиповником, чертополохом, лопухами.

И деревянного мостика нет больше.

Все тогда сгорело, сгнуло.

Лишь несколько торчащих из воды скользких почерневших свай. Они похожи на редкие зубы допотопного чудовища. На них кинута доска.

Мы переходим по шаткому мостку.

Как быстро все меняется! Совсем другая местность. Неужели когда-то я тут жил, гулял, мечтал?

— Что ты говоришь, дядя?

— Пошли. Поторопись, мальчик.

Взбираемся на берег.

Почти никаких следов того, что двадцать лет назад гудело, громыхало тут. Если бы не эта полуразрушенная плотина, если бы не торчащие кое-где из травы большие и маленькие камни, куски бетона, если бы не эти скользкие и почерневшие сваи в воде, можно было бы подумать, что все так и осталось с сотворения мира.

Большая часть луга распахана, на нем красуются новые строения с раскоряченными на крышах телевизионными антеннами; чуть поодаль дымит высокой трубой новый кирпичный заводик, дым в безветрии вяло поднимается вверх; под длинным навесом штабеля кирпичей, похожие на красиво подрумянившиеся буханки хлеба. Боже, как все изменилось, неузнаваемо изменилось, обновилось, похорошело! Двадцать лет! И все это произошло без меня, без моего участия. Пока я сомневался, метался, «раскаивался», мучился, мерз, люди делали дело, трудились. Работали, ничего не ожидая, не оглядываясь по сторонам.

Разбит новый сад; возвышается водонапорная башня...

Только черные ели уменьшились и словно выцвели.

Над живой изгородью из акаций брызжут ослепительно белые искры. Как будто чья-то нетерпеливая рука рассыпает звезды.

— Кто это там? — интересуется Гинтарас.

— Сварщики.

— Кто?

— Подойдем — увидишь, — говорю я и еще крепче сжимаю маленькую теплую руку. — Помнишь, что ты мне однажды пообещал?

— А что?

— Сказал, что и мне, когда я умру, прикрепíš звездочку.

— Но ты же не умрешь? Я не хочу, чтобы ты умирал!

— Как знать. И я ведь уже старый, как та рыба.

— Дядя, ты нехороший.

— Может, еще и не умру.

— Я больше не буду показывать тебе скелетов. Никогда-никогда не буду, только ты пока не умирай.

— Ну, если так, то подумаю.

Гинтарас любит меня. По-своему, но любит. А я? Люблю ли я? Я устал, я дьявольски устал, пока добирался до страны своей юности.

— Дядя, я тебе покажу... Угадай, что покажу!

— Не знаю.

— Никогда не хочешь угадывать!

— Живую рыбу?

— Н-н-нет. Я тебе покажу... — Гинтарас оглядывается, что бы такое показать дяде. — Солнце! Смотри! — И смеется, довольный, счастливый.

— Спасибо. Ты славный мальчик.

— Почему?

— На солнце действительно стоит посмотреть.

Внезапно Гинтарас останавливается, выпучив глаза. Поднимает руку, показывает.

Я замечаю танк. Он совсем осел в землю, покосился, замшел, не

хватает гусениц и нескольких колес, но он еще грозен и мрачен. Стоит как памятник забываемому прошлому.

Где же Гинтарас? А... конечно, устремился к этому стальному чудовищу. Теперь его оттуда так просто не выманишь. Пусть порадуются, пусть повеселится! Поиграет и прибежит. Никуда не денется.

На столбе блестит раструб динамика. Только бы он не заговорил... Вон и второй, и третий... Только бы не принялись они дружно орать! Нельзя мне отвлекаться, пока дело не сделано.

В нескольких шагах от меня сварщик откидывает с лица маску и рукавом вытирает лоб. Глаза у него усталые, но живые.

— Добрый день.

— Здравствуйте.

— Скажите, где тут можно найти Удраса?

— Директора?

— Его самого.

— Да вот, в этом доме, — кивком головы показывает рабочий.

Дом новый. Двухэтажный, из силикатного кирпича, с большими окнами, дверь открыта, на крыше — телевизионная антенна. Стоит дом неподалеку от некогда подбитого танка. Искать Гинтараса не пойду. Он нашел себе товарища. Пускай порадуются друг другу и своей свободе.

Как же я устал! Жара, дорога, поиски хутора, где когда-то я был счастлив, болтовня Гинтараса и его вопросы, встреча с Ниле, скелет рыбы, снова вопросы мальчика, развалины давно сгоревшей мельницы, этот танк... Как чертовски я устал! Ох, полежать бы сейчас на траве! Или хотя бы посидеть. Отдохнуть, глядя в далекое синее небо, ни о чем не думая, ничего не чувствуя.

Зачем я пришел сюда?

На доске объявлений — большой плакат.

ВНИМАНИЕ

19 ИЮНЯ с. г.

В МОЛОДЕЖНОМ ЛЕСУ

В молодежном лесу? Где это? Неужели около кладбища?

ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ

МАЕВКА

В ПРОГРАММЕ: СМЕШАННЫЙ ХОР, АТТРАКЦИОНЫ,

АКРОБАТИКА, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ,

ЖЕНСКИЙ ОКТЕТ И... ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО

КАЖДОМУ УВИДЕТЬ САМОМУ.

ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ ТАНЦЫ И ИГРЫ.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ.

ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.

НАЧАЛО В 21 Ч.

ЦЕНА БИЛЕТА 50 КОП.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Сегодня? Да, сегодня. В тот раз я подумал, что... умереть совсем не страшно, когда вокруг весна, когда играют желтые трубы, из которых брызжет печальная музыка и ослепительное солнце, когда кружится и все засыпает песком сомнения жаркий самум, когда гроб закрыт и люди не толпятся и не тянут шеи чтобы увидеть, как выглядит покойник...

Поднимаюсь по лестнице. Дверь широко распяхнута. Длинный узкий коридор. Где-то за стеной возмущенный голос диктора клянет

американцев за эскалацию и перечисляет победы Вьетнама. Динамики? Динамики молчат. Войны, войны, нет им конца! Где-то жалобно жужжит муха. БУХГАЛТЕРИЯ. Еще шаг—ДИРЕКТОР. Нарядные серебристые буквы, темно-красный полированный фон. На нем даже отражается моя распахнутая грудь. Сердце бьется быстро и неровно. Не хватает воздуха. Как душно в коридоре! Так странно мерзнут и немеют ступни, давит виски, сохнет в горле. Скорее, главное — поскорее. Стучу в дверь. Какая тяжелая рука! Тишина. Кажется, она упирается в самое сердце. Стучу еще раз. Ни звука, лишь глухие удары в груди. Где-то за стеной смолкает голос диктора и раздаётся музыка. Она, как хилый росток, пробивается сквозь скорлупу гнетущей тишины. Нажимаю на ручку. Заперто. «Обеденный перерыв с 13 до 14 ч.». Выхожу на воздух. Как спит солнце!

Гинтарас с восторгом лазит сейчас по стальному чудовищу. Пусть себе порадуется. Пусть!

Двигаюсь дальше. Ни живой души. Даже сварщик, рассыпавший искры, исчез куда-то. Полдень: люди обедают, отдыхают, спят... Не в этих ли кустах я тогда наткнулся на первую книгу? Мы шли с Ниле... А там стоял Удрас... «Но не до смерти, товарищ Друскянис, не до смерти. В последний момент судьба бывает к нему благосклонна...»

Дверь квартиры пани Клеопатры... МАГАЗИН. В одном окне аккуратная пирамида из консервных банок. Бутылки уксуса, водки, вина, маленькие и большие пакеты... Все аккуратно разложено, выстрое-но, а в другом — МАВКА В МОЛОДЕЖНОМ ЛЕСУ... «Играет духовой оркестр».

И сфинксы тоже изменились. Оба с головами, заново побелены, с пустыми глазницами... и ненастоящие. Кто разгадал их загадку?

Магазин занимает и часть того зала, где тогда висели злополучные окорока. Еще дальше новая дверь — БИБЛИОТЕКА.

Куда девались шершавые каменные шары с лестницы к квартире пани Клеопатры? Где фортепиано? Где портрет того усаца, державшего в руке палку с позолоченным набалдашником? Где латы средневекового рыцаря?..

А что в моей комнате?

Скорее!

Новая дверь... АПТЕКА. Закрыта. Часы работы...

«Здоровье — твое величайшее достояние!»

«Пейте только кипяченую воду!»

«Остерегайтесь трахомы!»

Зачем я пришел сюда? Слоняться вдоль стен и глазеть на плакаты? Смотреть, что где положено или повешено?

Я должен быть готов к тому, для чего пришел.

Цветочная клумба с огромной пятиконечной звездой посередине. Красиво и слишком аккуратно.

Здесь все мне знакомо и вместе с тем уже незнакомо. Стенд. Красный противопожарный инвентарь...

Поют. Радио? Нет. Иду дальше. Еловая аллея. Верхушки тихие, застывшие. Под ногами чисто, аккуратно, никакого битого стекла, никаких консервных банок и бутылок. Двадцать лет! Дом культуры на месте сеного сарая Кизниса. Голос сочный, мужественный. И скорбный, и величественно суровый. «Бухенвальдский набат». Дверь открыта. Проскальзываю внутрь. Полумрак и прохлада. На сцене мужчина. Высокий, крепкий. За фортепиано другой мужчина. Он, подняв голову, смотрит на солиста. Репетиция. Хорошо поет. Кажется, что дробятся скалы, большие глыбы отрываются и падают на пол:

...берегите, берегите, берегите мир!..

Откуда здесь такой баритон? Замолчал. Зал совсем пуст, полумрак. Только сквозь тяжелые гардины проникает полдень. О чем думает Удрас, слушая эту торжественную песню?

Двери, коридор, ниша, снова двери направо и налево... Все отлично помню. Нет, и тут время тоже не стояло на месте. И тут ремонтировали, красили, строили, перестраивали! Электрические лампочки, новый пол, лакированные панели...

Какое все чужое, все не для меня!

Ощущая в кармане брюк тяжесть металла, я как-то безразлично отношусь ко всем этим переменам. Бреду себе, и все. Наконец — дверь! Открытая. Он. Да, это он. Широко развернутая газета. Узнаю по рукам, загорелым и твердым, с крепкими желтоватыми ногтями. Инстинктивно сжимаю «вальтер». На столе две тарелки с остатками еды, недокуренная кубинская сигара в серебряном футляре, бутылка чешского пива, стакан... Сам он слегка повернулся к окну, глубоко, удобно устроился в кресле, закинув ногу на ногу... Шуршит, шелестит газетой, чешет затылок, и я вижу небольшой светлый «островок», окруженный темными волосами. Лицо в тени, ярко освещено только сухое хрящеватое ухо. На стене та же самая картина. Большое розовое солнце, верхушки трех черных елей, темная дырочка... Ее не видно, просто ощущаю ее, как острый тычок пальцем под сердце.

Удрас опускает газету на колени и смотрит перед собой. Нет, на ту картину. О чем задумался? Изменился мало, почти не постарел, только виски поседели и больше выдается вперед до голубизны выбритый тяжелый подбородок... Внезапно он оборачивается... Глаза расширяются, вылезают из орбит. Правая рука беспомощно шарит в воздухе, уголки губ вздрагивают, нервно дергается веко... Постепенно глаза возвращаются на свое место, лицо проясняется, светлеет, словно отстаивается замутненная вода. Уголки губ приходят в движение, поднимаются, появляется улыбка. Поначалу неестественная, болезненная. Понемногу с лица сползает мертвенная, темная маска, оно делается приветливым, простым, даже добродушным. Он проворно вскакивает, делает шаг вперед, протягивает руку. Не дрожит ли она? Виртуозно владеет собой.

— О-о-о! Сто лет.

Копирует господские манеры!

Моя правая рука еще крепче сжимает рукоятку «вальтера». Я тоже делаю шаг навстречу. Удрас останавливается на полпути. Уголки его губ снова нервно вздрагивают, замирают. И еще раз вздрагивают. На этот раз еле-еле. Медленно, незаметно опускаются. Ниже и ниже. Рука вяло падает. На лице вновь маска. Равнодушная, непроницаемая. Да, он виртуозно владеет собой.

Но боится. Совести его нечиста. И мысли в этой голове, уже тронутой пеплом времени, черны и тревожны. Он услышал голос рока.

Я спокоен, до ужаса спокоен: пробил час отпущения!

— Узнаете?

Удрас блекло и одновременно иронически усмехается.

— Не обязан же я узнавать любого...

Нет, он ничуть не изменился. Но еще и не стал настоящим Удрасом, ДИРЕКТОР МЕЛЬНИЦЫ.

— Не «любого», а единственного!

— Если этот «единственный» — человек...

Ишь, как начинает: «Если этот «единственный»...» А сам ты был когда-нибудь человеком? Нет, тебе этого не понять. Люди — это мостовая, это мост под твоими ногами. Человек — Удрас!

Я выхватываю из кармана «вальтер» и кричу:

— Руки вверх!

Удрас нервно и молниеносно бросает взгляд в одну сторону, в другую, пытается улыбнуться, но у него это не получается. Только прикрывающая лицо маска сминается, и наружу вылезает гримаса беспомощности. Он медленно поднимает над головой руки и мямлит:

— Но-но! Это еще что такое?

— Куда ты девал Ниле? Маленького Растяниса?

— Что?

— Я тебя спрашиваю!

— Не так напористо, не так...

— Хватит твоих подлостей! — слышу я наконец собственный голос, нетерпеливый и неумолимый, как судьба. — Куда ты их подевал?

— Я... я... Почему я?.. — Вдруг глаза Удраса блеснули, расширились, усталились в одну точку. — Однако, приятель, это же мой пистолетик. Да, да, честное слово, мой. Как он попал к тебе?

— Тебе лучше знать.

— А... постой, постой... Уж не с тех ли пор? Понимаю, понимаю, теперь мне все ясно. — Как утопающий за соломинку, хватается он за эту тему, железными усилиями сдерживая страх. — Сколько я его тогда искал, чего только не придумывал! Бабу загонял. Ребят допрашивал... Обоим крепко досталось, пока не признались. Оказалось, взяли поиграть и... посеяли. Растяпы! А ведь не было случая, чтобы посмели что-нибудь брать без моего ведома, но в тот раз не выдержали. Может, перед другими похвастать захотелось, или испугать кого, или... Да сколько у таких умишка-то! А как достался мне этот «вальтер»! Зубченко так просто зубов не заговоришь. Я ведь должен был показать им, зарегистрировать подаренное оружие... Еле разрешили. «Береги, как зеницу ока!» Вот тебе и сберег, вот и оправдал доверие!

...берегите, берегите, берегите мир!..

Сначала Удрас говорит нервно, сбивчиво, то и дело запинаясь, но постепенно его тон выравнивается.

Я прислушиваюсь. Все это очень похоже на правду. Однако моя рука все еще держит пистолет, направленный Удрасу в грудь.

— Тут должны быть и инициалы. Г. У. А какая интересная у него история! Ведь это же тот самый «вальтер», о котором я тебе когда-то рассказывал. Помнишь? Ну, о пане Стренжицкисе. Когда у него не выдержали нервы и он прострелил картину. Ведь рассказывал, а? Прямо в солнце попал, дьявол! Через верхушку ели прямо в солнышко! Помнишь? — Удрас подскакивает к картине и просовывает мизинец в дырочку. — Ну, тогда... когда тебе очень понравилась примусная лампа. — Он снова подходит ближе, не спуская с меня глаз, напряженно следя за каждым моим движением.

«Держись, Анзельмас! Он хочет выиграть время. Ему важно усыпить твою бдительность. Не поддавайся слабости. Долой слабость! Держись, Анзельмас! Ты не имеешь права колебаться».

— Дай-ка глянуть. Я только посмотрю, действительно ли это мой пистолетик. Ну, покажи. — Он медленно, осторожно протягивает руку, продолжая пристально смотреть мне в глаза, словно гипнотизируя. — Ну, дай же убедиться, хотя бы пощупать...

Я не могу оторвать глаз от его лица, в котором что-то все больше и больше концентрируется, собирается, рассеивается и снова собирается.

Внезапно Удрас бросает молниеносный взгляд на этажерку, протягивает руку и швыряет на стол фотографию.

— А покамест погляди на это личико.

— Ниле! Как она тут оказалась?

— А вот так. Все в мире находится. Как и этот «вальтер». Сначала нет и нет, но когда врубил как следует, не выдержали, признались. Я снова о своих блудных сынках. Конечно, я сразу не набросился: «Куда девали? Куда сунули? Чтоб сразу же мне был тут!» Зачем это? Я действую иначе. Осторожно, по-хорошему... Осторожностью, терпением, вежливостью всего достигнешь. Против такого умения еще никто не устоял. И по заднице — тоже осторожно, без истерики, без злобы, без...

Какие у него жесты! Обтекаемые, мягкие. Как у кошки. А Ниле — как живая. «Будем беречь друг друга». Но как она сюда попала?

— Если в наше время чего-то еще можно добиться, то лишь изворотливостью, деликатностью и уважением к человеческому достоинству. Только так, только так... Хорошо, хорошо...

Как же превосходно владеет он голосом, выражением лица... А глаза!

То приближаются, то вновь отдаляются, а язык все мелет и мелет, усыпляюще, сладко. Интересно слушать.

— Да, да, тот самый. Мой пистолетик. Мой верный друг. И инициалы, и узор на рукоятке, и весь он, весь... А какой красивый, какой ладный!

Внезапно я чувствую, что мои мысли все больше путаются, улечтываются и... сливаются с чьими-то чужими мыслями.

— А ты умеешь содержать оружие, умеешь смотреть за ним. Хоть и неудачник, но что умеешь, то умеешь. Ведь сколько лет! А он как новенький, как игрушка. Вот-вот узнаем мы, где теперь младший Растянис. Узнали, где Ниле, узнаем и...

Младший Растянис? Ниле? Где я? Ведь я и сам тут ради них. Только ради них. Но почему?..

Я тихо охаю, таращу глаза: «вальтер»... в руках Удраса. Как? Каким образом? Ведь только что он был у меня. Удрас вынимает патроны. Все три. Желтые, чистые... с серыми свинцовыми кончиками. Подносит патрон к глазам, дует на него, осматривает пистон, взводит курок пистолета. И все продельывает спокойно, толково, ловко.

Я не могу оторвать глаз от его умелых рук.

Улыбка на лице Удраса блекнет, застывает, черты лица становятся все более четкими. Вот они уже заостряются, становятся жестокими и свирепыми. На лице возникает холодная железная маска. Я четко вижу процесс изменения, какого-то жуткого окостенения этого лица и не могу, не имею сил ему помешать, сделать что-нибудь, только смотреть и дивлюсь.

— Так хочешь знать, Друскянис, где младший Растянис?

— Хочу.

— Руки вверх!

Глаза у Удраса жестокие и холодные, лицо — сплошная железная маска. Я чувствую, как в моих жилах стынет кровь. Но руки медленно поднимаются. Какие же они тяжелые!

— И все-таки я поступлю с тобой великодушно. Глянь-ка в окно. Как убийственна его ирония!

С поднятыми руками поворачиваюсь к окну. И в самом деле: маленький Растянис! Он не спеша вылезает из башни танка. Бледное личико, взъерошенные светлые волосы, подбородок измазан. Да, это он. Но почему без флажка? Куда засунул его? Тогда, точно помню, он был с белым флажком в руке. Мальчик вылезает осторожно. Придерживаясь руками и ногами. Спрыгивает на землю. Стоит. Маленький и хрупкий. Прикрывает рукой глаза от солнца. Смотрит вдаль. Что увидел? Оборачивается. Гинтарас!

— Гинтарас!

Сухой и короткий хлопок. А... это Гинтарас хлопнул в ладоши, услышав мой голос. Но куда же он исчез? Ни Гинтараса, ни маленького Растяниса, ни танка, ни Удраса... Никого, абсолютно никого. Лишь под потолком рассеивается жидкий дымок. словно кто-то закурил папиросу. Нет, за дымком — солнце. На его розовом диске... три черные ели, как башни таинственного города или как женщины в трауре возле сгоревшего дома. Солнце наливается, растет, расширяется... Приближается! Так странно раскачиваясь, приближается. Набухает, как нарыв, и все больше краснеет, становится пурпурным. Лопается и разливается. Откуда-то выныривают тонкие и светлые щупальца. Они извиваются, как белые змеи, подползают ближе, вздрагивают, растягиваются, трепещут. И вдруг — глухой треск. Это ели! Это они ломаются, падают... и опрокидываются на меня.

Я отступаю, упираюсь спиной в стену, хватаюсь обеими руками за воздух и тихо оседаю на пол. Меня заваливают еловые ветви. Черные и тяжелые, они все падают и падают... Пытаюсь встать, но опять падаю. Я только малость отдохну, чуть отдышусь и снова... Лежу, повернув голову, и слушаю.

Вдруг до моего слуха докатывается глухой рев. Холодный гул. Опять падают ели? Сколько же их? И снова пытаюсь встать. Упираюсь руками в пол... Но почему ладони так скользят? И между пальцами... скользко... Кровь! Падаю лицом на пол и лежу неподвижно. Только слушаю, как глухой рев все ближе, все явственнее, он заслоняет весь небосвод. Нет, это не ели, а огромная кровавая волна. Опираюсь локтями и еще раз пытаюсь оторвать голову от пола. Поднимаю.

— Гин-та!..

Ему бы дальше от этой волны! Дальше, дальше!

Делаю еще одну попытку поднять голову, но она, чуть дернувшись, утыкается лбом в липкую массу. Красная волна теряет яркость, сереет, темнеет... Гул ослабевает, отдаляется. Подкатывает тишина. Мучительная, густая, давящая... Тишина, тишина и... лицо Удраса. Четкое, жестокое, настоящее. Я опираюсь руками о липкий, скользкий пол и, стараясь перекричать леденящую лаву тишины, изо всех сил кричу:

— Прощай, Гинтарас! Будь честным, справедливым... человеком... и не иди...

Максим Танк

Из лирической тетради



**С белорусского.
Перевод
Я. Хелемского**

Почему стемнело...

На распахнутой створке
Моего окна
Ко сну готовится ласточка,
Один луч заходящего солнца
Спрятан под правое крыло,

Другое — под левое.
А с третьим она решила поиграть,
Но внезапно проглотила его,
Словно комара.
И наступил вечер...

Лунной ночью

Кто там
На лодке молодого месяца
Плывет по Нарочи?
Запоздалый рыбак
Или водяной,
Закинувший удочку в звездное небо?

А может,
Плывут партизаны,
Не вернувшиеся из разведки.
Скорее всего они,
Ибо стелется за кормою
Кровавый след.

Из этого багрянца
На рассвете поднимется
Мирный солнечный диск.

А покуда
Гадаем —
Кто же плывет в ночи
На лунном челне?

Крест

Среди преданий и поверий,
Живущих издавна окрест,
Как знак рождения и смерти
В лесной глуши воздвигнут

крест.

Его поставили когда-то
Здесь, на околице села,

Чтоб к обитателям округи
Беда однажды не пришла.

И все ж война не миновала
Людей и хаты, видит Бог.
Кругом пустырь да головешки,
А крест не спас и не помог.

И лишь кукушка по привычке,
Весны справляя торжество,

Сулит кому-то долголетье,
Хоть нет в селенье никого.

* * *

Кругом зазеленело,
И только в тенистом закоулочке,
Словно заяц-беляк,
Съежившись, дремлет горсточка снега.

Может, разбудить
Глупого зайчишку,
Чтобы кто-нибудь
Ненароком
Не растоптал спящего?

* * *

Я не знаю узора прекрасней,
Чем расшитая крестиками
Подорожника и клевера,
А также босых следов, моих и отцовских,
Полевая дорога;
Чем расшитая крестиками мулине
Белоснежная сорочка,
Подаренная мне любимой;
Чем испещренное крестиками
Птичьих крыльев,
Расшитое жаворонками,
Журавлями и ласточками
Небо надо мною;
Чем расцвеченные крестиками рушники,
Висящие в углу,
Рушники, стирающие с лица усталость,
Рушники, на которых
Преподносят хлеб-соль
Молодым.

Хорошо, что орнаментом этим,
А не саблями и орлами,
Не львиными головами
Украшен и наш
Флаг.

Марк Алданов

И с т о к и

Р О М А Н



II

Юрий Павлович в середине июня был перевезен из «Кайзергофа» в лечебницу. Врачи не знали, какая у него болезнь. Каждый известный профессор имел свои предположения и свои способы лечения. Друзья Дюммлеров рекомендовали каждый свою знаменитость и с удовольствием рассказывали о неправильных диагнозах, ошибках и недостатках других врачей. Перепробовано было решительно все, однако больной чувствовал себя плохо.

Болезнь Юрия Павловича как будто имела мало общего с воспалением легких, которое было у него в Петербурге. Тем не менее он ясно чувствовал, что все пошло от того воспаления, очевидно, подорвавшего его организм. Теперь на подозрении были печень, почки, желудок, кишечник, желчный пузырь. Считалось вероятным сочетание двух или трех болезней, и спор был отчасти о том, какая болезнь должна считаться главной. В конце концов Дюммлеры сконфуженно вернулись к первому профессору. Как умный человек, он сделал вид, будто ничего не знает об их обращении к другим; предложить ему консилиум при его европейской известности было бы невозможно. Профессор решил посадить больного на строгий режим. Так как гостиница для этого не годилась, он перевез Дюммлера в свою лечебницу. Там Юрий Павлович сначала почувствовал себя лучше и повеселел. Потом боли возобновились. Ему было трудно лежать, все хотелось сесть, возможно ниже опустить голову, так и сидеть скрюченным. Между тем врачи и сиделки требовали, чтобы больной лежал, как все больные. Он делал вывод, что они его болезни не понимают.

В первую ночь после возобновления болей Дюммлер подумал, что теперь прежде всего нужно было бы подать в отставку. «Этого требует элементарная честность. Министры должны подавать пример...» Но Юрий Павлович не чувствовал себя в силах навсегда бросить то, что после жены было ему дороже всего на свете. Только в лечебнице мысль о смерти представилась ему со своей страшной ясностью; в Петербурге он все же так о ней не думал. Легко было ответить «всегда готов», «не все ли равно, немного раньше, немного позже» или что-либо в таком роде. Но теперь он видел, что не готов, никогда готов не будет, что к этому не бывает готов никто, кроме разве каких-либо отшельников, ведущих такую жизнь, о какой и жалеть не стоит. По материалистическому мировоззрению Дюммлера, все было ясно: «Умрешь — лопух вырастет». В свое время, читая Тургенева, он соглашался с Базаровым почти во всем, кроме тона и политических идей, — правда, это было очень большое «кроме». Теперь лопух приближался. Бессмертия души, по взглядам Юрия Павловича, не было и не могло быть. Химическое же бессмертие, прежде, за чтением ученых книг, очень его удовлетворявшее, больше никакого успокоения ему не давало. В эту первую ночь он тайком от сестры принял снотворное. Мысли его смешались не сразу. Лопух, о котором он в былые времена думал раза два в год, обычно после чихов-либо похорон, теперь не выходил у него из головы.

Хотя Юрий Павлович был человек не трусливый, не очень помогало ему и то, что называлось мужественным подходом к смерти. Мужество тут заключалось в спокойном выполнении последних дел. Приготовления у Дюммлера были не вполне закончены. Он давно составил завещание, но хотел его изменить. Надо было разобрать кое-какие бумаги, кое-что дополнить в мемуарах. Юрий Павлович оставлял десять тысяч рублей в Государственном банке с тем, чтобы через пятьдесят лет, в 1928 году, этот капитал со сложными процентами пошел на составление и издание подробной биографии графа Канкрин, бывшего министра финансов и его первого руководителя по службе. В последние годы Дюммлер стал еще богаче и хотел увеличить эту сумму до пятнадцати тысяч. Он оставлял также пожертвования геральдическому обществу и разным русским благотворительным организациям. Юрий Павлович нисколько не презирал и не ненавидел Россию, как в этом принято было обвинять русских немцев. Он лишь стоял за то, чтобы основные правительственные идеи приходили в Петербург из Берлина: оттуда ничего дурного прийти не могло, тогда как Лондон и особенно Париж всегда вызывали у него сомнения. В пору, когда в Европе властвовал Николай I, в Германии граф Редерн во всех трудных обстоятельствах знал только один выход: «Надо спросить русского императора. Сделаем так, как скажет русский император». У Юрия Павловича был сходный основной принцип: надо спросить Бисмарка. Мысль о необходимости вечного русско-германского союза он подробно разъяснял в своих мемуарах, которые тоже должны были появиться через пятьдесят лет. Их последние главы (часть пятая, 1874—1878) еще не были написаны. «Вот и надо закончить... Да, правильнее было бы подать в отставку,— думал он, стараясь силой воли превозмочь боль (это не выходило: воля тут была ни при чем).— Ну, что ж, пора и честь знать». Его карьера была если не ослепительной, то, во всяком случае, блестящей. «В сущности, в смысле всех этих внешних знаков успеха остается желать очень мало. Владимир I степени? Об Андрее нет речи... Чин действительного тайного советника? Переход в первые чины двора? — рассеянно спрашивал себя он и отвечал себе, что это было ему совершенно не нужно: все свои чины и ордена он теперь, не задумываясь ни на минуту, отдал бы за то, чтобы прошла давящая боль в животе. Дюммлер был высокопревосходительством по должности; если б он вышел в отставку, не получив чина действительного тайного советника («Хотя, вероятно, государь император при отставке пожалует»), он стал бы снова превосходительством. Теперь ему и это было почти безразлично.— А вот мои реформы, коренные преобразования, которые я произвел в своем ведомстве, их люди забудут не скоро. В некоторых отношениях, скажу смело, их можно считать образцовыми. Ими интересовались и в Германии,— говорил он себе. Юрия Павловича не успокоили и мысли о его преобразованиях. Зато действовало снотворное; через час он задремал.— К несчастью, приходится быть материалистом,— думал он, засыпая.— Какая-то крошечная пилюля дает то, чего не дают все эти Эпиктеты...»

Софья Яковлевна приезжала к мужу ежедневно по утрам и оставалась от одиннадцати до двенадцати. В лечебнице были и другие часы приема, но профессор, хорошо знавший людей, как все выдающиеся врачи, попросил Софью Яковлевну приезжать только раз в день и оставаться не более часа. Она протестовала, он поставил на своем, ссылаясь на усталость больного.

В вестибюле с навощенным скользким паркетом по углам стояли пальмы, на стенах висели «Урок анатомии» и «Дети Эдуарда IV в Таузере». Над лестницей тянулись портреты знаменитых врачей, от Гиппократ до Бильрота. В коридоре стоял легкий запах карболового тумана, вызывавший у Софьи Яковлевны острую тоску. Неслышно скользили сиделки в белых халатах и туфлях. Полуодетых людей несли на носилках или передвигали в креслах. Комната Юрия Павловича находилась в самом конце длинного коридора. Почти все выходящие в коридор двери были открыты. Из комнат на Софью Яковлевну всякий раз с недоброжелательным, как ей казалось, любопытством смотрели лежавшие на кроватях больные с бледными, измученными, худыми лицами. Она понимала, что появление незнакомых людей здесь единственное развлечение. По другую сторону коридора была операционная, склад белья, что-то еще. Здесь почти всегда стоял другой, легкий, сладковатый запах. Софья Яковлевна в этом месте коридора всякий раз ускоряла шаги.

В последнее время ей было все тяжелее с мужем. В этом году они для лечения Юрия Павловича выехали из Петербурга ранней весной. Теперь Софья Яковлевна стало уж совершенно ясно, что их добрая семейная жизнь держалась отчасти на Коле, еще больше на том, что в Петербурге Юрий Павлович целый день проводил на службе, а по вечерам они бывали в обществе. С болезнью Дюммлера сразу отпало все. Не было надежды на то, чтобы «в обозримом будущем», как говорил профессор, Юрий Павлович мог вернуться на службу. У Дюммлеров были в Берлине добрые знакомые, но с ними ей было скучно из-за отсутствия общего языка — больше в переносном, отчасти же и в прямом смысле: она по-немецки говорила не свободно. Их берлинское общество было по рангу значительно ниже того, в котором она жила в Петербурге; она с трудом от себя скрывала, что это также имело для нее некоторое значение, точно она сама понизилась рангом. Всего же тяжелее для Софьи Яковлевны была разлука с сыном. Коля остался из-за гимназии в Петербурге и писал два раза в неделю письма, казавшиеся ей холодными, написанные разгонистым почерком, с широко расставленными строчками, точно он ставил себе задачей возможно скорее и легче заполнять обе стороны большого листа синеватой бумаги, в огромном количестве оставленной Юрием Павловичем в кабинете их петербургского дома.

В это утро письмо пришло из Сестрорецка. Коля, по своему обычаю, подтверждал получение последнего письма матери, в форме «ты пишешь, что» излагал его содержание, выражал радость по случаю улучшения в здоровье отца. О себе он сообщал мало, говорил, что купается в море, что у них хороший пансион и что дядя Миша Сестрорецком очень доволен. По настоянию Софьи Яковлевны брат, на попечении которого был оставлен Коля, писал ей отдельно. Таким образом, она имела известия четыре раза в неделю. Заставить самого Колю писать чаще было невозможно. Сначала предполагалось, что Михаил Яковлевич и Коля летом приедут к ним за границу. Но от этого плана пришлось отказаться, когда выяснилось, что Дюммлерам придется провести весь июль в душном Берлине.

В те дни, когда приходили письма Коли, свидания с Юрием Павловичем бывали легче: минут пятнадцать из обязательного часа уходило на чтение и обсуждение письма. Оставалось сорок пять минут. Софья Яковлевна каждый день привозила мужу немецкие газеты. Но однажды, к своему удивлению, она увидела их на столе неразвернутыми. Из всего это было едва ли не самым тревожным симптомом: Юрий Павлович не читает газет, да еще немецких, да еще в пору конгресса! Дюммлер смущенно объяснил, что накануне чувствовал себя очень усталым. В следующие дни он развешивал газеты и просматривал заголовки. Но она видела, что он это делает ради нее, для отвода глаз; видела, что человек, еще недавно всем интересовавшийся, теперь думает только о своей болезни и, вероятно, о близящейся смерти.

Недалеко от дверей операционной главный хирург разговаривал со своим ассистентом — Софья Яковлевна теперь знала весь персонал лечебницы. Они были так увлечены разговором, что не обратили на нее внимания (это всегда чуть-чуть ее задевало). «...Разумеется, если б не это, он остался бы жив», — сказал хирург, оправляя воротник на халате своего собеседника. Ассистент что-то ответил, и оба они негромко засмеялись. «Да, кладбищенского попа слезами не удивишь», — подумала Софья Яковлевна и сама удивилась; прежде ей едва ли пришла бы в голову столь вульгарная поговорка.

Сиделки в комнате не было, Софья Яковлевна почти бессознательно об этом пожалела: при посторонних людях всегда бывало немного легче.

Первые вопросы были каждый раз одни и те же: как он провел ночь? была ли боль? что подали к ужину? принял ли он уже лекарство? Юрий Павлович отвечал усталым голосом, с усилием, точно не сразу мог вспомнить. Но лицо его, как всегда, просветлело при ее появлении. Узнав, что боль была только вечером, что температура нормальная, что за ужином он съел полную тарелку супа из овощей и полсухаря, Софья Яковлевна выразила удовлетворение, как будто лучше ничего и нельзя было желать.

— ...И вид у тебя свежее, значительно свежее... Сильная была боль? (О боли надо было высказаться раньше, чем об обеде.)

— Нет, не очень. Средней силы,—ответил Юрий Павлович с подобием улыбки.

— Да, разумеется, сразу это пройти не может. Этого никто из них и не ожидал. Нужно время и время! Но отчего же только полсухаря? Право, так нельзя, я ей это скажу.

— Она, бедная, не виновата, она очень старается. И все тут... Что же делать, не было аппетита.

— Ну, а я тебе принесла письмо Коли. И, представь, пришло на третий день! Прочешь тебе?

Софья Яковлевна прочла письмо. Ей показалось, что оно не интересует Юрия Павловича. Желая скрыть недостаточно нежный тон сына, она при чтении что-то вставила от себя: так, вместо «я очень рад, что папа чувствует себя лучше», прочла «Я очень, очень рад». Но добавочное «очень» оказалось ненужным. Юрий Павлович слушал рассеянно, быть может, даже вовсе не слушал.

— Ну, а ты что? Как провела вчерашний день? — в свою очередь задал он тоже никогда не менявшийся вопрос. Она ответила подробно — выигрывалось пять минут: Софья Яковлевна не сказала, что накануне днем пила кофе с Эллой и Мамонтовым. «Почему-то Юрий Павлович его невзлюбил. И незачем, конечно, раздражать...»

— Я так рад, что ты не скучаешь.

— Напротив, мне без тебя страшно скучно и тоскливо,—ответила она, чувствуя, что ее «страшно» было вроде дополнительного «очень» в письме Коли. Но по тому, как опять просветлело лицо Юрия Павловича, Софье Яковлевне стало ясно, что, несмотря на искренность его слов, он именно ждал опровержения. Они немного помолчали. Было только двадцать минут двенадцатого. Разговор вернулся к тому, с чего начался: к профессору, к лекарствам, к вчерашнему обеду в лечебнице, к отправлению желудка (о них теперь говорилось без стеснений).—Все-таки досадно, что сегодня он приехал так рано,—сказала Софья Яковлевна, разумея профессора. В действительности немного опоздала она сама, и Юрий Павлович это заметил.—Завтра я приду раньше, непременно хочу еще раз с ним поговорить.

— Совсем это не нужно,—медленно, точно нерешительно сказал Юрий Павлович.—Он пока сам ничего не знает. Необходимо, как он и говорит, продолжительное наблюдение... Что такое продолжительное наблюдение? —спросил он и, немного помолчав, добавил: —А если это очень серьезно, то он, верно, и тебе правды не скажет.

— Это не только не «очень серьезно», но и не серьезно просто! Фрерих давно сказал совершенно ясно, что...

— Может, Фрерих и соврал,—сказал Дюммлер со слабой улыбкой.

— Какой вздор! Поверь, он так не говорил бы, если б была малейшая опасность (Я сказал «серьезно», а не «опасно»,—с тревогой отметил он). И потом ты же сам говоришь, что боли стали меньше? —спросила она, подавляя в себе тоску. Юрий Павлович не говорил теперь о своем завещании, не делал распоряжений о том, чтобы его похоронили рядом с Канкриным, и именно это ей показывало, что он не как прежде, а по-настоящему думает о смерти.

— Да, боли меньше... Может быть, в самом деле все окажется пустяками... Ну, поговорим о чем-нибудь другом,—сказал он, взглянув на стенные часы. Она тоже украдкой бросала на часы взгляды.—Так ты была в банке и получила деньги? Не забудь, кстати, что надо заплатить извозчику за карету.

Когда часовые стрелки слились, Софья Яковлевна выразила желание посидеть еще, а он попросил ее уйти и погулять перед завтраком. Так бывало каждый раз.

— Значит, завтра я буду без четверти одиннадцать. Ах, как жаль, что ничего нельзя тебе приносить. Ну, что ж делать, потерпи еще немного на этих кашках. Вот мы скоро возвращаемся в Петербург, Семен для тебя постарается. Для Миши и Коли, я думаю, он старался не слишком. Хотя Миша знает толк в еде.

— Кланяйся ему, пожалуйста. И Колю поцелуй письменно,—улыбаясь, сказал Юрий Павлович и вдруг добавил: —Ну, а этот, как его? Первой гильдии ку-

печеский сын? Все еще живет в «Кайзергофе»? — Ей показалось, что в его глазах мелькнула тревожная злоба. Улыбка на его лице исчезла неприятно быстро.

— Кто это? Мамонтов? — весело спросила она. — Я знаю, ты его терпеть не можешь, кажется, оттого, что он в Эмсе пришел к нам как раз в тот день, когда у тебя начались боли? Не понимаю, как со своими взглядами ты можешь быть суеверен? Да, он еще в «Кайзергофе». По крайней мере, я вчера издала его видела в «Винер кафе». Ты знаешь, я теперь ежедневно в четыре бываю в кофейне. У них очень недурное кофе, хотя, говорят, в «Отель де Ром» еще лучше...

— Ты бываешь в кофейне одна? — изумленно спросил Юрий Павлович.

— По твоим понятиям, это, разумеется, последний предел человеческого падения. Не было бы ничего странного, если б я бывала и одна, в Берлине это очень принято, но мне слишком скучно одной, без тебя. Нет, Эллы так мила, что ежедневно за мной заходит. Съедает по два Apfelkuchen mit Schlagsahne¹ и, кажется, очень рада, что ей не надо платить, — смеясь, сказала она и вспомнила, что ее муж не любит шуток о немцах. — Как ты знаешь, мы иногда с ней выходим и по вечерам. Слушали Вагнера. Он теперь самый модный человек в Германии, о нем говорят больше, чем о Бисмарке. — Софье Яковлевне было решительно все равно, о чем говорить, лишь бы не о желчном пузыре и не о желудке. Юрий Павлович поднял брови. Все-таки было не совсем прилично сравнивать с Бисмарком какого-то музыканта. «Сказать, что иду на Gesindeball? Нет, не надо, он будет очень недоволен».

— Я помню этого Вагнера... Я его видел у покойной великой княгини Елены Павловны. Он тогда приезжал в Петербург. Великая княгиня была к нему очень милостива и дала ему много денег. Потом он уже из-за границы писал ей и просил еще. Как это у людей нет достоинства?

— Артистам все можно. Меценаты для того и созданы, чтобы им помогать.

— Может быть, но я просто не мог бы, — сказал Дюммлер. Софья Яковлевна знала, что это правда: Юрий Павлович действительно был бы не в состоянии просить не только о подарке, но даже о займе. — Он тогда играл у великой княгини, и, как потом говорили, очень плохо играл. Помнится, наши меломаны очень его чувствовали.

— Здесь меломаны, кажется, разделились на две партии: одни за него, другие за Брамса. Муж Эллы за Брамса, а она за Вагнера... Кстати, мы с ней теперь говорим только по-немецки... Не с Вагнером, а с мужем Эллы. И я сделала громадные успехи, так, по крайней мере, они говорят.

— Пожалуйста, очень поблагодари их от моего имени за внимание к тебе, — сказал Юрий Павлович. — Ну, до свидания, до завтра. И спасибо, моя милая... За все, — добавил он и устало закрыл глаза.

Софья Яковлевна вышла в коридор. Ей хотелось возможно скорее покинуть это чистенькое, так хорошо оборудованное здание. «Лишь бы не разреваться здесь, лишь бы на свежий воздух!..» Она не считала болезнь мужа очень опасной, но ей было мучительно его жаль. Ей было жаль и самой себя. Теперь, казалось, уже не могло быть сомнения в том, что ее жизнь кончена. Впереди не было решительно ничего. «Да, быть сиделкой при тяжело больном... Коле я больше совершенно не нужна, — думала она, с ненавистью глядя на детей Эдуарда IV. — И почему они здесь повесили эту несчастную картину!»

Вернувшись в «Кайзергоф», она села у открытого окна, долго плакала и курила одну папиросу за другой. Ей казалось, что она и сюда привезла лекарственный запах лечебницы, все время ее преследовавший. «Господи, что делать? Что же мне делать? Как ему помочь? — Она чувствовала себя виноватой, что не любила мужа, что, не любя, вышла за него замуж, что теперь не имела сил всецело отдать ему жизнь. — Уж не покраснела ли я, когда он спросил о Николае Сергеевиче?» — с негодованием на себя — и на Мамонтова — подумала она. Краснеть было не от чего. Но прошлой ночью Николай Сергеевич ей приснился. Сон был нелепый, непонятный, с указанием на двойную жизнь, как столь многие сны. Ей снился человек, которого она никогда не видала, он что-то ей о себе рассказывал. Потом внезапно оказывалось, что это Мамонтов. Однако все, что этот человек ей до того о себе сообщил, очень к Мамонтову и подходило. «Точно какая-то по-

¹ Яблочных пирога со сбитыми сливками (нем.).

весть, кто-то заранее сочинил фабулу и подготовил развязку! Как это происходит? В чем дело? Непонятно... И почему он вообще мне снился?.. Но мне и Элла снилась, у меня сны обыкновенно бывают самые глупые и прозаические, вроде того, что я потеряла сумку с нашим паспортом и с двадцатью двумя марками — именно с двадцатью двумя!»

Скоро она успокоилась и приняла холодную ванну. Тот же профессор, который лечил Юрия Павловича, вскользь, в разговоре, ссылаясь на жару, рекомендовал ей холодные ванны, хотя она ни на что не жаловалась и ни о каком совете не просила. Почему-то его совет был неприятен Софье Яковлевне. Но после ванн она действительно чувствовала себя лучше. Одеваясь, она думала о письме к Коле и к брату. «Это хорошо, что Коля стал увлекаться рисованием. Нельзя ли найти в Сестрорецке учителя? Если б я была там, я нашла бы... — Неожиданно у нее скользнула мысль, что несчастья имеют особенность: они всегда приходят необычайно некстати. — То есть главное, конечно, что они несчастья, но...» Ей, впрочем, было бы нелегко объяснить, в каком смысле «некстати» случилась болезнь Юрия Павловича.

Они были женаты семнадцать лет. Софья Яковлевна неохотно вспоминала о том, как вышла замуж. Ей, впрочем, казалось, что приблизительно так же находят себе женихов большинство девушек — «иных способов, к сожалению, мало». Она была не хуже других, читала стихи, читала романы, мечтала о всевозможных героях от Манфреда до Дубровского, была раз влюблена в одного бедного молодого человека. Но молодой человек был влюблен в другую, богатую барышню. Манфреды так и не появились. Когда в поле ее операций внезапно и случайно попал Дюммлер, дело решилось — отчасти потому, что она хотела показать молодому человеку (с которым, впрочем, больше никогда не встречалась). В ход были пущены все стратегические приемы, кампания продолжалась не более месяца и кончилась полной ее победой. Дюммлер, точно зачарованный, пошел на «мезальянс» — самая мысль об этом за месяц до того показалась бы ему нелепой.

Он нисколько не был противен Софье Яковлевне — этой формулой «нет, он нисколько мне не противен, он не безобразен, в нем есть большие достоинства» — она мысленно и пользовалась в пору кампании: все же формула начиналась со слова «нет». Софья Яковлевна своего добила. Правда, для некоторых кругов Петербурга сам Дюммлер был *homo novus*¹, а о ней не приходилось говорить. Еще сравнительно недавно какая-то дама в присутствии некоторых общих приятелей называла ее выскочкой и говорила, что «не пустит ее к себе на порог». Это вскоре дошло до Софьи Яковлевны, которая весело смеялась, отлично скрывая злобу. Ей, впрочем, было известно, что кое-кто тоже с известным правом считает «выскочкой» эту даму, что равенства нет нигде, что его нет даже между великокняжескими дворами, так как существуют великие князья очень богатые и менее богатые, очень близкие и менее близкие к Зимнему дворцу, вокруг которого, как планеты вокруг солнца, расположены были их дворцы. Над всеми, на необычайной высоте, находился государь, совершенно не интересовавшийся равенствами и неравенствами. «У меня он был, а у некоторых великих княгинь годами не бывает, у Ростовцевой пробыл чуть не три часа, а у этой дуры не был ни разу, — думала Софья Яковлевна, разумея под дурой даму, которая «не пускала ее на порог». — Если бы в России и сейчас, как при Павле, аристократом был лишь тот, с кем разговаривает государь и ~~и~~ ^{тогда} он с ним разговаривает, все совершенно спуталось бы. Да он таков и в общении с монархами: с Францем-Иосифом холоден и сдержан, а из какого-то захудалого принца чуть не сделал себе друга!»

Теперь ее положение было прочно, но отчасти держалось на должности Юрия Павловича. Софья Яковлевна не думала о возможной смерти мужа: кто-то в ней об этом думал, откуда-то всплывали гадкие и страшные мысли, мгновенно загонявшиеся ею на дно сознания. «Что тогда?.. Стать дамой-патронессой? Совсем перейти на положение «старухи Дюммлер». Или...»

Со своим холодным, ясным практическим умом она могла на мгновение представить себе что угодно, могла недолго думать о чем угодно. Так в последние го-

¹ Новый человек, выскочка (латин.).

ды иногда, очень редко, думала, что в восемнадцать лет — «самый поэтический возраст» — ее главной, чуть ли не единственной целью стало богатство и общество Юрия Павловича. Да и теперь основным после Коли интересом ее жизни были все-таки светские отношения, как они ни были ей привычны, часто скучны, а иногда и противны.

Незадолго до болезни мужа у нее возникла мысль о придании нового характера своему салону. Она подумывала о том, чтобы в ее доме министры и сановники встречались со «сливками интеллигенции» — слово «интеллигенция» уже привилось в России, как позднее во всем мире. Софья Яковлевна не сомневалась, что наиболее либеральные из сановников охотно пойдут на это. В Петербурге уже раза два бывали периоды паники, когда дарование государем конституции считалось делом ближайших недель. «Более порядочные будут приезжать бескорыстно, из любопытства, а другие — с расчетом, на всякий случай: «сегодня интеллигенция, а завтра кто-нибудь из них да первый министр!» Относительно интеллигенции она была не совсем уверена, потому что меньше ее знала и хуже понимала. Михаил Яковлевич, лично знакомый с Тургеневым и Достоевским, приятель известных либеральных профессоров, как будто принадлежал к ее верхам, но у Софьи Яковлевны были на этот счет сомнения. Она раза два в год считала себя обязанной посещать вечеринки Чернякова и незаметно при этом настраивалась на какой-то особый, сверхлиберальный и идеалистический лад. Однако Софья Яковлевна не была уверена, что люди, бывавшие у ее брата, действительно составляют сливки интеллигенции. К ее удивлению, их разговор не так уж блестел умом, либерализмом, идеализмом. В общем, он мало отличался от разговоров, к которым она привыкла, и даже суждения часто бывали сходные (Черняков, считаясь с возможностью появления Юрия Павловича, впрочем, маловероятной, особенно радикальных людей в эти дни к себе не звал). Все же Софья Яковлевна возлагала на брата большие надежды в деле создания конституционалистского салона. «Говорят, у Новиковой бывает весь Лондон, она делает английскую политику. А кто такая Новикова!..» Главным препятствием была политическая репутация Юрия Павловича — он считался очень консервативным человеком. Однако Софья Яковлевна знала, что в случае дарования конституции заставит мужа примкнуть к умеренным конституционалистам. «Если б не этот его пункт: генеалогия», — думала она. Для Юрия Павловича действительно существовали дворяне и люди просто. Против людей просто он ничего не имел, но, несмотря на свои познания в генеалогии, считал дворянство высшей человеческой породой, столь же бесспорной, как высшие породы лошадей. Между дворянами существовали, конечно, подразделения, они его основного взгляда не подрывали: Романовы были дворяне и он был дворянин. Впрочем, в присутствии недворян Юрий Павлович о сословиях не говорил. Он был как тот английский герцог, который совершенно не помнил о своем происхождении, если только о нем не забывали другие. Несмотря на подробные объяснения мужа, Софья Яковлевна весьма сомневалась в древности и знатности рода Дюммлеров.

Теперь же мысли обо всем этом только мельнули у Софьи Яковлевны, поразив ее своим ничтожеством. «Неужели я серьезно могла придавать значение этому вздору? Да, так бывает постоянно: думаешь о пустяках, пока не свалится несчастье. Господи, как верны все общие места! Действительно, нет ничего, что шло бы в сравнение с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болезни, близкой смерти!»

В час дня лакей принес ей завтрак — по-берлински обед. К неудовольствию прислуги «Кайзергофа», она не спускалась в ресторан; так повелось с той поры, как Юрий Павлович жил в гостинице. Когда лакей постучал в дверь, Софья Яковлевна поспешно прикрыла чем-то пепельницу с окурками. Она стыдилась того, что курит, и ей было совестно даже перед прислугой.

III

Вестибюль был полон Фаустов и Маргарит, Гамлетов и Офелий, средневековых рыцарей и балленштейновских ландскнехтов. Было также довольно много лакеев и кухарок; они перебрасывались радостными восклицаниями на простонародном берлинском диалекте. Еще на лестнице Мамонтов услышал и «Klopke» и

«Ach Gott»¹, и что-то такое еще. Николая Сергеевича раздражало, что вилла, построенная, верно, Шинкелем или одним из его подражателей, была красива. Нечто живописное было в маскарадной толпе — к этим крупным тяжелым рубенсовским людям шли латы, мечи и копыя. «Да, порода не изменилась, они в латах чувствуют себя так же хорошо, как их предки». Сверху доносился гул.

Под Gesindeball первоначально разумелись именно балы для прислуги. Позднее по их образцу стали устраиваться балы в обществе; потом они еще как-то изменились, превратились в грубовато-веселые маскарады с необязательными масками и вошли в моду. Европейский секретарь принца, быстро богатевший на своей должности, рискнул на Gesindeball — этого развлечения не было ни в Париже, ни в Лондоне — и добавил музыкальное отделение; Патти как будто не очень подходила, но важно было лишь то, чтобы все было самое лучшее, то есть самое дорогое.

Секретарь встречал гостей на верхней площадке лестницы. Он приветливо улыбался, но лицо у него было растерянное. Принц вел себя в Европе просто: охотно принимал писателей, актеров, журналистов, не спрашивая об их происхождении — все они были нечистые твари, не лучше и не хуже королевы Виктории. Зная это, секретарь пригласил множество самых разных людей, — лишь бы было занятнее. Однако гости, очевидно, думали, что в доме восточного дикаря особенно церемониться нечего. Доносившийся из дальних комнат шум становился неприятным, где-то играл оркестр, и казалось, что он нарочно всем мешает.

Гостиные шли одна за другой — их было шесть или семь. В первой из них стоял принц. На нем был его длинный, шитый золотом кафтан с белой лентой через правое плечо, длинные белые брюки, белый тюрбан. В левой руке он держал белые перчатки, а правой опирался на кривую саблю в белых ножнах. Все на принце сверкало драгоценными камнями. Проходившие гости независимо от своей воли больше смотрели на его бриллианты и изумруды, чем на самого принца. Все знали, что он несметно богат: говорили, что он богаче Ротшильда, богаче коммодора Вандербильта, богаче русского царя. Принц отличался щедростью и соблюдал обычай своей страны: если гость при нем хвалил: какую-либо из его вещей, принц произносил слова «Думара ке бас хаи» («Пусть же это будет твое») и дарил вещь гостю. Так, впрочем, бывало лишь в первые его приезды в Европу. С годами он стал благоразумнее. Когда кто-то похвалил огромный изумруд на его тюрбане, принц не расслышал похвалы и больше к себе этого гостя не звал.

У принца были дома в Париже и Лондоне, виллы на модных курортах. В Берлине он ничего не имел. Между тем в лето конгресса Берлин стал центром Европы и туда без всякой надобности отовсюду направлялись праздные люди. Секретарь снял загородный дом, который считался историческим, так как в нем прожило жизнь несколько поколений тупых, невежественных, но богатых, титулованных и потому делавших историю людей.

Несмотря на летнее время, приемы не прекращались в германской столице. Бережливые берлинцы точно ошатели от небывалого съезда иностранцев. Самым блестящим праздником был обед и бал в доме Блейхредера. Банкира посетили все члены конгресса, и по городу ходили почтительные рассказы о том, в какую сумму обошелся Блейхредеру этот прием. Принц не гонялся за высокопоставленными людьми и начинал скучать в Берлине. Устроенный секретарем бал ему не понравился и не развеселил его. Вначале принц еще говорил дамам свои цветистые комплименты, теперь только кивал в ответ на поклоны. Его приземистая фигура невыгодно выделялась в гостиной. В этой комнате и в следовавшем за ней готическом салоне все приглашенные еще вели себя сравнительно прилично, но уже в третьей зале, отойдя от хозяина, который все-таки был принц, хотя и не-серьезный, совершенно переставали стесняться. На Gesindeball они считали себя обязанными изображать шумное веселье.

В готической гостиной поток гостей разделялся, часть их направлялась в параллельную гостиной длинную узкую залу, предназначенную для концерта. Николай Сергеевич заглянул туда. Софьи Яковлевны в зале не было. «Может, и лучше, что ее нет? Ох, надо бы от нее подальше! Ведь это неправда, будто я в нее влюблен. Если б был влюблен, то не видел бы морщинок у глаз и не говорил

¹ «Отличный парень» и «О Господи!» (нем.).

бы себе, что она «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Впрочем, я все замечал и в восемнадцать лет, когда был влюблен по уши... Да, вероятно, с ней будет петля. Но ведь я как будто поставил себе правилом всегда слушать «голос благоразумия» и всегда поступать наоборот... Посмотрим, там будет видно! Я жду от жизни не больше, а меньше того, что она может дать, и уж если она меня покарает, то скорее всего за недоверие к ней». Ему было досадно и то, что «философские» мысли лезли ему в голову в самое неподходящее время.

Николай Сергеевич пошел дальше, чуть скользя по паркету. Он с удивлением заметил, что на него как будто подействовал надетый им костюм. Теперь в нем уже сидели три человека: он сам, дешевый бутафорский Мефистофель и наблюдатель, внимательно следивший за Мефистодом и за ним. Гостиные были уставлены всевозможными предметами в стилях *Gotik* и *Spätgotik*, *Hochrenaissance* и *Spätrenaissance*, *Frühbarok*, *Hochbarok* и *Spätbarok*¹. По книгам и музеям Мамонтов знал толк в мебели, он видел, что в большинстве это хорошие, дорогие вещи, и раздражался. «Верно, тот барон или банкир, которому все это принадлежит, в душе любит только добрый честный бидермейер. Да, есть что-то особенное в этой толпе, в этих упитанных перепившихся людях, несколько не безобразное — это о них говорят неправду, — но вызывающее, почти дерзкое. Им ударили в голову пиво и Седан... Это Иорданс, переделанный Менцелем... Из дам особенно шумят те, что переоделись горничными. Голубушки, вам и играть не надо... Куда же она делась?» — думал Николай Сергеевич. У входа в пятую или шестую гостиную он столкнулся с другим Мефистодом. Они криво улыбнулись друг другу.

В последней гостиной было столпотворение. «Вот здесь уж совсем сумасшедший дом!» — радостно сказал про себя Мамонтов, все тщетно старавшийся определить атмосферу бала. Вдоль стен комнаты тянулись столы буфета, но их и разглядеть было невозможно, так они осаждались гостями, толпившимися в три и даже в четыре ряда. Паладины и ландскнехты шумно пробивались к столам, хватили бокалы, мороженое, бутерброды для себя и для Офелий, которые, впрочем, сами о себе не забывали. Николай Сергеевич тоже стал проталкиваться к столу. Лакеи не успевали разливать напитки. Некоторые гости хватали и уносили с собой бутылку. Хотя ему не хотелось есть, Мамонтов положил на тарелку огромную порцию паюсной икры, выпил один за другим несколько бокалов шампанского и прорвался назад. «Кажется, лучше было не пить так много. Я ведь и за обедом выпил бутылку вина...» Отойдя от буфета, он стал скользить еще больше — как Стравинский в сцене с Мартой Швертлейн.

— Арестую вас именем закона! — сказал сзади кто-то, хлопнув его по плечу так сильно, что кусок икры упал с тарелочки на паркет. Николай Сергеевич чуть было не схватился за рукоятку шпаги, но тарелочка помешала. Перед ним был венгерский журналист. — Наконец-то вы! Я вас искал. Вы, кажется, шестой Мефистофель в этом сумасшедшем доме.

— Как будто и вы тоже не проявили большой фантазии.

— Надел к фраку черный галстук и стал лакеем. Очень дешево. Этим и объясняется успех «балов прислуги».

— Да еще тем, что этим господам чрезвычайно легко подражать лакеям.

— Что, кстати, несбыточенно тактично в отношении настоящих лакеев. Настоящие лакеи здесь одни и ведут себя достойно. Впрочем, я напрасно вам это говорю. Как все русские, вы почему-то привыкли иронизировать над немцами. Но не судите о немцах по сегодняшнему обществу.

— Как же у принца оказалось такое общество?

— Очевидно, вышло какое-то недоразумение. К тому же все сразу перепились. Я первый. — Он засмеялся. — Знаете, тут психология вроде шейлоковской: как же не выпить шампанского за счет расточительного дикаря? Буфет у него превосходный, я давно такого не видел, со времени раута у герцога... Ну, как его? Отчего вы так редко бываете на конгрессе? Вы, как Феникс, прилетаете раз в пятьсот лет.

— Где это «на конгрессе»? В передней министерства? Там нечего делать.

— Делать там, конечно, нечего, но можно сплетничать, а это величайшая

¹ Готическом и познеготическом, высокого Ренессанса и позднего Ренессанса, раннего барокко, высокого барокко и позднего барокко (нем.).

радость в жизни. Если не считать шампанского... Впрочем, пить большой грех. Египтяне в жертву Вакху приносили только нечистую свинью,— сказал венгр.— Слышали, на конгрессе достигнуто соглашение. Вы получаете Карс, Ардаган и Ватум, но отказываетесь от той проклятой долины, дабы Диззи не подвергся личному насилию в Палате. Франц-Иосиф берет себе Боснию! Воображаю физиономию бедных турок! Сначала Кипр, теперь Босния! А они были так благодарны своим благодетелям! — сказал он, захохотав.— Главное же, Болгария делится на части. Северная...

Он изложил предположительные условия договора. Николай Сергеевич старался слушать, но голова у него немного кружилась. Венгерский журналист говорил в своем обычном утомительном тоне балагура.

— Вловиц сегодня уезжает. Как вы, верно, слышали, он добился своего: был принят Висмарком и даже у него обедал. Это гениальный человек. Ему уже известны секреты богов. За гений Вловицу можно простить все, хотя бы он утопил не одну жену, а десять. Впрочем, он, верно, никого никогда не топил. Ох, много стали люди врать... Диззи готовится триумфальная встреча на Чаринг-Кросском вокзале. Я боюсь, что Гладстон и Горчаков умрут от разрыва сердца... Но что же *Pattina mia*¹, как говорил Россини? Вы слышали, секретарь принца перехватил ее по пути не то из Англии в Италию, не то из Италии в Англию. У нее, у бедняшки, вышла в Лондоне большая неприятность: антрепренер тайно повысил гонорар Нильсон до двухсот фунтов за спектакль! Подумайте, какой наглец! Разумеется, Нильсон позаботилась о том, чтобы это стало известно кому следует. С Патти сделалась истерика. Она немедленно потребовала, чтобы ей платили по двести гиней.

— Двести гиней — это больше, чем двести фунтов?

— Больше на пять процентов, но дело не в лишнем шиллинге. Вы, надеюсь, понимаете, что Патти должна получать больше, чем Нильсон, иначе ей останется повеситься. Антрепренер в отчаянии. Если он согласится, Нильсон выцарапает ему глаза: вы, надеюсь, понимаете, что и Нильсон должна получать больше, чем Патти, иначе ей остается повеситься.

— Что же будет?

— Повесится антрепренер. Впрочем, они очень любят друг друга. Я их слышал вместе в Париже в церкви Тринитэ, когда отпевали Россини. Патти, Нильсон и Альбани пели *Stabat mater*, это было божественно и бесплатно... Вот ваша знакомая,— многозначительно сказал журналист, показывая в сторону двери. Мамонтов увидел Софью Яковлевну. На ней была какая-то мантия, платье цвета слоновой кости с голубым поясом, расшитое странными цветами. К ее черным косам было приколото несколько красных роз. Она опиралась на высокую тонкую раззолоченную трость. С ней были Элла в костюме Гретхен и ее муж, плотный краснолицый король Лир. Они тотчас исчезли, король Лир как будто с сожалением.— Какая красавица! Она Клеопатра, что ли?

— Не знаю. Так договор будет скоро опубликован?

— Сегодня ходят глухие слухи, будто Вловиц у кого-то купил полный текст договора и опубликует его в «Таймс»! Это будет величайший шедевр репортажа в истории. Пойдем выпьем еще шампанского за здоровье всех жен нашего дорогого хозяина. Не хотите? Ну, как знаете, а я пойду штурмовать буфет. Если шампанское и бесплатно, я всегда стерженею,— объяснил венгр и отошел, напевая марш Ракоци. «Нет, нет, я не пьян! — заверил себя Николай Сергеевич. Он быстро пошел по гостиной, делая грациозные жесты правой рукой.— Все-таки очень странно, что костюм так действует на человека. Особенно эта идиотская шпала!.. Кажется, я наговорю глупостей!» В готической гостиной, в которой по-прежнему было сравнительно тихо, сидели Софья Яковлевна и Элла с мужем. На лице короля Лира была легкая тоска. «Не подходить!» — сказал себе Мамонтов и скользнул к ним уж совсем развязно.

Софья Яковлевна как будто неохотно познакомила его с мужем Эллы. Но ее друзья, видимо, ему обрадовались. Король Лир крепко пожал руку Мамонтову, подошел к нему стул, точно опасаясь, как бы он не ушел, и предложил папиросу. Муж Эллы, довольно видный прусский чиновник, тоже забавлялся тем, что говорил на берлинском простонародном наречии:

¹ Моя Паттина (итал.).

— Gott, resevierte Plätze det jibt's ja heute nich ¹, — сказал он о чем-то Софье Яковлевне. Николай Сергеевич заговорил по-французски. Король Лир наклонил голову с обычным почтением иностранцев к французскому языку. — Все-таки человек должен есть и пить. Нет, здесь право очень мило, — тоже по-французски весело сказал он. — Элла находит, что дурной тон и похоже на бедлам, а по-моему, просто богема. Пусть молодежь веселится как умеет... Так я пойду в буфет и все вам принесу. Почему вы ничего не хотите? Берите пример с Эллы. Ни шампанского, ни портвейна, ни икры?

— Какие волшебные слова! Я пойду с тобой! — воскликнула, вскакивая, Элла и ударила его по плечу.

— N-pa, biskpen höijlich jejen den ormen König ², — сказал король Лир, потирая плечо. Элла подмигнула Софье Яковлевне.

— Поскучайте пока без нас, нам понадобится время, там Бог знает что творится! — прокричала она уже у двери. «Сейчас будет разговор! Не знаю какой, но такой, какого у нас еще никогда не было, — радостно подумал Мамонтов. — Кажется, у меня заплетается язык!»

— Вы Клеопатра?

— Нет, еще глупее: я Семирамида.. Мне хотелось послушать Патти, и принц очень просил...

— Платье изумительное и идет к вам необыкновенно, — сказал он, шаря у себя в мозгу в поисках каких-либо сведений о Семирамиде. «От Семирамиды, кажется, легко перейти к настоящему разговору, — подумал Николай Сергеевич. — Кажется, была такая ассирийская царица и с кем-то воевала. Очень хорошо воевала. Это мне ни к чему... И еще, кажется, там была какая-то голубица? Голубица тоже ни к чему... Постой, дурак! — радостно сказал он себе. — Ведь у покойной Семирамиды покончил с собой муж? Вот это «к чему!» Хотя почему? Почему — к чему? Я пьян? Если и пьян, то не только от вина, но и «от страсти», — подумал он и в ту же секунду начал трезветь. — Я ожидал, что здесь сегодня будет «весь Берлин», — сказал Мамонтов.

— Нет, императора Вильгельма здесь нет.

— Благо его подстрелили.

— J'aime le ³ «благо». А вы как сюда попали?

— Церемониймейстер вашего принца пригласил всех иностранных журналистов... Я, впрочем, знал, что вы здесь будете.

— Я вам сказала? — спросила она, чуть подняв брови. — Все-таки я не думала, что здесь будет, как она говорит, бедлам. Это мне, разумеется, все равно и даже скорее было бы занимательно, но, по-моему, тут просто скучно. И этот унылый оркестр, что-то уж очень плохой для Германии... Мы собираемся уехать после Патти. Впрочем, Элла веселится, как ребенок. Они у меня сегодня ужинали и много выпили. Вы, кажется, не столуетесь в «Кайзергофе»?

— Только завтракаю. Обедаю я то у Люттера-Вегенера, то у Хабеля. Сначала меня там приняли не так чтобы уж очень любезно, но от «на чаев» очень смягчились, — сказал, смеясь, Николай Сергеевич, старательно за собой следя. Он было положил руку на рукоятку шпаги и тотчас ее отдернул. «Нет, нет, я не пьян, но это очень приятно, когда развязывается язык...» — Хабеля облюбовала прусская аристократия. К абендбrotу туда приходит сам Мольтке, ест кальбсниренбрaтeн мит пфлаумен ⁴ и пьет мозельское вино с земляникой («Ни к чему это»). А вот вчера я попытал счастья в ресторане Золотой колбасы. Вы не слышали? Этот ресторатор каждый вечер кладет в одно из своих блюд золотую монету. Если она попала в ваш кусок эрбсвурст гарнир, ваше счастье. У него каждый вечер сотни немцев с надеждой осторожно жуют свою порцию. Гениально, не правда ли? — спросил Мамонтов, смеясь веселее, чем требовал рассказ. Софья Яковлевна улыbnулась, с некоторым удивлением на него глядя. «Кажется, и он выпил больше, чем нужно», — подумала она. — Однако, я вам даю какое-то гастрономическое интервью («Еще глупее»)... Вы очень много выезжаете?

— Выезжаю? Напротив, очень мало. Иногда бываю в опере.

¹ — Господи, ведь сегодня зарезервированных мест нет (нем.).

² — Н-на, немножко больше вежливости по отношению к бедному королю (нем.).

³ — Мне нравится (франц.).

⁴ Жаркое из телячьих почек со сливами (нем.).

— Непременно пойдите на «Militaria». Это прелесть. Изображается вступление немецких войск в Эльзас в 1870 году. Курт фон... Забыл, какой фон... Курт покоряет сердце юной дочери эльзасского мэра, в глубине души, конечно, желающего победы немцам. Но французские изверги узнают о тайных симпатиях мэра и уже ведут несчастного на расстрел. Как раз в ту минуту, когда они наводят на него ружья, на сцене появляется отряд прусских егерей. Рев в зале невообразимый. Особенный восторг вызывает еврейка балерина Давид. Она в егерском мундире идет впереди отряда гусиным шагом и поднимает ноги выше головы. Чудесный спектакль! Я давно ничем так не восторгался. Все заканчивается валгаллой немецких героев, с Фридрихом Барбароссой в качестве флангового гренадера.

— Да, многое у них уморительно, но далеко не все. Есть и прекрасные театры. Шекспира нигде не играют так благоговейно, как здесь.

— Я почему-то уверен, что Шекспиром здесь восхищаются те же самые люди, которые беснуются от восторга при освобождении эльзасского мэра. Странный народ немцы! А как здоровье Юрия Павловича? — спросил он и увидел, что его связь мыслей ей не понравилась.

— Благодарю вас. Сегодня он чувствовал себя лучше. Юрий Павлович убедил меня поехать на этот маскарад. — Она почувствовала, что точно оправдывается, да еще во второй раз. — Обыкновенно я по вечерам дома. Очень рано ложусь. Читаю... Сейчас читаю во второй раз «Анну Каренину». Перечла все, кроме того, что о сельском хозяйстве: оно меня не интересует, да и сам Левин менее интересен, чем остальные. Я многому научилась в этой книге. «Вот что мы используем! — подумал Николай Сергеевич. — Тут-то и распустишь перышки». — По-моему, она значительно лучше «Войны и мира».

— О, не говорите этого! — сказал горячо Мамонтов. Он еще не знал, как перейдет к настоящему разговору, но чувствовал, что и «о», и горячая интонация были полезны. — Разумеется, это тот же великий талант. Но ему, по-видимому, стало скучно. Я думаю, то, что критики так часто называют упадком таланта, происходит от ослабления у художника интереса к своему творчеству, — пояснил он, уже не совсем зная, имеет ли он в виду Толстого или себя. — Жег море и не зажег, потерял не только надежду, но и желание зажечь. Вся его дьявольская изобразительная сила осталась, но он теперь точно ищет, к чему бы ее приложить. Попадется под руку какой-нибудь ни для чего не нужный Туровцын, дай опишу хоть Туровцына. Некуда деваться Левину и не о чем ему высказываться — дай пошлю его на какие-то дворянские выборы в какую-то Кашинскую губернию. Половина романа состоит из гениальных пустяков. А уж турецкую войну сам Бог послал графу Толстому, иначе он совсем запутался бы в своих «отмщеннях». Помните, «мне отмщение и аз воздам», — сказал он, опять было положил руку на шпагу и опять ее отдернул. Софья Яковлевна заметила его движение, оно ее позабавило. — Очевидно, измена Анны старику мужу кажется графу Толстому последним пределом преступления и позора! Согласитесь, что это очень наивно. Вы не находите?

— Нет, я не нахожу. Так вы такой поклонник графа Толстого? А знаете ли вы, что он обязан своей жизнью государю, которого вы не любите? Государь сам мне это рассказывал. Он каким-то образом еще в корректуре прочел что-то Толстого, да, «Севастопольские рассказы», и тоже, как вы, пришел в восторг. Государь справился, кто такой, узнал, что это молодой офицер на Малаховом кургане, и велел тотчас перевести его за двадцать верст в тыл. На Малаховом кургане граф Толстой, конечно, погиб бы. Быть может, он и сам этого не знает.

— Так ли это? Каким образом корректура могла попасть к государю?

— Уж я не знаю, как, но поверьте, что если я это слышала от государя, то это правда.

— Отдаю должное. За это царю можно многое простить.

— Как вы добры.

По готической гостиной теперь движение шло только в одну сторону, к концертному залу; туда входили люди при шпагах или мечах, видимо, много выпившие и старавшиеся подтянуться перед концертом. Оркестр перестал играть, точно музыканты почувствовали, что они всем надоели.

— Я, кстати, замечаю, что вы при каждом разговоре со мной стараетесь меня обратить в монархическую веру или, точнее, в веру в Александра II, — ска-

зал Мамонтов. Ему было досадно, что она равнодушно отклонила разговор об измене Анны мужу. — Скажу вам прямо, это бесполезно. — Николай Сергеевич становился все тверже в выражении своих революционных взглядов, по мере того как они в нем слабели.

— А если бы и так? Мне в самом деле жаль, что ваши блестящие способности, быть может, пойдут на службу дурному делу. Да и нигде никакой пользы от революции никогда не было... Вот я на днях взяла в читальне «Кайзергофа» книгу... Я всегда читаю наудачу, поэтому и вышла невежественная... Оказалось, воспоминания Мунго Парка! — «Кто такой Мунго Парк? Кажется, какой-то путешественник?.. Но она нарочно ведет та кой разговор!» — подумал Николай Сергеевич. — Я надеялась, что засну от скуки, оказалось, что я всю ночь не могла заснуть от волнения. Он описывает, как рабовладельцы вывозили негров из Африки. И самое удивительное, что эти рабовладельцы были даже не злые люди. А сам Мунго Парк был просто добрый человек. Между тем рассказывает он об этом как о самом почтенном деле. Это просто нельзя читать — стыдно и страшно за человека.

— Так только говорится: «страшно за человека», «ум человеческий этого не приемлет», «человеческая совесть с этим не мирится». Все они приемлют и со всем они мирятся, и никому ни за кого не страшно.

Софья Яковлевна на него посмотрела, опять чуть приподняв брови.

— Да? Однако все это понемногу исчезает. То, что описывает Мунго Парк, было еще недавно, но этого уже нет и никогда больше не будет. Я и хочу сказать: как-никак мир и без революций идет вперед.

— Именно как-никак. Ему, очевидно, не к спеху.

Она засмеялась.

— Вы говорите тоном Робеспьера. Я вижу, что за границей вы жили в дурной среде.

— Я не очень поддаюсь влиянию среды, — сказал он сердито. — «Вероятно, она хорошей средой считает своего немца и его зверинец!» И только он опять подумал о путях к настоящему разговору, как, к его изумлению, этот разговор начала она. Для нее это было столь же неожиданно: еще за минуту до того она в мыслях не имела говорить с ним о его интимных делах.

— Отчего вы не возвращаетесь в Петербург?

— Ведь я два раза туда наезжал, но ненадолго, по журнальным делам. Осенью, должно быть, вернусь совсем.

— Вот как... А вы теперь один? — спросила она. Хотя она улыбнулась так же равнодушно-благожелательно, ему показалось, будто что-то враждебное скользнуло в ее глазах.

— Один.

— Да что вы со мной в прятки играете? Ведь я знаю о вашем романе. Где же ваша артистка?

— Моя артистка? — повторил он с восторгом. — Моя артистка на море.

— Одна?

— С ней один артист, большой ее друг. Кажется, он ее родственник, — сказал Николай Сергеевич. Ему самому было бы трудно объяснить, почему он лжет, называя Рыжкова родственником Кати, и почему так счастлив. — Она стала полнеть, а в их деле это не полагается. Я и послал ее на море. — Он почувствовал, что «послал» прозвучало как «сплавил», что Софья Яковлевна именно так это приняла и что он уже предал Катю.

— Брат говорил мне, что вы страстно влюблены в нее?

— «Страстно»? Может быть... Уж если говорить такие слова. Но умный человек был пророк Мормон.

— Какой пророк Мормон?

— Это, кажется, пророк секты многоженцев, — сказал он. Его слова показались ей странными и неостроумными. «Все в нем неестественно, и особенно это желание всегда говорить «блестяще». Почему он не может быть простым?.. Это глупо — «купеческий сын», но в нем действительно что-то такое есть...» Она вспомнила, что после их новой встречи в Берлине Юрий Павлович сказал ей, улыбаясь не совсем естественно: «Все-таки тебе, быть может, будет приятно с

ним встречаться при отсутствии интересных знакомств. На безлюдье и Фома — дворянин».

— Отчего же не говорить «такие слова»? Нет ничего хорошего в придирчивости к словам.

— Я знаю, что нет ничего хорошего, — сказал он и вспыхнул, точно угадав ее мысли. — Во мне и вообще нет ничего хорошего. Или, если хотите, есть одно: я умею лгать, но не люблю, терпеть не могу. Не люблю ни притворяться, ни даже просто скрывать правду... Никакого циника я не изображаю, и мне было бы вообще поздно вато забавляться какой бы то ни было ролью: я не юноша. Но если вы думали, что я идеалист с горящими глазами, то вы ошиблись, — все больше раздражаясь, говорил он. — Впрочем, сомневаюсь, чтобы вам нравились идеалисты с горящими глазами. По-моему...

— Я никогда ничего такого не говорила, и не понимаю, почему вы сердитесь... Брат говорил мне, что у нее был какой-то друг или покровитель, тоже акробат... Впрочем, оставим это, извините меня.

— Ваш брат говорил вам о том, что его совершенно не касалось... Этот акробат погиб вскоре после нашего приезда в Соединенные Штаты. Он был замечательный человек, человек тройного сальто-мортале... Нет, это было бы долго объяснять, я так определяю одну породу людей. Коротко говоря, акробат был специалистом по очень трудному и опасному цирковому фокусу. В Америке он три раза проделал фокус удачно, а в четвертый раз разбился насмерть на ее и моих глазах.

Мамонтов замолчал, вспомнив сцену в Нью-Йорке, крик Кати, выделившийся из протяжного нараставшего крика многотысячной толпы, то, что последовало. Ему показалось, что он и теперь чувствует аптекарский запах. И навсегда в его память вместе с этим запахом врезалось то страшное, отвратительное чувство, которое он тогда испытал, которое потом наедине с собой старался отрицать. «Как не было? Конечно, была радость...» Софья Яковлевна с любопытством на него смотрела.

— И после этого вы заняли место акробата?

— Нет, — уж совсем грубым тоном ответил он. — Акробат этого места не занимал, он был просто ее другом. Я был первым человеком, которого она полюбила. — Мамонтов хотел сказать, что сошелся с Катей через неделю после смерти Карло, но не сказал. «По ее понятиям, это, разумеется, цинично. И со стороны это действительно так. Катя и цинизм!»

— Вот как... Но что же это Элла? — спросила она. Ему показалось, что она краснеет. Он не сводил с нее глаз.

— Ведь вы им сказали, что не хотите шампанского. Принести вам?

— Нет, я ничего не хочу. Может быть, они прошли прямо в зал... Кстати, эти двери, кажется, затворены не будут. Отсюда все будет слышно. Хотите остаться здесь?

Его глаза показали, что об этом не надо спрашивать. Ее вдруг охватила радость. «Что это со мной? С ума сошла, старая дура!»

— Как изменились нравы! — сказала она. — Я слышала от старых людей, что еще не так давно в Париже и Лондоне, когда Малибран или Рубини или Мошелес выступали в частных домах, то они поднимались по черной лестнице — им платили, ими даже восторгались, но с ними не общались. Это переделали мы, русские. У нас этого никогда не было, даже при Николае. То же самое и с так называемыми цветными людьми. Я думаю, в Лондоне нашего милого хозяина все-таки не считают настоящим человеком... Да вот пример. Можете ли вы себе представить, что в какой-либо западной стране король приблизил к себе негра, что сын этого негра породнился со знатью страны, а его правнук оказался ее величайшим человеком. А ведь это подлинная история Пушкина, — говорила она, меньше всего на свете интересуясь сейчас историей Пушкина или цветными людьми. Но ей казалось, что надо говорить, что надо говорить без умолку, что нельзя остановиться ни на минуту.

— Послушайте, — сказал он, наклонившись вперед в кресле и глядя на нее блестящими глазами. — У нас сегодня вышел с вами странный разговор... Вам не приходило в голову, что надо жить одним днем, нынешним днем? Быть может, я чуть пьян, только не знаю, от вина ли... Одним словом, простите, если я что не

так говорю. Вот я старался говорить умно, и, кажется, вышло глупо. А теперь я хочу говорить глупо, может, выйдет умнее? Вам не приходило в голову, что можно жить так, просто, ни над чем не задумываясь, так, чтобы быть счастливым сегодня, а дальше будь что будет!.. Одним словом, без Мунго Парков! И вдруг будет хорошо, будет чудно? — сказал он. Язык у него заплетался. В концертном зале раздались рукоплескания. Еще несколько ландскнехтов на цыпочках пробежали через гостиную. — Патти! — с бешеным криком сказал он.

— Я думала, она пройдет через эту комнату. Как жаль! Я люблю смотреть, как она ходит. Это целое искусство. Точно плывет богиня! Жаль, что отсюда ее не видно, но мы потом подойдем к ней. Верно, она в этом ожерелье Марии-Антуанетты? Ей нью-йоркские дамы поднесли ожерелье, принадлежавшее Марии-Антуанетте. Впрочем, у нью-йоркских ювелиров, верно, все ожерелья принадлежали Марии-Антуанетте, если они не принадлежали Марии Стюарт, — говорила она безостановочно, все больше смущаясь от его взгляда и от чувств «старой дуры». Рукоплескания в концертной зале все росли, стали слабеть и оборвались. Как всегда, кто-то еще отдельно раза два хлопнул, послышалось негодующее «ш-ш-ш!», и рояль заиграл «Серенаду» Шуберта.

— «*Lei-se fle-hen mie-ne Lie-der durch die Nacht zu dir*»¹, — раздалась первая фраза, Патти выговаривала каждое слово особенно отчетливо, как говорят на малознакомом языке. Николай Сергеевич вначале не слушал. «Да, если она пожелает, я обману Катю! Знаю, что это будет особенно гадко, ведь Катю так легко обманывать, знаю, но обману!.. Ах, как пошло я говорил, особенно вначале!» — Он с ужасом вспомнил о Мормоне. — Но, может, и она немного ошалела от своего костюма, от Семирамиды, от всего этого дома умалишенных... И разве я не вижу, что она в меня не влюблена... Ну и что же? Пусть «голос благоразумия» и несет свой вздор! — Он не сознавал, что уже с полминуты слышит музыку. — Теперь все кончено — все!..»

IV

Музыка доносилась через отворенные окна в каморку верхнего этажа, в которой лежал больной старик, сопровождавший принца в его путешествиях. Европейцы, путавшиеся в восточных вероучениях, называли его то «великим факиром», то «йогом», то как-то еще. Он считался духовным наставником принца. Семидесятилетний, худой как щепка факир почти никогда не выходил из дому: питался овощами, спал на голых досках. В тех редких случаях, когда они останавливались в гостинице, он не впускал к себе в комнату никого из прислуги. В Париже лакеи смотрели на него испуганно и слова «*tabou!*», «*pigüé*», «*matteau*»² произносили с теми смешанными чувствами страха, любопытства и насмешки, какие у здоровых людей вызывают сумасшедшие, у сумасшедших — здоровые. Спал он часа четыре в сутки, а в остальное время размышлял о смысле жизни и о близящейся смерти. Он работал над книгой, не бывшей, собственно, его сочинением, великий факир не отделял своих мыслей от трудов учителей и законодателей: важно было не новое, а мудрое. Задачей своей он ставил определение чистого в мире греха и зла. Ему удалось кое-что от себя добавить. Чисты были трудящийся во время работы, самка, кормящая детеныша, собака, защищающая хозяина.

Факиру с утра было известно, что вечером весь дом заполнят нечистые твари, что они будут плясать, пить вино и выть. Под вечер он наглухо затворил двери. Но человек его касты, утром принесший ему на весь день тарелку овощей, нечаянно разбил стекло в окне и в каморке было слышно все, что происходило внизу.

В этот день великий факир уже без всякого страха думал о близком конце своей земной жизни. Он накануне заснул незадолго до зари. Ему приснилось, что он умрет здесь, на нечистой земле, что он уже умирает. Великий факир проснулся трясаясь. Он не прикоснулся к еде и под вечер был очень слаб. Лежа на досках, трясаясь в лихорадке, он все читал свою рукопись. Ему не хотелось ни есть,

¹ «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной...» (нем.).

² «Безумный», «сумасшедший», «режнувшийся» (франц.).

ни пить, ни спать. Когда стемнело, он понял, что не страшно умереть и на нечистой земле: значит, и это было нужно.

Было уже совсем темно, когда в окно стали доноситься гул и визг. В этот вечер и нечистые твари были ему менее противны, чем обычно. Гул все рос и вдруг оборвался. Настала совершенная тишина — точно нечистые твари опомнились и раскаялись. Затем послышалась музыка.

Великий факир у себя на родине иногда останавливался, слушая флейту, и этим навлекал на себя гнев отшельников. Теперь внизу выла нечистая тварь. Через минуту у факира раскрылся беззубый рот. Он хотел было приподняться на досках, но не мог и только повернулся к окну левым ухом, которым слышал лучше. Так он пролежал минуты две. Вдруг ему пришло в голову: что если и это чисто? Мысль была странная, неправдоподобная. Но уже не оставалось времени ее обдумать.

V

Люди из лечебницы на носилках несли Дюммлера вверх по лестнице вокзала. Он лежал почти неподвижно и, едва поворачивая голову, робко озирался по сторонам, стыдясь своей болезни и бессилия. Софья Яковлевна шла рядом с носилками, стараясь держать зонтик над головой мужа. Шел дождь. Она испытывала такое чувство, будто на них свалилось что-то позорное. По лестнице то-ропливо спускались к извозчикам люди; несмотря на спешку, они на мгновение останавливались и испуганно смотрели на больного. Наверху под навесом толпа расступилась. «Господи, хоть бы скорее оказаться в вагоне! — подумала Софья Яковлевна. У нее на глазах показались слезы. Она отстала на шаг, чтобы муж ее не видел, наклонила зонтик, ветер рвал его из рук. — Эта погода точно назло! Всю неделю были солнечные дни!» Горничная взволнованно бежала за носилками с какой-то коробкой, которую нельзя было доверить носильщикам. Дюммлеры по обычаю ездили за границу со слугами, хотя тем было нечего делать и в дороге, и в гостиницах.

В конце июля профессор сказал Софье Яковлевне, что в состоянии ее мужа произошло некоторое улучшение, хотя пока незначительное, и посоветовал увезти больного в Петербург. Это было совершенно неожиданное предложение.

— Конечно, ваш климат не очень хорош, — бодрым и убедительным тоном говорил профессор, — но ведь и в Берлине август томительно душен. Я тоже скоро уезжаю. Между тем в пользу Петербурга: привычка именно к русскому климату, привычные условия жизни, близость сына, родные, друзья. Одним словом, я никак теперь не возражал бы против вашего возвращения на родину.

В первую минуту этот совет очень обрадовал Софью Яковлевну: ничто не могло ей быть приятнее, чем возвращение в Петербург. Но после того, как профессор ушел, ей пришли в голову очень тревожные мысли: может быть, он просто хочет теперь от них избавиться, как иные адвокаты стараются освободиться от заведомо безнадежных дел. «Если дело в городской духоте, почему он советует ехать в Петербург? Он мог бы нас отправить куда-нибудь в Шварцвальд или в Швейцарию... Нет, это странно, надо с ним поговорить по-настоящему». Сама она не находила никакого улучшения в состоянии мужа. Боли у него продолжались и иногда бывали чрезвычайно сильны; он плохо спал, почти ничего не ел. Ассистенты профессора, обходившие пациентов лечебницы по два раза в день, объясняли это июльской жарой, но вид у них бывал смущенный и говорили они довольно уклончиво.

На следующий же день Софья Яковлевна обратилась к профессору за объяснениями и настойчиво просила сообщить ей всю правду. Профессор внимательно ее выслушал и слегка развел руками.

— Я от вас не скрывал и не скрываю, что болезнь серьезна, — сказал он, видимо, неохотно. — При всех наших стараниях мы настоящего диагноза поставить не можем. Скорее всего, это камни в желчном пузыре, но возможны разные предположения... Я не знаю точно, чем болен ваш муж, — решительно заявил профессор. Он был так знаменит, что мог себе позволить столь необычное для врача замечание. — И если вам другой врач скажет, что он это знает, я только выражу ему восхищение. Мы не боги, и медицина, к несчастью, не всесильна. Вы сами ви-

дели, что в последние две недели лечение сводилось к диете и к успокоительным средствам. Это вы можете иметь где угодно!.. Однако я нисколько не считаю положение безнадежным,— тотчас прибавил он, впервые, хотя бы и в такой полуотрицательной форме, употребляя страшное слово.— Организм сопротивляется очень упорно. Я надеюсь, что ваш муж выздоровеет.

Мужу Софья Яковлевна сообщила о совете профессора чрезвычайно радостно. Юрий Павлович тоже обрадовался, несмотря на свою веру в немецкую медицину и некоторое недоверие к русской. В последнее время ему чаще казалось, что эта берлинская лечебница с ее узким двором-колодцем — последнее здание, которое ему суждено видеть в жизни.

— Я страшно рад, Софи... Когда же мы поедем?

— Я думаю, в середине августа, числа пятнадцатого. Дом только что перекрасили, боюсь, еще остался запах краски. Я напишу Мише... Но слава Богу! Я так счастлив! Он прямо сказал, что находит значительное улучшение.

Софья Яковлевна, никогда ни с кем не советовавшаяся в житейских делах, написала брату и спросила его мнение. Через три дня от Чернякова пришла телеграмма. Он советовал вернуться в несколько более радостном тоне, чем следовало. Впрочем, телеграмма была составлена Михаилом Яковлевичем так, чтобы ее можно было показать больному. Юрий Павлович ничего не сказал, хотя, видимо, был доволен.

Тотчас начались хлопоты. Помогала Элла, очень огорченная отъездом Дюмлеров. Добрые знакомые, давно не дававшие о себе знать, теперь предлагали помощь советами, услугами, заботами; лишь немногие ничего не делали, ссылаясь на то, что Дюмлерам теперь, верно, не до знаков внимания. Впрочем, Софья Яковлевна не беспокоила добрых знакомых и удивлялась тому, как люди любят оказывать не стоящие денег услуги. В работе, в хлопотах она находила облегчение; энергии у нее всегда было больше, чем нужно. Кто-то посоветовал ей пригласить врача для сопровождения их в Петербург. Софья Яковлевна сначала было с этим согласилась, тем более что ей было приятно тратить деньги на больного. Но это напугало бы Юрия Павловича. Профессор заверил ее, что ни малейшей опасностью поездка больному не грозит.

Элла достала им особое отделение в вагоне. В лечебнице обещали изготовить диетическую еду на двое суток, все лекарства были приготовлены, все указания на дорогу получены. В последний день Софья Яковлевна еще ездила по Берлину за подарками для Коли, купила собрание сочинений Гете и ящик с красками. «Вот жаль, что нет Николая Сергеевича. Это можно было ему поручить,— накануне сказала она мужу, чуть презрительно улыбаясь.— Как какого Николая Сергеевича? Мамонтова, которого ты почему-то невзлюбил. Ведь он художник и должен все это знать, а я красок отроду не покупала. Между тем он уже уехал на море». — «Обойдется и без него. Ты узнай у Эллы или хотя бы у швейцара в «Кайзергофе»,— ответил Юрий Павлович. «Зачем я сказала «уже давно»? — спросила себя Софья Яковлевна. Мамонтов снова уехал в Герингсдорф, должен был вернуться 12-го и не вернулся.

15-го, в день отъезда, Софья Яковлевна встала раньше обычного, но дела было уже не так много. Уплата по счетам в гостинице и в лечебнице, прощание с врачами и сиделками, раздача «на чаев» заняли мало времени. С Эллой Софья Яковлевна простилась накануне, взяв с нее слово, что она на вокзал не придет. Все шло по расписанию, в порядке, как всегда у Дюмлеров. Быстрый, правильный ход приготовлений к отъезду привел ее в бодрое настроение. Но когда в дверях комнаты Юрия Павловича появились рослые люди с носилками, у Софьи Яковлевны на лице выступили красные пятна. Так она никогда в жизни не путешествовала.

Отделение в вагоне оказалось удобным, постель для больного была приготовлена, окна открыты и завешены. Носильщики уложили Дюмлера, получили на чай и удалились с пожеланиями здоровья и счастливого пути. Горничная ушла в свой вагон. Софья Яковлевна вздохнула наконец свободней. Юрий Павлович был совершенно измучен. Он слабо тронул жену за рукав, поднес ее руку к губам и поцеловал.

— Ну, слава Богу... Теперь три дня будем спокойны... И вместе, Софи,— прошептал он.— Воображаю, как ты, бедная, устала!

— Ты хочешь сказать, что я стала рожей? Верю тебе,— ответила она и, чуть наклонившись, взглянула в зеркальце. Вид у нее действительно был плохой. Она вздохнула.

— Напротив...

— Я видела, на перроне продаются газеты. Буду в дороге тебе читать... Нет, не беспокойся, время есть, до отхода поезда еще четверть часа,— сказала Софья Яковлевна и вышла.

Вероятно, из-за дурной погоды провожавших было мало; уезжавшие заняли места в поезде задолго до его отхода. Софья Яковлевна заметила место своего вагона — как раз против киоска,— закурила папиросу, хоть дамам курить вне дома считалось совершенно неприличным, и пошла по перрону к краю вокзала. Дождь только что кончился. «Именно теперь, когда может идти сколько ему угодно! Всегда и во всем невезение!.. Неужели больше ничего счастливого в жизни не будет?»

Она постояла у локомотива, рассеянно глядя на медленно приближавшийся к вокзалу товарный поезд, бросила папиросу и пошла назад, думая то о предстоящем путешествии — кажется, ничего не забыто? — то о Коле — так ли он обрадуется? — то об их будущей жизни в Петербурге. «Да, будет та незаметная, никого не трогающая каторга, которая всегда выпадает на долю жеи¹ при тяжело больных мужьях». Тоска ее росла с каждой секундой, как будто смерть была тут, перед ней. Она чувствовала, что ей сейчас, сию минуту нужно общество, нужен человек. «Бывают минуты, когда одиночества не может вынести никто», — подумала она и вдруг в конце перрона увидела Мамонтова. Сердце у нее остановилось. Он быстро, странно быстро шел ей навстречу с букетом в руке. Она инстинктивно ускорила шаги. Но встретились они как раз у киоска. Она сделала еще несколько шагов уже с ним.

— ...Мне только что сказали в «Кайзергофе»... Я утром приехал, я так рад, что поспел! Но как же вы не дали знать, что уезжаете?

— Вот не ожидала,— негромко сказал она и отошла еще от их вагона. «Эти красивые пятна... Даже не поудрилась...» Он говорил что-то слишком быстро и взволнованно. От него немного пахло вином.

— Я никогда не простил бы себе, если бы не простился с вами, ведь, может быть, мы расстанемся надолго... Хотя нет, едва ли. Я думаю, что осенью мы... я возвращаюсь в Петербург. Я так рад,— бессвязно говорил он. Софья Яковлевна уже совершенно овладела собой. Его тон и даже слова казались ей не совсем приличными. И уж просто неприлично было то, что он не спрашивал о здоровье Юрия Павловича. Впрочем, минуты через три он догадался и спросил. Говорить им было не о чем.

— Все благополучно, спасибо. Он очень оценит ваше внимание,— почти вызывающе сказала она и тотчас заговорила о другом, опасаясь его ответа: — Так вы получили ту же комнату в «Кайзергофе»? Да, теперь это гораздо легче, город опустел. Элла с мужем тоже послезавтра уезжают куда-то на море,— говорила Софья Яковлевна, улыбаясь. Он смотрел на нее с недоумением: какое ему было дело до Эллы с мужем?

Когда кондуктор закричал «Einsteigen!»¹, Николай Сергеевич взял ее за руку.

— Позвольте поцеловать, хоть через перчатку,— сказал он почти шепотом, глядя на нее снизу вверх. Ее вагон был шагах в десяти. Она поднялась по ступенькам и кивнула ему головой с приветливой улыбкой, точно для каких-то невидимых свидетелей. Мамонтов не последовал за ней, и это было тоже неприлично, еще неприличнее, чем его беспомощно глупые слова о перчатке и то выражение, с каким он их произнес, как будто между ними состоялось тайное соглашение скрыть его приезд на вокзал от Юрия Павловича. Софья Яковлевна вошла в вагон. Она положила букет на стоявший в проходе чемодан, подумала, что не надо подходить к окну, и вошла в отделение. «Зачем он так много пьет?»

— Извини, я не купила газеты. Твоей любимой «Норддейтче» не было.

— И не надо... Я едва ли...

— Постой, одну минуту,— вдруг сказала она и вышла в коридор. Софья Яковлевна взяла букет и отошла к самому дальнему окну вагона. Мамонтов со

¹ «Входите!» (нем.).

шляпой в руке стоял все на том же месте. Он хотел было что-то сказать и не сказал ничего. Поезд отошел. Вдоль полотна замелькали дома, теперь освещенные выплывавшим из туч солнцем. «Да, «без Мунго Парков»!.. А может быть, в самом деле все будет хорошо?.. То есть ничего не будет...— Софья Яковлевна приложила букет к лицу.— Дивный запах!» — подумала она — для невидимых свидетелей — и бросила букет под откос.

Она вернулась в купе.

— Ну, дай Бог, дай Бог! — взволнованно сказал Юрий Павлович, глядя на нее нежным, благодарным взглядом. — Дай Бог... Впереди Россия...

— Да, впереди Россия, — рассеянно повторила она.

Конец первого тома

Редакция сожалеет, что вынуждена прекратить публикацию романа Марка Алданова «Истоки» в связи с тем, что это произведение выходит в опережающие сроки в собрании сочинений писателя (приложение к «Огоньку»); полный текст «Истоков» будет также напечатан в книжном приложении нашего журнала.

Сергей Золотусский

Будни и праздники



* * *

Я выходил из проходной,
Окончив труд, не то что рад —
— Я был свободен, шел домой.
Спокойно шел — я был женат.

А дома ждал накрытый стол
(Звенели вилки о стекло),
По телевизору — футбол,
А ночью — женское тепло.

Казалось, я несом рекой,
Рекою дней, ночей и лет,

Казалось, вот он, тот покой
Желанный... если счастья нет.

Но как-то рано поутру
С пути я обернулся вспять,
Мне захотелось на ветру
Подумать или постоять.

...Рвануло воздухом, взнесло,
Застыли на губах слова...
Я думал — шапку сорвало,
А покатилась — голова...

* * *

Кончается фильм двухсерийный индийский тягучий,
Счастливый финал не высушил слез еще жгучих,
В деревне Куралово в клубе проектор стрекочет —
Последние метры причудливой жизни восточной...

Но что же ты плачешь так щедро, Татьяна Сергевна!
Ведь в жизни своей ты вовсе не сентиментальна!
...До пояса косы, румянец и белое платье —
— Давно это было, ох, буду с тобой тосковать я
По дивной стране этой: сказочной, нищей, поющей,
Пока ты домой возвращаешься... Муж твой умеренно пьющий
Заснул за столом — Ванюша, Иван Никанорыч
И огненно дышит как змей многоглавый — Горыныч...

...И снится Москва ему, тетка его — колокольня,
Что он на нее забирается очень довольный,
И то ли звонить, то ли плюнуть с нее — он в сомнении...
Отсюда Ивану открылось другое виденье:
Зеленые пальмы и белые круглые храмы,
Слоны под попонами, люди в высоких тюрбанах,
Татьяна Сергевна его очень гордо и прямо
Танцует под рокот каких-то глухих барабанов...

Ох, Танечка-Таня, ужель ты опять молодая?
Иль прячет цветастый платок твои пряди седые?
Прошли посевные, покосы и жатвы без счета,
Твой лик освещает доску областную почета,

Но белое платье колышет забывчивый ветер...
Иль время идет, ничего не меняя на свете?
Но жизнь прожита, прожита! Прожита без обмана
В пустой мелодраме индийского киноэкрана...
...Наказано зло и любовь торжествует сквозь слезы...
По черному полю цветут нестерпимые розы...

...Татьяна вернется, Ивана в кровать переложит
И, чтоб не храпел, ему даст хорошенько по роже,
И скоро уснет... И проснется она ранним утром,
Висит над рекою, туманом плывет Брахмапутра,
Корова мычит... началась трудовая неделя!
Петух кукарекает хрипло, как будто с похмелья...

Хор

Вот запели нестройно еще за столом,
Отодвинулись и запрокинулись лица,
Накренилась вся комната, став кораблем.
И закашлялся кто-то, зазвякал стеклом,
Голосам не давая в единое слиться.

Молчаливая строгая гостья одна,
И сидящие рядом три юных подруги,
И старик, приколовший свои ордена,
Ну, а дальше мужчина, не пивший вина,
Так запели, как будто узнали друг друга.

Только молодость собственной силой пьяна,
А старик о погибших друзьях вспоминает;
Только в голосе гостьи — мольба и вина,
А мужчина испил свою чашу до дна...
...Хор сложился и каждый другому внимает.

Так бы вот и уплыть и махнуть бы рукой,
Всею грудью налечь на протяжную ноту!
Вот и горечь сладка, и в разлуке — покой,
Стал я парусом, небом и вольной рекой,
Ничего не боюсь, не надеюсь на что-то...

...Не надеясь, в степи замерзает ямщик...
И мой голос окреп в нарастающем хоре,—
— Не сфальшивит никто, не сорвется на крик,
И свободу дарующий песней язык
Нас несет... И выносит в соленое море.

Реставрация храма

Отсюда видно, как в церковный двор
Бредут, крестясь и кланяясь, старухи,—
Пришла пора заботиться о духе!
И Бог глядит со стен на них в упор
Так, будто произносит приговор...
Увы, старухи праведны, но глухи!

Безногий под крыльцо заполз без спешки,
И, с лапой перебитою, щенок
Приковылял и рядом с нищим лег...
И смотрит Бог с жестокою усмешкой...

А мы леса возводим до креста —
Крест золотить и купол до карниза,
Ох, наша речь до ужаса проста!
Занозы оскверняют нам уста
И высоты отчаянная близость.

Все выше, выше... и ударил гром,
Но бронзовый — тягучий и обильный...
Все выше из-под купола псалом,
Все звонче визг младенцев из крестильни.

Шесть полуголых мускулистых тел,
На медной кровле вспышки солнца злого...
Но прихожанин, что на нас глазел,
При каждой вспышке видел вдруг седьмого...

Мы раскаленный слизываем пот,
Мы внуки тех, не ведавших прощенья...
С дыханьем нашим слито испаренье,
Что от земли иссушенной идет...

...Отсюда видно город, тучи, пыль,
Смешавшиеся там — у края неба,
ГУЛАГ, Афганистан и Чернобыль...
И колокольни напряженный стебель...

...Сверкнули молнии, и дождь пролился густо
На церковь Иоанна Златоуста.

В покинутой комнате

В афишах, открытках и ярких журнальных картинках
На розовом фоне с нелепым рисунком обоев
Вся будничность счастья, смирение с этой судьбою...
...И таинство смерти в кружащихся в свете пылинках.

Но громко поет и поет со стены Пугачева,
А рядом обложка колготок немецких висит,
И вместе они возвышают до эпоса быт —
— Заезженный быт коммунального мира и слова.

...Гвоздика огромная (видимо, с праздников взята),
Зеленый и алый пылится ее поролон...
Рассыпаны фото: вот это похоже, что ОН,
А это ОНА, — подписано «Оля» и дата.

Вот встреча с друзьями веселыми Нового года...
С пеленок таращится первенец, будто птенец.
Проявлено плохо, но вылитый, видно, отец,
Порода крепка и грядет продолжение рода.

Покуда есть уголь, железо и нефть для включения в план,
В работе и жизни не будет, наверное, сбоя...
О как непорочно запятнаны эти обои!
И радостно синий насквозь пропружинен диван!

Патина и паутина

Всякому, кто видел «Ностальгию» Андрея Тарковского, памятен финал картины: руины базилики, своды центрального нефа разрушены и вместо кровли храма — высокое небо Италии; под ним и среди стен неурядского собора каким-то чудом возникло видение России — поле с деревенским домом, скат холма; дальше к горизонту, ближе к алтарю, опушка леса; над кронами деревьев высятся пятерики православных церквей. Начинает пуржить, летняя зелень исчезает под январской поземкой. Режиссер будто вспоминает о словах другого своего героя, сказанных посреди разоренного Владимира: «Ничего нет страшнее, чем когда снег в храме идет...»

В России пуржит уже некоторое десятилетие. Ледяная короста на лицах, душах. И оттепель — ни первая, ни нынешняя — ничем тут не помогут: мертвяков не выведешь из анабиоза, а тех, кто глотнул отрезвляющего отечественного холода, словно жидкого кислорода, оживит, пожалуй, лишь какая-нибудь мистическая сила, нечто вроде энергетического поля Соляриса. Да и оживит ли?..

Как слово «перестройка» звучит на манер псевдотермина-обманки, так и «возрождение», которым обозначают переиздание после более чем полувекового перерыва работ богословов и философов-идеалистов, снятие цензурного запрета на исполнение православной церковной музыки, экспонирование современной иконописи, — термин, по-моему, неудачный. Возрождают из мертвых, а не из живых, каковыми были и остаются эти источники духа независимо от того, доступны ли они, запретны, забыты или памяты. Речь не о них — о нас и об операции, наподобие хирургической, снимающей блокаду с той части мозга, которая ответственна за нашу историческую память. Амнезия — апатия — атрофия...

Сегодня расхожими стали исторические аналогии к перестроенному периоду: о смутном времени, гражданских войнах ведется в модных шлягерах; вспоминают пору между двух революций, кануны катаклизмов, положивших начало нынешнему состоянию страны. Но в те годы было немало начинаний, с помощью которых пытались сдерживать разрушительные силы. Хочется вспомнить об одном журнале, основанном накануне первой мировой войны. «Светильник» — издание, посвященное религиозному искусству в прошлом и настоящем. На обложке всех номеров горит лампада в виде ковчега. Редактор-издатель — В. И. Оловянишников. В начинании участвовали церковные, художественные и научные деятели: архиепископ Волынский и профессор А. В. Прахов, художники В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, А. В. Серебряков, академик В. А. Покровский, Г. А. Косяков... Церковная археология, богословие, зодчество, живопись, ваяние, иконография, музыка — вот далеко не полный перечень направлений, которые освещались в ежемесячнике. Изданный с давно забытым нашей полиграфией тщанием и мастерством, он умещался всего на сорока большеформатных листах плотной бумаги; четкий и легкий типографский набор, не утрируя, имитировал почерк старинных каллиграфов; отдельно вклеенные таблицы из тонкого цветного картона служили фоном для репродукций, покрытых папиросной бумагой со скошенными уголками. И при всем этом роскошестве подписная цена на год с пересылкой и доставкой — всего лишь шесть еще конвертируемых рублей. Христианская поэзия в связи с новозаветными апокрифами — к этой теме, давно освоенной в «Светильнике», мужественно возвращается сейчас на своих желтых, почти газетных страничках обновленный журнал с поблекшим названием «Наука и религия». Свободное, эссеистическое изложение материала, свойственное специальным научным изданиям начала века вроде «Светильника», еще только возвращается к нам (вспомним недавно выпущенный философский сборник «Опыты» или альманах «Laterna magica»). Щемящая ностальгией, желанием хоть немного выпростаться из нищенского состояния, до которого Госкомиздат довел книжное дело, объясняется уже довольно широкий поток книг-репринтов. Только хотелось бы, чтобы рядом с брошюрами о женах Ивана Грозного и о хиромантии появились хоть отдельные выпуски «Аполлона», «Весов», «Светильника», «Маски».

Повторение пройденного, воссоздание культурного фона, подготовка почвы для углубленной духовной работы и творчества. Этими заботами, отвернувшись от аукционно-экспортного ажиотажа, все же заняты сегодня некоторые художники. В этом номере мы репродуцируем работы двух живописцев — москвички Елены Болотских и ленинградца Глеба Богомолова, — которые порознь, не зная друг друга, двигаются в одном направлении. Е. Болотских ощущает свой картины последних лет именно как попытки вернуться к прерванной традиции древнерусского искусства, его символической и знаковой системе. На ощупь, зачастую интуитивно она открывает для себя секреты образного мышления иконописных мастеров. Свои фантазии, эмоциональные, душевные состояния, окружающую реальность художница стремится совместить со знаковой структурой икон. Ее художнические принципы, разумеется, далеки от канонов, по которым работали (да и сейчас работают) русские изографы.

Как известно, старинные мастера не изображали материальный мир; в зримых образах они давали представление о мире невидимом, духовном, не взмученном проявлениями чисто человеческого, обыденного бытия. Радость и печаль лучших иконописных творений только условно можно сопоставить с житейскими ситуациями. На досках состояния эти как бы внедушевные, молитвенные; в конечном счете они всегда обращены либо к горнему свету, либо к слезному покаянию. Е. Болотских пока не переступила ту черту, за которой уже доступен очищенный, духоносный взгляд на мир и на себя. Ее работы кажутся мне похожими на те пробные оконца, которые некогда делали реставраторы в позднейших записях для того, чтобы обнаружить древний оригинал. Да, когда-то уничтожали живописные наслоения XX, XIX и даже более ранних веков. В июле 84 года на московской экспозиции всесоюзной и республиканских реставрационных мастерских были продемонстрированы замечательные образцы отслоения и консервации поздних иконописных записей. А выставка «Русские святые», прошедшая в Центральном доме художника на Крымском валу летом 90 года, показала всю красоту и самобытность русских иконописцев начала нашего столетия. Н. Гусев, И. Чириков, М. Дикарев в своих работах на удивление органично соединили индивидуальный стиль со строгим и вместе с тем гибким следованием иконописным традициям.

Золотое, цвет вечности христианских икон, превращается в почти ржавое, тревожно-охрающее на картинах Е. Болотских — это цвет оплавленных риз, не сохраняющих, но скорее скрывающих от нас нечто истинное и вечное, пока нам запретное в силу нашей внутренней неготовности. Опрокинутые фигуры, ниспадающие по диагонали пелёна, молниеподобные штрихи, раскалывающие изображения, — нет, здесь не созерцание и молитва, но смятение чувств, невозможность войти в обитель, доступ к которой обманчиво прост. Этот «жанр» можно назвать саморазрушением тьмы в предчувствии света. Брожение хаоса, тоска и напряженность смятены изысканным цветовым и пластическим решением, сказывается богатый опыт художницы в области декоративного искусства. Некоторые картины сопоставимы со сквозной, паутинной сетью гобеленов, созданных Е. Болотских.

В отличие от ее работ образы на полотнах Глеба Богомолова определены, отточенны, порой почти недвижны. Он не стремится принять полностью, как свою каноническую иконописную систему, слиться с ней, хотя случается ему цитировать известнейшие в этом роде шедевры. Может быть, отсюда исходит то соразмерное спокойствие и даже строгость, которые присущи его картинам, построенным на символах и знаках христианской культуры. Он изображает, допустим, потир, священный предмет причастного таинства. Изображение этой чаши, уже само ее простое «называние» рассчитано на произвольное, подсознательное включение духовных, мистических переживаний, которые, как верит художник, генетически заложены в носителях европейской цивилизации. В этом, с одной стороны, коренится ровный и уверенный тон его живописного повествования, а с другой — здесь чувствуется в некоторой мере западный и, я бы даже сказал, слегка... католический дух его работ. Они застыли и сияют, словно витражи какого-нибудь Домского собора с четкими контурами перемычек, отделяющих цвет от цвета, подчеркивающих двумерное пространство. Плоскостной характер изображения, присущий иконам, будто возведен художником в абсолют, особенно там, где он вписывает, вливает в свое полотно лист рукописной книги или Троицу Андрея Рублева. В этом также кроется обновленное ощущение обратной перспективы: священные предметы дважды фокусируются в зрачке Небесного Ока, созерцающего картину, созерцающего в ней сакральный знак.

Необычайная культура работы над каждым миллиметром полотна отличает произведения Г. Богомолова. Чудится, будто он специально наводит подобие многовековой, благородной патины на свои холсты, имитирует присутствие олифы, уже тускнеющей, но еще не погасившей сочные краски картины. Иконы зачастую писались при свечах и при свечах же должны были вечно жить в церкви. В тускловатом глянце произведений Г. Богомолова звучит отблеск живого и теплого огня, как надежда на то, что мощи и иконы в музеях, некогда бывших действующими храмами, уйдут от мертво-электрического света, от внешне праздного обозрения.

У глубоко верующих людей вызывает иногда непонимание и неприятие музейный принцип хранения церковных святынь и, к сожалению, даже использование евангелических мотивов в светском искусстве. Первое, разумеется, понятно, особенно если вспомнить разбойные и воровские методы уничтожения литургической жизни в нашем государстве. Что же касается последнего, то здесь верующие печально смыкаются с преследовавшей их советской властью: в этом явно прослеживается комплекс ранних христиан с их суровостью и аскезой, но и все же как это понятно в России конца XX века Пушкин в таких случаях говаривал: не пеняй на добро, куда бы оно ни было положено. Безусловно, художники вроде Е. Болотских и Г. Богомолова пытаются преодолеть пустоту, в которую, по словам В. Розанова, провалилось все: грехи, классы, сословия, груд. богатство; все провалилось в пустоту души, лишившейся древнего содержания. Сегодня писать такие картины, создавать памятники, подобные Ильковскому отцу Сергию в Редонеже, хранить вековечный природный ландшафт, как это пытаются делать в Михайловском или Щелыкове, хотя в эти дни и часы там всю работу преступные разрушительные механизмы, значит, во что бы то ни стало и вопреки всему воссоздавать единственно нам данное, созданное бесчисленными поколениями предков мнемическое (поддерживающее историческую, эмоциональную память нации) пространство страны. Ее новейшую историю делили на периоды, исходя из экономических планов, политических авантур, чересполосиц войны и мира. А по человеческой мерке этих периодов было три: почти поголовное уничтожение носителей живой памяти об ином семейном и трудовом укладе; выборочное уничтожение относительно ограниченного круга лиц, осознанно боровшихся против антигуманного общества; и, наконец, главным объектом подавления стала сама земля с ее реками и лесами, природными и рукотворными памятниками. Посреди этого разора и на пороге последнего десятилетия атомного века мы вынуждены признать, что не только само понятие церковного искусства, но и просто искусства, художественного творчества во многом потеряло для людей советского менталитета свой смысл. Вчерашние неконформисты бодро ухватились за вожжи коммерции; один за другим уходят немногие, к чьим словам и делам испытываешь доверие; остаются, конечно, надежды, они всегда остаются, в лучшем случае покрытые патиной и паутиной.

Николай Евдокимов

«В пространстве времени быстротекущем»

РАССКАЗЫ

Ивану Максимовичу с любовью

На восходе жизни

Мальчику было шесть лет. Он лежал посредине большой тесной палаты рядом с другими мальчиками, страдающими тяжкими, почти неизлечимыми болезнями. То, что болезни неизлечимы, мальчики не знали, хотя иногда кого-нибудь из них, внезапно притихшего, закрывали простыней и увозили на высокой каталке из палаты и он уже не возвращался, а койка его долго оставалась пустой, как дыра в палатном пространстве среди плотно придвинутых друг к другу кроватей.

Кое-кто из них преодолевал болезнь и уходил с родителями, чтобы долго жить вне больницы, но многие выздоравливали только на время, хотя еще не знали этого ни они, ни их родители.

Мальчик лежал уже много дней. Со своей постели, щурясь близорукими глазами, он видел в мутном окне вершину старого тополя и кусочек неба. Тополь и небо жили в согласии друг с другом: когда небо темнело, то и тополь темнел, когда по небу плыли облака, закрывая и открывая солнце, то и тополь играл в ту же игру, уходя в тень и выскальзывая из нее, а если с неба лил дождь, листья на тополиной вершине трепыхались на ветру, сбрасывая с себя водяные потоки.

Дни бежали за днями, солнце становилось ярче, небо выше, прозрачнее, а листья на тополе желтели, и вот вся вершина его стала золотистой, как церковный купол.

Почти каждый день приходила мама, но она утомляла его, потому что разговаривала неестественным веселым голосом, хотя в глазах ее стояли слезы. Приходил дедушка, он приносил с собой спокойствие, с ним мальчику было хорошо, потому что дед не притворялся веселым, разговаривал серьезно, как со взрослым, дед понимал, что мальчик совсем не мал годами, что за плечами у него уже долгая жизнь, полная впечатлений, раздумий, воспоминаний, в которой многое было — и печали, и радости, и скверное, и хорошее. Этого никто не понимал, но дед знал и понимал, так же как и мальчик понимал его.

Уходя, он целовал мальчика в щеку, говорил:

— Живи, детеныш, не умирай.

— Не умру, — отвечал мальчик, улыбаясь. — И ты живи, не умирай.

— Постараюсь, чего уж тут, ладно, — он прижимал к лицу ладони мальчика, наклонялся к его уху и доверительно шептал: — Понимаешь ли, маме очень нужна твоя помощь, без тебя она заболевает и не захочет жить, такая она у нас слабая. А мы мужики. Так что возвращайся скорее домой. Договорились?

— Договорились.

Дед уходил, а мальчик лежал и думал.

«Они боятся, что я умру, и мама, и дед, — думал он. — Но как это умру? Меня не будет? Не будет здесь. А где я буду? Если не буду здесь, значит, буду там. Где там? Я был дома, теперь здесь. Значит, я умер там, дома, а здесь, значит, я живу. Там меня не видит никто. Умру здесь, буду где-то в другом месте. А здесь меня уже не увидит никто. Я скроюсь отсюда, чтобы быть там. Значит, тот, кто умирает, — думал он, — тот скрывается, он невидим тут. Получается, что люди умирают много раз. Они умирают много раз. Они умирают каждый раз,

перемещаясь с места на место. Разве это страшно? Не страшно. Почему же все бояться умереть? Все люди были детьми, стали взрослыми. Они умерли как дети, став взрослыми. И взрослые умрут, и мама, и дед, чтобы стать... Кем?»

Дальше он думать не мог, он не понимал, кем же станут взрослые, которые умерли как дети и которые теперь умрут как взрослые... Кем они станут, где будут? Этого он постичь не мог.

И тогда закрывал глаза, чтобы заснуть. Но, закрывая глаза, снова думал о том, что, засыпая, он перемещается в сон и, значит, скрывается из палаты, умирает, чтобы находиться во сне... «А может, тот, кто умирает, просто спит?»

И еще он думал о том, что если человек, умирая, уходит отсюда, чтобы быть там, то и рождаясь, он приходит откуда-то оттуда... Не из ничего же? Из ничего не может появиться что-то. Или может?

Впрочем, и теперь, по прошествии множества лет он не знает ответа на этот вопрос, который ныне задают ему малые внуки, почти в точности повторяя те его детские сомнения. Он знает теперь то, что знают многие люди, будто, уйдя из жизни навсегда, он уйдет в никуда, превратится в пыль. Это он знает, но понять не может, потому что и ныне не знает, что такое «в никуда». Увы, в познании этой вечной тайны он не стал умудреннее. А иногда ему кажется, что, может быть, тогда на восходе жизни, он был ближе к ее разгадке, чем теперь, напичканный банальными и большей частью ложными истинами. Тогда он думал, что смерть — перемещение в пространстве, теперь же, что это — тление, уничтожение.

Но что ближе к истине?

В один из дней, когда золотой купол тополя обнажился, остался только черный его остов, голые ветви, мальчику стало совсем плохо. Его уложили на каталку и повезли куда-то по длинному коридору, потом вниз по лестнице на первый этаж, снова по коридору и привезли в белую палату, залитую электрическим светом.

Он лежал на высоком столе, над ним висел стеклянный сосуд, в котором билась чужая здоровая кровь, по капле питая его больную кровь. В полузабытии он видел в большом окне улицу, плывущий трамвай, дом напротив и голову девочки в том доме за окном на первом этаже. Девочка смотрела на него, он плохо различал ее лицо, но почему-то знал, что она смотрит на него, и тоже смотрел на нее, то засыпая, то приходя в себя. Боль уходила, теплели холодные ноги, тяжелели веки, но он боролся со сном, стараясь смотреть на туманную девочку за туманным окном, думая, что ему оттого станет легче, что он видит ее.

Однако сон одолел его, он заснул, а проснулся снова в своей палате, где пролежал многие дни. Снова видел небо, голые тополиные ветви, дождь и, наконец, первый снег, щедро и весело летящий за окном и прилипающий к стеклу.

Мальчик ждал возвращения домой, мама уже не плакала добрыми глазами, дед приносил учебные книги, чтобы мальчик читал и познавал существующий мир — о животных, о птицах, о том, как устроена земля. Но теперь и от мамы, и от деда, от всех у мальчика была тайна: он думал о девочке, которую увидел в туманном окне, ведь это она помогла ему преодолеть болезнь.

Поздней зимой его наконец выписали из больницы. Дед принес одежду, мальчик облачился в домашний костюмчик, в пальтишко, от которых отвык и которые отвыкли от него, потому что стали коротки и в то же время так просторны, что в них мог теперь поместиться еще один такой же мальчик.

— Худоба не беда, — сказал дед, — главное, чтобы пуговицы застегивались. В жизни, детеныш, очень важно быть застегнутым на все имеющиеся пуговицы. Такое время перпендикулярное, ни к чему душа нараспашку.

Они шли по больничному двору, оставляя на свежем снегу свои следы. Снег пахнул белым запахом. Мальчик знал, у каждого цвета свой запах — у красного красный, у желтого желтый, а у белого белый. В больнице белый цвет пахнул неправильно, пахнул лекарствами, здесь же — своим натуральным белым запахом.

Дед хотел провести мальчика переулками, но мальчик взял деда за руку и повел его той дорогой, по которой все время ходил на свидания с девочкой, пока лежал в палате. Они вышли на широкую улицу, прозвенел трамвай, они перешли на другую сторону и медленно пошли по той стороне к тому дому, к тому

окну на первом этаже, где он увидел тогда девочку, спасшую своим взглядом ему жизнь.

И был дом. И была девочка. Над окном было написано: «Парикмахерская». За стеклом на невысоком постаменте стояла голова девочки и смотрела на мальчика неживыми глазами. А чуть в отдалении такими же неживыми глазами смотрели на него две другие головы — мужчины и женщины. Красивые головы манекенов с красивыми прическами.

Прошло много лет, а он и поныне помнит странное ощущение холода и боли, которые охватили его. Однако эта боль и этот холод не были похожи на те, что испытывал он в больнице. Это было иное, новое чувство, которое тогда он ощутил впервые, но которое потом часто посещало его в течение долгой жизни. Это была первая встреча с той действительностью, в которой ему предстояло прожить многие годы, где мираж становился мечтой, а то, что казалось живым и прекрасным, было не чем иным, как манекеном...

Внук, я и паровоз

Внуку три года. Мы сидим на кухне, едим гречневую кашу, соревнуясь, кто скорее очистит тарелку и станет чемпионом. Удивительное дело: чемпионом всегда становился он, хотя я старался обычно изо всех сил.

Вот и сейчас, отодвинув пустую тарелку, сказав снисходительно «я чемпион!», он спросил:

— Когда у меня будут дети, кто у них будет дедушка?

— Как кто? Твой папа. А разве у тебя будут дети?

— Должны. Без детей ведь нельзя. А ты был маленький? Или всегда старенький?

Мне обидно стало. Я в самом деле был уже старенький, хотя и притворялся для себя молодым, но другие люди знали, что я старенький, не знал только внук, а теперь, значит, пришло время и он тоже догадался.

— Ты, наверное, скоро умрешь? — спросил он.

Я ничего не ответил — так хотелось жить долго-долго, увидеть, как подрастет внук и даже как подрастут его дети. Я бы играл с его детьми: «Ладушки, ладушки».

— Погоди, не умирай, — великодушно попросил внук, — становись лучше паровозом и вози нас. А потом мы тебя. Согласен?

Я доел кашу и пошел дожидаться, когда вырастет внук и вырастут его дети, а я стану паровозом и буду их всех возить. Ну, что ж, неплохая перспектива — довести, как говорится, до пенсии не только внука, но и **будущих** правнуков. Жаль только, что с годами человек становится все более одиноким, хотя и обростает знакомыми людьми. Одиноким паровоз повезет **одиноким** великовозрастных внуков и правнуков, сквозь слезы весело гудя: «**Наш паровоз, вперед лети,** в коммуне остановка...»

Внук лег спать, а когда он уснул, я взял его пластмассовый паровоз, намереваясь отправиться на экскурсию в тридцатые годы, в свое детство. Туда, в старый, давно исчезнувший московский двор с единственным деревом, с портретом великого вождя при входе в домоуправление, с деревянным ящиком-помойкой, со старьевщиком, гортанно поющим «старье берьем, покупаем», с хромым — на деревянной ноге — шарманщиком, накручивающим на дряхлой, хриплой шарманке нечто сентиментальное и печально собирающим завернутые в бумажки монеты, которые ему бросали из всех окон.

Тогда, в детстве, я делал что хотел. Ни с кем не считался: кем хотел, тем и был. Хотел быть трамваем — и был. Хотел быть лошадью — и был лошадью. А еще мог быть и воробьем.

Я — воробей — прыгал по двору, клевал всякую пищу и боялся дворового кота Ваську. Однажды кот подобрался ко мне совсем близко, но я с испугу не улетел, а клюнул его в нос.

— Ты зачем клюешься? — взвизгнул кот. — Мне больно.

— И еще ка-ак клюну — ты хочешь меня съесть.

— Естественно, — ответил интеллигентно кот, — я голодный. А вот клевать котов, извините, пожалуйста, запрещено, за это положен штраф.

— Еще чего выдумал! — сказал я. — Убирайся лучше подальше, а то и не так клюну!

— Невежда, хулиган, — решительно заявил кот, — это мой двор!

— Ну, ладно, оставайся, — разрешил я. — Но и я не уйду. Мы будем дружить. Согласен?

— Ты что, глупый, да? Где это видано, чтобы кот дружил с воробьем?

— Ну и что? Мы будем самыми первыми.

— Нонсенс, — сказал кот.

— Что?

— Ерунда — по-иностранному.

— Новости! Значит, ты не наш кот? Ты чужой? Иностранный кот?

— Какой иностранный? Ты что, ослеп? Не видишь, что ли, я самый настоящий наш, советский, — сказал кот. — Ладно, фиг с тобой, давай дружить.

Так я подружился с дворовым котом. И дружил долго. Пока был воробьем. Я летел, а он шел за мной. Он был голодный, как волк, но неуклюжий, потому что старый, и не мог никак поймать даже мышь, если она сидела возле его носа. Он был старый и, как всякий старик, одинокий — его выгнали хозяева, а может, он сам от них сбежал, потому что они ругали его за бесполезность, попрекали старостью. «Лучше одному жить», — наверно, решил он и ушел коротать последние одинокие годы во дворе у помойки. О молодости Васька предпочитал не вспоминать. Когда-то он очень любил людей, но теперь, став дворовым котом, терпеть не мог: его гоняли все, и взрослые, и дети, не давая даже рыться в мусорных кучах. Но и другие коты, более молодые, среди которых добрая половина были наверняка его собственные дети, тоже гоняли бедного Ваську, не зная, что сами станут старыми и одинокими, обузой для тех, кто ласкал, холил их, когда они были сильные и хорошо ловили мышей.

Бедный дворовый кот Васька! Мне так было его жалко, что однажды я самоотверженно сказал:

— Ты голоден, валяй съешь меня, разрешаю, ничего не поделаешь, поживу у тебя в животе. Пожалуйста, ешь.

Однако Васька отмахнулся лапой и не стал меня есть.

— Ты дурак, а не воробей, — сказал он, — и не буду я тебя есть, не хочу брать грех на душу. Летай сколько хочешь, я лучше голодным останусь, ты мой единственный друг, а друзей не едят...

— Это правда? — спросил я.

— Что правда?

— Что друзей не едят?

— Все бывает, — подумав, сказал Васька. — Едят. Даже часто. Друзья ведь доверчивые.

— Ну и съешь меня.

— Нет, тебя не буду. Ты маленький. Подрастешь, пользу принесешь, сам съешь какого-нибудь вредного червяка... А вообще-то тебя все равно кто-нибудь слопают.

— Не слопают, я улечу!

— Не улетишь, дурачок, жизни не знаешь, — многозначительно сказал кот.

Но все равно мне было очень жаль одинокого кота и поэтому на следующий день я перестал быть воробьем и превратился в большого кота. Для того чтобы Ваське было веселее жить.

— Здорово, Васька, — сказал я, став котом.

— Ты кто? — зло спросил Васька. — Пошел вон.

— Я твой друг, — сказал я, — я кот Базилио.

— Какой еще Базилио? Проваливай!

— Ты что, не знаешь сказку про Гуратино? — спросил я, удрученный Васькиным невежеством. — Только кот Базилио плоховатый, а я хороший.

— Не знаю никаких Базилиев и знать не хочу.

— Я твой друг, не гони меня, тебе будет весело со мной, ты не будешь одинок.

— Нет у меня друзей. Был воробей, но и он смылся, слинял. Все друзья до поры до времени.

— Я навсегда. Я бывший воробей, а теперь кот Василию. С котом коту ведь лучше дружить, чем с каким-то воробьем.

— Проваливай! Хулиган ты, болтун. И башка у тебя пустая, не знаешь, что с воробьем дружить замечательно, — Васька мякнул зло и ушел.

А я остался сидеть возле помойки, думая о том, что, наверно, зря превратился в кота. Я бы снова сделался воробьем, но дважды превращаться в одно и то же неинтересно, да и нельзя, как я узнал позже: это все равно что войти дважды в одну и ту же реку. Нельзя — таков закон природы.

Я сидел возле помойки, испытывая печаль одиночества, ведь хотел сделать как лучше, а сделал как хуже, отняв у Васьки единственного и, наверно, последнего друга — воробья. И в самом деле, как нам было хорошо вдвоем! Я летел, он бежал, я устраивался на чердаке, и он находил туда дорогу, мы сидели рядом и смотрели вниз на землю. Я чирикал от удовольствия, Васька мурлыкал. Потом я взлетал ему на спину и клювом выдергивал всякий сор из шерсти. Ваське, наверно, было щекотно, он уже не мурлыкал, а урчал и переворачивался животом вверх. Но к его животу я боялся притрагиваться: он так размахивал лапами, что легко мог оцарапать меня. Иногда Васька пытался лизнуть мне спину, однако язык его был шершавый, острый, как доска с гвоздями, и липкий, словно обмазанный клеем, я испуганно перелетал на дерево. Туда Васька лезть не решался...

Теперь во дворе стало два бездомных одиноких кота — Васька и я. Я подлизывался к нему несколько дней, но он презирал меня, тоскуя о своем воробье. И до того дотосковался, что я стал презирать дурацкого воробья, которым был недавно и из-за которого не могу теперь подружиться с Васькой. Я подружился бы с другим каким-нибудь котом, пусть Васька лопнет от зависти, но другие коты оттого, что жили по квартирам со своими хозяевами, были надменны, высокомерны, как продавщицы мороженого возле станции метро. Тогда я решил перехитрить Ваську и притвориться самим Васькой, чтобы хоть таким образом дружить с ним. Правда, получалось, что я таким образом дружил с самим собой, самонадеянно думая, что дружба с самим собой самая вечная и прочная. Однако через много лет, прожив полжизни, я понял, что дружба с самим собой самая ненадежная, потому что все себе прощаешь, а всепрощение себя ни к чему хорошему никогда никого не приводило.

Но это было потом, а тогда я притворился Васькой и спросил себя самого:

— Эй, ты кто?

— Я Васька, кот.

— Ладно врать-то. Кот Васька я.

— Нет, я.

— Нет, я.

— Ну, фиг с тобой, давай дружить.

— Давай, давай, — сказали коты Васьки. (Будто бы нас было двое, хотя я был один.)

Так я, кот Васька, стал дружить с самим собой. Ходил по двору, задрав хвост, задирая других котов, лазил в подвалы ловить мышей, но мышей не было, а было пыльно, темно и страшно.

Потом я запутался, какой я Васька — настоящий или другой, превратившийся из воробья. Запутался и заплакал, сидя возле домоуправления под портретом вождя. Управляющий домом, или комендант, как он назывался в те времена, вышел из своей конторы, сказал:

— Чего реवेशь? Здесь нельзя реветь.

Я отмахнулся от него лапой и понял, что я никакой не кот Васька, а обыкновенный мальчишка. Поэтому на следующий день, выйдя во двор, я гонял по асфальту футбольный мяч с другими мальчишками, радуясь, что я не кот, а человек. А кот Васька сидел у помойки, жадно ел какую-то помойную дрянь и злобно смотрел на меня — думал, наверно, что я отниму его паршивую еду.

— Дурак, — сказал я, — жри сколько влезет.

В ответ он зарычал, как тигр. Я разозлился, бросил в него камнем. Рыкнув, Васыка помчался от меня по двору. Я за ним, бежал и метко стрелял в него камнями. Кот подпрыгивал, визжал от боли.

Какая-то знакомая тетка схватила меня за руку.

— Зачем обижаешь бедное животное, хулиган, мальчишка? Зачем камнями кидаешься?

— Я? Камнями? Да вы что, тетя? Это не я кидаю...

— Стыдно, — сказала она, — и еще врешь.

— Не вру, честное слово. Они меня совсем не слушаются.

— Кто это тебя не слушается?

— Кто, кто! Руки! Я не веваю, а они, наоборот, нарочно бросают и бросают. Отрывать мне их, что ли?

— Да уж, наверное, надо бы отрывать. И уши заодно, — сказала она и ушла, погрозив мне пальцем. — Смотри, если еще увижу!

Сколько их было, этих превращений «из одного в другого, из другого в одного» и опять «из одного в третьего». Я был овечкой, тихой, жующей травку, хотя, городской житель, никогда не видел живой овцы, был волком, съедавшим меня, как Красную Шапочку, и всех, кого мог проглотить, а потом, проглоченный волком, я жил у него в животе и щекотал его изнутри. Он хохотал, катался по земле от смеха и выплевывал меня снова на белый свет. Я был папанинцем, был стахановцем, ставил немыслимые рекорды, был летчиком, летал высоко в небе, перелетал, как Валерий Чкалов, сто раз Северный полюс.

Это были веселые, радостные превращения. И только одно превращение было мучительным, было страданием — это превращение из левши в правшу. Я был левша.

Все началось с того дня, как я пошел в школу и меня начали учить правильно жить. Заставляли все делать правой, неудобной рукой. Я не мог, не хотел переучиваться, у меня ничего не получалось. Меня мучили долго, упорно, я плакал, ненавидел себя, свои руки, которые не хотели переучиваться, не хотели быть такими, как у всех других людей. Как вообще все вокруг — одинаковое.

Впрочем, неправда, все вокруг как раз и было разным. Стоило выйти на Тверской бульвар, возле которого жил, чтобы понять это. Тверской бульвар в те времена благоухал, цвел, звенел птицами и насекомыми. Я видел: травы, цветы, деревья были тоже, как я. Одни левши, другие правши, одни близорукие, другие дальновзоркие. Некоторые тугие на ухо, другие слышали мое приближение за километр. Дальновзоркие деревья, цветы или травы настораживались издали, когда я шел, они ошетинивались, готовясь защищаться, близорукие же вздрагивали только тогда, когда я был от них в двух опасных шагах. Я видел, чувствовал все это. Но потом, когда и в школе и дома по требованию многочисленных учителей меня с жестокими страданиями все же заставили превратиться из левши в правшу, я перестал все это видеть и чувствовать. Я будто оглох и ослеп, стал рабом правой руки, будто стал другим человеком. Я был я, но и не я, а уже кто-то другой.

Ах, если бы я остался левшой, может быть, по-прежнему жил свободно, одной жизнью, с деревьями, травами, с самим собой...

Я давно уже седой старик, хотя в душе, несмотря на все превращения, по-прежнему мальчик-левша, знавший когда-то иные игры и иные превращения. И самое печальное то, что дотошные ученые, проникающие в глубины вселенной и даже в космические глубины человеческой психологии, пришли ныне к решительному выводу — переделывать человека из левши в правшу так же вредно, как поворачивать вспять земные реки.

Превращение из левши в правшу было последним превращением. Или нет... первым в длинной череде других бесконечных превращений, которые происходили со мной с тех пор всю жизнь почти помимо моей воли, потому что так надо было в постоянной погоне со временем за прекрасным завтрашним днем. Я сам стал временем, быстро текущим, меняющимся, летучим. Порою время останавливалось и я застывал вместе с ним и стоял долго, тягуче в бесконечном сумрачном дне или вязкой, как кисель, ночи без рассвета.

Я — Время — был словно вода. Тек, лился, заполняя пустоты в пространстве, или катился, как ртуть по полу из разбитого градусника, расслаиваясь на мелкие шарики и снова сливаясь в один. Так в вечных превращениях я бегу и бегу за солнечным завтрашним днем, заре навстречу с давней школьной поры, играя со временем, а значит, с самим собой в прятки. А рядом бегут, то дсгоняя меня, то перегоняя, то падая навеки, знакомые, близкие, друзья. Я давно уже седой старик, хотя в душе, несмотря на все превращения, по-прежнему мальчик-левша, знавший когда-то иные игры и иные превращения...

...Я сижу возле пластмассового паровоза, намереваясь умчаться на нем в далекие дали, но паровоз игрушечный и никуда не может меня увести. Да и забыл я, как это делается.

Внук открыл глаза, спросил:

— Что ты делаешь с моим паровозом?

— Извини,— сказал я,— захотелось проехаться кое-куда, а он не везет...

Внук снисходительно вздохнул — эх ты, мой любимый дедуля... — и сел на паровоз.

И паровоз запыхтел, загудел, колеса задвигались, из трубы повалил дым, запахло гарью, раздвинулись стены комнаты, и паровоз помчался, как мчатся все паровозы — весело, шумно, — а с ним помчался и мой внук, крича:

— Наш паровоз, вперед лети...

Куда он летит? Заре навстречу? Будет, как дед, всю жизнь играть в перевоплощения и в прятки со временем?

Наш паровоз летит вперед, вперед...

1987

Приземление

Телефонный звонок был звонкий, праздничный. И такой же **праздничный** был старческий женский голос, с радостным пионерским оптимизмом **сказавший**:
— Совет ветеранов нашего жэка поздравляет вас с наступающим **Днем Победы**. А сегодня приглашаем к двенадцати часам во двор универсама: **участникам войны будет продаваться мыло. Ждем, желаем всего доброго.**

— Спасибо,— сказал он.

У нее был почти счастливый голос. Ему тоже стало радостно до **слез**, он прикрыл ладонями лицо, попытался засмеяться, но не сумел, и оттого, что не сумел, защемило сердце и стало печально, стыдно, что не умеет он **быть** благодарным жизни за ее маленькие радости. Почему не порадоваться: чего только не было в его жизни, но такого ведь еще не было, еще не награждали его от имени общества куском мыла, **столь дефицитным и столь необходимым** товаром. К старости он **разучился радоваться**. Почему? Как он жил?

Жил. Был ребенком, юношей, стал стариком. **Старался быть честным, порядочным, верил в то, что оказалось — увы! — далеким от правды.** Теперь живет, как многие, в пустоте и одиночестве, окруженный словами, в которых все тот же обманчивый звон и все те же заклинания, слышимые им с детства, словно заклинания ветреной женщины: «Верь мне, служи мне». Глаза ее обещают многое, но, обманутый не единожды, он и хотел бы поверить, но как поверить... Она обольстительна, обещания ее кружат голову, как кружили голову обещания тех, прежних, у которых был мед на устах и полуправда в душе.

Во дворе у мусорного бака зеленел старый тополь, возле подъезда стояли три порожние водочные бутылки, рядом с ними сквозь разбитый асфальт выбивался желтый одуванчик. Грязный, замусоренный двор, пыль, стадо безгаражных автомобилей, запах мазута, бензина — все привычное, однообразное, будто застывшее вне времени... Впрочем, время движется: еще недавно двор был полон урчащих голубей, а теперь... Куда же они девались-то, голуби, давние жители московских дворов? Или в **запустение приходит Москва**, где даже птицам **становится трудно жить?**

Вольнодумство — господи, это, что ли, вольнодумство? — всегда несет в себе наказание: он споткнулся, вытянул руки, чтобы не упасть, и не упал. Наоборот, повис в воздухе. Взмахнул руками и взлетел выше, еще взмахнул и взлетел еще выше, и полетел подобно птице над Москвой, замирая от страха и удивления.

Что только не происходит с людьми под старость! Он летел. В самом деле летел. Наяву, не во сне, как когда-то в детстве. Или это душа (которой — он знает! знает! — нет, не обличайте его), ища свободы, уже готовится в дальний перелет к ничем не стесненному постоянному месту жительства? Впрочем, летел-то он вместе с нею, душой, не ощущая своего тела.

Летел над Москвой. Над улицами своего детства и своей юности.

Они изменились, постарели, как и он сам. Многие утратили древние имена, а приобретя новые, лишились индивидуальности. Хотя чему удивляться — потеря индивидуальности стала закономерной в наш заговоренный век: стандартные дома, как и стандартные слова, стерли самобытность не только архитектуры, речи, но и самобытность личности.

Под ним плыла земля, над ним небо. На небе прохлада облаков, на земле зной покрытых смогом улиц. Город перенаселен, перенасыщен домами, людьми, автомобилями, трамваями, поездами, бегущими к вокзалам и от вокзалов в разные стороны света. Все это — дома, люди, машины, поезда, — все будет жарено разными полюсами, все отталкивается друг от друга. Не найти пустого пространства, город забит помойками, складами, мусорными ящиками.

Он летел низко, почти над головами людей. Странно, его они не замечали, им было некогда, они бежали стремительно, с серыми, застывшими, напряженными лицами, словно бежали от кого-то... От самих себя? Значит, и он вот так же мчался всю жизнь таким же одиноким, больным, отстраненным от всех недобрый лицо? Ну, конечно, им не до него, летящего в небе, им бы успеть вскочить в троллейбус, перебежать улицу, лавируя среди потока автомашин, окруженных голубыми газовыми облаками, чтобы раньше другого пристроиться в очередь — бог мой, разве не все равно, за каким товаром, если нужно накормить семью, если хочется попримечнее одеться.

Он летел так низко, что бензинная гарь, вонь небруанных дворовых баков с мусором, свалок возле магазинов, дымы бесчисленных заводов и заводиков, испарения городской жизни душили его. Он взмахнул руками и поднялся выше, еще взмахнул — и вот уже летел под самыми облаками, а внизу плыл совсем не грязный, совсем не душный, но чистый, четко и изящно спланированный зеленый красивый город... Значит, чем выше взберешься, чем выше взлетишь, тем дальше земные заботы и земля под тобою уже лежит преобразенной. Как просто: надо взлететь выше, чтобы увидеть мир наконец-то обновленным...

И вдруг (странно, как она сумела его увидеть на такой высоте, ведь ему-то она казалась детской куклой)... женщина, навьюченная сумками, словно измученная колхозная лошадь первых пятилеток, закричала, тыча пальцем в воздушное пространство:

— Совсем народ обалдел! С ума посходили: по небу летают!

Прохожие на мгновение останавливались, глазели вверх, но не удивлялись. Чему, впрочем, удивляться, если Москва-город наполнен чудесами преобразования, запечатленными в лозунгах, плакатах, на газетных стендах, чему удивляться, если действительность более удивительна и фантастична, чем парящий в небе бескрылый человек-человечек. Прохожие глазели вверх и бежали дальше своими вечными дорогами несбывающихся надежд.

Женщина не унималась:

— Сдурел, ненормальный, обнаглел, сверзится, узнает, как по небу летать. Управы нет на людей!

Он засмеялся:

«Деревня, ты, деревня, кто же с такой высоты когда-нибудь у нас падал? Чем выше, тем надежнее».

Ветер относил его за Москву-реку, за город. И вот он уже летел над полями, лесами, колхозами, совхозами. И вся его жизнь летела за ним — обратно к молодости, юности, к детству. Но как, однако, ему было горько в его одиночестве и душевной печали, которую не заглушить даже восторгом полета.

Длинная жизнь, пустые надежды, потери близких и друзей, обольщения, обманы, отупляющая суета быта и одиночество в конце долгой жизни.

Лес, поля, поселки — все было прекрасно, все как дар в конце усталого пути. Земля была в цвету, пахла весной, начинающейся жизнью. Нет, право, не стоит сетовать, ибо наконец-то он попал в сказку, возвращающую его в молодость, в детство, где все было прекрасно, удивительно... Или нет? Не было? А только кажется в воспоминании о тех невозвратных мгновениях его невозвратной жизни?

Он устал, осторожно опустился на вершину старой ели у края леса. Сел, невесомый, на ветку, свесив вниз ноги, прислонив голову к теплому стволу. Солнце светило в лицо, он закрыл глаза и в какое-то мгновение, возможно, задремал.

У самой его головы каркнула ворона, он открыл глаза, увидел перед собой черную голову птицы, ее синий недобрый глаз. Он сказал «привет», она каркнула, улетела.

Небо, солнце, птица, вспаханное, начинающее зеленеть поле, пчела, прожужжавшая мимо, — все отражалось в нем, словно он сам был одновременно и небом, и солнцем, птицей, пчелой, полем... Стоило жить свою долгую жизнь, чтобы испытать это чувство осознания себя всем, вечным.

Ворона улетела, но вернулась, за ней прилетела еще одна, и вот уже злая стая кружит над ним, яростно крича, хлопая жесткими крыльями, пытается клюнуть его в затылок, в шею, в глаза. Отбившись, он взмахнул руками и полетел над полем, но птицы долго преследовали его, еще недавно чувствовавшего себя сродни им.

Он летел в одиноком небе, уже зная, куда летит, и предчувствуя, что лететь ему осталось совсем немного. Внизу земля теряла свой прекрасный облик — болота, мусорные свалки, окутанные едким дымом, желтеющие (ранней весной!) леса, бесконечной глубины, как лунные кратеры, песчаные карьеры, лысые поля, овраги. Уже не свежестью пахло с земли, а едкой плесенью, словно болела земля ядовитой усталой болезнью.

Он узнал вдали деревню, узнал окаймлявшую ее реку, разбитый остов древней церкви и понял, что наконец-то достиг цели своего полета. Это была его родная деревня, церковь, где семьдесят лет назад крестил его старый священник, произнося над ним вечные слова: «...не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе...» Но не был ли он таким лошаком? Разве челюсти его всю жизнь не были обузданы уздою и удилами, чтобы он покорялся... кому?

Почему он прилетел именно сюда?

Вода в реке не отражала ставшего жгучим, раскаленным солнца, была коричневой, ржавой, зловонием несло от нее, по берегам торчали голые стволы бывших деревьев — мертвая река, мертвые берега. И вся деревня мертва: заколоченные избы, пустынные огороды, заросшие жидкой травой, одичавшие хиреющие деревья в садах, словно прокаженный остров земли, бывшей когда-то родиной его родителей, его самого и его сына.

И все же нет, не был этот остров необитаем, на краю его на ступеньках развалившейся избы сидел обросший парень, кутаясь в солдатскую шинель, как злой домовый, который бдительно глядел в небо и увидел летящего человека и закричал с радостным возбуждением:

— Опять летаешь, душманская сволочь, теперь не уйдешь!

Вбежал, хромая, в избу и выскочил оттуда с охотничьим ружьем. Он остервенело стрелял в небо, выкрикивая матерные ругательства. Бедный человек-человечек метался между разрывами пуль, как метался когда-то в далекой молодости на давней войне, но вырваться из этого простреливаемого пространства никак не мог. Вот и наказание за то, что взлетел так высоко: воронье чуть не заклевало его, безумный парень сейчас убьет его, непременно убьет. Все стало враждебно ему — и небо, и земля. Кто же одичал — он, небесные птицы или родная заброшенная деревня, которую сторожил юноша, совсем мальчик, в солдатской шинели? Мальчик этот стрелял и стрелял, крича осипшим старческим голосом:

— Это тебе за капитана, это за сержанта, это, сволочь, за Гришку, душман проклятый!

Резким, отчаянным рывком он наконец выскочил из смертельного пространства. Однако пуля все же, наверно, задела его или оглушила. Крови не было, но он словно оглох, отяжелел и стал терять высоту, стал падать, хотя летел еще с трудом, ощущая боль во всем теле и страх, что не сумеет осторожно спуститься, а рухнет вниз, как камень. Впрочем, нет, не оттого он испытывал страх, что разобьется, он верил, хотел верить, что сумеет кое-как приземлиться. Приближаясь к земле, он испытывал иное чувство, извечное чувство всей своей жизни, постоянно сопровождавшее его с малых лет до старости — страха, будто делает что-то не так, что-то недозволенное и его ждет близкое наказание, — он прожил жизнь рабом этого чувства. Никогда он не был свободен так, как в первые мгновения своего полета, плывя в небе рядом с облаками, несколько минут свободы за долгие семьдесят лет.

Он упал недалеко от церкви, на берегу застывшей реки, лицом в жидкую траву. Река лежала, как огромная разлагающаяся туша какого-то животного, трупный запах висел над нею. В этой реке, казавшейся тогда еще доброй, ласковой, десять лет назад искупался его единственный сын и умер через полгода в тяжких страданиях — тело гнило, кожа расслаивалась, свисала клочьями, а за ним умерла и мать, не вынеся самого страшного человеческого горя — смерти рожденного ею дитя.

Он с трудом поднялся с земли и устало побрел подальше от зловещей реки-убийцы, и вошел в гулкое пространство бывшей церкви. Здесь висел полумрак, на покрытых плесенью сырых стенах едва угадывались тусклые лики святых, однако ярко виднелись гнусные рисунки и надписи, стояла вонь от человеческих испражнений, ноги утопали в белой кирпичной пыли.

Он сел на склизкое, прогнившее бревно и увидел, что навстречу идет юный безумный солдат, недавно стрелявший в него. У солдата было юное больное лицо юного страдающего человека. В его лице, в походке старику почудились лицо и движения сына, его мальчика — последние годы во всех молодых он неизменно узнает сына, его одного, давно живущего вместе со своей матерью, в ваоблачном, нездешнем пространстве.

— Ты не душман? — спросил юноша огорченно.

— Нет.

— Когда же я его убью?

Юноша сел рядом. Старый человек положил свою ладонь на молодую ладонь юноши, и юноша всхлипнул, прильнул к нему. Старик давно не плакал, он не помнит, когда плакал, слезы подступили к глазам, но он удержал их, чтобы дать возможность выплакаться юному солдату.

А перед глазами маячили выведенные на церковной стене белой масляной краской слова: «Сегодня мы здесь трахали Аньку. Павлик, Женька, Валера».

На склоне жизни...

На склоне жизни... Да, на склоне жизни тоже
Есть день, иль час, иль миг, так на рассвет
похожий...

Шарль-Огюстен Сент-Бёв

Небольшие провинциальные городки Франции несут в себе какое-то особое очарование покоем своим, тишиной, неторопливостью, доброжелательностью и улыбочностью немногочисленных жителей. Они будто похожи друг на друга, однако в каждом иной запах, иной ритм жизни, неуловимая индивидуальность и даже некое ощущение превосходства и исторического величия — свои знаменитости, которым воздвигнуты бронзовые статуи, позеленевшие от времени, свои почитаемые развалины, сохранившиеся порою еще со времен римского владычества.

Судьба подарила мне несколько несуетливых, беспечных дней, когда, освободившись от всяких дел и забот, подсчитав скудные командировочные франки, я сел в поезд и уехал из шумного Парижа на юг, к горам и почти неделю кочевал из городка в городок, насыщаясь новыми, не знакомыми мне впечатлениями.

Путешествие всегда очищение души, и радость, и грусть оттого, что мгновения мимолетных видений иной жизни неповторимы, коротки, что время вместе с твоими чувствами летит тут с космической скоростью. Печаль неизбежна: кажется, будто ты молодеешь от познания неизведанного, но тут же понимаешь, что стремительно стареешь, ощущая мимолетность своего существования в застывших во времени людских селениях, сохранивших древний облик среди вечных горных холмов.

Я не то чтобы обманывал себя, но как бы отдалился от обыденной московской жизни, где, несмотря на то, что был окружен родными и знакомыми, постоянно ощущал свои старость и одиночество. Оттого, наверно, что ведь в долгой жизни неизбежны разочарования, потери, отчуждения и неистребимая память о вольных или невольных обидах, которые или ты причинил другим, или другие причинили тебе. Здесь же, вдали от дома, в этом маленьком празднике путешествия невольно думаешь о будущем, а там — только о прошлом, ибо будущего уже нет, есть быстротекущие однообразные дни, будущее уже не у тебя, а у твоих детей и внуков, которые, отсчитывая свои годы, все больше и больше отдаляются от тебя, и ты постоянно ощущаешь расширяющуюся пустоту пространства, разочарование и бессилие перед несправедливостью так часто обманывающей тебя действительности...

Монт-де-Винсент был последним городом в моем путешествии, я прожил в нем сутки. Он был отличен от других неназойливой, но явно ощущаемой чопорностью домов, почти в каждом дворике цвели какие-то экзотические цветы, не виданные мною в других городах. Когда-то, давным-давно некий житель Монт-де-Винсента основал металлический заводик, и, хотя завод просуществовал недолго, в городке остались две статуи его предприимчивого хозяина. Одна из них возвышалась на ратушной площади, перед зданием мэрии, куда выходило окно моего гостиничного номера. Гостиница пропахла временем, она была старой и нарочито подчеркивала эту старину во всем, начиная с парадного холла, где на стенах висели многочисленные портреты строгих, значительных владельцев гостиницы, сменявших друг друга на протяжении нескольких столетий. Очевидно, родоначальником этой династии был усатый господин, изображенный в рыцарских доспехах. Возле деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, издававшей особый звук, похожий на старческий кашель — кхе-кхе, — стоял железный рыцарь, а по бокам его мраморные бюсты Марианны и генерала де Голля. Видимо, рыцарь свидетельствовал о том, что здесь верны традициям, а бюсты говорили о патриотизме и политических взглядах нынешних хозяев гостиницы.

Город можно было обойти часа за два вдоль и поперек. Он лежал вне туристских маршрутов, хотя красочные буклеты и открытки, продающиеся в газетных киосках и в каждом магазинчике, настойчиво приглашали посетить буковую рощу, развалины древнего виадука в трех километрах от города, отведать в ресторане «Милый друг» — только здесь и нигде во Франции — пикантные блюда из каштанов, преклонить колени перед Божьей Матерью-утешительницей. Я это сделал: побродил в тени буковой рощи, отведаль каштановые блюда, которые хоть и не насытили меня, но оказались действительно необыкновенными, и, конечно же, преклонил колени перед девой Марией. Острый солнечный луч сквозь купол собора падал ей на лицо. Даже не на все лицо, а только на глаза, глаза оживали и будто сами излучали свет, в них был покой, доброта. Может быть, потому и звалась здешняя Богоматерь утешительницей, что взгляд ее в самом деле успокаивал, вызывал душевное равновесие.

Осматривать римские развалины виадука я не пошел: нагляделся этой мертвой старины в других городах. Бродя по улицам, вышел на окраину, к подножию горы, прикрывающей город с севера, и стал подниматься на эту гору по узкой, заросшей травой тропинке. Тропинка долго петляла среди колючих диких роз, пахнущих так сильно, что кружилась голова. Наконец кусты расступились

и я оказался на крохотной площадке, все пространство которой занимал плоский гладкий камень, глубоко сидящий в земле, словно рос из нее. Я сел на него. Он был теплый, как живой, хотя лежал далеко от солнца, в тени кустарника.

Отсюда, с камня была видна бесконечная, окутанная движущимися солнечными теньями даль — синеющие на горизонте горы, виноградники на ближних холмах, зеленая равнина, стадо коров, лениво разлегшееся в сочной траве, стог сена, одинокий домик с красной черепичной крышей, старая лодка у того берега реки, а у этого прямо передо мной, внизу, беззвучно плыла женщина.

Она долго плавала, было видно, как легко двигалось ее легкое тело, длинные ноги почти не шевелились, руки широко разгребали прозрачную воду... Она вышла на берег, постояла, подняв лицо к солнцу, сдернула с головы резиновую зеленую шапочку — волосы ее были седые, белые, как и на моей старой седой голове. Да, она была не молода, как мне показалось сначала, но если волосы говорили о ее возрасте, то весь ее облик — совсем о другом, о том, что время было милосердно к ней. Она сбросила пестрый купальник, и я увидел гибкое тело, гладкую спину, упругие ягодицы, а когда повернулась, чтобы поднять полотенце, округлый живот и еще крепкие груди. Она оделась в синее легкое платье, раскрыла красный зонтик от солнца и стала по склону горы подниматься сюда, к камню.

У меня было такое чувство, словно я подглядывал за ней, и чем ближе она подходила, тем сильнее испытывал я неловкость и потому ушел, почти убежал, пока она не заметила меня.

Я снова ходил по городу, разглядывал пестрые витрины магазинчиков, обедал на площади Святого Николая, в кафе напротив собора, лежал в номере, пытаюсь уснуть послеобеденным сладким сном, но не мог уснуть, потому что не мог избавиться от странного волнения, которое не оставляло меня с той минуты, как я увидел эту женщину, изящно плывущую в прозрачной реке. Так и не уснув, я вышел на улицу и побрел куда глаза глядят... Впрочем, это я себя обманывал, будто иду куда глаза глядят, а шел к камню, откуда увидел утром тихую даль и женщину, плывущую в реке. Шел со смутной, неясной и в то же время весьма определенной надеждой — увидеть ее снова.

Но не было ее. Пустынный берег пустынной посеревшей реки словно лишился утренней привлекательности. Далекие горы потемнели, ушло стадо с зеленой равнины, прикрытое облаками небо висело низко над виноградниками.

Собственно, что я хотел, что влекло меня сюда? Зачем мне это трезожное чувство ожидания женщины, промелькнувшей перед моими глазами в солнечное утро? Я путник, чужой здесь, да и везде, наверно, уже чужой со своими старческими чувствами и ощущениями. Зачем мне все это — ожидание встречи, нет, не встречи, а словно бы повторения того утреннего видения, оставившего в душе смущающие необъяснимые ощущения, похожие на влюбленность.

Конечно, все можно объяснить этим словом — внезапной, неясной влюбленностью, но это не была влюбленность, а нечто иное, не имеющее определения, ведь бывает же, что вдруг дуновение ветра, или внезапный запах цветов, или прикосновение живого незнакомого существа — ластящейся кошки или собачонки, — или пение птицы у твоего окна отзывается внезапным наплывом сентиментальности, возвышенности, доброты, неясной радости или светлой печали и почему-то жалости к себе, напоминающей, что в тебе еще живет изначальное, детское.

Как определить, назвать каким словом все это? Впрочем, может быть, и не нужно никакого слова, потому что слово конкретно, а это чувство многогранно и всеобъемлюще, словно музыка, оно звучит в тебе, но что оно такое?..

Военной осенью сорок первого года наш полк, истрепанный боями на Валдайских высотах, отошел зализывать раны к маленькой станции Лихославль под Тверью — Калинин. Мы восполняли потери недолго, несколько суток, но за давностью лет я уже ничего не помню из тех дней, помню только одно мгновение — я спешил куда-то, куда, зачем, не знаю, и на вокзальной площади, где играл гармонист и местные юные жительницы танцевали с солдатами, мимо меня прошли две девушки, одна из них взглянула на меня, я на нее, они ушли, а я уже был иным человеком. Мимолетный взгляд испепелил меня, я ничего не увидел, ни лица этой девушки, ни цвета волос, ни одежды ее, только глаза, об-

жегшие меня. Несколько дней потом я тщетно бегал к привокзальной площади, надеясь снова поймать тот взгляд, то ушедшее в вечность мгновение, возвысившее меня. Тогда мне было девятнадцать, ныне далеко за шестьдесят, но я, забывший многие подробности своей жизни, помню тот взгляд как одно из самых значительных событий земного моего существования.

Нечто подобное я испытал и нынче утром, сидя на камне на французской земле, вдали от родных мест и своей молодости, хотя и не видел лица той женщины, только молодую ее стать и седые волосы. Как тогда, это все же не было внезапной влюбленностью, нет, я снова встретился с давним странным, необъяснимым чувством, испытанным на истерзанной бомбежками станции Лихославль, будто нашел ту, которую искал в ушедшей безвозвратно юности.

Я долго сидел на камне и, когда уже собрался уходить, увидел ее. Вернее, не ее, а сначала над кустами красный зонтик на тропинке, по которой сам пришел сюда, а вслед за зонтиком появилась и она. Все в жизни неповторимо, и все же многое повторяется, хотя и в иных проявлениях — я встретился с ее взглядом и испытал то же, что много лет назад на военной станции Лихославль, словно нашел наконец-то то, что безнадежно искал тогда. Впрочем, я сейчас так думаю, когда пишу эти строки, а тогда, сидя на камне, поймав ее взгляд, я ощутил только душевное смятение. Я не увидел ее лица, только взгляд, прозвучавший во мне, как звон струны. Можно ли передать словами этот звон? Это все равно что поймать руками дуновение ветра... Человек хочет все определить, называть словами, но ведь само слово так же необъяснимо, как многие чувства, оно только звук для постороннего, не знающего твоего языка.

Как странно, она улыбнулась мне, будто давнему знакомому — я вспоминаю это сейчас все с большим удивлением, — и сказала:

— Здравствуйте. Я вам не помешаю? Я люблю здесь сидеть, душа отдыхает, не правда ли?

— Извините, — проговорил я, глядя мимо ее лица, робея, — это я помешал вам, я уйду, — и хотел встать с камня, но легким движением руки она удержала меня.

— Бог мой, сидите, места всем хватит, — она закрыла зонтик. Солнца не было, дождя не было, зачем ей зонтик? Но в то же время этот яркий, веселый зонтик был нестделим от ее облика, я и представить не могу, как она выглядела бы без него. Она закрыла зонтик, села рядом со мной, места хватило.

Я повернулся к ней, хотел что-то сказать, но забыл, что хотел что-то сказать, ее лицо — как странно и как удивительно оно было, — в желтых морщинах у глаз и губ, оно поразило меня своей тишиной, покоем, умиротворением и, увы, печалью. Немолодое лицо и вместе с тем... Старость, как она, оказывается, может быть прекрасна! Она взглянула на меня, мы встретились глазами, и я не знаю, сколько прошло времени, не мгновение, нет, а вечность... Конечно, вечность, которая остановилась во мне и живет во мне уже многие месяцы и оборвется, наверное, только с последним стуком моего сердца... Сколько было в моей жизни радостей, печалей, огорчений, надежд, разочарований, веры и безверия, слез, потерь, обретений, сколько было света и тьмы, суеты и суетности, а душа как была, так и осталась ждущей ласки и жалости, как в детстве, когда я жил в другом пространстве и времени. Тайна материнских глаз непознаваема, в них иной свет, который бережет тебя от рождения до последней черты. Во взгляде этой женщины, живущей так далеко от моей родной земли, была знакомая мне печаль и мудрое всепонимание, она словно знала так много обо мне, все знала, и хорошее и плохое, но прощала, понимая, жалея и лаская меня, старика. Нет, я не ощущал себя стариком — просто усталым, грешным человеком, не забывшим того, что был когда-то ребенком...

Но и ее я видел в ее глазах, остановившихся на моем лице. Я видел ее всю, знал так много о ней, о ее несчастливой, одинокой жизни. Почему несчастливой, почему одинокой? Да, одинокой и несчастливой, полной потерь, но сохранившей до старости незащищенность, доверчивость и открытость молодой души. Я все читал о ней в ее глазах и знал, что она все читает в моих глазах.

Длилось это долго...

Она опустила голову, посидела так, рисуя на земле острием зонтика какие-то замысловатые фигуры, сказала:

— Всего доброго, — и поднялась, собираясь уходить.

— Я провожу вас? — спросил я

Она поколебалась с секунду, сказала:

— Благодарю, не стоит... — и развернула свой красный веселый зонтик, под куполом которого лицо ее сразу словно порозовело.

Она сделала несколько шагов, остановилась, спросила:

— Вы приезжий? Из Парижа?

— С моим-то акцентом? — спросил я. — Из России. Утром уже на поезд в Париж и в Москву...

— Москва — это так далеко... где-то на другой планете, — сказала она, постояла, словно не решаясь уйти, и медленно стала спускаться по тропинке.

Она удалялась от меня, платье ее цеплялось за колючий кустарник, шуршало, будто рвалось. Она уходила от меня навсегда, опустошив меня и возвысив. Старость, ты прекрасна, если даришь такие вечные мгновения, в которых и тайна жизни, и разгадка ее. Вот она скрылась за поворотом, еще некоторое время колыхался над кустами красный купол зонтика, но скоро исчез.

Из Монт-де-Винсента в десять утра уходил автобус в Олевилль, довольно большой городок со старинным замком и железнодорожным вокзалом — гордостью олевилльцев, построенным, по-моему, в прошлом веке в игровом стиле барокко, с многочисленными скульптурными изображениями многих французских знаменитостей, начиная с Орлеанской девы. Отсюда мне и предстояло сесть в парижский поезд.

Автобус стоял у гостиницы, дожидаясь пассажиров. Моросил дождь, по гладким, полированным оранжевым бокам автобуса стекала вода, обмывая рекламное лицо стандартной красавицы со стандартной улыбкой, предлагающей покупать какое-то приспособление для укладки волос. Дождь стекал и с тентов над столиками у гостиничного кафе, мальчик прыгал босиком по лужам, обрызгивая себя, смеясь, весь — счастье. Мать вышла из магазинчика, крикнула ему что-то, сердясь, он в ответ засмеялся громче и подпрыгнул, обдав себя с головы до ног светлой водой, она побежала за ним, уже не сердясь, смеясь вместе с ним, он убежал, она пыталась догнать, так они и играли в эту игру, оба радуясь, оба полные жизни.

Я выпил положенный мне на завтрак кофе с булочкой и джемом, расплатился с улыбочивой хозяйкой, которая пожелала мне доброй дороги, а я ей благополучия, купил сувенирную открытку-фотографию гостиницы с надписью «Монт-де-Винсент. Воспоминание о «Железном рыцаре» и пошел к автобусу.

Дождь уже кончился, небо не освободилось от серых облаков, но посветлело — их изнутри подсвечивало солнце. Пассажиров было мало, не больше десяти. Я сел впереди у кабины шофера, возле окна. Окно запотело, я вытер его ладонью и там, за окном, у мясной лавки рядом с гостиницей увидел ее...

Она смотрела на меня...

Неужели она пришла сюда, чтобы проводить меня?

«Прощайте, — сказал я мысленно, — спасибо».

Она поняла.

«За что?» — ответила взглядом.

«За воспоминания, — сказал я, — за будущие воспоминания».

Она едва заметно печально улыбнулась.

Мы долго молча смотрели друг на друга...

Автобус тронулся.

Ночью я уже был в Москве, дома.

Дни бежали за днями, а воспоминание о том рассветном миге, осветившем мою немолодую жизнь, не тускнело со временем, согревая мое одиночество в многолюдных суетливых буднях...

Воспоминания, воспоминания... Они, наверно, были бы еще ярче, если бы...

Если бы судьба хоть когда-нибудь занесла меня во Францию далекую, в тихий городок Монт-де-Винсент, который, увы, не существует в земном пространстве.

И все же это было со мной — право же, было! — воспоминания о том миге так реальны и так возвышающ...

Виктор Кривулин

Стихи разных лет



Александр Блок едет в Стрельну

дребезжание трамвая
Петергофское шоссе
гимнастерка полевая
распятая на шесте

посреди полей вороньих
не засеянных ничем...
лишь вагон для посторонних
для потерянных — зачем

эта часовая тряска?
эти мысли о другом
под шинелькой петроградской
с поднятым воротником

спутница пускай щебечет
воробьиное свое —
полдень золотисто-звездчат
пусть хотя бы для нее!

медленно членораздельно
я шутил — а ей смешно
и в окно въезжала Стрельна
где лицо мое черно

все. приехали. как ночью
ночью среди бела дня

вышла тьма чернорабочья
и приветствует меня

вижу в камере тюремной
хрестоматию с моей
Очарованной Царевной
Девой Радужных Ключей

слышу скрежет поворота
взвизгивание петли...
вот пустырь. через болото
мы к заливу подошли

ясный день, еще не старый...
ветер. облака. дворец
представляю мемуары
изданные наконец

после крепкого забвенья
после **честных** лагерей:
стрельна ветер воскресенье
стайки легких времий

он шутил — и я смеялась
он казался оживлен...
две недели оставалось
до скончания Времен

К Делии

навсегда ли Делия на время ль
будешь современницей Катулла?
клайпеда пускай вернется в Мемель
пограничному пускай объявят караулу
окончательный и абсолютный дембель! —
но каким бы ветром ни подуло —
правильный восторжествует Кремль
полный римского бряцания и гула...

Любитель Баркова

знал я одного такого
безбородого мужчину
он цитировал баркова
где орлов екатерину
всякий раз на разговоре
о свободе и цензуре

нечто общевойсковое
правда, с проблемском лазури
по глазам его катилось
по губам его сползало —
что ему, бедняге, мстилось
вместо книжного базара?

С экологическим восторгом

злорадный какой-то восторг
в захлебывающемся перечислении
отходов и нечистот
продуктов распада и тленья
какие обрушены вдруг
на чистое поле сознания
что было просторно вокруг
внутреннего зиянья
той круглой и злой пустоты
той воющей Дырки Центральной —
крутом ее травы цветы

усадыбы куртины купальни
и церкви и даже кресты
в еще не тюремных оградах...
среди изобилия лишь ты
лишь собственный твой
беспорядок
стал явственной ямой, куда
сбрасывали отбросы
растущие города
строящиеся колоссы

Не наговориться вдоволь

не наговориться вдоволь
о поэзии чем дольше
имена подобны вдовам,
с той же преданностью с той же
обреченностью готовым
говорить одно и то же
при опустошенном зале:
были невиновны, Боже!

так за что их убивали?..
это выяснится позже
(документы и детали)
а пока такая скука
мутно-сладкая с медово-
медленным теченьем звука
источаемого Словом!

Сюита со Львом Рубинштейном

1

чувствую — говорит — силу в себе непомерную
а глаза будто камушки за ресницами
перекатываются: наверное
неба им не хватает оживленного птицами

чувствую говорит... но как мышшь сутулая
серой тенью взгляд его мечется
между Совестью и Литературой:
~~та — мещанка, эта — помещица~~

2

и спрашивает меня
Лев Рубинштейн
отчего это мы евреи
стали вроде бы как бы дворяне
хранители чистых традиций
львы у воды летейской
на берегах Лицея?

3

горька мне **Русский Иордан**
 твоя подкаменная речь
 под Камою где Мандельштам
 хотел хоть что-нибудь сберечь

не та вода и вкус не тот
 и если, черной зачерпну —
 она зачеркивает рот
 но и пронзает тишину

слова как пар и воздух сер
 и ты находишь присмирив
 что караульный офицер
 сияет как **Солярный Лев**

4

*и спрашивает меня
 Лев Рубинштейн:
 отчего бы нам не вернуться
 к позабытому искусству силуэта?
 специальный экран и свеча и лица поворот
 обведенную тень зачерняешь углем
 переносишь молчанье по клеткам
 получается очень похоже*

5

хочется Героя — оживленного реального
 с речью кружевной и в бархате поступка
 с тайною рождения и необъятной спальнею
 где всегда прохладно сладостно и хрупко
 офицер в отставке ставший вдруг философом
 референт Зиновьева депутат Конвента
 (вечностью покрытый как налетом розовым
 благородный и высокий лоб интеллигента)

пригласят художника: несколько застенчив
 я вхожу и кланяюсь и ученой крыскою
 втиснутой в камзол во фраке ли во френче
 по лицу прекрасному кисточками рыскаю

полицейским шпателем пальцами в белилах
 до Святой Святых прикасаюсь трепетно:
 если он господствует на Фаворе-в-Силах —
 что я? инструмент его? тень великолепия?

смутное сознание будто свет рассеянный:
 да не перед ним ведь я — прямо перед Вышним
 чья Рука осыпала роскошью музейной
 дни раба и жертвы на закате пышном!

6

*и спрашивает меня
 Лев Рубинштейн:
 это правда ли что в ленинграде
 все дозволено?
 как же тогда
 Страшный Суд и Моральный закон
 и главное — облако дружбы связующей нас
 разреженный край
 тучи Господней?*

читали одни и те же
книги
но хочется реже и реже
встречаться
чтобы кровинками земляники
утренней свежей
россыпью речи нечастой
усыпанный вечер
был как последний выдох
после вдоха
поговорим же о видах
Венеции что ли
где Лев залетный с Востока
и развитый свиток
со Словом редчайшим
как Царь на Престоле
и наконец молчанье —
целое море
путеводителей и открыток

Кто с чем

минипушкины микронекасовы
опустившиеся в народ
с опустевших вороньих надклассовых
некрасивых — куда уж! — высот

кто с хореем а кто и с трехсложником
(искалеченная стопа)
колесит по твоим бездорожиям
по твоим перекресткам толпа

наступает кипенье журнальное
и поэзия очередей
цилиндрическая горизонтальная
умирающая через день

после выхода в тощем издании...
похороним ее по-людски
совершив ритуальное таинство —
чтение с горя и чтение с тоски

мужики соберутся с полправдою
и захватанный теплый стакан
над сварной самопальной оградой
покачнувшись пошел по рукам

здесь цитируют только есенина
перемешанного с матерком
без надежды на Вознесение
из навоза что свален кругом

Нонна Слепакова

Дух противоречия

Стихи о ненастье

Как любили непогоду
Стихотворцы старины!
В дождь и снег, в большую воду
Были просто влюблены.

Вот несется Медный Всадник,
Весь как Божия гроза,
Аж оттаптывает задник
У бегущего шиза!

Дождь с упорством аккуратным
Монотонит не спеша,
Под подъездом под парадным
Мокнет ржавая душа!

А пурга такая, Спасе,
Что воистину простор
То ли бесу, то ли массе,
То ли выстрелу в упор.

1982

Стихотворцы, как вы правы
В этой сумрачной любви:
В дождь ансамбли величавы,
Схожи граждане с людьми!

Дождь пройдет — и загуляет
Благодушный каннибал,
Что дышать мне позволяет,
Мне за тихость ставит балл.

На окно аппаратуру
Ставит добрый людоед.
Веселят его натуру
Водка, музыка и свет.

Солнцем сладко припеченный,
Он глядит из шалаша,
Визгом Аллы Пугачевой
Мысли смертников глуша.

Прогулка

Т. В. Шимаревой

Проселок, прогулка полезная
Вдали от кивков и машин.
И в лужах — дорожка небесная
Средь дальних кипучих вершин.

О Мать, вы шагаете около,
Под ручку ведете меня.
Меж нами молчанья глубокого
Не снимет моя болтовня.

Неведомых сборищ суждения,
Лихих проработок обряд —
От нашего тихохождения
Отвлечь, отвести вас хотят...

1985

Несете эпоху обильную —
Ее ликованье и стыд.
Она вас и давит, двужильную.
Она вам и плечи прямит.

Ступаете кариатидою,
Достойно свой век подперев.
Я вдруг распрямляюсь, позавидую,
Обижусь, на вас посмотрев.

О Мать, не родная, приемная,
Всегда отделенная Мать!
Зачем я сутулая, темная,
О чем балаболю, нескромная,
Иль нечего мне подпираться?

Воспоминание о пасхальной ночи 1964 г.

Свой свет раскаленный и гул,
Пахучую музыка-речь
Храм словно бы переплел
На кладбище — сотнями свеч.

Свист власти и взрывы гульбы,
Дебильные взвизги в ночи,
И щелест беззубой мольбы
Над пламечком ближней свечи.

Глеб, Лена, и Лёва, и я
Стоим средь людской тесноты,
Свет рыженьких свечек лия
На камни, сугробы, кресты.

Обряд мы без веры творим,
Но, тая пред ликом огня,
На пальцы течет стеарин,
И греют ожоги меня.

Покойный учитель мой Глеб
Ворчит: «Развлеченье нашло!
Что зрелище дуре, что хлеб —
Все чохом гребет со стола!»

И правда, на что мне свеча?
Не верю ни в Бога, ни в рай.
Кто крохи мне сыплет, шепча:
«Хоть это лови да собирай!»

Зачем дожидаться-то мне,
Иззябнув над лодочкой рук,
Как черные ризы в окне
Багряными сменяются вдруг?

Как ровный березовый ствол
На фоне окна золотом,

1988

Доселе шлагбаумно гол,
Младенческим брызнет листом?

Как настезь раскроется храм,
И колокол грянет — помочь
Всему, что свершилось там,
Расплавленно вылиться в ночь?

Как выйдет ликующий ход
С хоругвями и со крестом,
И храм обогнет, и споет
На чуждом наречье густом?

Как стражников бодрый ручей
Разрежет нас на две стены,
Служа безопасности... чьей?
Для той иль другой стороны?

Как, руки раскинув, мильтон
Теснить нас начнет в суеде
На выход, «в сторонку,
в сторон...»
К ночной городской темноте?..

И прав будет этот амбал,
Заданье исполнив свое:
Кто смертью жизнь не попрад,
Спешит ограничить ее.

Равнина

Сядем тесно и сутуло,
Поглядим своим умом,
Как равнину затянуло
Телевизорным бельмом,
Как она не просит хлеба
И не тянется к огню,
Запеленутая слепо
В эту рябь и мельтешню;
Как вольготно ей, уютно,—
Вон как нежится, смотри!

1985

И пускает поминутно
Голубые пузыри...

От огромного младенца
Непостижно рождены,
Мы — два взрослых отщепенца,
Щенки мы, — лететь должны!

Потому что наше зренье
Прорывает пелену,
Вызывает подозренье
И вменяется в вину.

Заявление

Начальнику Жизни пишу заявление,
И не заявление, а уведомление,
О том, что ему покоряюсь отныне
Я как никогда — никакому начальству.
Пишу не на Родине, а на чужбине,
По детской доверчивости и нахальству.

Писать я ему не посмела бы дома,
Где столько игрушек, утешек и сказок
Погибло и сделалось кучею лома
В проклятиях бешеных, в мелких экстазах.

Пишу я ему о продлении срока,
Авансах, ремонтах текущего быта,
Пишу ему здесь, где совсем одинока,
Где только одна остается защита.

Пишу, как положено,— вбок отступая
От имени главного (сплошь прописными),
Пишу я, на просьбы обычно скупая,
Его беспокоя делами своими.
И ставит он штамп на мое заявление,
Огромный,— с деревьями, небом и морем,
Где близь прорастает шутя в отдаленье,
Где счастье незримо вплетается в горе,
И вкось в уголке резолюцию пишет:
«Пусть дышит».

1988

Дух противоречия

Не могу, когда советуют: «успей!»
«Куй железо», говорят, «не упusti!»
Пусть я всех нерасторопней и глупей,
Да не стану, хоть ты тресни, уж прости!

Ты прости мне эту взбалмошную речь,
Эту мелочную жажду вольно жить —
Хоть по крошечке свободу-то сберечь,
По осколочкам в мозаику сложить!

1974

Евгений Будинас

Провинциальный дневник



Часть вторая. ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

I

Как бы я ни старался, добиваясь естественности и непосредственности суждений, бумага остается бумагой и смотрит с нее все же вымышленный герой, пусть даже читателю и предъявляется прямая речь от первого лица. Между живым и описанным — пропасть. Хотя бы потому, что я не живу и никогда не жил, руководствуясь оформленными мыслями, а отношение мое к друзьям, к окружающим, к событиям, вообще к жизни никогда не было однозначным.

Неудивительно даже, если многие из подлинных героев этих записей откажутся себя узнавать. То, что мы о себе думаем, далеко не всегда соответствует тому, как видят нас окружающие, тем более это никакого отношения не имеет к тому, что мы представляем собой в действительности.

Есть ли противники?

Иногда начинает казаться, что у горбачевской затеи противников вообще нет — с таким энтузиазмом все выясняют, кто более перестройщик.

Противниками перестройки называют друг друга ее сторонники. Это от полной неопределенности, что же именно Горбачевым провозглашено.

Играем в своих и чужих, делимся на команды, делимся и разноможаемся делением — на правых и левых, на консерваторов и радикалов, либералов и экстремистов, вступаем в оппозиции, снова делимся на самых правых и самых левых, на самых левых среди правых и, наоборот, спорим, кто правее и кто левее...

И во всей этой неразберихе все же прорисовываются контуры двух противоборствующих сил.

«Чистые» и «нечистые», формалы и неформалы, аппаратчики и Народный фронт...

Гвозди бы делать

Но отдыхаю душой от всей этой кутерьмы я только у Доменикана ¹. Где все как в старые добрые времена.

Вот сидим мы за столом в передовой колхозной столовой. И, как нынче полагается, не в общем зале, где столы пластмассовые, царапанные, а стулья в пятнах мазута, причем в каждом хотя бы один незагнутый или недозабитый гвоздь. Нет, сидим в банкетном межсобойчике — с крахмальной скатертью, белыми кал-

¹ Окончание. Начало см. «Дружбу народов» № 10 за 1990 год.

¹ В Барановичах, где Николай Владимирович работает первым секретарем райкома, мы с режиссером Юрием Хашеватским снимаем фильм «Магистраль» о выборе хозяйственной стратегии и ее осуществлении в этом крупнейшем сельскохозяйственном районе. Надо сказать, что снимать нам нелегко: все вокруг увлечены перестройкой, на этом фоне наш замысел выглядит конъюнктурным, тем более что идею фильма поддерживает сам первый секретарь ЦК Соколов, сделавший немало для аграрного успеха Барановичей. Соколов — власть, а власти по нынешним временам нужно противостоять, иначе пролетишь, не попав в перестройщики.

лами в хрустальной вазе, с хрустальными же фужерами, как в старые доперестроечные времена. Так же и закусыгаем (но не явно), удачно закончив съемочный день.

При этом редактор и режиссер смело спорят о политике Горбачева и о том, чем вся эта каша кончится...

При этом первый секретарь отмалчивается. У него свой принцип: или смело говорить, или смело действовать. Еще из доперестроечных времен.

При этом председатель передового колхоза упрямо долбит свое:

— Навес вот собрались строить, а труб нет.

Про Рыкова, про Бухарина, про Двадцатый съезд...

Отмалчивается первый, вовремя действуя.

— Вот соорудили мне сушилку, я им оплатил, а кабель где хошь, там и доставай, — поддерживает тему председатель.

О демократии, о свободе слова...

— Вот именно что, — продолжает председатель. — Стало ли хоть на один гвоздь больше? Кабеля нет, давайте кабель, мы оплатили и еще оплатим, но чтобы в комплекте...

— Пока не разберемся с историей, кабеля не будет, — грубо говорит режиссер, потому что видит: первый не дремлет и в посуде опять не пусто.

А на лице председателя ужас.

— Пока мы не разберемся с 37-м, и с 17-м, и с 29-м, — поясняет ему редактор, — мы не можем двигаться дальше.

— Пока не выясним, кто прав, — грохает свободной ладонью по столу режиссер, но не расплескивая.

— Меньше стало гвоздей, всего меньше...

— Из этих несгибаемых людей нужно делать гвозди, — придумывает выход режиссер, ища у меня поддержки.

«Нет», — думает про себя председатель.

Откуда я знаю, что он думает?

Оттуда, что сидим мы как бы в старые доперестроечные времена, и что председатель думает, то первый секретарь говорит. А первый говорит дипломатично:

— Вот вы тоже, бывает, спорите, спорите, кто прав, кто виноват, а потом находится один умный, который предлагает: «Хватит разбираться, хватит выяснять отношения, давайте работать».

— Вот и я о том же, — обрадованно подхватывает председатель. — За кабель уплачено, так и давайте кабель в полном комплекте. Зачем же я где-то налево буду мухлевать?

Гвозди бы делать из этих людей, думаю я, соглашаясь с режиссером. Несгибаемые бы получились гвозди. С такими гвоздями мы жили бы и при любом флаге, даже совсем без флага.

— Нельзя без флага, — подтверждает председатель свою несгибаемость. — Флаг должен быть. А то за четыре года ни килограмма цемента, чтобы по нарядам, все — где сшибешь...

Ванечка

Мне кажется, я знаю, кто первым крикнул в толпе «Вандея!».

Это отрицатель Ванечка.

Ванечка приехал из деревни, прописался у тетки, живет в отдаленном микрорайоне, в городе успешно окончил кулинарное училище, работает в кооперативе, но не из-за денег, как он мне пояснил, а для домоуправа: чтобы не приставал. Ванечка читает Адамовича и Стреляного, пишет политические стихи по-русски, пишет и на белорусском, владеет которым он вполне свободно, хотя разговаривать по-деревенски считает не совсем приличным.

Никакого умиления гласностью или свободомыслием у Ванечки нет.

Ничего такого Ванечке никогда не запрещали. Сейчас ему девятнадцать, значит, в восемьдесят пятом было... Думать и говорить, что думаешь, для него

вполне естественное состояние, не всегда только ясно, что говорить и как думать.

Еще Ванечка рвется что-нибудь делать, только пока не может определить, что.

Ну, например, Ванечке очень хочется сделать что-нибудь такое, чтобы за это попасть в тюрьму. Нет, не уголовником, а по политическим обвинениям¹. Поэтому к руководителям Народного фронта Ванечка очень критичен, горячо осуждает их за всякий компромисс с властями².

При полной неопределенности перспектив Ванечка своими исканиями вызывает у меня все же больше симпатии, чем интеллигентные представители старшего поколения, для которых увлеченность гласностью и дозволенным свободомыслием стала смыслом существования.

Боюсь только, что при нашем столь восторженном отношении к отмене запретов и при Ванечкином рвении он нам наворочает дел.

Во всяком случае, когда я думаю о последствиях опасной игры, в которой одной рукой (из центра) власти провоцируют демократию и свободомыслие, а другой (на местах) подавляют их³, когда я чувствую, как неотвратимо такая раскочка ведет к тому, что разгоряченные молодые люди начнут разбирать трамвайные рельсы, строить баррикады и швырять в витрины булыжники, я имею в виду прежде всего Ванечку с его неутоленной жадной себя проявить.

Все маются...

Перестрочная трескотня и всеобщая распущенность удручают Доменикана. В Барановичском районе, которым он партийно руководит, производят мяса на душу населения вдвое больше, чем в Америке. Там получают самую дешевую говядину в стране⁴ да, пожалуй, в мире.

При этом Доменикан сетует на жизнь, в которой ему, партийному работнику, приходится заниматься дорогами, привесами КРС, посевными, железобетонным и искусственным осеменением... А мечтает он заниматься только идеологией.

Но он лжзавит.

Больше всего он хотел бы заниматься именно тем, чем занимается.

От того, что удалось заполучить подряд на строительство какого-нибудь ультрасовременного импортного склада, он балдеет, как Ванечка, оторвавший за полцены супермодный диск какого-нибудь Майкла Джексона.

Почему же он в секретарях райкома вот уже столько лет, отчего не оборвался куда-нибудь к свиньям?⁵ На комплексе он как рыба в воде...

Не по той ли причине, по какой Ванечка рвется в политику, вместо того чтобы писать стихи и до одури слушать Майкла Джексона, Си Си Кетч или «Студионс»? Ванечка ведь знает, что если он не займется политикой, то ему очень даже могут предложить Иосифа Кобзона, который нравится Доменикану, или «Лунную сонату», которую любил даже Ильич⁶.

И Доменикан знает, что, оставь он секретарское кресло, никто не позволит ему заниматься коровниками или свиначниками так, как он бы того хотел.

¹ Причем Ванечке хочется не столько прослыть героем, сколько пострадать. Ну и еще, конечно, собрать материал. Для чего ему материал, Ванечке пока тоже не совсем ясно.

² Поэтому же на собрании избирателей по выдвижению кандидатов от своего микрорайона, оказавшись с дружиной в дверях, Ванечка удерживал напирющих райкомовских активистов с повышенной энергичностью. А потом и совсем разбушевался — это когда они с ребятами «из принципа» не пропускали председателя райисполкома, а милиция стала того проталкивать. — начал всех раскидывать, приговаривая: «Нет, уж сегодня я обязательно допрыгаюсь. Нет, уж сегодня я срок непременно схлопочу». Естественно, милиционеры, слышавшие такое, Ванечки сторонились, старались его не задевать. Не задержали его даже тогда, когда, неосторожно рванувшись, Ванечка разбил дорогостоящее дверное стекло.

³ Боюсь, это совсем не тот случай, когда правая рука не знает, что делает левая.

⁴ Не в магазины, разумеется, получают. При себестоимости килограмма говядины в 92 копейки рабочие комплекса «Мир» покупают ее по кооперативным ценам — 5 рублей за килограмм.

⁵ Без всякого обидного подтекста. Речь о возможности заниматься конкретным делом, скажем, свиноводством, сосредоточившись на нем и добиваясь уровня мировых стандартов.

⁶ Ничего против Кобзона я не имею, сложность лишь в том, что Ванечка имеет.

Все маются, все лукавят. Все сетуют, что их отрывают от идеологической работы, прекрасно понимая, что, только занимаясь производством, они как бы у руля.

Питались бы сами

Другое дело, что лучше бы они всем этим не занимались.

И, когда в докладе Горбачева на XIX партконференции я снова прочел о главной задаче партии — побыстрее накормить народ, я понял, что разговоры о нсвом хозяйственном мышлении — очередная пропагандистская туфта.

Сказали бы однажды:

«Слушайте, питайтесь сами».

И питались бы если не как в Швеции, то уж не хуже, чем финны.

Еще понятно, что, борясь за власть, аппаратчики не выпускают из рук распределение. Но зачем им и производство — в условиях, когда с таким производством скоро нечего будет распределять?

Где еще и какая партия занимается мылом, зубными щетками, мерзостными добавками в колбасу, из-за которых даже кошки отказываются ее есть, новой технологией обработки семян, мелиорацией и наведением порядка в общественных туалетах?

Где еще о партийном работнике, растеревшем ладонями колосок и в уме сосчитавшем, сколько зерновых выйдет на круг в целой области, говорят, что он толковый и знающий? Даже если он знает, как починить, где достать, чем засадить, из чего построить, да еще и как воспитать...

Воспитание чувств

Настолько привыкли жить в мире несуразных представлений и понятий, что совсем не воспринимаем ни их бессмысленности (скажем, идея совмещения власти ради разделения функций¹), ни их комичности, ни их иногда даже и издевательской сути.

Так, все мы много говорим о воспитании в «человеке на земле» (или о возвращении ему) чувства хозяина.

Полноте! Можно ли вернуть чувство, не возвратив землю?

И разве для исправления дел нам нужно заниматься воспитанием чувств, а не хозяйственными реформами?

Кроме того, раньше считалось, что чувствовать себя хозяином, не будучи им, позволительно только совершенно невоспитанному человеку, попросту хаму.

Обретение смысла

Мечтая о том, как бы освободиться от текущих проблем и заняться идеологией, Доменикан, мне кажется, плохо себе представлял, что это такое. Плакаты на ферме? Вымпелы и вручение наград победителям в соцсоревновании? Самовар на комплексе и комнаты психологической разгрузки? Воспитание чувства хозяина? Весь райком работает у него с восьми утра, идеологи приходят к девяти; Николай Владимирович говорит об этом иронично, но без всякого раздражения: так даже удобно, так они его не отвлекают...

Но вот митинг. вот забастовка на птицефабрике — неформалы нашли ему работу. Болты и гайки отходят на второй план, идеологическая работа наполняется содержанием...

— Откуда и взялась эта нечистая сила! — вздыхает Доменикан, и вздох его тонет в общепартийном вздохе.

«Нечистые» позаботились. Они подарили Николаю Владимировичу новые возможности. Займитесь нами — это идеология, занимаясь нами, вы останетесь у руля. Митингуйте, вы и будете ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО.

¹ Ну, здесь бессмысленность как раз замечена многими.

Но этого Доменикан не умеет и не любит. Митинговать умеет и любит Ванечка.

Начальники слишком долго занимались домами, шахтами, железобетоном и плакатами на ферме. Начальники митинговать разучились¹. С «нечистыми» они могут обходиться только как с болтами, в лучшем случае, как со стадом, которому надо обеспечить, чтобы было тепло и сухо, которое надо кормить и поить, музыку которому нужно включать для роста привесов, а для избавления от лишней активности самых активных лучше всего кастрировать.

Вот этим и занимаясь, начальники тоже подарили «нечистым» дело. Предоставив возможность бороться на митингах против кастрации и скотоводческих приемов в организации жизни. Деятельность Ванечки, таким образом, обрела возвышенный смысл.

Дальше? Дальше, казалось бы, все просто. Одни не хотят и не могут, другие и могут, и хотят. Вот и пусть бы себе. Одни пусть митингуют, а другие пусть увеличивают удои и привесы.

А затем...

Беда наступит, когда Ванечке захочется подержаться за руль. И «нечистые» возьмутся за гайки и болты, чтобы организовать наконец их производство.

Не дай бог дожить еще и до этой бессмыслицы.

Правда жизни

Барановичи не остров. Доменикан не Робинзон, он даже не фермер, призванный лишь производить продукции как можно больше и лучшего качества. Он партийный работник той самой партии, что взяла на себя обязанность накормить, обути, одеть народ и сделать его счастливым. А народ, как нарочно, счастливым себя не ощущает.

Делаем фильм о Барановичах, но из головы не выходит Ванечка. И вся эта история с 30 октября. Казалось бы, никакого отношения одно к другому не имеет...

Но не так все просто.

Вот я считаю, что надо поднять Доменикана с Соколовым (где-нибудь на комплексе, на стройплощадке), а режиссер Хашеватский сомневается: при весьма скептическом отношении к Ефрему Евсеевичу Соколову в творческих сферах это могут расценить как лизоблюдство.

— Соколов в Барановичах бывал? — наступаю. — Сотни раз. Его идеи здесь осуществляются? Доменикану он помогал, прикрывал от нападков начальства, сам шишки за собственную стратегию, которая в общий курс не вписывалась, получал?.. Вот и давай снимать правду...

— Хорошо, — говорит Хашеватский, — только тогда давай вставим кадры с разговором митинга.

Я смотрю на него недоуменно. При чем тут митинг?

— Митинг разогнали? Соколов об этом знал? Санкционировал? Или, ты думаешь, начальники без высшего благословения на такое пошли? Нет, уж если правда, так пусть будет вся...

«Всей правды» я не знаю. Надо признаться, работе над фильмом это мешает.

С одной стороны, на Соколова не похоже, чтобы вмешиваться в митинговые дела, да еще так безрассудно. Человек сельский, практический, он слишком далек от всего этого. С другой стороны...

И потом... Где реакция на все наши письма, протесты, телеграммы?

— Неужели ты и действительно допускаешь мысль, что Соколов непричастен? — давит Хашеватский.

¹ Не случайно в той же «ориентировке» прямо предписывалось выходить на встречи с народом партийным руководителям следует «обязательно в сопровождении опытных идеологов, способных выдержать любую диалектику». Но где они, эти идеологи? На митингах их что-то не видно.

Я молчу. Скорее всего, я такой мысли не допускаю. Но я литератор, профессионал. Если у меня есть возможность узнать, как было на самом деле, я обязан ее реализовать, не допуская никаких мыслей.

И я звоню Соколову, чтобы сговориться о съемке, а заодно выяснить его отношение к событиям 30 октября.

Сниматься в фильме он наотрез отказывается. Никто, мол, не поймет. Я настаиваю, но отказ категоричный, хотя чувствуется, что моя настойчивость его не слишком раздражает.

О 30 октября неожиданно заговаривает сам:

— Вы там все с режиссерами трудитесь... 30-го они, кажется, снимали?.. Просил своих показать, что там произошло, но они никак не могут найти пленку.

— Задание понял, — говорю я с готовностью. — Соберем материал и все, что есть, покажем.

— Вот и хорошо. А то мне тут доложили, я попросил создать комиссию, обязательно включив в нее представителей интеллигенции¹. Комиссия в один голос заверила: все в порядке, никаких нарушений... Пригласил руководителей МВД — в один голос, чество офицеров клянутся: ничего не было. А вы тут шумите на всю страну... Пришлось звонить в Москву, спросил МВД СССР прислать людей с проверкой — тот же результат. Всех опросили, все проверили, ничего не было... Самому, что ли, заниматься расследованием?

Будет видно

Две недели мы с Хашеватским собирали снимки, показания свидетелей, видеопленки — делали видеофильм о 30-м. Разговор с Соколовым придал оптимизма, мне показалось, что расследование событий может с помощью фильма выйти на новый виток. Ефрем Евсеевич спросил меня тогда, почему нет свидетелей насилия или применения газов. Прокуратура, мол, в один голос утверждает, что нарушений не было, так как заявлений от граждан не поступало².

Заявлений действительно почти не было. По той же причине, по которой не бывает очередей за икрой: нелепо стоять в очереди за тем, чего нет, нелепо доказывать истину, если к ней нет интереса.

Неплохо зная начальников, я полагал, что она и не будет им нужна до тех пор, пока не поступит команда разобратся. Дать такую команду в республике мог только один человек. Ему мы и намеревались показать свой самодельный видеофильм.

— Слушай, а ты не боишься, что Соколов его просто не станет смотреть? — спросил Хашеватский.

— Будет видно, — сказал я, понимая, что вопрос совсем не праздный.

На месте Соколова получать объективные свидетельства из первых рук захотел бы не всякий. Видеть — значит, знать, знать — значит, принимать меры. Меры хорошо принимать к тем, с кем не чувствуешь себя соучастником...

«Соратники»

Соколов работал первым секретарем обкома в Бресте, за десять лет много успел, собирался успеть еще больше. В Минск никогда не рвался, да и шансов никаких не было. Его «брестский вариант» многих раздражал, что и понятно: у всех ничего не получается, а у него неплохо выходит. Работая в Бресте, он и членом бюро ЦК не был. Догадался о новом назначении, когда позвонил Лигачев и сказал, что за ним послан самолет.

Назавтра, уже из Москвы, человек дела, он звонит в Совмин республики:

— В наших фирменных магазинах пусто. Значит, так... Свяжитесь с Домениканом, у него в колхозе «Заря» маринованные грибы и деликатесная тушенка, свинина, лосятина и немного конины — для экзотики, на комплексе «Мир» ко-неферма, там кумыс...

¹ В комиссию действительно вошли поэт Нил Гилевич и композитор Игорь Лученок. Оба ее несусветное заключение подписали.

² Прокуратура и по сей день утверждает.

В Совмине все поняли.

Рассказывают, что, услышав о новом назначении, никто из членов бюро не смог даже выдавить улыбки...

Нынешние «соратники» никогда его не поддерживали, не понимали: раньше с удовольствием упрекали в гигантомании, прожектерстве и прочих грехах, сейчас, во всем соглашаясь, лишь блюдут дисциплину, умным признавая того, кому досталась власть.

Помню, как однажды, стоя у окна и глядя на город с высоты пятого этажа красивого здания в центре Минска, он сказал, «забыв» о моем присутствии:

— Раньше меня никто не понимал, но работать можно было. Сейчас, кажется, понимают, со всем соглашаются, все поддерживают — еще бы! — но сделать ничего нельзя. Все как в вату...

Прознесено глухо, а в саркастическом «еще бы!» сквозила плохо скрываемая брезгливость, лишь закамуфлированная невыразимой тоской одинокого и никем не понимаемого человека.

Ничего не понимают...

Писатели, народ чуткий, казалось бы, могли поддержать, подхватить его стремление что-то сделать, могли понять, что только «подвижки» в экономике и дают возможности для развития культуры. Не поддержали, не подхватили, не поняли. Уже шла полным ходом «экологическая война», ломались копыя, трещали перья и было не до того. Одного неосторожного абзаца о языке¹ в первом же выступлении Соколова, который ему подсунули идеологи, готовившие текст, хватило, чтобы вызвать шквал неприятия... Но и любые хозяйственные начинания воспринимались в штыки. Разбираться в сути никто не хотел — все с восторгом и ликованием купались в невиданной доселе возможности быть бесстрашными и не взирая на лица. Соколову досталось все, что не доставалось его предшественникам, причем досталось сразу, в первые же дни, это свидетельствует о том, что дело вовсе не в нем...

Как-то в сердцах он пожаловался:

— Атомные станции нельзя, гидроэнергетика тоже не нужна, комплексы нельзя, мелиорацию нельзя, асфальт в деревне не нужен, метро в городе тоже, химию на поля нельзя, мощные тракторы тоже... Что можно?! Чем кормить народ?.. Вцепились, как борзые, — тут он даже руки вытянул, поочередно обхватывая запястья, — не вырваться, не продохнуть. — И, заметно смутившись собственного взрыва: — Вот с проектом Даугавпилсской ГЭС раздули историю. А я только пришел, сразу написал докладную в Москву Тихонову: если поставить дополнительные энергоблоки на Березовской ГРЭС, что и дешевле — там дороги, промбаза, кадры, то вся проблема с затоплением снимается... Но им я же не буду все это рассказывать и объяснять!

— Почему же?

— Все равно не поймут... Ничего не хотят слышать...²

Что теперь с ними?

Извечная наша торопливость мешает понять, из-за чего Горбачеву трудно, не позволяет различить индивидуальные черты участников сопротивления. Подойти к ним, что называлось, по категориям.

Одни верны себе. Их всю жизнь воспитывали и приучали, а теперь заставляют отказываться и отрекаться. Выбросить на свалку все ценности, обретенные за долгие годы, перечеркнуть жизнь — на это мало кто способен. Соколов вот не способен...

¹ Работая в русскоязычной Брестской области, от этой проблемы он был весьма далек.

² Справедливости ради: вмешательство творческих сил в производственную сферу, в борьбу с экологическими последствиями — сначала мелиорации, потом химизации, а затем и всякой индустриализации, урбанизации и т. д. — всегда страстное, но далеко не всегда компетентное, часто лишь подражательное (тем же западным «зеленым» — без всякого учета уровня развития: где мы, где они), обретало зачастую характер нападок, даже спекулятивного свойства. Кто-то и впрямь был озабочен, а кто просто наживал политический капитал, обретая в войне с начальством дешевую популярность.

Другим совершенно непонятно, чего от них хотят. Люди служивые, они готовы перестраиваться, но как? А жизнь-то — не балет, где можно оставить лишь самых талантливых, и не команда КВН, куда подбирают самых находчивых.

Третьи оказывают активное сопротивление. Для них торможение и саботаж — это естественный путь самосохранения. Но и здесь мотивы разделены — на сознательные и бессознательные (подсознательные), — как и все классовое. Эти в тупике. И если, скажем, борются с рынком, то прежде всего потому, что понимают, чувствуют или догадываются, что в самом начале рыночных отношений нетерпеливое большинство их скинет — еще до того, как реформы станут приносить какие-то плоды.

Да и не могут они перестроиться: генетически выродились... Из поколения в поколение...

Так что же с ними всеми теперь?

Заставить?.. Переломить?.. Уничтожить?.. Добавив к травимым за взгляды и убеждения новые жертвы очередного революционного обновления?

Сухари

Новые идеи нам хочется утверждать все же старыми способами. Чего прощ: перестроились сами, перестроили всех. Забыв при этом, что суть чаще всего не в идеях, а в способах их утверждать.

Здесь мне ближе всего Анатолий Иванович Стреляный, который начал сушить сухари¹, развернув газету с письмом Нины Андреевой, но не перестал их сушить, прочтя ответ ей в «Правде».

Суть-то одна.

И не дай бог, чтобы все «перестроились».

Пусть выступают, пусть доказывают — и про курс, который неизвестно к чему нас приведет, и про пропасть, в которую нас тянут экстремисты, и про то, как раньше было хорошо. Пусть вспоминают, какие буржуазные были генетики, какой плохой был «Новый мир» Твардовского и какой замечательный писатель был Леонид Ильич Брежнев и как правильно ему дали Ленинскую премию в области литературы. Пусть каждый имеет право голоса и дела. И не надо никого этих прав лишать. Пусть только и у других появится право оценивать их слова и их поступки.

Но этого вот у нас как не было, так и нет.

Поэтому давайте сушить сухари.

И, сражаясь с противниками нового, давайте помнить, что неизбежно время, когда новое как на противников ополчится на нас.

Таков закон отрицания, отрицания, отрицания отрицания...

Миссия

Ничего не хотят слышать, видеть, понимать...

Дело заходило слишком далеко, и однажды, пользуясь своим как бы обособленным положением «лично знакомого» и вовсе не желая драматичного исхода, я взялся враждующие стороны помирить. С такой вот праведной миссией я и явился к Ефрему Евсеевичу. Давайте, говорю, пригласим нашу старую «сборную»². провезем прежним маршрутом, пусть посмотрят, что изменилось, куда продвинулась область, стоит ли все это тиражировать... Потом, как обычно, обнародуем материалы.

Соколов оживился. Это здорово. Умные ведь люди, авторитетные... Нашим будет наука.

— Наших надо обязательно пригласить. Немного, человек пять-шесть, но самых злых. Группа нужна небольшая, но дотошная, чтобы действительно разобратся...

Соколов помрачнел:

¹ Как он сам сообщил об этом в «Московских новостях».

² Так в начале восьмидесятых мы называли команду писателей и аграрников страны — постоянных участников «Круглых столов» «ДН», один из которых проходил в Бресте. Тогда-то впервые был поднят на щит «брестский вариант», впервые Соколов получил публичную поддержку, с чего и начались мои с ним «личные» отношения.

— Наши не поедут.

Этот разговор я передал Нилу Гилевичу. Как в такой ситуации работать, как жить?.. Надо снимать напряжение, идти на диалог.

— Обязательно поедем.

Воодушевленный, я взялся за организацию. Всех обзвонил, всех оповестил, мало — уговорил. Продумал неформальный¹ маршрут, даже Соколова убедил — рвануть всей группой по новой дороге под Кобрином. Дорога еще неезженная, проходит болотами, через нетронутое Полесье, моста, правда, нет, но мы с местными начальниками придумали подогнать навстречу другой автобус, а людей переправить паромчиком. И романтично, и видно, с чего начинается мелиорация. Места там такие, что похоронить человека и то негде было — сплошная топь...

Взялся, повторяю, с энтузиазмом.

Но прошлый раз, в первую писательскую поездку, Соколов, секретарь обкома, занимался нами сам, полагаясь на своих, живущих в деле людей. Сейчас — совсем иной уровень! — он мог только поручить все соответствующим отделам ЦК. Маршрут — аграрникам, людей и программу — идеологам...

Начните со списков

Идеологи ринулись в дело с только им присущим умением.

Составили списки, кого пригласить. Всех главных редакторов — надо, всех заведомыми — надо, всех руководителей творческих союзов, корреспондентов центральных газет, радио, телевидения... Получилось многовато...

Набралось народу на три больших автобуса. Что делать? А тут как раз республиканский семинар — еще десяток «Икарусов». Вместе и попытатели по отработанному «Золотому кольцу»...

Москвичи, еще дома почуяв такое, как-то сразу устроились. Местных, преимущественно классиков, возили в конце колонны три дня — по свинарникам и коровникам, зернокомплексам, складам и даже клубам, ловко собранным из клешек, которые раньше применялись только для строительства скотоферм. Специально обученные и оснащенные мегафонами люди обстоятельно поясняли классикам специально подготовленные схемы, диаграммы и графики... От возбуждения кто-то сочинил частушку, она мгновенно распространилась, автора выявить не удалось, но чувствовался классический стиль, угадывался слог мастера. Что-то про «уроки Соколова», причем «Соколова» рифмовалось с «коровой», и получалось как-то так:

Список нет? Так это бык.
Сиськи есть! Значит — корова.

В поселке Жемчужный — гвоздь программы! Голландия! XXI век! — классики, уже вполне ошалевшие от избытка впечатлений, выходить из автобуса наотрез отказались...

Ефрему Евсеевичу про классиков, разумеется, доложили. Говорят, кто-то даже частушку хулиганскую то ли пропел, то ли прочитал с выражением.

Легко представить себе реакцию. Если даже Жемчужный им не по душе... О чем разговаривать!

Комиссия

Приехала комиссия ЦК КПСС. Два солидных, располагающих к себе человека. Вели себя довольно странно. Мне, например, назначили встречу в Союзе писателей, да еще на девять утра, когда там никого нет, более того, попросили никого из секретарей Союза не приходить. Естественнее было бы вызвать в ЦК и вести переговоры в начальственном присутствии. От этой странности поговаривают, что их прислал лично Горбачев. Похоже, что так оно и было...

Сразу за мной, на одиннадцать, пригласили Быкова. Он вошел как раз в тот момент, когда я отвечал на вопрос, какой выход вижу из идеологического конфликта в республике.

¹ Тогда это слово имело еще обычный смысл «Неформалы» еще только появлялись, они именовались самодеятельностью.

— Может быть, Василий Владимирович со мной не согласится, но я убежден: поставив руководить пропагандой нормального человека, который умел бы разговаривать на двух языках — языке интеллигенции и языке руководства, большую часть проблемы вы бы сняли¹.

— Почему не соглашусь? — сказал Быков весьма раздраженно. — Я-то соглашусь, они не согласятся. — Он показал наверх. — На это они не пойдут никогда. Никакое согласие, никакой мир им не нужны. Война ведь оправдывает их существование...

Правота Быкова подтвердилась очень скоро, когда Буравкину устроили обструкцию на сессии Верховного Совета БССР, буквально не дав говорить.

Лжесвидетель

Услышав про наш видеофильм о 30 октября, товарищи из Москвы вызвали его посмотреть. Смотрели вечером в Доме кино, опять без местного начальства. Уже во время просмотра в зал тихонько пробрался неизвестно кем проинформированный Кравченко².

Только просмотр закончился, Петр Кузьмич вскакивает, вроде бы ошарашенный увиденным.

— Потрясающий материал! Где же вы раньше были!

Своих, мол, подсиживаете. Почему, мол, раньше не пришли, не показали такие вопиющие безобразия? И нас теперь как бы подставили, когда поезд ушел. Дело закрыто и все решения приняты.

— Вы, — говорю, — Петр Кузьмич, не поняли. Это не для вас, фильм, а про вас...

Петр Кузьмич сначала смутился, потом овладел собой.

— Вот видите, — апеллирует к москвичам, — для них главное конфронтация, разжигание страстей. А ведь отношения с горкомом у товарища писателя, — и на меня смотрит с ленинским прищуром, — всегда были самые лучшие. Не так ли? Со мной лично нет. Не имел чести. Но с Владимиром Григорьевичем просто даже дружеские.

Я опешил. Никаких отношений с Галко у меня не было, кроме давней попытки попасть к нему на прием. И письма по делу Пети, оставленного им без ответа. И моего репортажа про 30-е, оставленного без внимания...

— Как же никаких?! Самые дружеские. У Владимира Григорьевича даже ваша книжка есть, с вашим собственноручным дружеским автографом...

От неожиданности я даже покраснел.

Но здесь и московские товарищи испытали неловкость.

Сор из избы

Показав ленту про 30-е комиссии, я поступил нечестно. Все-таки сначала я должен был показать ее Соколову. Теперь выходит, что я его как бы заложил, вынес сор из избы, отчего весь смысл затеянного пропадал. И никогда мне не узнать, как бы Соколов прореагировал, посмотрев материал. Кроме того, «закладыванию» я всегда предпочитал прямой разговор.

Только позвонив в ЦК и узнав, что Ефрем Евсеевич в Москве, и надолго, я успокоился.

■

Критики и критиканы

К четвертому году перестройки общество, кажется, уже во всех пластах дошло до признания самых критических оценок своего положения.

¹ Это не мое дело, но на вопрос, кого именно я имею в виду, я назвал Г. Н. Буравкина, поэта, председателя Гостелерадио БССР, члена ЦК и депутата Верховного Совета республики.

² Петр Кузьмич Кравченко — секретарь Минского горкома партии по идеологии. Должность странная в идеологическом учреждении. А по каким же тогда вопросам Галко?

Критикуют все. За исключением разве что самых правых, которые тоже критикуют, но лишь отдельные недостатки все еще наряду с бесспорными успехами.

Те, что первыми начали критиковать, что забили тревогу, теперь не критики, а критиканы. Их тоже критикуют.

Да, говорят им, надо критиковать, критиковать нещадно и нелицеприятно. Но критиковать, как все, критиковать и работать. Над искоренением недостатков, не забывая при этом о великих исторических завоеваниях, критиковать конструктивно, не забираясь слишком глубоко и не затрагивая основ.

Но разве можно искоренять, даже не заглянув в корень?

Критиковать, но не охаивать. Все плохо, партия берет на себя ответственность, признает просчеты, но партию не трожь. Ее признания — очередная демонстрация ее воли и способности к самообновлению. Чем больше признаний, тем величественнее сила.

Искать выход за пределами этой зафлажкованной территории — критиканство и болтовня. Мало вас били.

На критиканов топают, свистом и улюлюканьем их сгоняют с трибун. Требуют: «Давай выход!» При этом под выходом подразумевается только одно: призывай нас хорошо работать над искоренением недостатков.

Хотя хорошо работать никто не собирается. Так долго и так безуспешно работали хорошо, так хорошо создавали объекты для конструктивной критики, что у всех давно опустились руки.

А если на что и остались силы, так это как раз не работать, а митинговать. Тут как нельзя кстати и подвернулись первые в стране демократические выборы...

Разные мотивы

Александр Твардовский как-то сказал Хрущеву: «В Союзе писателей есть птицы поющие и птицы клюющие».

В перестройку, объявленную свыше, прежде всех рванулись клюющие. Это не требует пояснений: один раз выступив на собрании и наорав на начальство, обрetchь больше популярности, чем написав пять книг.

Одного абзаца в репортаже о 30 октября мне хватило, чтобы для многих в лагере неформалов сразу стать «признанным»:

«И пока министр внутренних дел республики генерал Пискарев с супругой мирно принимали минчан у себя в гостиной («Встреча для вас» на воскресном голубом экране), беседа о грядках, разведении цыплят¹ и любви к художественной литературе, вверенные ему войска упражнялись в маневрах, приближенных к боевым действиям — по подавлению инициативы и перестройки».

Пискарев — «не свой», ему я ловко «вмазал». И стал своим.

О чем меня не спросили...

— Странно, что вы оказались с ними... Где же ваша последовательность?

...И что я не ответил

Пока мне затыкают рот, пока меня вытуривают с партийного собрания, пока мне не дают писать правду, пока меня обманывают, да еще и пытаются выставить дураком, пока на меня прут с газовым баллоном или дубинкой, пока мне выкручивают руки, я должен идти в Народный фронт, пусть я не согласен даже с его названием.

Для меня это единственная возможность быть услышанным. Кроме того, мне совсем не нравится положение дворняжки, которой хозяин разрешает тявкать только на чужих. Мне хотелось бы самому определяться, кто для меня свой, кто чужой.

Вызов

Галко на мой репортаж о 30-м никак не ответил. Хотя в последнем абзаце я прямо требовал разбирательства и наказания виновных.

¹ По-белорусски было лучше — «курынят».

К такому я не привык. Я привык к реагированию, я и в газету когда-то пришел из-за того, что наивно верил в возможность, и написал — доказать. Добиться торжества истины и наказания виновных.

Так вот впервые и прозвучало:

— Я объявляю предвыборную кампанию против Галко.

Но почему же именно против Галко?

Этот вопрос задавался многими. Иногда и в снисходительной интонации:

— Дался тебе этот Галко! Чем он хуже остальных?

Пожалуй, что ничем не хуже. Но против кого еще я могу выступить? Против Соколова? Так он мне симпатичен. Против остальных? Их я не знаю. Я писатель, мне надо лично знать. Галко знаю, хотя бы по истории с Петей... Да и нельзя бороться сразу со всеми. Надо персонифицировать зло. Надо хоть кому-нибудь конкретно предъявить счет.

Бессмысленно? Бесперспективно?

Но уже есть оправдание: результат не важен. Пусть даже проигрыш, но зато какой сюжет!

Скажу честно, всю жизнь я только этим и занимался. Если и писалось что-то, то лишь в перерывах. Всегда хотелось участвовать, быть в гуще событий, всегда уверял себя, что собираю материал.

Вот и с «Домом в сельской местности» так было. Купил развалюху, стал перестраивать. Доставая материалы — собирал материал. Потом получилась книжка и все сошлось, все оправдалось и окупилось.

Хотя больше всего хотелось-таки построить дом. И теперь еще больше хочется — до дрожи по утрам, когда вскакиваешь, как от электрического разряда, и бросаешься к бумагам, к телефону, к машине, — больше всего на свете, больше жизни хочется победить.

Ставка на гласность

В Доме кино, в кабинете Никифорова (Олег Белоусов взял ключ) я объявил о создании клуба избирателей «Гласность». Удалось собрать кое-кого из журналистов (в основном, молодежь), им я и рассказал о своей ватее, стараясь нажимать на профессиональный интерес, на возможность быть в гуще событий.

Пришли двенадцать человек. Смотрели с недоверием. Слушали с опаской. У каждого должность, семья и перспектива быть вышвырнутым. О победе над Галко смешно и думать...

Договорились встретиться в среду. А пока изучать обстановку, придумать тактику, найти людей, готовых помочь...

В среду из этих двенадцати пришли только трое. Естественный отсев...

Но главное ребята сделали — по городу пошла молва.

В среду в Доме кино собрались человек триста.

Народ настроен оптимистически. Похоже, они собираются не только сражаться, но и выигрывать.

Позняк (его выдвинули в том же районе, что и Галко) выступил со своей предвыборной программой. Программа нормальная, кроме перегиба с шестой статьей Конституции. Зенон настаивает на ее отмене, мне кажется, это может многих отпугнуть¹, но спорить с этим законченным максималистом бесполезно.

Хотя сам я с ним вполне согласен.

Неловко получается, когда группа людей, пусть и многочисленная, вдруг провозглашает себя авангардом или даже умом, совестью и честью остальных, руководящей и направляющей силой, противопоставляя себя, таким образом, всем прочим, да еще узаконив это конституционно.

¹ Как стремительно меняются наши представления. Кто бы мог предположить тогда, что уже через год отмены этой статьи будут требовать все, а еще через полгода ее единодушно исключит (по предложению партийного пленума) Съезд народных депутатов. Тогда казалось, что для этого потребуются лет двадцать. Да и наше выступление на выборах против партийного руководителя у многих вызывало ужас. От меня слышны просто шарахались.

Как только такое же случится с Народным фронтом, у меня не останется иного выхода, как вступить в КПСС.

Разбились на группы, стали распределять обязанности.

— Вы с ума сошли! Что вы делаете? — Невысокая женщина тянет меня в сторону. — В зале же полно стукачей! Завтра всему городу будет известно...

В этом я не сомневался, но именно на это мы и делали ставку. Недаром над входом кто-то из энтузиастов уже водрузил самодельный плакат: «Гласность — это правда, правда вся и для всех».

В четверг повалил материал. Звонили и приходили, докладывали ситуацию на агитпунктах, несли списки участников собраний (тут же обнаружилась сплошная туфта), поставляли «компромат» на Галко. Какой-то чужак, его звали Василий Павлович, принес журнал «Партийная жизнь» аж за декабрь 1981 года, там заметка о пьянке на тракторном заводе, в итоге которой секретарь парткома В. Галко схлопотал выговор... Кто-то принес справку о производстве и реализации в городе колбасных изделий и мясокопченостей — заверенную и со всеми печатями...

(Документ содержательный, согласно справке за десять месяцев прошлого года из 397 тонн докторской колбасы, произведенной в городе, 61 тонна (15 процентов) пошли в ЦК и 94,3 тонны (23,7 процента) — в Совмин. Из восьмидесяти тонн твердокопченой колбасы «Советская» 18 тонн — туда же. А вот «колбаски охотничьи» совминовцам не достались, их совсем мало, они только для ЦК... Половина всей выпускаемой шинки, две трети пастромы, половина копченого филе и прочие деликатесы, которых жители полуторамиллионного города не видят никогда, употреблены «слугами» народа...)

С таким материалом, пожалуй, можно и выиграть...

Логика удвоения

Все заняты — хочь плачь.

У всех дела: работа, здоровье, дети, машина сломалась, в квартире ремонт...

Свободен только Василий Павлович. Ни одной встречи Галко с избирателями он не пропустил. Ходит за ним как привязанный, всюду задает вопросы. Василий Павлович — кадровый военный, теперь отставник, увлекается фотографией, немного подрабатывает на собственных «Жигулях». Живет Василий Павлович на частной квартире.

— Галко нас располовинил. Теперь как на Крайнем Севере. Год за два.

Я не понял, переспросил.

— Была очередь отставников на два года, он собрал всех, пообещал обеспечить за... четыре.

И при этом на встрече с избирателями Галко уверяет, что к двухтысячному году каждой семье будет обеспечена отдельная квартира, каждому жителю коммуна.

— Программа реальна, выполнима. Мы все просчитали. Если удвоить наши возможности...

До двухтысячного года, между прочим, всего десять лет, а удваивается пока только очередь.

Последние сомнения

«Лишить привилегий всех!»

Но, может быть, лишь всех, кто их не заслуживает?

Ну хорошо, выберем народного депутата, взвалим на него ворох проблем и отправим на съезд, снабдив на дорогу ливерной колбасой. Но будут школьные каникулы, он проведет на вокзале трое суток, карауля очередь где-нибудь на лестнице, потом еще сутки будет давиться пылью и ливером в общем вагоне дополнительного почтово-пассажирского состава... Что он там, на съезде, да еще опо-

здав, будет решать, выполняя наши указы? Кому продавать билеты без очереди? Кому отдать депутатскую комнату?..

Почему мы говорим «привилегии», а не положение в обществе?

Ну должен же хоть кто-то у нас занимать нормальное положение, ну хоть министр, депутат, секретарь ЦК, народный артист, заслуженный деятель...

Неужели мы и впрямь хотим, чтобы у нас распоряжались люди, которые, екаяывая больше всех, получали бы со всеми поровну? В народе таких зовут совсем дураками. То есть вместо дураков, которых и без того хватало, теперь пусть будут совсем дураки?

Конечно, остается вопрос, кто станет определять достойных и сколько при этом он урвет себе...

Конечно, очередей не должно быть. И дефицита тоже. Конечно, должны быть реальные деньги, на которые можно купить все, и эти деньги надо платить за нужную работу, тогда достойные, больше получая, будут соответственно больше и иметь без всяких распределителей...

Но этого нет. И ведь не будет, пока властвовать умами будут идеи всеобщего равенства и отмены привилегий, а распоряжаться всем будут дураки, озабоченные лишь тем, как бы урвать, или совсем дураки, ничем не озабоченные.

«Летучий голландец»

Специально для Хашеватского у меня припасена «кляква». Ребята с телевидения притащили видеосюжет о «совминовском» спеццехе, снятый на мясокомбинате, а потом снятый из передачи: Галко заверил телена начальство, что никаких спеццехов там нет.

С этим заверением хорошо сочетается справка о мясокопченостях. Ладно бы пользовались, так хоть бы не лгали.

Справку решили на собрании огласить в форме вопроса кандидату Галко, а когда тот заявит, что все это чушь¹, предложить публике посмотреть в перерыве небольшой видеосюжет.

— Но как начальники выкупают эти продукты? Где?.. Особенно сейчас, когда все на виду. — Это Хашеватский меня спрашивает. И не один на один, а на людях. — Вот бы хоть кого-нибудь подловить...

При этом он знает, что делает.

Назавтра, часов в шесть утра уже звонит незнакомая женщина. Надо срочно встретиться, только не дома, а на улице. Называться не хочет.

Встретились, раз надо.

— Вы интересовались, как они получают продукты? Очень просто. Им звонят и сообщают, в каком магазине сегодня можно отовариться... Специальная автолавка развозит, называется «Летучий голландец»...

(Боже, на какие только ухищрения не идут люди ради лишнего куска колбасы и коробки деликатесов!)

Как тут не вспомнить всемогущество завмага Пети и тщетность всех горкомовских попыток его прижучить!)

— Короче, вам позвонят, скажут время и номер магазина, дальше действуйте сами². Надеюсь, вам удастся их проучить...

Оказывается, есть мотивы, способные противостоять даже колбасно-сосисочному всесилию. Похоже, что Ельцин со своими популистскими идеями борьбы с привилегиями выйдет в предвыборной борьбе победителем. Боюсь, что и не только в предвыборной...

Девальвация

Внести предложение о просмотре «мясного» видеосюжета поручили Наташе³. Девушка хрупкая, но постоять за себя может.

¹ Так и было. Здесь во Владимире Григорьевиче мы не ошиблись.

² Снять «Летучий голландец» не удалось по техническим причинам: такая оперативность возможна только со своей камерой. Ребята из видеокооператива справедливо (с учетом риска) согласились только за тысячу рублей. Таких денег у нас не было, и спонсора, готового оплатить сюжет...

³ Естественно, от просмотра собрание отказалось. Председательствующий предложил лучше устроить на мясокомбинат экскурсию, а то эти киношники мало ли что могут заснять. «Я вот все время к товарищу Галко наклонюсь. А они заснимут, потом подмонтируют и будут говорить, что Владимир Григорьевич здесь дирижирует».

Наташа — эмансипированная студентка, отличница. Накануне последней сессии ее вызвали в деканат. У вас, говорят, хороший диплом, вот только за первый курс по «Истории КПСС» тройка. Надо бы пересдать.

— Она же получена в застойный период! Сейчас эта тройка — как орден.

Так и Галко на встрече с избирателями: на вопрос Василия Павловича о взысканиях гордо ответил, что они были, но в застойный период. Теперь это уже как бы заслуга.

А взыскание-то из-за пьянки...

Пересмотр ценностей и их девальвация, конечно же, неизбежны. Но означает ли это, что всякий троечник тех времен уже отличник?

Узнав, что я пишу заметки, Наташа вдруг взволновалась. «Это же надо быстрее, иначе все изменится и никому уже не будет нужно. Получится... исторический роман».

Про роман сказала, брезгливо сморщив носик, потом спохватилась: она не хотела меня обидеть, но время летит неотвратно, историю поэтому надо все время переписывать — не переписанную кто же ее будет читать?

Идти друг другу навстречу

«Нечистые» подали заявку на митинг памяти Кастуся Калиновского. Ладно, согласились начальники, все-таки национальный герой. Подготовили актив, приехали заранее, соорудили трибуну (и заняли ее), подогнали «воронки» — на случай энсцессов. Выступили с речами. Позняк с компанией постояли, послушали (их к микрофону не подпустили), потом возложили цветы к мемориальной табличке.

А отрицатель Ванечка подходит к предгорисполкома Михасеву, приветливо улыбается (что подозрительно), руки в кармане курточки. Кто-то бросился: бомба!

А Ванечка вежливо так говорит:

— Спасибо, Владимир Иванович, что помогли нам провести мероприятие. Может быть, вы теперь все время будете работать по нашим заявкам?

Бросьте!

Стороны, не сговариваясь, идут на компромисс.

Начальники соглашаются на уступки: пусть гласность, только не трожьте основоположников, не порочьте прекрасную идею.

Неформалы тоже соглашаются: сокрушают устои под видом «горячей подержки» перестройки, начатой партией.

Хотя все понимают — партия здесь ни при чем. Начинала не она, а лишь немногие из ее руководителей (от многих пришлось сразу же избавиться), сумевшие создать видимость единства партийных рядов.

Но единство мнимое. И здесь свои и чужие. Горбачев, Ельцин, Стреляный, Лигачев, Соколов, Коротич, Печенников, Михасев, Адамович — это что, одна команда?¹

Да и взаимные уступки — лишь видимость. На самом деле неформалы ненавидят аппаратчиков. Аппаратчики ненавидят неформалов.

И никто из них не собирается отдавать власть Советам.

Иногда на митинге неформалов или на партийном пленуме все это вдруг выплескивается, прорывается.

¹ В. Г. Галко, выразив накануне окружного предвыборного собрания удовлетворенность тем, что все его конкуренты все-таки члены партии, явно лукавил. Смело предположить, что кое от кого из соратников по партии он с удовольствием бы избавился любыми средствами, что, впрочем, на собрании подтвердилось. Когда его «товарища по партии» и предвыборного конкурента, молодого актера Виктора Манаева подчиненные Галко публично топили в помоях, приготовленных заранее (об этом позднее), на лице партийного секретаря не дрогнул ни один мускул. Да и после собрания Владимир Григорьевич выглядел скорее удовлетворенным, чем удрученным.

И тогда звучит правда...

На которую все смотрят, как на голого короля еще до того, как нашелся сообразительный и неспорченный мальчик.

Альтернатива

Проблема выбора сводится к вопросу, с кем быть.

Или с властью, стараясь как-то совершенствовать ее, укрепляя прогнившие леса управленческой системы, но понимая, что все это латание безбрежных дыр, которые разрастаются быстрее, чем идут ремонтные работы.

Или, поняв неизбежность краха, примкнуть к ее ниспровергателям, ускорять развал, помогая новым лидерам.

У прежних не выйдет уже ничего. Хотя бы потому, что им уже никто не верит.

Удерживаясь у руля, отчаянно сражаясь с рынком, с кооператорами, с «нечистыми», последними усилиями сводя концы с концами, что-то производя, что-то распределяя, вводя талоны и карточную систему, выводя народ на субботники, замораживая (по требованию народа) цены, продавая масло и лампочки по паспортам, отказываясь от привилегий, ратуя за справедливость, обманываясь и обманывая, «чистые» лишь оттягивают развязку, усугубляют кризис, роют могилу еще глубже. Лихорадочно пытаюсь отыскать выход, лишь все больше заводят страну в тупик.

Выхода два...

Выходы между тем известны, но непроизносимы. Их два.

Или вынести Покойника из Мавзолея и похоронить его по-европейски, после чего начать жить и работать, что называется, не по идее, а по уму.

Или... занести в Мавзолей Второго, поняв наконец, что такая наша судьба. В мире идей ОБА диалектически двуедины.

Или мы отказываемся от иллюзий, в том числе и от таких радужных, как социальная справедливость и всеобщее равенство, и начинаем жить по законам общественного развития, а не согласно благим пожеланиям.

Или преданно следуем Идее, выискивая у ее классиков разрешающие абзацы, чтобы как-то сводить концы с концами и довольствоваться тем, что есть.

Повод для оптимизма!

Есть же у нас всего очень много.

Опыт Доменикана, да и всей Белоруссии показывает, что есть еще возможности прорывов. Еще есть сумасшедшие, готовые вытаскивать на себе воз любым, самым противоестественным способом. Глаза еще застыли стяги, в ушах звучат победные марши, мы еще не врезались, мы еще не утратили надежды выйти из пике. Доменикан, Сивков, передовые технологии, «чувство хозяина» — мы еще что угодно готовы придумывать, чтобы оттянуть развязку, чтобы не касаться главного, вокруг которого ходим, как вокруг сала...

Страна такая огромная, ресурсы далеко не исчерпаны, еще где-то на полках завалялись плавленные сырки, где-то можно достать бутылку водки, нет — так сделать ее самому и закусить корой если не бананового дерева, так какой-нибудь сосны. И, пока еще как-то существовать можно, переворот в сознании вряд ли произойдет. Мы будем надеяться, что вывернем, пока не врежемся.

Пойдя путем демократизации и развала Административной Системы (похоже, что процесс уже необратим), мы не успокоимся, пока не дойдем до полного кризиса, когда каждому станет ясно, что давно уже варится суп из топора. Когда у нас не будет ни мыла, ни соли, ни спичек, ни даже бумаги, чтобы печатать талоны на них, когда ничего не будет, кроме полицейских методов подавления недовольных, тогда будут сломаны эти методы, выброшен из супа топор и начнется кривая восхождения.

В том, что начнется, сомнений нет. Но нет и личного оптимизма. Еще десяток лет падать, столько же подниматься к нынешнему состоянию... Даже до сегодняшнего уровня любой нормальной страны вряд ли придется дожить...

И не поможет тут никакой Народный фронт... Со всеми его замечательными Ванечками, Василиями Павловичами и Наташами...

Люди идеи

Может быть как раз из-за того, что слишком долго, почти всю свою активную жизнь я уповал исключительно на энтузиазм, на идею, сейчас стал доверять людям, которые преследуют не столько возвышенный, сколько практический интерес.

Я даже Позняка воспринимал бы иначе, получай он за свою деятельность хоть мизерную, но зарплату.

III

В лучших традициях

За три дня до окружного собрания и за час до собрания кандидатов в окружной избирательной комиссии актеру Виктору Манаеву позвонил начальник следственного отдела УВД Мингорисполкома В. Сташкевич. Настойчиво попросив встретиться, он намекнул Виктору, что это в его интересах. «Мы к вам очень неплохо относимся, уважаем как артиста, но зачем же вы занимаетесь политической борьбой? Значит, так... Или вы снимаете свою кандидатуру, или... Короче, вас ждут большие неприятности...»

Как заметил один из злопыхателей, на окружное собрание народ шел в театр¹, а попал в цирк, да еще со стриптизом...

В вопросах истина

— Главное — это задать правильные вопросы, — говорил в Доме кино Василий Павлович. — Я это точно знаю. Как только товарищ начинает отвечать, сразу ясно, какая птица.

— В вопросах истина, как сказал поэт, — поддержал активиста художник Микола Купава, чем очень воодушевил Василия Павловича, который, как человек в прошлом военный, всегда прислушивался к мнению «руководства».

Скажу сразу, что с вопросами ничего не получилось. Задать их Владимиру Григорьевичу оказалось трудно.

Шумовой занавес

Расчлений и властвуй.

Все расчленить. В том числе и зал с президиумом. Как это сделать? Очень просто: усадить в первых рядах актив, снабдить его соответствующими инструкциями, впрочем, если актив настоящий, он и сам ориентируется, когда проявлять активность. В зале выключить микрофон...

В театре на Таганке еще в начале шестидесятых я впервые увидел «световой занавес». Проектора отбивают зал от сцены.

В Русском драмтеатре в Минске начальниками был изобретен занавес шумовой. В зале кричат, а в президиуме не слышно. В зале называют десять фамилий, а председательствующий воспринимает только одну, хорошо ему известную.

Да и президиум избирали так же.

— Кто вы такой? — орут из зала председателю. — Хотя бы представьтесь! Но он не слышит.

Тогда Сергей Михнов² прорывается к микрофону. Как в гандболе к воро-

¹ Окружное собрание Московского территориального округа проходило в помещении Русского драматического театра в Минске.

² Старший научный сотрудник ВПИ, член оргкомитета ВНОФ.

гам. Его хватают за фалды, а он вперед. Его блокируют, а он выворачивается и проходит.

Его председательствующий услышал.

— Какое имеет значение, кто я такой? Будем считать, что я просто сапожник¹.

Зал доволен. Даже удовлетворен. В зале хлопают. Кто-то на балконе протестует, но его не слышно.

Сатисфакция

Равновесие установилось, только когда вышел на трибуну профессор Мисюк. От возраста он глуховат, пользуется слуховым аппаратом, но во время выступления его отключает. Чтобы не отвлекаться. Он токует, президиум требует соблюдать регламент, галерка хохочет, первые ряды свистят и топают, но Николай Семенович невозмутимо продолжает свою «идеологическую нецензурщину»:

— А я на фронте в партию не вступил. Я подал заявление в 43-м. Но замполит мне сказал: «Как же ты подаешь заявление, если ты не убил ни одного немца». Я забрал заявление, поняв, что я не хочу вступать в партию, которой руководят такие олухи, которые не знают, что хирург на войне должен оперировать, а не стрелять.

Регламент

— Я хотел бы поподробнее остановиться на позиции белорусского Народного фронта,— сказал очередной выступающий², поставив портфель рядом с трибуной.

Зал дружно зашипел, зашикал, затопал, засвистел...

— Я хотел бы...

Но дальше уже ничего не было слышно.

— Кто вы такой?!

— Пусть представится!

— Самозванец!

Выступающий стоял твердо, вцепившись костлявыми руками в трибуну. Это был опытный оратор, он прекрасно знал, на что идет, выходя к микрофону. Но такого он не мог предвидеть.

— Я даже не знаю, с чего начать...— мямлил он на четвертой из пяти минут, отведенных на выступление.— Дело в том, что Народный фронт..

И снова шквал в зале. Партийный актив работал четко: Народный фронт не должен пройти, он должен быть освистан. Здесь вам не на митинге. Регламент истек, выступающий вынужден был покинуть трибуну, так и не осилив звуковой барьер словосочетания «народный фронт».

Напрасно вы так...

— Вы напрасно так себя ведете и не слушаете, что вам говорят,— сказала выступившая следом фронтовичка, судя по колодкам на пиджаке мужского покроя.— А уважаемый профессор Залесский хотел вам рассказать, что за негодяи собрались в так называемом Народном фронте...

Ну да, это был профессор Залесский, историк донисторической школы, он просто забыл снабдить свою речь о БНФ довеском «так называемый».

Зал пристыженно притих. Но уже поздно.

Теперь в газетах напишут, что кучка молодчиков, прорвавшихся на собрание, не дала выступить старому интеллигентному человеку.

¹ Шутка. Он работает генеральным директором обувного объединения «Луч».
² Собраний в округах было несколько, но из-за своей похожести они слились в одно.

Расхождение

— Ну какая разница? — прямо в ухо шепчет мне Бодрячок, оказавшийся в соседнем кресле¹. — Подумаешь, вышло расхождение... Чего он так жмет, чего давит? Важен факт, репрессии были, признаны преступными, сами и разобрались... Чего теперь разжигать страсти? Чего ворошить?

Это Позняк на трибуне рассказывает о Куропатах, о том, как на теле Белоруссии появилась эта страшная, кровоточащая рана, о том, чего стоило вытащить из-под спуда мракобесия эту жуткую историю, и о том, как теперь правительственная комиссия, созданная по требованию общественности, умышленно занижает (в десять раз!) количество людей, уничтоженных в Куропатах перед войной.

Разница между тем есть, и весьма существенная. Потому что если там захоронено до 35 тысяч невинных жертв (как утверждает комиссия), то жертвы, возможно, сплошь партийные активисты, репрессии против которых уже давно ставятся как бы в заслугу аппарату, пострадавшему больше всех. А если (как доказывают археологи во главе с Позняком) до трехсот тысяч (только здесь, в одном месте, разово), то речь уже о планомерном истреблении населения.

(Я бы мог и не поверить Позняку, не знай, что в правительственной комиссии вел расследование прокурор Кондратьев (первый заместитель прокурора республики), тот самый, который, просмотрев наш фильм о 30-м, в месте, где отчетливо видно, как три офицера налетели на парня, вытащили его из толпы за волосы и пхнули в лицо баллоном (тут мы даже сделали раскадровку), откровенно зевнув, сказал:

— Заснять-то вы засняли. Но вот теперь докажите, что в этом баллоне газ. А может быть, просто дезодорант?..

В том смысле, что против прокуратуры, доказавшей, что ни газов, ни насилия не было, нам с Хашчеватским слабó.)

Вопрос, на который ответил Галко

— Скажите, а как вы себя чувствовали до апреля восьмьдесят пятого? — удалось-таки кому-то из нашей команды забросить наживку.

Галко услышал.

— Скажу прямо. Я честно работал, я верил. Кое в чем, конечно, сомневался, но как-то не придавал этому значения. Как и все... Апрельский пленум мне открыл глаза.

Взялось!

— Вот вы говорите, что по команде сверху глаза у вас открылись. А где гарантия, что по такой же команде они не закроются снова?

Играем, как умеем

[Оправдание «пациента»]

Пронаблюдав, с какой свободой и легкостью ведет Горбачев игру, как свободно вступает он в дискуссию, как умеет он уговаривать, нажимать, отступать, соглашаться, не замечать, как непосредственно он живет на глазах миллионов — огорчаясь, радуясь или вдруг оказываясь в полной растерянности, открыто демонстрируя свои качества, — пронаблюдав все это, мы киваем на него местным начальникам: вот, мол, как нужно себя вести, вот как надо гнуть свою линию.

¹ Бодрячок первым встрепенулся. Слово «перестройка» легко и естественно вошло в его лексику:

— Мы ее ждали! Втайне надеялись. И всегда были готовы...

Но почему именно ждали? И почему надеялись втайне?

Поразительно, с какой точностью бодрячки почувствовали момент, когда стало безопасным открыть миру свои надежды, свои внутренние осуждения и даже тайное сочувствие.

Но где гарантия, что тайна кончилась и ничего нового не ожидается втайне? Или доброго старого? Чтобы вздохнуть с облегчением:

— Ну вот, наконец началось

При этом мы забываем, что так они просто не могут.

Горбачев — форвард, выдающийся игрок, может быть, самый фантастический в истории.

Но это мастер высшей лиги, оказавшийся вдруг в провинциальной команде. Играет он на всю катушку, срывает овации... А потом не без лукавства требует, чтобы остальные «подтягивались».

Всякое сравнение хромает, это — еще и тем, что Горбачеву позволено то, что не позволено никому в команде, сколь бы способен он ни был. (Это отчетливо проявилось, когда на первой сессии Верховного Совета утверждали председателя КГБ. На вопрос одного из депутатов о численности погранвойск тот сначала обернулся к Горбачеву: «Эту цифру, наверное, можно и назвать?» И, только получив подтверждение, осмелился обнародовать «государственную тайну». Но, если спрашивал, значит, не знал — можно ли? — значит, решения на сей счет не было. Значит, Горбачев принял его сам, лично.)

Тот же Галко, да будь он сто крат талантливее, чувствуй настроения, знай, как себя вести и что говорить... Разве ему разрешат? Он вынужден повторять не им написанную роль, не имея никакого права хоть в чем-то от нее отступить, позволить себе хоть минимум импровизации.

Фантастичность же, мне кажется, в том, как Михаил Сергеевич вырвался в форварды — прежде чем проявил себя игроком высшего класса. Как его проглядела команда?

Легко представить, какое раздражение у нее теперь это вызывает.

Вычленение неугодных

С Манаевым все прояснилось в перерыве собрания.

Девочки из «Белгоспроекта» принесли исполощенные. Они с утра пошли к автотранспортникам — агитировать за Манаева. Пришли, как положено, сразу в партком, а их там ждали:

— Разве вы не знаете, что ваш Манаев... Ну, понимаете... Короче, уголовник... Между прочим, он сам заявил, что снимает свою кандидатуру.

Пять претендентов на один мандат многовато, подумали помощники Владимира Григорьевича. И решили вычленить хотя бы одного.

Выбор пал на Манаева. Он артист, настороженное отношение к этой категории в народе известно...

Как решит собрание...

Выступающих вызывать по списку. Мы своих людей знаем. Которые нахальные и сами лезут к микрофону на сцене, тех мы голосованием. Демократично. Он просит минуту? Вопрос задать?.. Хотя пять минут, хоть двадцать вопросов, но вот, пока проголосовали, дать или не дать товарищу слово, пока произвели трудоемкий подсчет голосов, уже не пять, а пятнадцать минут кануло, время истекло, кончился, товарищ, ваш регламент. Из-за этого и прения придется завершить... не начиная. Тайно голосовать? Хорошее предложение. Надо бы, да опять же жалко времени. Пока бюллетени отпечатаем, пройдет три часа. Кто против того, чтобы тайное? Большинство. Что незаконно? Что бюллетеней нет?.. А разве их нет? Есть бюллетени, но проголосовали же против тайного, да уже и вообще проголосовали... Как за что? За все, что надо, проголосовали. И против того, что не надо...

Недаром, ох недаром на встрече окружной комиссии с кандидатами, где много спорили о форме голосования, составе президиума, регламенте выступлений, только Владимир Григорьевич Галко сидел молча и, когда к нему обращались, повторял неизменное:

— Как решит собрание.

Так спокоен и уверен в себе может быть только человек, уверенный в собрании, в том, что оно решит как надо.

Как надо и решили: Владимир Григорьевич Галко — самый достойный из всех кандидатов.

Об этом и в газетах на завтра написали.

И в цветных, красочных листовках, которые по городу разнесли, положив в каждый почтовый ящик.

Короче, все как и 30 октября.

Дискредитация

На этот раз я его улыбку увидел.

После собрания Галко задержался на лестнице перед входом в театр. Я подошел ближе. Он посмотрел на меня, глаза наши встретились. Галко улыбнулся снисходительно, как бесспорный победитель бесспорно поверженному.

Я не выдержал:

— Что же вы не ответили на мой вопрос?

(Вопрос был о недоверии, высказанном собранием городской общественности. Я и выписку из протокола приложил.)

— На ваш вопрос я готов ответить в любое время, — говорит он гордо.

А вокруг уже две толпы. Одна, побольше, вокруг Владимира Григорьевича, другая как бы вокруг меня. И тут он обратился ко мне по имени-отчеству. Я опешил.

— Вы же не простой человек, — сказал Галко, обратившись ко мне по имени-отчеству. — Вы могли у меня все это давно расспросить, прямо в кабинете. Ну, как обычно...

— В вашем кабинете я ни разу не был.

— Как то есть не были? Сколько раз!

— В вашем кабинете я никогда не был. Однажды просился, но вы меня не приняли.

И тут из той части толпы, что вокруг Галко, выступает лжесвидетель Кравченко.

— Как же, как же, — говорит он, оглядываясь по сторонам как бы в поисках очевидцев и тоже обращаясь по имени-отчеству. — Сколько раз я вас там видел! Вы и книжку Владимиру Григорьевичу подарили. С дружеским автографом...

Не без тонкостей

Повторилась история с 30-м, только не так грубо. Без применения физической силы.

Но повторилось и ее продолжение. Тоже не такое безграмотное — кое-чему народ научили.

Вы листовки в каждый почтовый ящик? Мы тоже. Вы цветные? Мы тоже. Вы про кандидата народа Галко? Мы тоже про него. В каждый почтовый ящик, те же самые.

В народе смотрят и думают: перебор. На душе противно...

Между прочим, придумал ход Василий Павлович. Его еще раньше Владимир Григорьевич обучил логике удвоения.

Ненаказуемый не обучается

Сотняные дяди и тети, отправляющие службу в высоких кабинетах, что-то слишком часто стали напоминать нашкодивших недорослей. Привычно и с готовностью (от чувства безнаказанности, что ли?) они лепечут в ответ на проработку других дядь: «Мы нечаянно, мы не знали, мы не хотели, мы больше не будем...»

Все мы, мол, еще только учимся демократии.

Чего, собственно, не знали? Что обманывать Ванечку нехорошо, что законы существуют не только для него, но и для тех, кто их сочиняет, а всякий проступок, тем более начальственный, должен быть наказуем?.. Что это за наука такая — демократия, в каких гимназиях ей обучают?

Пока не поздно...

На окружном собрании Позняк выступил замечательно.

Прежде всего он говорил мягко. Чего от него никто не ожидал. Это и не выступление было, а скорее рассказ — о неформалах «Мартирологе», Народном

фронте... Сумел заставить себя слушать. Его даже спросили про национальную символику: что, мол, там с историческим флагом? Позняк согласно кивнул, отпил из стакана воды.

— Сейчас я вам растлумачу...

И «тлумачил» дальше с такой заботливостью, что свистеть не хотелось даже заворгу райкома Харкевичу, которого (просматривая потом видеопленку) я за этим занятием опознал.

А когда Позняк снял свою кандидатуру, встречено его неожиданное заявление было аплодисментами.

Испытав облегчение, «чистые» даже не заметили, как они попались. Кому хлопают, кого слушают? А он, воспользовавшись умиротворенностью зала, тихо, спокойно не сказал, а попросил:

— Подумайте. У вас еще есть время...

Проявил великодушие.

Времени же отводил совсем немного.

При всей вдруг проявившейся мягкости он бескомпромиссен, пожалуй, даже жесток.

Во всяком случае, когда однажды, отправляясь наверх, я спросил у него, пойдет ли он на встречу с Соколовым, если мне удастся того уговорить, Позняк ответил категорическим отказом.

— Зачем? Уже поздно.

Подведя, таким образом, черту.

И я понял, что Соколов опоздал.

Хотя иногда исходит от него такая теплота, такая мягкость, такая обволакивающая забота, что кажется, пусть бы стал он «белорусским старостой», звали бы его дядька Зенон, жили бы коммуной, плели лапти, рассказывали бы сказки...

Когда поезд ушел

Теперь, много спустя, когда поезд уже ушел и процессы необратимы, я все думаю...

Можно ли было их помирить?

Нужно ли было?

Конечно же, все зависит от ракурса: судя исторически, сглаживать конфликт, продлевать агонию одних и притормаживать других совсем незачем. Но в бытовом, коммунальном значении для всех, пожалуй, было бы лучше помириться, понять друг друга и вместе как-то выправлять ситуацию, добываясь каких-то улучшений, а не полного краха.

Конечно же, говоря возвышенно, компромисс, например, Творца и Деятеля вряд ли возможен. Художник не будет понят политиканом.

Но скинем на провинциальность, заземлим сюжет, в котором все мы не Творцы и Деятели, не художники и не государственные мужи, не поэты и не политики и даже не праведники и не подлецы, а смертные люди — дети, отцы, братья, жены, бабушки и дедушки... Чего же тут лезть на рожон, доходя до смертоубийства? Так и просится в строку ковбойский анекдот о пианисте, стена вокруг которого изрешечена пулями. И надпись: «Пианист играет, как умеет. Не надо в него стрелять».

Стрелять — это тоже искусство, но обучиться ему все же легче, чем игре на фортепиано.

Начало конца

Ванечка им опасен, Позняк опасен, но еще опаснее, еще грознее, до безнадёжности — хоть стреляйся, хоть в петлю лезь — опасна им Галя.

Ванечку они проглядели, Позняка выдвинуло время, Галю они опасной сделали сами.

Галю в институте, где она работает архитектором, выдвинули в выборщики. Она была в команде Манаева. К окружному собранию мы дали ей простое поручение — встать и высказать (обязательно четко и громко) свое предложение. Давайте, мол, кандидатов выслушаем, но давайте сразу решим, что мы их всех пропускаем. Почему, мол, этот зал в пятьсот человек будет решать за сто девяносто тысяч?

Галя все это сама придумала. И даже написала речь.

Но ей не дали сказать. Ни слова. Сколько она ни пыталась. Она вставала и начинала говорить, но ее перебивали, на нее кричали и шикали, ее дергали за подол удлиненного, в талию пиджака (надела к торжественному случаю) и так и не позволили продвинуться дальше первого слова, не выученного, даже не записанного, но ставшего вдруг осязаемо чужим:

— Товарищи!

Я видел все это несколько раз, просматривая пленку, видел, как она мучается, но уже не плачет, а упорствует и лезет на эту стену... И каждый раз я содрогался, понимая, что эта худенькая женщина, этот слабый человек, совсем лепесток, соломинка — уже несгибаемый воин, причем воин до полной победы. Она будет успокаиваться, забываясь в борьбе (за существование) с бытовыми глупостями, когда дома нет мыла или стирального порошка, а на работе ластиков и карандашей, отвлекаясь, она будет затихать, как заплаканный ребенок, но потом среди ночи она будет в ужасе просыпаться и снова и снова переживать этот кошмар, видеть этих ненормальных, бешеных, рвущих ее на части, торжествующих, топающих и свистящих...

— Товарищи! Дайте же мне сказать!

...Оргкомитет порекомендовал им Манаева, тот им показался не очень сильным и опытным, они стали вместе с ним сочинять программу, она и сложилась лучше всех, человеческими словами — о том, как много в Белоруссии бедных людей, а 400 тысяч стариков получают пенсию меньше 50 рублей в месяц, и как это недостойно советского человека, о том, как Манаев будет бороться за справедливость, за равенство на деле, а не на словах, о том, что он молодой и смелый человек и на него будет трудно давить сверху...

Я встречал ее потом часто, она попросила у меня видеопленку с записью этого собрания со всей его гнусностью, мерзостью и шантажом, чтобы показать ее на работе, она не пропустила больше ни одного сборища, а потом я увидел ее на последнем многотысячном митинге в канун выборов — осунувшуюся, почерневшую, без головного убора на холодном мартовском ветру, не в первом ряду, а где-то далеко, среди тысяч людей, взявших за руки и стоящих неприступными цепями вокруг ротонды с микрофоном на голом холме, потом я услышал ее голос, ставший знакомым (от прослушивания видеозаписи), в ответ оратору из «чистых», вызывающему к «благоразумию» («Ведь все, что у нас есть, дала нам наша Советская власть». Ей послышалось — горком и Галко со своими активистами), в ответ ему она громко, как на том собрании, закричала:

— А что же, что у нас есть?

И вот тут, увидев ее накануне выборов и услышав ее пробившийся через толпу крик, я вдруг понял, что поезд ушел.

Команда Галко проиграла. Есть закон обратного действия, и если завтра Галко не изберут, то Галя и все двадцать пять тысяч людей на митинге забудут о нем на следующий день. Но если он завтра проскочит, как проскочил на окружном собрании, то все двадцать пять тысяч будут оскорблены и растоптаны и никогда ему этого не простят. Как не простили «победы» в сражении у Московского кладбища 30 октября и помоев в этом «цирке» 13 февраля.

Ложь не забывается, она не может взять верх, даже если обманута и оскорблена одна только Галя. Нельзя, нельзя, нельзя человека топтать, нельзя безнаказанно оскорбить честь и достоинство тысяч, сотен, двадцати, одного...

— Товарищи! Дайте же мне сказать...

IV

Свобода слова

Не получив слова на окружном собрании, «нечистые» взяли его на улице. У кого власть, у того и микрофон... Но и наоборот.

Пыжики

«Нечистым» санкционировали предвыборный митинг. Они заявили сто тысяч участников и потребовали площадь у парка Победы. Долго спорили, но в конце концов сошлись на стадионе «Динамо». Отвечать за порядок взялся горсовет. За это ему предоставили право открыть митинг, а потом передать микрофон неформалам.

— Что вы делаете? — говорил я Позняку. — Это самоубийство. Площадка ограниченная, они привезут своих людей, займут места, захватят микрофон. Будет еще одно окружное собрание.

Позняк покачивал головой.

— В зале на пятьсот мест они могут обеспечить большинство. На стадионе — никогда.

Народ валил валом.

«Чистые» устроили пропускную систему. На центральную трибуну пускали только своих. Потом кто-то из выступавших глянул снизу и ахнул:

— Смотрите! Пыжики...

На центральной трибуне, прямо перед микрофоном, установленным на поле, огромное рыжее пятно.

Так и пошло: пыжики, пыжики...

У микрофона брожение. Свалки нет, но вот-вот начнется. Сверху хорошо видно, как оттесняют друг друга плечами. Объявляют одного выступающего, но говорят почему-то другой.

Охотно дали слово Алесю Галькевичу — от рабочих.

— Нам много говорят: не надо митингов, давайте о работе. Нам много говорят про то, как повысить урожайность и производительность труда, как наладить торговлю и контроль, с нами советуются. Это правильно...

Кто-то засвистел, но на него со всех сторон зашикали. Свистели по очереди — «чистые», «нечистые», — но сейчас непонятно, поэтому зашикали все.

— Это правильно. Иначе и нельзя, ведь еще Колумелла, римский философ, учил: если хочешь приручить раба, советуйся с ним о работе.

Трибуны взорвались. Взметнулись бело-красно-белые флаги — свой!

Галькевич стоял выжидая.

Наступила тишина. И вдруг ее прорезал звонкий детский крик:

— Пыжики? Чаму вы не хлопаєте?

Стадион провалился от воя и хохота. Так бывает, когда любимый форвард, гордость команды, решающий гол засадит в свои ворота.

Назавтра в газетных подборках под общим названием «Демократия — не для демагогии» безвестный заведующий одного из роно делился с читателями своим возмущением: «И уж совсем непонятно мне, как педагогу, зачем было демонстрировать присутствующим ребенка, произносящего несколько слов по-белорусски».

Наверное, он прав. И в том, что демократия — не вседозволенность, тоже. Но если бы вдруг Владимиру Григорьевичу Галко пришлось проиграть на выборах, то первым, а может быть, и решающим голом в его ворота я посчитал бы не грозную резолюцию, принятую абсолютным большинством на митинге, в которой ему снова было высказано недоверие, не звонкие речи выступавших, а этот вот взорвавшийся над стадионом сорокатысячный сокрушительный хохот.

Социальная справедливость

Вернуть народу награбленное? За это голосуют, даже и не воспринимая всерьез. Пыжиковых шапок на всех, понятно, не хватит, но хоть подурчимся, сведя счета.

Коммунисты — вперед

На митинге подходит Ванечка. Надо бы посоветоваться, мы тут хотим выставить свою кандидатуру.

— Опять какой-нибудь экстремист? — спрашиваю я иронично. Ванечка не обижается, ему даже нравится, когда я его называю экстремистом.

— Нет, что вы! — говорит он, меня успокаивая. — Человек серьезный, солидный, даже член партии...

Про членство Ванечка говорит уважительно. Я подумал, что ослышался. Ладно бы в депутаты кандидатура, так нет же — в Сейм Народного фронта (Ванечка готовится к предстоящему съезду).

Тогда я подумал. При всей критичности отношения к партийной линии отчего уважение? Почему и в народные депутаты коммунистов выдвинули больше даже, чем на прошлых выборах?

Конечно, окружные собрания сыграли роль сита. Но дело не в них. Там ведь только отсеивали, а выдвигались-то предпочтительно люди, хоть и критически настроенные, но члены партии.

Здесь, кроме привычки, мне видится, как минимум, три причины.

Во-первых, стереотип сознания. Мы все еще по-школьному верим в «святость» идеи, «извращенной» не настоящими партиями, что как бы само собой подразумевает наличие партийцев настоящих.

Во-вторых, страх перед экстремизмом и даже перед всем неформальным. За формальной причастностью к партии видится какая-то гарантия сдержанности, официальности, а значит, и общественной стабильности. Ванечка это понимает, оттого и меня успокаивает.

В-третьих, тот же Ванечка считает, что уж если человек, будучи членом партии, так категорично настроен, что к ним примкнул, значит, товарищ он принципиальный, бесстрашный и по всем статьям прогрессивный. Ванечке все же нужны привычные авторитеты, за которые он готов был бы стоять горой.

Кто объяснит?

«Чистые»! Чего вы боитесь?

Экономика сильнее политики. Вы позволите людям работать (тем, кто хочет), дадите им возможность работать и зарабатывать. Вы (вы государство, вы власть, вы правящая партия) защитите их от тех, кому это не нравится. И от тех, кому нравится получать, а не зарабатывать. И вас на руках будут носить, вам издали будут кланяться, как уже десять лет назад кланялись крестьяне в грузинской Абаше, когда партийные начальники во главе с Гурамом Мгеладзе (героем застойного периода, перекочевавшим и в период гласности), первым из партийных начальников в стране провозгласившим еретическую мысль, что социализм — это не обязательно пустые амбары, позволили им возделывать кукурузу, откармливать свиней, собирать орехи и продавать их, даже не кому вздумается, а только своему колхозу или совхозу.

Но кто, кроме Макса Кунявского, политэконома, сумеет им это объяснить? Не там, в Грузии, не там, в Москве, а здесь, в Белоруссии, где все так запуталось, отчего всем так безнадежно тяжело.

Кто скажет языком, понятным и властям и толпе?

Кто поможет историку Позняку увидеть реалии не только вчерашнего дня (сегодня пока еще вчерашний день), но и завтрашнего, который скорее всего ему принадлежит?

Кто поможет Соколову понять, что будущее все-таки принадлежит Позняку, кто подскажет ему, что от того, как быстро он это поймет, зависит, станет ли острота будущих конфликтов доходить до крайних степеней или нет?

Бомба!

— Марик, ты слышал, как я тебе свистел?

Кунявский слышал. Ему сегодня свистел весь стадион.

Макс Кунявский — человек косыгинской реформы. Мы знакомы с ним двадцать пять лет. И, сколько я его помню, он писал «Социал» — исчерпывающий труд о социализме, что-то вроде Марксова «Капитала». Из политэкономов тех дней он чуть ли не первым заговорил о противоречиях нашей процветающей системы, причем противоречия основных. Свою докторскую он защищал... двенадцать лет. (Шесть раз его работу утверждали в ВАКе и возвращали обратно — после очередного сигнала, отпечатанного на машинке с разбитыми литерами и через один интервал, а потом размноженного на ксероксе и рассылаемого в сотни адресов. Сигналы по тем временам обычные: отступление от марксизма-ленинизма, посягательства на нерушимость централизованного планирования, технократизм, самое страшное — рынок, ну, разумеется, и сионизм. О сионизме говорила статистика: 33 процента его учеников — евреи, в то время как в белорусской науке их всего 11 процентов, а вообще в нашем обществе — менее процента. Учеников у Кунявского было три — один действительно еврей по национальности, что и составило даже не 33,3, а 33 и 3 в периоде процента...)

Однажды он встретил меня мрачный, как время, в котором он жил, в то совсем не для всех мрачное время. Наконец он понял, что делать, он нашелединственное средство, которое может все изменить. Я смотрел на него иронично, при всем своем оптимизме в панацею я все-таки не очень верил. Что же это за «средство»?

— Бомба! — рявкнул он так, словно в комнате и впрямь разорвалась граната. Потом, еще более помрачнев, сказал, как я сейчас: — Впрочем, все это уже было...

Кончилось тем, что он вынужден был «эмигрировать» в Литву¹, где его идеи пришлось ко двору и он был воспринят, в результате чего кроме уважения коллег обрел еще и диплом доктора наук.

Прокол

Кунявский расстроен и убит неудачей. Он сегодня вышел на поле к микрофону, точнее, выходил дважды. Первый раз его объявили «чистые», но без очереди, отчего пришлось подождать, а потом выходить снова. Выступил он по делу, но как-то дурацки начал.

— Я коммунист, — сказал он. — Мне есть что сказать. Я пришел в горком партии и попросил слово на этом митинге...

Дальше он еще что-то говорил. Без всякого сомнения, это были умные вещи, которые всем небесполезно бы услышать...

Но его никто не слушал, ему свистели и улюлюкали с самого начала и до самого конца. Потому что он не с этого начал — не туда пошел и не там попросил слова.

Митинг — не окружное собрание, слово для выступления на митинге здесь же надо и просить. Чего, казалось бы, проще? Но как не просто до этого дойти.

«Ваши не лучше...»

— Ладно, — сказал Кунявский, когда я ему позвонил, чтобы спросить, слышал ли он, как я ему свистел. — Ты, я вижу, уже с ними... Ладно, — повторил он, — но учти: новый хрен старой редьки не слаще.

Наша Надежда!

Надежда Максимовна, как обычно, перепутав мои имя с отчеством, как обычно, настойчиво попросила прибыть к восьми вечера к дому напротив кафе на улице Одоевского.

— Вас встретят и проведут, — сказала она таким тоном, что сразу стало ясно: выспрашивать дальше бессмысленно.

¹ Кавычки не только потому, что дело было задолго до «Саюдиса» и вслух производимых идей отделения, но и потому, что эмигрировал Кунявский лишь частично: жил с семьей он в Минске, на работу лет пять ездил в Вильнюс.

Звонит она часто, правда, мне никак не удается ее персонифицировать: вокруг Позняка их всегда несколько, совершенно одинаковых, революционно активных, заговорщически конспиративных.

Сейчас мне кажется, что впервые я их увидел тридцатого, мы с Виктором и Сергеем тогда обменялись понимающими улыбками: они были с цветами, что в сочетании с внешностью аппаратчиц среднего звена выдавало в них подсадных уток.

Но бросились на служивых в штатском, подняли крик, выдрали, вытащили из цепких рук оперативников не кого-нибудь, а самого Позняка.

И тогда, в толпе, и позднее об этом часто говорили: отбили, мол, Зенону женщины. И только сейчас я понял, что женщины были не случайные, с улицы, а именно Надежды Максимовны.

Вокруг Позняка они, как куры вокруг петуха, кудахчут, проявляя восторженную внимательность и подчеркнутую революционную заботливость, даже таская в хозяйственной сумке вместе с листовками и номерами «Новин»¹ термос с горячим чаем и бутерброды.

Последнее время, когда народу вокруг него довольно много, Позняк их заботливостью несколько тяготится, чуть даже раздражается, но очень мягко, как человек, понимающий, что он же их и приручил. Заметив это, я старался как-то его спасти, вытаскивал из окружения и предлагал подвезти, это было удобно еще и потому, что давало возможность выпросить последние новости. Как-то незаметно это и меня выдвинуло в число приближенных, с кем советуются, кого информируют, кому докладывают и чьи замечания с готовностью воспринимают.

Вот и сейчас Надежды Максимовны возникли из темноты втроем и вперевой зашептали, что напрасно я подкатил к самому дому, что лучше бы машину оставить в стороне, что все уже собрались, но проходить надо по одному, что Зенон Станиславович обязательно будет, что меня могут проводить. Меня провели в подъезд, потом спустили в подвал, провели какими-то лабиринтами в небольшую комнату, какую-то щитовую, где собрались уже человек пятнадцать народу, чтобы шепотом, не называя имен, подвести итоги и наметить линию поведения на ближайшие дни...

Одна из Надежд Максимовен раздала собравшимся листы отпечатанной на машинке с разбитыми литерами через один интервал огромной телеграммы об окружном собрании, которую всем надлежит отправлять фотоспособом в Москву из разных мест, с разными подписями и по разным адресам, включая ЦК КПСС, Президиум, КПК, Центральную избирательную комиссию и так далее. Шепотом и постоянно оглядываясь на кирпичные стены, заставленные щитами, она объяснила, что это только образец, что фактуру нужно проставить свою, а отослать телеграмму надо сегодня же, иначе истечет срок рассмотрения...

Пока она все это объясняла, я стал изучать текст, который мне показался странно знакомым. Нет, не содержанием, а тональностью письма, какими-то особенными, непривычными оборотами.

Что-то похожее я однажды читал. Даже машинка с разбитыми литерами оказалась мне знакомой.

Глянул на подпись в конце телеграммы

Кольцо

Глянув в конец телеграммы, я вздрогнул, узнав хорошо мне знакомую подпись под давними «телегами», рассылаемыми на Кунавского во все инстанции...

Круг замкнулся.

Закономерно или нечаянно Кунавский с Надеждой Максимовной снова оказались по разные стороны баррикады. Только теперь поменявшись местами.

«Бедный Галко,— подумал я, все еще разглядывая телеграмму.— Они его достанут. Бедный Марик. Бедный Позняк. Бедные мы, бедные, ну неужели это все с нами навсегда?»

¹ Самиздатовская газета БНФ.

Шлем телеграммы, письма, резолюция собраний. Требуем разбирательств, комиссии, наказания виновных.

Чего жаждем? Справедливости. И чувствуем себя при этом борцами.

Но вот Надежда Максимовна на Кунявского слала «телеги»... В чем разница? Она ведь тоже боролась, тоже жаждала, тоже хотела вывести всех на чистую воду. Разоблачить шайку, добиться заслуженного наказания. И сейчас, заваливая Москву телеграммами по 30-му, по вероломству окружных собраний, по Галмо персонально, тоже жаждет. Думаю, что в обоих случаях она искренне хочет добиться одного и того же — справедливости и справедливого наказания виновных.

Тогда это вызывало неприязнь у Кунявского и у меня. И у всех, кто был с нами. Теперь это вызывает аналогичные эмоции у... Кунявского и Галко. И у всех, кто с ними.

Но разница, разница-то в чем?

Личность и роль

И письма доходят, и комиссии приезжают. Но ответа пока нет. И нет торжества справедливости.

Полноте, да может ли быть ответ? Можно ли надеяться на помощь Москвы?

Кроме всего, демократичным ли было бы такое вмешательство хозяина? Великий в истории человек, раскачавший гигантский дредноут, как весельную шлюпку, похоже, что он и впрямь сделал все возможное, много больше, чем самые безумные пророки смели предполагать. Созданы условия.

Дальше? Дальше экзамен, кто кого, экзамен на выбор. Выбирать-то должно большинство... Те правила, по которым оно намерено жить.

Случайно ли, преднамеренно ли, но Горбачев избрал гениальный путь демократизации. Объявив перестройку, но не определив, в чем ее суть. Распахнув ворота, но не сказав, куда идти. Предоставив обществу величайшую и невиданную из свобод — свободу выбора.

Разбирайтесь, выбирайте, решайте и решайтесь. Я управляю вами, вы послушно идете за мной. Но это только кажется. Вы управляете мною, осуществляя выбор и вынуждая меня ему следовать...

Ничуть не активнее, чем это можете вы.

Впрочем, ход настолько гениален и исторически справедлив, что трудно дозревать кого бы то ни было в авторстве.

V

Куда меня занесло!

Вся эта деятельность затягивает, как насос. Оказывается, легче легкого окататься, однажды решившись, по ту сторону баррикады (или по эту, что в данном рассуждении не важно). И нужно тут лишь одноразовое мужество, дальше все катится само.

Но не оставляет ощущение, что не следовало бы заходить так далеко. Мне кажется, что и делу-то может помочь человек, который вне системы. Голос третьего в драке очень часто оказывается решающим. К нему, бывает, прислушиваются...

Боюсь только, что снова стать «третьим» мне будет совсем не просто.

Роковые свершения

Ничто, даже стихийные бедствия, не бывают для нас столь губительными, как урожайные годы. Разве что футбольные победы.

И то, и другое немедленно ставится в заслугу Системе.

При Машерове в Белоруссии однажды собрали по 28 центнеров зерновых с гектара, тут же он выступил на совещании, заявив, что в хозяйствах, где не получают хотя бы тридцати центнеров, будут снимать с работы руководителей.

Следующий год дал немногим больше пятнадцати центнеров.

Пять, десять лет кряду могут быть «крайне неблагоприятными климатически», но вот удача, вот что-то сложилось, и сразу — о «закономерной прибавке», обязательно в итоге «грамотной и последовательно проводимой политики», разумеется, с «полной мобилизацией человеческого фактора».

Понять смысл этих словосочетаний невозможно, зато с причиной энтузиазма все просто: люди, постоянно тарахтящие о преимуществах системы, и должны жадно втягивать доказательства, как долго работающий вхолостую насос, дожавшийся наконец до живительной лужицы.

Год 87, принесший Белоруссии 35 центнеров зерна на круг (были хозяйства, собравшие и по сто центнеров), стал для республики роковым. Он уверил начальников, что они на верном пути.

Когда поезд ушел

Об этом я и хотел сказать Соколову, показывая видеофильм о 30 октября. И еще о том, почему в республике, где такие достижения, народ не торжествует в комсомольские праздники, а выходит к кладбищу на митинг. Ефрем Евсеевич — хозяйственник, вкладывающий в гектары и центнеры душу, и мне казалось, что он меня поймет.

Но он меня не принял и фильм смотреть не пожелал, поэтому мне ничего не остается, как попытаться понять его. А заодно и разобраться наконец, что же на самом деле произошло в Минске 30 октября. Имея в виду не канву событий, а их суть.

Догадка

Не могло ли стать, что нашим идеологам взаимное непонимание Ефрема Евсеевича Соколова и творческой интеллигенции с прочими неформалами представлялось благом, причем спасительным?

Настолько благом и настолько спасительным, что ради того, чтобы рассорить всех окончательно, стоило бы пойти на самые безрассудные шаги, включая организацию физического столкновения?

Чтобы ответить на такой вопрос, необходимо ненадолго оставить Ефрема Евсеевича и спуститься этажом ниже — туда, где уютно угнездились его верные и преданные помощники в вопросах идеологии и пропаганды роковых свершений...

Первый набросок к историческому портрету

Ефим Савельевич¹ с давних времен (Ванечка, пожалуй, еще не успел родиться, а Соколов стать даже завсельхозотделом), а теперь кажется, что и всегда, восседал в просторном кабинете с приемной и секретаршей на четвертом этаже красивого здания в центре города и заведовал пропагандой². Формируя мировоззрение, он изрядно в этом деле поднаторел и очень любил свое замечательное время, когда газеты славил, писатели не злословили, художники ваяли, композиторы сочиняли, Ефим Савельевич утверждал, исполнители исполняли, а руководители принимали или не принимали, что в значительной мере тоже зависело от него, хотя и не только. Приняв, представляли к наградам и званиям, не приняв, подвергали обструкции или предавали забвению. Евреи (они тоже почему-то относились к его сфере, впрочем, это скорее от пристрастия, чем по долгу службы) помалкивали. Или уезжали.

В должности своей он чувствовал себя настолько спокойно, дело знал настолько хорошо, что у него оставалось время даже пописывать книжки, которыми никто не зачитывался, служили они лишь подспорьем: ему — в семейном бюджете, а пропаганде — в идеологической борьбе с незримым, несуществующим, а потому особо опасным противником.

¹ Писалось, разумеется, с натуры. Фамилию не указываю, имя-отчество помню, чтобы никто не догадался, о ком речь.

² Должность тоже мифическая.

В апреле восемьдесят пятого, продолжая заведовать пропагандой и лишь взяв на вооружение несколько новых слов, Ефим Савельевич сначала ничего не почувствовал, потом почувствовал. Вместо обычной удовлетворенности почувствовал какое-то даже беспокойство. Причиной чему был, разумеется, Ванечка и выросшая вместе с ним всеобщая распушенность.

Один выскочка на писательском пленуме (в присутствии московских представителей) до того разошелся, что прямо с трибуны сказал Ефиму Савельевичу, что он подлец. И вслух пожалел (под общие аплодисменты), что сейчас не старые времена, не то бы он его вызвал на дуэль, а сейчас вместо этого предлагает исключить его из членов Союза писателей — за моральное несоответствие личности и художественное несоответствие книг.

Ефим Савельевич тоже пожалел, что сейчас не старые времена, отчего ему пришлось это заявление проглотить, взяв выскочку на заметку — на случай, если все повернется.

Нет, Ефим Савельевич не надеялся, что удастся вернуть старые времена; ему не старых времен хотелось, ему хотелось уцелеть в новых.

Ефим Савельевич задумался.

Выхода всегда два (как в том анекдоте про Боровицкие и Спасские ворота). Или перестроиться, или уйти. Уходить не хотелось.

Перестроиться (слово до чего несерьезное) — это значило как-то по-новому себя проявить. Перехватив перестроечную инициативу. И, тяжело вздохнув, Ефим Савельевич вышел на улицу.

Первый выход

На улице Ефим Савельевич давно не был, тем не менее за дело взялся, мобилизовав предварительно все имеющиеся ресурсы.

Попробовали с Куропатами. Дело прошлое, вины за репрессии ни на ком из нынешних нет, а возможность прекрасная: отвлечь народ от насущных страстей, выпустить пар... Ладно, собрали официальный митинг, но получилось бледновато. Там неформальная толпа, народ по лесу валом валит, плачут даже, кричат в свои откуда-то раздобытые (или самодельные?) мегафоны, а здесь никто слушать не хочет, хотя вроде бы и подготовили актив...

Нет, гнаться за лидерством, тут и там перехватывая инициативу, это не подходило. Акуле состязаться с мартышкой в прыганье по деревьям неловко, да и не солидно. С Ванечкой он, солидный партийный руководитель, на митинге будет дискутировать, что ли? Еще неизвестно, что Ванечка выкинет. Кабинетный работник силен в кабинетных глубинах, куда кого хошь можно затащить и спокойно разделать. Кого хошь можно обозвать болваном, а не поймет, так выставить. А тут, на улице... За инициативой не угнаться, управлять тоже как-то не получается.

Значит, одно — запретить.

Запретить все это — инициативное, самодеятельное, оттого плохо управляемое, непредсказуемое и далеко заводящее.

Думая о людях

Значит — страшное. Страшнее жуткой истории тридцатых и сороковых, страшнее пятидесятых, страшнее террора, страшнее раскулачивания и голодного мора, страшнее доносов, страшнее атомной войны. Страшное дело чернобыльской катавасии, навалившейся так некстати...

С Чернобылем-то что? Здесь-то, казалось бы, все ясно: посторонний грех. Тут бы заорать вместе со всеми, раньше всех, к стране обращаясь, к правительству, к миру — трагедия ведь, помогите! Молчали, сохраняя спокойствие, соблюдая себя. Думали о людях.

(Рассказывают, что когда первая партия врачей и дозиметристов из Минска, направленных в Зону, добралась до Гомеля, специалисты потребовали средства индивидуальной защиты: «Приборы зашкаливают, дальше нельзя». Секретарь обкома партии строго воззвал:

— Какие костюмы, какие респираторы! Кому нужен этот маскарад? Подумайте о **людях**.

Вы, мол, приехали и уехали, а людям здесь жить. Хотят ли эти люди здесь жить, об этом их не спрашивали. Зато, заботясь об их настроении, устроили в Зоне... футбольный чемпионат.)

Ну ладно, пусть не успели первыми, не смогли понять, не сумели почувствовать катастрофу, не хватило мужества объявить страшную правду — все казалось, что удастся, как обычно, присыпать песком, упрятать под бетоном, загладить асфальтом, запутать в словоблудии. Припудрить чужие грехи, как привыкли поступать со своими. Но ведь всплыло, выползло, обнаружилось, тут-то отчего вместе со всеми не закричать?

Какое закричать? **26 апреля**, третья годовщина, день скорби и предупреждения. Народный фронт вывел людей на площадь перед Домом правительства: «Час молчания». Здесь-то **отчего** не выйти вместе со всеми? Не митинг ведь, где речи, где смута, где **призывы**, — лишь тихие свечи, тысячи огоньков слабым трепетным пламенем, тысячи скорбных и строгих лиц.

И тишина.

«Не позволять!» Но можно ли не позволять **молчать**?

«Запретить!» Но можно ли **запретить тишину**?

Можно. Можно занять территорию, загроздить площадь какими-то ящиками и постаментами, нагнать уйму строительных машин, выстроить на площади военный оркестр (уж не инструментами ли собирались митингующих глушить? Насколько утонченнее, чем в Тбилиси, где действовали лопатками), выставить кордоны милиции, затолкать людей в цветники... А назавтра — повестки, приводы, допросы. «Откуда узнал? Где взял свечку? Зачем пришел? Почему молчал?»

(Милицейский капитан, доставивший мне повестку, все никак не мог ответить, в качестве кого меня вызывают — ответчика? свидетеля? Или, может быть, пострадавшего?)

ЗАЧЕМ ПРИШЕЛ. ПОЧЕМУ МОЛЧАЛ. Виновных — к штрафу, к ответу. За что? За **ИНИЦИАТИВУ**. За самое опасное, **даже если это инициатива молчания**...

Но это потом, это продолжение, это «мероприятие» в отработанной технологии — без грубостей, без спецсредств и эксцессов. Даже запрет в газете уже изощренный, в стиле «работы по-новому, в новых условиях»:

«К сведению пешеходов. С 25 по 27 апреля (26-е стыдливо не указано) 1989 года на площади будут производиться разметка улично-дорожной сети, тренировки (что за маевка без тренировки?) и репетиции участников демонстрации 1 Мая.

Обращаемся к пешеходам с просьбой уделить особое внимание безопасности в указанные дни в зоне площади».

(Ради безопасности пешеходов за полчаса до начала «мероприятия» и выстроилось по периметру площади милицейское оцепление. Во дворах разместились крытые военные грузовики.)

Это потом, а начало мы помним — **30 октября**.

«Слово — оружие»

Запретить не получилось. Им запрещаясь, а они лезут. Им затыкаешь рот, а они **вызывающе молчат**.

Значит, проучить. Сначала заманив, а потом наказав.

Для этого подготовить кадры:

«...Одна из целевых установок экстремистских групп — протащить призывы «Народного фронта» в широкие слои населения. С этой целью ими задумано провести 30 октября с.г. под прикрытием религиозного праздника поминовения умерших «Дзяды» массовый митинг, с тем чтобы опять же под шум о Куропатах рекламировать лозунги о создании «белорусского народного фронта».

Какой коричневый гений водил вашим пером, Ефим Савельевич, когда из-под него червями выползали строки «ориентировки», с которой и вышел на кладбище ваш «актив»?

«Необходимо создать обстановку идеологического доминирования, что чрезвычайно важно в условиях отставания в экономической и политической сферах. Оборонительная позиция, занимаемая подавляющим большинством партийных и идеологических органов, может привести к отставанию и в сфере идеологии».

Вот она, цель, вот замысел, достойный Учителя и Отца. Создать ситуацию, спровоцировать столкновение, захватить инициативу.

(В беседе с «президентом» республики Г. С. Таразевичем, пытаюсь оценить ситуацию, мы сошлись, пожалуй, только в одном: объяснений происходящему может быть только два — неопытность, а где-то и прямо глупость должностных лиц или... Или преднамеренность. Про глупость оставим. Речь все же не о нашкодивших школярах, а о людях, не однажды проявлявших себя. Сумел же Платонов, руководивший «прекращением» митинга, избежать столкновения с разбушевавшимися «афганцами» в тот летний воскресный вечер. Если сейчас пошел на обострение, предположить можно только преднамеренность человека, выполняющего чей-то приказ, как минимум, чью-то установку... Вот одна, казалось бы незначительная деталь: З. Позняк подвергся нападению с применением газов, но задержан не был, как многие другие. Трудно объяснить это профессиональной неуклюжестью органов (хватали и не таких!) или недостатком сил у двухтысячного отряда милиции. Схватить и выпустить в толпу, разгоряченного, взбешенного... Он призвал к спокойствию, но спектакль был отработан: после первых же слов Позняка милиция пошла в наступление.)

Перейти от обороны к наступлению.

Разогреть страсти, накалить ситуацию до предела, собрать у ворот кладбища как можно больше народу — одними неформалами не обойтись (их тогда и было-то не больше сотни), нужно население, как можно больше людей, больше любопытных... Сообщить в газете, снова сообщить, перекрыть метро, пойдут пешком — не минуют. Отменить автобусное движение — опять не пройдут мимо. Согнать пожарных, водометы, выставить грузовики, подтянуть актив, можно даже с цветами — нужны подсадные утки. Пройти по проспекту с военным оркестром. Собрать народ, выстроить заслоны, чтобы не рассеялись по парку, по кладбищу, по лесному массиву, чтоб ни один не ускользнул...

Спектакль не должен был играть впустую.

А потом — начать свалку, чтобы пошли в ход дубинки и газы, заработали водометы... В запасе еще и внутренние войска...

Зачем?

Очень просто. Затем, чтобы возродиться и утвердиться. Снова стать нужным и незаменимым. Не для писателей — для них он незаменимым никогда и не был, кроме тех, кого пригревал, кого представлял к званиям и наградам, подпущая к руке. Тем более не для **Васечки...**

Хозяин

Был только один человек в республике (Хозяин!), единственно наделенный неограниченной властью, оттого и способный Ефима Савельевича спасти, сохранив ему карьеру вопреки любым трепыханиям снизу и даже полному недоумению в столице, куда сигналы о его деятельности все чаще и чаще доходили...

Хозяина надо было подготовить, убедить, что он, Ефим Савельевич, не несет беду, а от беды спасает. Что тысячу раз он во всем прав, за что и страдает, снося незаслуженные оскорбления и нападки. Вложить в уши мысль, что разговаривать с этими «экстремистами» из творческих союзов можно только на языке силы, настроить на противодействие, взвинтить, показать отснятый 30-го видеофильм (он и снимался с драматичным сюжетом) — как силы правопорядка сначала растерялись, потом мобилизовались и сумели овладеть ситуацией, дав «экстремистам» беспощадный бой. Так подготовить Хозяина, чтобы, начитавшись, наслушав-

шись, насмотревшись, он грохнул бы кулаком по столу... А может, напротив (что не меняет сути), спокойно улыбнувшись, заметил, как бы подводя под прениями черту:

— Короче, надо дать так, чтобы запомнили.

(Мы еще услышим эту фразу...)

Загнать общественность в старые норы сложно, скорее даже невозможно (пока не опомнились на самом-самом столичном верху)... Гораздо проще не выпускать из норы свой пятый этаж, свое руководство, которое, к счастью, не очень и спешит вырваться, все еще надеясь, что всей этой кампании близок конец.

Проблема

Когда в сосуде происходит брожение, высвобождается энергия, которая ищет выход.

Если сосуд этот общественный, брожение в нем возникло за счет диффузии¹, происходит процесс под спудом, а снизу подпирается кризисом экономики, рано или поздно энергия брожения достигает критической отметки и откупоривает сосуд с грохотом и с неотвратимостью природных законов. Для этого нужна лишь мобилизующая идея, способная обеспечить сложение сил.

Долгое время в Белоруссии такой идеи не было.

Представляю, как ему сейчас икнется, но подсказал ее неформалам и обещал ее развитие и всеобщую поддержку не кто-нибудь, а... Ефим Савельевич.

Сыграв тем самым свою историческую роль.

Даже две несовместимые роли: дразнящего, возбуждающего страсти катализатора... И обычной самонадеянной... ~~проблема~~.

Версия

Была полемика о языке и национальной культуре, были и националистические «трепыхания». Были экологические наскоки, получавшие отпор и вызывающие лишь раздражение. Были исторические споры, скандалы вокруг жалких остатков старого города, которые не успели вовремя снести вместе с Немигой, что позволило экстремистам будоражить общественность...

Все это оставалось локальным, не несущим в себе, повторяю, никакой серьезной опасности для властей, хотя и сулило им какие-то неприятности. Вся эта ~~важничавшая~~ общественность — и действительно далеко не народ.

История, да и простой житейский опыт учат, что нет более бесперспективного занятия для властей, чем тягаться с населением, кто кого, создавая искусственные рубежи и дразня их неприступностью, демонстрируя силу и готовность не останавливаться ни перед чем. Ничто так не объединяет, ничто не возрождает самосознание с такой неотвратимостью, как вынужденная потребность протестовать.

Ложь будоражит, насилие вызывает взрыв.

Похоже, именно это имел в виду Зенон Позняк, когда на собрании в Доме кино сказал:

— В воскресенье на Московское кладбище пришло население. Но уходил — народ.

При этом он, конечно же, торопился, выдавая с присущим ему максимализмом желаемое за действительность. Но...

Як кажуць беларусы, рацыю ён меў.

Солидарность!

Происходит невероятное, непредвиденное, непредсказуемое...

Ефим Савельевич оглянуться не успел, как даже «еврейский вопрос» потускнел и куда-то отодвинулся. Предметом заботы вдруг стали... белорусы. Их национальная независимость вдруг оказалась поднятой на щит. Сразу, не сговори-

¹ В Белоруссии это влияние Прибалтики, московские ветры, опыт соседних стран.

ваясь, все отдали вдруг предпочтение... белорусам, сразу их выдвинули вперед. Загоняя «нечистых» в угол, Ефим Савельевич, вы загнали их в центр внимания.

Нет, на собраниях, на митингах выступают, конечно, и по-русски. Но главным вдруг стал белорусский язык. Нет, он не стал языком общения, он стал языком резолюций, языком митингов и трибун.

Пока этих парнишек с флагами и плакатами не трогали — это одно. Но вот когда на них поперли вдруг с дубинками и водометами — это иное, это уже не игрушки и не детская дурь. Это серьезно. Если к ним даже власти так серьезно отнеслись, значит, что-то они собой представляют, значит, стоит к ним присмотреться.

А может, стоит за ними пойти? Они первыми начали, они больше всех получили, они тверже всего стоят на своем... Мова? Что мова, понятно же все, а главное ведь — о чем говорить.

Все мы из хат...

На митинге, пока кто-то ораторствует у микрофона, тут и там разгораются схватки. Вот парнишка с фанерным плакатом на палке: «Чаму Сакалоў рашае за ўсю Беларусь?» На него наступает сердитый мужчина, так и чувствуется отставник:

— Ты что, по-русски не мог написать?

(Раньше он бы ему дал — за Соколова.)

— Чаму абавязкова па-руску? Ці, дзядзька, роднай мовы не адчувае?

(Раньше он бы ему ответил... про то, на чьей он земле и чей хлеб ест.)

— Зачем мне мова? Мне и по-русски понятно. — Отставник оглядывается, ища поддержки.

Уже образовалась толпа. Но поддержки в ней нет. Даже напротив — осуждение. Чего к парню пристал?

Оттесняя парнишку с плакатом, вперед выступает шустрый мужичок лет пятидесяти. По лицу видно, что из тех, кто умеет обрезать. Петухом насккивает на отставника:

— Ты мать родную помнишь? Отца помнишь? Хату, где вырос?

— Ну, помню...

— Зачем?

— Что значит «зачем»?

— А то и значит, — мужичок оборачивается к толпе с видом победителя. — Ни хрена он не помнит. Если даже про язык, на котором ему мать колыханку пела, не знает, зачем.

При этом он только одно слово сказал по-белорусски. И в толпе немногие говорят. Но толпа на его стороне. И на стороне парнишки с плакатом. Толпа согласна с плакатом, она не хочет, чтобы за нее решал Соколов.

Лидер

Толпе нужен лидер. Ей важно, как он говорит и о чем. Если о серьезном, то все понятно. Тем более тот же Позняк говорит прекрасно. Врожденный лидер, оратор от Бога, он знает, что нужно делать, когда разговариваешь с многотысячной толпой. Это недоступно «опытным идеологам, способным выдержать лютую дискуссию». Для этого нужен не опыт, а дар. Поэтому им свистят, а его слушают.

Вот он выходит на стадионе к микрофону, вот берет слово, которое ему так упорно не хотели давать, вот застывает, строгий, подтянутый, в темном, по фигуре пальто. Вокруг амфитеатром трибуны, сорок тысяч народу, готового встретить оратора свистом, готового и замереть.

Позняк склоняется к микрофону, уже как бы намереваясь начать, потом выпрямляется, чуть отступает... Снимает шапку, обнажая высокий открытый лоб, еще мгновение молчит и только потом произносит тихо, но так, что по огромной толпе, ставшей вдруг одним телом, пробегает озноб:

— Братья...

Какой язык может быть понятнее? Даже если бы ничего больше он не сказал. Недаром так ежятся «пыжики» рыжей проплешиной на центральной трибуне. Недаром взрывается овация, а потом наступает такая тишина, какой не бывает, просто не может быть на стадионе.

В этой тишине он говорит на языке, на котором не все разговаривают, но который понимают все.

В этой вот тишине ко мне и подошел полковник, тот самый, кто тридцатого просил народ у кладбища разойтись, с лицом крестьянина, так не вяжущимся с мегафоном, сейчас, как тогда, болтающимся через плечо, на котором с тех пор прибавилась звезда. Как-то странно он на меня надвинулся и негромко, отчетливо проговорил:

— Были газы. И применялись. Если надо... я готов подтвердить.

Правда слышнее лжи

Людам нужна правда. Сегодня они услышат ее по-белорусски.

Но завтра они прочитают в газетах на русском ложь. Что-то про демократию без демагогии во множестве писем, старательно подготовленных вашей, Ефим Савельевич, командой, так и не усвоившей, что нельзя оболгать событие, в котором участвовали сорок тысяч человек, даже если пятьсот из них были в пыжиках, которые за последние десять лет ни разу не поступали в свободную продажу.

В пятницу выйдет «ЛіМ»¹, эта ненавистная вам писательская газетенка, которую раньше никто не читал (из-за чего вы ее и проглядели). И у киосков выстроятся очереди — в ней, снова на белорусском, будет пусть не вся правда, но, во всяком случае, и не сплошная ложь, что не так уж и мало для официального издания.

Еще через неделю молодые ребята, из которых далеко не все говорят по-белорусски, будут распространять «Новины» БНФ, там будет уже вся правда. И эту белорусскую неофициальную газету будут читать, ее будут расхватывать, несмотря на белорусский язык, массу ошибок и безобразный мелкий шрифт при полудомашней печати. Ее тем более будут расхватывать, если милиция, начитавшись «ориентировок», будет гонять этих ребят, а люди в штатском, удовлетворяя не столько свою, сколько вашу, Ефим Савельевич, любознательность, невинно интересоваться, сколько стоит номер (продажа запрещена, деньги собираются только в виде пожертвований), где его напечатали и как привезли².

Так вот неожиданно, даже непреднамеренно белорусский язык стал неофициальным (официальным не побывав), чуть ли даже не подпольным, а оттого популярным. Кажется, в Англии быстрее других в Европе распространили картофель, засеяв им королевское поле и выставив охрану, которую снимали на ночь.

Так вот у кучки «экстремистов» из так называемого оргкомитета так называемого Народного фронта появилось занятие важнее национализма, которое вы им, Ефим Савельевич, подсказали. Так у народного движения за перестройку и национальное возрождение в Белоруссии появилась перспектива, которую вдруг утратили вы.

Плавсредства

Что-то непонятное вдруг случилось. И когда решивший перестроиться лже-свидетель Кравченко, еще не предавший вас, но уже предающий, уже догадавшийся, что с вами и вашими принципами того и гляди пролетишь, что тут уж, когда корабль тонет, спасайся, кто может и как может, хватаясь за любые плавсредства, которые надежнее спецсредств, готовый и пыжик снять, и пальтишко пообтертое надеть, и на несанкционированный митинг явиться, и на родную мову перейти, принялся вдруг на митинге эту самую мову защищать и отстаивать, был он вдруг освистан, высмеян и согнан с садовой скамейки, игравшей на митинге роль трибуны:

¹ «Литература и искусство» — еженедельник СП БССР и Министерства культуры.

² Докладываю: отпечатали в Вильнюсе, весь тираж, везли на перекладных, как «Искру» из Стокгольма.

— Кончай демагогию!

— С этим все ясно!

И по-белорусски:

— Хопіць пра мову. Давай аб справе...

Да, Ефим Савельевич, наворочали вы с п р а в.

Ви́раж [Чаму ж я не размаўляю]

Ну, а что до вопроса, почему я не говорю по-белорусски, живя здесь вот уже тридцать лет, даже тогда не говорю, когда со мной только по-белорусски разговаривают, как бы из принципа не замечая, что я отвечаю по-русски... Раньше я мог бы объяснить это только тем, что не испытываю потребности. Но вот сейчас, когда я уже свой, мне кажется, уже можно, не боясь отторжения, добавить, что и когда хочется — не могу, потому что чувствую — от меня этого требуют.

В таких условиях мне стало бы неловко даже за Соколова, перейди он вдруг на м о в у. И за него, и за моих друзей из Народного фронта, и даже за себя, как всегда бывает неловко, если на твоих глазах человека насилуют, заставляют сделать себе же х о р о ш о, а он вдруг соглашается.

VI

Обоснование

Парадокс в том — не знаю, заметил ли это Соколов, — что «смутьяны» с московских митингов, которые возмущают спокойствие крамолой своих статей в «Московских новостях» и толстых журналах и («даже!») на радио «Свобода», эти «горлопаны» и «энструемисты», против которых так старательно его настраивают, они только и были в состоянии понять, они прежде прочих понимали аграрника Ефрема Соколова со всеми его незамысловатыми, но последовательно проводимыми идеями хозяйственных преобразований и всем его подвижничеством. Более того, они всегда были готовы его поддержать и поддерживали.

В Бресте в самый критический момент непризнания областного опыта не кто иной, как Лисичкин первым разглядел позитивность того, что с его легкой руки и получило потом название «брестский вариант». Стреляный, не кто иной, поднялся тогда в зале бюро и с одному ему присущей конструктивной хамоватостью заявил:

— В жизни своей встречаю второго умного «первого».

Что же изменилось с тех пор?

Время.

Стреляный, разобравшись, ушел в «критиканы» и «ниспровергатели». Соколов остался в улучшателях. Ему это простительно; даже сам Горбачев — улучшатель. Когда на пленуме по сельским делам он говорит о «более обоснованных закупочных ценах», это сразу же выплывает. Цены все еще могут быть более и менее обоснованными или даже вполне обоснованными, а значит, на прилавках и в холодильниках по-прежнему ничего (вполне обоснованно) не будет. Потому что здравого смысла в таком сочетании не больше, чем в выражении «регулируемый рынок» или в вопросе:

— Более ли обоснованный сегодня ветер, чем вчера дождь?

Размышления у окна на пятом этаже

Ну, хорошо, вообразим, что он остался бы «первым» в области.

Работать было легче, уже был виден результат, да и наверху отношение изменилось. Выходит, и сейчас бы его эти «умники» поддерживали? То есть все дело в том, что он теперь «первый» в Минске и на нем вся республика? И что-то он в этой должности делает не так?..

Но почему тогда именно там, в Барановичах, где лучше всего дела, американский уровень, почему именно там, где лучше всего живет, где надры, мо-

лодеж, где Жемчужный, где комплекс «Мир», которым восхищаются любые капиталисты, почему именно там заваливают на выборах председателя агропрома республики Хусаинова? Ну, не из-за того же, что еще недавно выступал против «брестского варианта»? Кто его знает, кто сейчас помнит, кто был против, кто за. Ну, ладно, с интеллигенцией понятно, те завелись, ну, с городом понятно но село-то, село... Что нужно людям?

А может, ему просто не повезло со временем? Приди он в Минск пятью годами раньше... Расширил бы брестский опыт, тиражировал бы его, окреп на мощных показателях, осмотрелся бы и с большой политикой...

— Что твой Соколов? — бурчит в трубку Стреляный. Это он собирает материал о жизни в «глубинке». — Все еще на своих комплексах? Все еще из коровников не вылазит? Он что, совсем не понимает, какой сейчас век?

Трудно сориентироваться. Шумят о пустых прилавках, о мыле, о колбасе... А требуют совсем иного — смелых высказываний, радикальных оценок и политических свобод.

— Он что, ничего не понимает? — кричит в трубку Стреляный. — Он же нормальный, разумный мужик... Впрочем, это не должность...

Последнее «оправдание» Соколова

Если меня назначат руководителем симфонического оркестра, каким бы замечательным аграрником я ни был и даже каким бы я ни был разумным мужиком, никакой пользы ни оркестру, ни отечеству я не принесу. Если музыкально я не образован, музыку не понимаю и не чувствую, начисто лишен музыкального слуха и к тому же с детства музыку не люблю.

Но так уж заведено: поднимаем, пока не выставим на посмешище, словно нарочно заботясь о том, чтобы человек достиг уровня своей полной некомпетентности.

Неотвратимость

Дополнительный кусок мяса, центнер зерна тянут в сторону перестройки, сколь бы утилитарным такое утверждение ни казалось.

Беда лишь в том, что в наши дни оно может вызвать и улыбку.

Неформалы Ефрема Евсеевича, что называется, подловили. В своих «Новинах» напечатали «Думки о перестройке». Несколько цитат без всякого комментария. Сначала Горбачев: «Перестройка — это продолжение Октября». Потом из «Литгазеты»: «Перестройка — это последний шанс на будущее». Потом Соколов: «В прошлом году продуктивность коров в районе увеличена на 570 килограммов, за 9 месяцев этого года — еще на 361. К уровню 1985 года в 1,6 раза выросли прибавки в весе крупного рогатого скота, больше чем в два раза — прибавки в весе свиней. Вот это и есть перестройка на деле».

Стреляный смеется:

— А что Соколов?

Ночью в Союз писателей ворвались милиционеры и пожарные. Взломали дверь 306 комнаты, где поэт Алесь Емельянов хранил документы оргкомитета БНФ, все перерыли и ушли, прихватив с собой десять тысяч экземпляров этих самых «Новин»... На запрос руководства Союза писателей органы МВД разъяснили, что прибыли в Дом литератора по телефонному звонку. Не назвавшийся сообщил, что в комнату номер 306 подложена бомба.

Как выяснилось впоследствии, миноискателей у милиции и пожарников не было.

Право выбора

Вечером я сел и отстукал на машинке текст следующего содержания:

«В понедельник утром соборы центральных газет были экстренно собраны в зале бюро ЦК Белоруссии, где встревоженным необычностью приглашения (в

воскресный день обзванивали квартиры) представителям союзной печати первый секретарь ЦК Белоруссии Е. Соколов (в присутствии секретаря по идеологии В. Печенникова и заведующего идеологическим отделом С. Павлова) огласил отрывки из документа, названного им «закрытым» постановлением Политбюро «О мерах по противодействию попыткам создать оппозиционные КПСС политические структуры». В числе последних были названы Демократический союз и народные фронты.

Несмотря на «закрытый» характер постановления, никаких указаний о соблюдении секретности соборам дано не было.

Позднее аналогичные совещания были проведены с редакторами местных газет и журналов, с руководителями творческих союзов...

На этом история и закончилась, если не считать текстуальных совпадений зачитываемых в Минске отрывков с передовой «Правды», вышедшей два дня спустя.

Все это дает основание предположить, что либо такое постановление действительно существует, но лишь для провинциального употребления, отчего (во избежание скандала) распространяется полулегально. Либо зачитывалось все же не постановление Политбюро, а иной документ. И Е. Соколов взял на себя риск представить его в виде постановления — с тем чтобы во время предвыборной кампании притушить активность прессы и творческих союзов, зачастую выступающих в поддержку неформалов.

Кто-то даже предполагает, что документ сей был направлен в Белоруссию по просьбе местных идеологов, нуждающихся в поддержке Москвы в их борьбе с неформалами на выборах и подавлении попыток создания Белорусского Народного фронта.

Закончив работу, я запечатал материал и отправил его в московскую редакцию. Подведя, таким образом, черту под бесконечными сомнениями, с кем я и против кого. Не буду темнить: написать эти полторы странички мне было нелегко, как всегда бывает нелегко на что-то решиться.

Они вышли в очередном номере журнала «Референдум»... без подписи. В редакции меня пожалели, не захотели подставлять под удар: «Еще неизвестно, как оно все повернется».

За мной оставили право выбора.

Самолеты

На митинге возле Дворца культуры тонвосужонного комбината подошел секретарь райкома Петкевич. Точнее, не подошел, а, проходя мимо, скривился вдруг и, как мальчишка, передразнил:

— Брестский вариант, брестский вариант...

А сам, мол, вот чем занялся, на митинги потянуло...

Мы отошли в сторону. Петкевич мне всегда был симпатичен, вот и сейчас:

— Скажите честно, — спрашивает, — чем они берут?

— Прямо?

— Прямо.

— Ваще дурью.

В это время над толпой митингующих на бреющем полете прошел «кукурузник». Еще один, потом еще и еще... Толпа буквально взревела. Хохот, свист, вверх полетели шапки.

— Галко на помощь авиацию бросили! Сейчас танки пойдут!

— Неужели вы верите, что это специально? — спросил Петкевич, не скрывая досаду.

— А почему бы и нет? — заметил я. — Концерт на месте митинга вы устроили? Агнтмашины пригнали, чтобы ораторов заглушать? Почему же самолеты не могли вызвать? Чем это глупее?

— Ну, это же совсем... — Петкевич вздохнул. — Будь моя воля...

Это я знаю. Он и Позняка предлагал поддержать. И агнтмашины он не сам додумался вызвать, тем более с громкоговорящей лекцией про Галко. Он рад был бы приготовить трибуны, подключить микрофон, поприветствовать участников неформального митинга избирателей и — пожалуйста, митингуйте. Но где его воля?

Нет предела

В «Вечернем Минске» заявление прокурора города. Предупреждает, что дело зашло слишком далеко, вот-вот, мол, начнем принимать меры.

Прокуратура против Галко? Трудно вообразить, чтобы собрались там настолько необразованные и неумные люди, чтобы не понимать, какую реакцию это вызовет у населения. Всякой глупости есть предел. Хотя...

Тут же к заявлению подверстана заметка под названием «Раскаялся, просит извинения». Задержан рабочий завода «Калибр» М. А. Морсов, который писал на листовке с портретом Галко оскорбительное слово. Ввиду чистосердечного признания («Сделал это по недомыслию») отпущен. Владимиру Григорьевичу через газету приносит извинения.

Город смеется.

Но что за слово?

Договорились с Хашчеватским найти М. А. Морсова и заснять с ним интервью. «Ну, а что же вы там написали?» — поинтересуюсь я. Рабочий, естественно, смутится. Тогда я и попрошу его сказать мне на ухо.

Слово, разумеется, знают все. Оно с плакатов так и сыплет, лихо начертанное невинной девичьей рукой (чаще всего губной помадой), что придает нецензурные оттенки какой-то даже мечтательности...

Переворот

(Забегая вперед)

О предстоящем Пленуме¹ я узнал за месяц, еще на повторном окружном собрании. Помню, в перерыве подошел Петкевич. Заговорил в сложившейся у нас тональности пружинного разговора — когда все приветливость и радушие, все взаимопонимание, но все эквилибристика, все как на канате.

— Ну, кажется, все, — сказал он. — Осталось недолго. 25-го Пленум.

— Это понятно. Дальше так продолжаться не может. Ведь ~~воплотный~~ развал. На грани катастрофы.

— Уже за гранью. Трагедия партии, кризис... Ленинградцы поднялись, трудовые коллективы. В стране полная поддержка. С этим надо кончать...

— С чем с этим? Или... с кем?

— Да его бы уже и тридцатого не было.

Я не понял, при чем 30-е, это же местное дело.

— Вы все об октябре, а я о сентябрьских делах...

Моего ехидства он как бы не заметил и продолжил тоном, каким спешат сообщить соседу-злопыхателю о том, что ему изменила жена:

— ...Повестка дня — об утрате партией авторитета... в пользу лидера.

Сказал с облегчением. Подводя итоги уже как бы свершившемуся.

(Как проходил Пленум, общеизвестно: впервые Горбачев пошел на то, чтобы опубликовать полностью стенограмму. Причем без всяких комментариев, как предлагали «голоса с места».)

Из выступлений на нем самых стойких, хотя и скорректировавших наспех тексты, наспех же снабдивших их концовками в духе традиционных брежневских здравниц, явствовало, что переворот и впрямь готовился.

Еще больше в этом убеждает точность, с какой Петкевичем был назван срок. Аппарат знал намерения, было назначено время «Ч». Даже за день до Пленума мы с Сергеем Вагановым, позвонившим в редакцию и не получившим никаких подтверждений о намеченном мероприятии, пришли к выводу, что это болтовня, обычное стремление аппаратчиков выдать желаемое за факт. Но вот состоялось.

Подтверждает суровость намерений и путаница с сообщениями о Пленуме в печати — уже в день его работы, когда даже объявленная повестка дня менялась с утра до вечера трижды.

¹ Пленум ЦК КПСС 25 апреля 1989 года.

Но начался Пленум, оказывается, еще в конце сентября, когда Андрей Андреевич Громыко «попросился» на пенсию, подарив Горбачеву решающий голос. И подав пример остальным. Петкевич об этом сказал раздраженно: «Как тот козел, что пошел на бойню и повел за собой все стадо».)

Раскладка в апреле арифметически проста, ею свободно владеют даже организаторы окружных собраний, Петкевич во всяком случае — в совершенстве. Если в составе собрания 300 человек, а у тебя не более ста надежных голосов, то, сократив собрание в самом начале на сотню, ты уже можешь играть — с учетом шокового воздействия на колеблющихся. Такую логику подтверждает хотя бы то, что домой с Пленума попросились отнюдь не только самые пожилые¹.

Проделано все это было с ошеломляющим цинизмом, но и с еще более ошеломляющим мастерством. Можно представить, какая тонкая, индивидуальная работа была проведена с каждым из 117, поддержавших взятый Андреем Андреевичем Громыко прощальный аккорд.

Петкевич, таким образом, что называется, съел. То самое блюдо, которым они кормили нас на окружных собраниях.

Здесь же, на Пленуме, впервые с официальной трибуны прозвучало признание обескураженных аппаратчиков, что на предстоящих выборах в местные Советы им, что называется, не светит.

Ощущение победы над Петкевичем омрачается очевидной подпорченностью предложенного общественности блюда, грозящего несварением. Хотелось бы как-то не так... Впрочем, в такой ситуации ждать в политике чистых и возвышенных ходов может только сумасшедший.

VII

Вандея

«Вот и все,— подумал я, оглядывая площадь с мазохистским злорадством.— Все впустую. Все эти недели безоглядной эйфории прожиты зря».

Я приехал сюда за два часа до начала последнего митинга Народного фронта, на котором собирался выступить.

Выйдя из машины, я обомлел.

Площадь до отказа забита народом. Гремели марши, подходили еще колонны, подкатывали переполненные автобусы и грузовики со штабелями знамен. На специально выстроенных помостах стояли сотни, тысячи людей с флагами и транспарантами, стояли мрачновато, что музыка и изобилие стягов только подчеркивали. Это была крепость, неприступный и несокрушимый оплот, символ волеизъявления мобилизованных пролетарских масс, исполненных очевидной решимостью дать отпор и стоять до конца.

Мрачноватое торжество Вандеи.

Я не спал ночь, готовился к выступлению. Теперь я сжимал сложенные в кармане куртки листки, понимая, что все в них написанное не прозвучит, сколько бы я ни надрывал свои голосовые связки...

Ощетинившись пиками флагов, на площади колыхалась многотысячная толпа.

Чужие и свои

Собственно, на площади была не одна, а две толпы, казалось бы, никак не разделенные.

Во всяком случае, никакой видимой границы не было. И генерал Платонов

¹ На самом деле раскладка, конечно же, была иной — без всякой приблизительно-сти и сомнительной ставки на колеблющихся. Счет шел не на десятки, а до одного патрона.

мелькал в спортивной курточке, и министры, и горкомовцы — машины оставили поодаль, а может, и вовсе без машин явились, надев простенькие пальто.

Но вот и Миколу Купаву, художнику, подошла полная, хорошо одетая женщина — так одеваются работники райсобеса, райплана или районо. С ней майор милиции.

— Вот этот гражданин только что сказал, что Галко фашист.

Майор взял под козырек.

— Пройдемте.

И сразу вокруг Купавы несколько человек в штатском.

Но сразу же вокруг толпа. Сразу возгласы: «Провокация!»

Купаву отпустили, женщина попыталась раствориться. Но нет, Микола уже придерживает ее за локоть.

— Повторите, пожалуйста, что вы сказали...

Подобные стычки возникали тут и там. Вот попытались задержать ребят с пачками «Новин», но снова вокруг них шум, выкрики, вот несколько милиционеров тянут на себя черно-красный траурный плакат «БВК — позор белорусской земли!» и снова вокруг неформалы, снова скандал, крики, свист... Каким-то непостижимым образом «нечистые» друг друга распознавали, бросаясь на выручку... Впрочем, не так уж это и сложно: были они какие-то другие люди, живые, с азартом, с интересом в глазах, чем заметно выделялись... Их довольно много, полгода назад, в то октябрьское воскресенье, их было не больше сотни, сейчас — тысяча, две, может быть, даже три тысячи, но как же это мало в огромной официальной толпе, как неравны силы...

Я разыскал в толпе Позняка. Он стоял, спокойно, даже задумчиво поглядывая по сторонам.

— Что делать? Провал... Я же собирался выступить...

— Выступишь...

— Когда? Где? Перед кем? Кто даст мне микрофон? Кто меня здесь будет слушать?... Я знаю, продуман запасной вариант — провести митинг на голом холме за Дворцом культуры, но там все оцеплено...

Позняка невозмутим. Я бы сказал, даже самоуверен.

— Выступишь. Пока походи, соберись с мыслями. Придет время, все узнаешь, увидишь, поймешь...

Но как? Как разделятся две толпы, как разойдутся свои и чужие?

Обретение голоса

Над площадью грохотал официальный митинг. На трибуну поднимались ораторы, звонкими учительскими голосами докладывали собравшимся об успехах... Нельзя сказать, чтобы их слушали, во всяком случае, аплодисментами не перебивали... Но что это?

В толпе началось брожение. Еще закрутилось, возник поток, завихряясь, он куда-то продвигался, потом откатывался, наплывал снова.

Женщина на трибуне что-то говорила, но народ с флагами вдруг развернулся к ней спиной. Вытягивая шеи, вставая на цыпочки, люди пытались что-то у дороги рассмотреть.

Побежали со всех сторон, пробиваясь сквозь толпу, милиционеры...

— Вот видите, товарищи, началось! — Это оратор кричит в микрофон. Но что началось? Народ с помостов давно уже вниз. — Соблюдайте спокойствие, не поддавайтесь панике... Продолжаем...

Но уже некому продолжать.

Только что был митинг, стояли чинно и вдруг куда-то двинулись, увлекаемые потоком... Но куда? Никто ничего не понимал, никто ничего не мог объяснить.

И вот в неразберихе сначала неясно, потом все отчетливее зародился звук, постепенно нарастая, он густел, наворачивая на себя толпу, как-то по-новому ее организовывая, куда-то устремляя.

— Вандея! Ван-де-я! Ван-де-я!

Невероятными усилиями продираясь вперед, я взобрался на парапет.

Внизу какая-то свалка, уже почти драка, люди прыгают с парапета, как в пучину, там бурлит людское варево: сотни, тысячи людей, крики, плач, вой...

Изо всех сил вытянувшись, я разглядел наконец яркий оранжевый предмет в эпицентре... Машина! «Жигули», «Москвич», может быть, «Запорожец» оранжевого цвета... Как детский воздушный шарик, рывками плывет в толпе — туда, сюда, боком, юзом, взмывает в воздух на протянутых руках, опускается... Ничего не понять, только воздух сотрясается ревом тысяч разъяренных глоток:

— Ван-де-я!.. Ван-де-я!..

Как огромный челнок, продвигается рывками машина, крутится, отлетает назад, челноком наматывая на себя толпу...

Возле машины мне удается выхватить знакомое лицо. Сергей Михнов, тот самый, что, как гандболист, прорывался к микрофону на окружном собрании... Рядом еще знакомые лица...

— Костя! — кричу писателю Тарасову. — Давай туда! Писатель, — ору, — должен быть с народом...

Какие-то здоровые битюги давят на капот спереди, толкают машину назад, сзади и сбоку народ послабее, но их много, жмут вперед... Что происходит? Что за машина? Инвалидная? Да. С инвалидом? Нет... Ничего не понятно... Из-за машины свалка, тысяча, пять тысяч людей, огромная толпа, и в нее кто-то бросил машину...

Постепенно все как-то организовывается. У Михнова в руках мегафон, он командует: «Взялись цепью! Хватаемся за руки, прижимаем локти». Рядом Олег Белоусов, рядом Марочкин и Купава, архитекторы из «Белгоспроекта», рабочие парни с «Граната», Алесь Галькевич, Верка, мать троих детей, а тут же писатели, ученые, мелькнуло лицо профессора Юрия Ходыки, врачи... Ванечка упирается, счастливо что-то орет... Уже понятно, что машину надо двигать вперед, отесняя ею, как тараном, милицию, начальников, людей в штатском... А спереди бугай какие-то, откуда они взялись, в одного вцепились человек шесть, с трудом оттаскивают. Я продираюсь.

— Уходи, парень, ты же длинный, тебя все видят, тебя же убьют!

Он посмотрел на меня, понял, рванул куда-то в сторону, за ним остальные...

— Народный фронт! Взялись цепью! Еще цепью! Еще... Заходи вперед!.. Ван-де-я... Ван-де-я!..

Машина таранит митинг, сминает устои, сокрушает стены Вандеи, продавливает толпу, сминает оцепление, увлекает всех за собой — куда-то вверх, на холмы за Дворцом культуры, где на ротонде из металлических труб уже взвился бело-красно-белый флаг...

Туда и идут. Взявшись за руки, спаявшись цепью, множеством цепей, локоть в локоть, плачут, кричат «Вандея!», слезы в глазах, а чего ревут, непонятно, прут в гору, волокут с собой эту непонятно откуда взявшуюся, теперь уже никому не нужную, измятую, исковерканную машину, не понимая, зачем она, не зная, куда ее дальше...

Власти отступили... Не было уже, не нашлось безумца, который смог бы отдать команду не отступать — сколько бы у него в резерве ни было сосредоточено сил...

Прорвались, продавили сопротивление, прошли на холм к ротонде... И тут наконец Сергей Михнов, взобравшийся на ее верх по железным трубам, все объяснил:

— В машине аппаратура. Динамики, усилитель и микрофон... Сейчас мы ее установим и начнем наш предвыборный митинг...

Толпа безъязыкая протащила сюда свой самодельный, ночами смонтированный умельцами голос... У кого микрофон — тому и власть.

8. «Дружба народов» № 11

VIII

Тайное и явное

И вот наконец первый свободный день. Все позади, и бессмысленно суетиться. Тем более что телефон отключили.

Пошли с женой голосовать, со злости вычеркнули всех, не глядя. Уже выходя из буфета (проход на участок был устроен так, что сначала кабины, потом буфет — принудительное обслуживание), жена увидела на стене цветное фото летчика. Очень симпатичный кандидат, к телефонным козням явно не причастен, даже расстроились: надо бы поддержать.

Вечером, часам к восьми, прибегает подруга Гали из «Белгоспроекта», где-то я их вместе видел, может, на митинге или на собрании, помню, что зовут Оля. Заплаканная, возбужденная.

— Мы вам весь день звонили. Беда...

На ее избирательном участке (она самостоятельный контролер) в кабинках оказались не ручки, а карандаши.

— Вы понимаете, где карандаши, там и стирки!

Подняла шум, в конце концов какой-то мужик — «Я его на всю жизнь запомнила» — ее просто вытолкнул.

Оля на соседний участок, там ребята из группы поддержки БНФ, потребовали представителя райкома, помчались разбираться. Их встречают, уже и милиция. Старый знакомец навстречу.

— Вот она подменила ручки на карандаши, а потом устроила скандал.

Сейчас, вспоминая, всхлипывает:

— Я вам звонила, а вас нет. Нужна была пресса. Теперь поздно... Я им сказала, что все равно в суд подам...

Успокоил ее, как мог. Все, что нужно, сделано, в таких условиях они хихичить побоятся.

Но дальше совсем неожиданное

— Ну, ладно... Я вам еще хотела рассказать...

Утром Оля забежала к знакомой старушке, она болеет, голосовать должна дома, надо было объяснить, что к чему. Провела работу. Сейчас, уже по пути сюда, забежала проверить, как там дела. Старушка рассказывает: приехал человек, привез урну, вручил бюллетень. Здесь, говорит, бабуся, две фамилии. Одну надо вычеркнуть, другую оставить. Вычеркивайте эту. И показывает пальцем фамилию Галко.

Самое невероятное, что приезжал к бабуся... тот самый мужик, что вытаскивал Олю с участка взашей.

Активисты из архитекторов не поленились, произвели самостоятельное исследование. В начальнических домах, где «пыжики», против Галко проголосовали почти все, продемонстрировав свое тайное единство. На людях — «за», наедине с собой — «против»...

Но почему?

И почему все же они были так против тайного голосования на окружном собрании? Ведь и тогда ничего не стоило Галко завалить, не испытывая к нему особых симпатий.

Боялись. Не Галко, не прочих начальников, а себя. Не за должность, не за карьеру, не за домашних, не за близких. Хотя и понимали: кого выберем, с тем жить. Больше всего боялись взять на себя ответственность, оставшись наедине с необходимостью выбирать. Когда голосуешь открыто, тут то же, что и на митинге. Тут лес рук, топот ног, тут свист и ощущение силы. Наедине с собой — неуверенность и слабость.

Это только Ванечка за тайное голосование. И за поименное. Наедине с собой он тот же, что и на митинге. Он и в милиции тот же. Он на своем стоит

до конца. И, если ему покажутся чуждыми идеи Народного фронта, Ванечка поднимет руку и против него. Ванечке просто, он выбрал и не боится проиграть. Поэтому он и выигрывает.

Но ему еще будет очень трудно, если он окончательно победит.

Агитировали за Галко, поддерживали линию, стояли твердо, даже химичили, но вот, когда вскрыли урну, высыпали бюллетени на стол, вдруг все бросились, суетливо разгребая, как в школьной лотерее, когда мальчишки хватают счастливый билетик.

— Ой, бя! — не удержался при дамах один из членов комиссии, человек пожилой и вполне партийный. — Так он же не прошел...

И все засмеялись... С нескрываемым облегчением.

Все позади. Все сделали, чтобы обеспечить победу, но вот наконец все кончено и ОН НЕ ПРОШЕЛ.

Но узнал я об этом лишь назавтра, уже в Москве, торжествующей и оттого слабо разделявшей наше провинциальное ликование. Прошел Борис Николаевич Ельцин.

Ванечка за Ельцина, таким образом, он приблизился к победе.

Здесь мне почему-то вспомнился приятель, который однажды совсем по другому поводу заметил:

— Боюсь, что победа наша будет слишком сокрушительной. Как в Китае над воробьями ¹.

Было...

Вернувшись из столицы, я буквально наткнулся на Василия Павловича.

— Какие будут указания по нашему округу? Мы как-то не в курсе.

Я не понял.

— Какие указания?

— Прошло четыре кандидата... Ну, на повторные выборы. Кого будем поддерживать?

Кого поддерживать? Мне кажется, очень серьезный мужик Станислав Станиславович Шушкевич, физик, профессор, проректор университета. Я его знаю давно, по тем временам человек прогрессивный, да и сейчас программа вполне. Но это мое личное мнение...

— А от оргкомитета какие у с т а н о в к и?

Снова мы внутри круга. Снова нужны установки, указания, вышестоящие мнения. Все это уже было.

Было...

(Мне еще предстоит понять это на учредительном съезде БНФ.

В перерыве на сцену потянулся народ.

Один из самых активных, молодой парнишка, что-то пытался сказать Позняку. Но тот, отбиваясь, шел к выходу — дела. Тогда он потянул за рукав Ходьку. Тот вежливо улыбнулся, высвобождаясь — сейчас не до этого.

— С кем из президиума я могу переговорить?

— Не сейчас, не сейчас. Позднее... Сейчас все заняты: резолюция, порядок ведения, протокол...

¹ Сейчас это мало кто помнит. С воробьями в Китае боролись все — бегая по полям с трещотками и не давая им передохнуть, пока, обессилев, те не падали. Едва покончили с воробьями, как начались нашествия саранчи: воробьи, оказывается, уничтожали ее личинки.

Все заняты, всем не до него.

Вот этим же семьдесят лет и без них занимались. Собрания, съезды, протоколы, резолюции, стройки, коллективизация, война, целина, возрождение, ускорение, гласность...

И на Съезде народных депутатов мне это же предстоит увидеть и понять. Когда кипят страсти, ломаются копья, все кажется таким важным и серьезным, но от жизни проходит где-то в стороне. Никакого отношения к ней не имея.)

Все было...

Когда же Ванечку выслушают?

Все внутри замкнутого круга, а он снаружи. Открывается только вовнутрь. Но оттуда нет выхода.

Кенгир

Что же это за проклятие над всеми нами, что сразу мы все к тому же приходим. Что живем, как зафлажкованные волки. Флажки бумажные, но за них ни шагу. Лучше смерть.

Все это я уже читал. У Александра Исаевича Солженицына, в «Архипелаге» — о том, как заключенные подняли восстание в лагере Кенгир. Тогда меня потрясла бессмысленность затей, гупиковость лагерной свободы, огражденной все теми же лагерными стенами и все с теми же лагерными порядками внутри. С лозунгами «Да здравствует Советская Конституция!», «Да здравствует Президиум ЦК!» Со структурой самоуправления, все по той же испытанной схеме, с отделами лагерной Комиссии: агитации и пропаганды, быта и хозяйства, питания и даже... внутренней безопасности, которому подчинялась и внутрилагерная тюрьма.

Лагерь был окружен, им отключили свет, но оставили воду. Техотдел смонтировал электростанцию, работавшую... от водопроводного крана. От ее генератора питались усилители кинопередвижек — вещал радиоузел.

Круг замкнулся. Свобода внутри круга — вот все, что они имели. И радовались тому, что сорвали с бараков решетки, что устроили проломы в стенах, разделявших лагерь на отсеки. До той поры радовались, пока не ворвались танки, все перемесив, передавив, обнеся оставшихся колючей проволокой, мотки которой танки тащили за собой.

Власть взяли, но водопровод — прежний, от него и крутилась динамо-машина...

Машины, собственно, еще нет, это я слишком. Все еще только зарождается. Принципы же остаются прежними. Неужели это навсегда?

Даже самостоятельность — от выделяемого свыше источника.

Ферганская трагедия

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Все больше отдаляются от нас во времени события в Ферганской долине Узбекистана. Локальный район, но как остро повлиял он на морально-психологический климат всей страны, потряс ее. И вместе с новыми проблемами к застарелому сгустку проблем породил множество разноречивых суждений, домыслов, полуправды, а то и просто откровенной лжи о причинах кровавых столкновений.

Так каковы же все-таки корни, взрастившие дерево раздора между людьми, принадлежащими к одной ветви? В какой неухоженной почве эти корни скрываются? Может быть, сейчас, по истечении времени, мы найдем ответы на эти мучающие до сих пор вопросы? Для цельности картины трагедии по сей день еще не хватает существенных деталей. В частности, не до конца ясна роль милиции до и во время ферганских событий. По их горячим следам, 18 июня 1989 года, я выступил в «Московских новостях» со статьей, на которую тут же откликнулся тогдашний министр МВД СССР. Я писал, что спустя неделю после начала вспышки внутренним войскам было разрешено применить оружие. Министр попросил дать разъяснение: о каком, собственно говоря, разрешении идет речь? Внутренним войскам вообще дано право применять оружие в случае бандитского нападения на сотрудников МВД, граждан... Мы договорились в редакции, что со своими разъяснениями я выступлю на страницах газеты и, в свою очередь, задам министру вопрос.

Так вот, в первые дни кровавой драмы много писалось о неспособности служащих МВД овладеть ситуацией: мол, толпе, применяющей среди прочего и огнестрельное оружие, милиция противостоит лишь со щитами и дубинками. Отсюда и призыв вожаков-погромщиков: «Бейте милицию, она не имеет права стрелять в ответ!» Печать объясняла происходящее неким «тбилисским синдромом»: будто бы в дни работы Первого Съезда народных депутатов, где обсуждалась апрельская трагедия в Грузии, силы МВД были парализованы... Лишь неделю спустя, в самый пик беспорядков, прокурор республики Д. Усатов, выступая по узбекскому телевидению, разъяснил соответствующую статью уголовного кодекса Узбекской ССР, обосновав законность применения службами МВД огнестрельного оружия в подобных критических ситуациях. После этого стало ясно, что призывы средств массовой информации возымели действие. Таков был мой ответ министру...

Но правила восточной этики вынудили меня задать Вадиму Викторовичу встречный вопрос: было ли известно союзному МВД, что активная подготовка к беспорядкам началась задолго до взрыва? Обсуждал ли министр этот вопрос в местных службах ведомства, когда незадолго до печальных событий побывал у нас, в Узбекистане? Я ждал от министра ответа, но в редакции «Московских новостей» сказали, что моим разъяснением по части применения огнестрельного оружия министр удовлетворен, а на мой встречный вопрос не ответил. А жаль, ибо вопрос был далеко не праздный. Много писали в дни ферганского побоища о первом заместителе министра МВД Узбекистана Э. Дидоренко, якобы обладавшем «пророческим даром» и все предвидевшим, вычислившем еще задолго до кровавых событий заговор националистов в союзе с преступной мафией и ударившим во все предупредительные колокола, звона которых глухая и сонная республика не услышала... Так вот, хотелось узнать: можно ли руководить милицией, обладая одним лишь мистическим даром, и если этот дар сработал еще задолго до событий, почему заместитель министра оперативно не направил силы порядка на поимку заговорщиков, коль имена их были ему известны? Теперь ясно, что и министр завершил свою служебную командировку в Узбекистан, ничего не ведая о том, что скоро, очень скоро пророчества одного из его подчиненных так мрачно сбудутся...

В Записке комиссии ЦК Компартии Узбекистана «О трагических событиях в Ферганской области и ответственности партийных, советских и правоохранительных органов» говорилось, в частности, что «...всякие попытки представить проблему односторонне, упростить ее, свести начало трагедии лишь к конфликту на бытовой почве означало бы попытку уйти от анализа истинных причин предельной напряженности морально-политической обстановки, опасности распространения конфликта на другие регионы». Читая это, сразу вспоминаешь ставшую уже «крылатой» фразу о «базарной ссоре из-за клубники». Просто поразительно было слушать информацию тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Съезду народных депутатов! Поразительно и страшно, ибо почти одновременно с благодушными рассуждениями о «ценах на клубнику» по другой, республиканской программе телевидения показывали, как молодчики, захватившие грузовые машины, безнаказанно разъезжают по улицам ферганских городов, гоняясь за своими жертвами. Вся республика задалась тогда вопросом: почему, когда изо дня в день совершается чудовищное преступление, первое лицо Узбекистана находится не дома, не со своими согражданами, а совершает лишь краткие «челночные» поездки в Фергану и обратно в Москву, на Съезд? Вопрос этот заставил многих — русских, крымских татар, корейцев, да и самих узбеков — усомниться в способности местных властей защитить их в подобных критических ситуациях. И если еще и по сей день в республике ощущается межнациональная напряженность, то не есть ли это отчасти следствие июньского «безвластия»?

Незадолго до ферганского взрыва я беседовал с Р. Нишановым и помню, как он сказал тогда с удовлетворением: «Наша республика самая благополучная в смысле межнациональных отношений...» Откуда шла эта уверенность? От недостатка информации? От нежелания ее анализировать? От нежелания признаваться даже себе в наличии межнациональных проблем, дабы Москва не выразила неудовольствия?

Похоже, не «тбилисский синдром» сковал войска МВД в Фергане в первые дни беспорядков, а неверная информация с мест, шедшая в центр. Ведь подобная информация поступала поначалу и из Чернобыля, и из Тбилиси, так что опыт «клубничных» фактов на местах богатый. Да еще и средства массовой информации такое «нагромоздили», особенно в первые дни трагедии, что и до сих пор в общественном сознании многие явления воспринимаются превратно. Отчасти от полного непонимания сути проблемы, от незнания традиций, психологии, верований как узбеков, так и месхетинцев, а это незнание, естественно, способствовало тому, что к ферганским событиям пристало некое устойчивое клише, отлитое еще во время алма-атинских беспорядков, а затем проверенное и при оценке Карабаха, Сумгаита, Тбилиси. Согласно этому клише — корни конфликтов едины, их тянут, как жилы из тела государства, националисты в союзе с коррупционными элементами и наркоманами.

Разве не оскорбительно суждение о том, что, мол, узбеки мстили месхетинцам за то, что те якобы не объединились с ними в борьбе против русских? Чего только не приходилось читать в последние годы — и об «узбекских ворованных миллиардах», и об «узбекском преступном деле», — все это нередко подавалось так, будто весь наш народ несет ответственность за доморожденных казнокрадов, которых, кстати, было предостаточно и в других краях. И вот новый, еще более злонамеренный поворот темы!

Писать такое об узбеках — значит, выражать сомнение в нравственных качествах народа, который в годы войны принял под свой кров сотни тысяч обездоленных женщин, детей, стариков и навсегда связал свою судьбу с русским и другими народами нашей страны...

Летом 1989 года, во время совещания в журнале «Дружба народов» по межнациональным отношениям, я спросил у председателя ВОК — Движения за возвращение месхетинцев на родину Ю. Сарварова: «Правда ли, что узбеки подбивали вас выступить вместе против русских?» — «У нас нет таких сведений», — был ответ Ю. Сарварова. «А что вы скажете по поводу другого газетного сооб-

щения — о том, что беспорядки возглавили неформалы?» — «И об этом я ничего не слышал!» — сказал председатель ВОК. А ведь руководители Движения через сеть своих активистов в местах расселения турок в Средней Азии знают все.

Многих в Узбекистане, и не только из числа коренного, но и русскоязычного населения, озадачила публикация в «Огоньке» (№ 29 за 1989 год). Сотрудник журнала А. Головков свою статью «Затмение» составил из такого количества вздорных слухов, нелепых обвинений в адрес узбеков, что жители Ташкента и других городов республики вышли на митинги. И действительно, чего стоит, например, утверждение Головкова о том, что одной из целей ферганских беспорядков было установление в Узбекистане «исламской республики» наподобие «хомейнинского Ирана»!

Все, кто мало-мальски знаком с историей «революции Хомейни», знают, в какой обстановке велась подготовка к этой революции. Исламскому населению страны через проповеди в тысячах мечетей открыто внушалась мысль о порочности режима Реза-шаха, заклинания имама в записи распространяли в самых отдаленных деревнях, будоража души шиитов, обращенные к Аллаху.

Разве у нас, в Узбекистане, есть что-то хотя бы отдаленно похожее на ситуацию в «предхомейнинском» Иране? В действующих мечетях общим числом в два десятка все намазы-проповеди неизменно начинаются с пожелания «безостановочного движения перестройки к победе» и «долгой жизни имаму всех советских народов — Горбачеву...».

О степени влияния ислама и его служителей на население говорит и такой факт. В самый разгар событий в Фергану прямо со Съезда прилетел и народный депутат СССР, духовный пастырь мусульман Средней Азии и Казахстана Муфтий Мухаммад-Садых Мухаммад-Юсуф, чтобы «словом Аллаха» усмирить толпу. Очевидцы рассказывают, что муфтия прервали выкриками: «Семьдесят лет нам внушали, что Бога нет. И что это он теперь вдруг объявился? Не верим!»

Вообще в вопросах ислама многие писавшие о Фергане продемонстрировали полное невежество: будто речь шла о расприх узбеков-суннитов и турок-шиитов, хотя на самом деле и те и другие относятся к одной ветви ислама. Живописали еще, что, верные мусульманской традиции, узбеки сжигали турок заживо в их домах. Даже случаи самосожжения женщин в Средней Азии связывали с исламом, не зная, что по шариату (законам ислама) самосожжение считается высшим грехом и того, кто насильственно оборвал свою жизнь, запрещено хоронить на мусульманском кладбище. Человеческая жизнь считается в исламе уникальным и высшим благом, дарованным судьбой, не меньшим грехом является и сожжение людей заживо... Даже ритуал бритья голов у детей и взрослых с наступлением жаркого лета подавался Головковым как басмаческий знак устрашения перед установлением в Узбекистане «исламской республики».

И все же в чем подлинные причины трагедии? Прежде чем приблизиться к ответу, необходимо бросить взгляд на общую картину жизни Узбекистана, да и всей Средней Азии: на ее этнокарте обозначилась, к сожалению, еще одна «горячая точка» межнационального конфликта — между таджиками и киргизами в приграничном районе. Фон ферганского и ошско-исфаринского конфликта един.

Среднюю Азию можно сравнить если не с «пороховой бочкой», то с перевернутым вверх дном казаном, накрывшим пар, который шипит, пытаясь вырваться наружу.

Многие годы мы сидели на этом казане, много говорили о всевозрастающем благополучии народов региона и, бесконечно повторяя брежневское выражение «золотые руки дают стране «белое золото», в словоблудии утопили дело. Выражение «золотые руки» понимали буквально, как руки торговцев дынями и виноградом, в ярких восточных халатах, которым на российских рынках «деньга сама идет в руки»; отождествляя с этими спекулянтами весь народ, утверждали: «В Средней Азии — самый богатый дехканин». И тянулись, поверив этому, под теплое южное солнце десятки, сотни тысяч тех, кому не было уже житья в Нечерноземье и других областях России. Душные бетонные коробки, ничем не отличающиеся от черемушкинских, спешно строились для них в Ташкенте, Ду-

шанбе, Ашхабаде, Бухаре, где-нибудь недалеко от заводов и фабрик, в трудовые коллективы которых они вливались.

В ответ на брошенный из центра лозунг «Хлопок — интернациональный долг узбекского народа!» слышалось из дубовых кабинетов бодрое: «Бажарамиз! Выполним! Дадим шесть миллионов тонн хлопка!» — и этот ответ выдавался за глас народа, который был приучен безмолвствовать... К двухтысячному году планировали довести сбор до десяти миллионов тонн. Хотя кто знает, двухтысячный год еще впереди, могут и дотянуть, если будут очень выслуживаться перед союзными ведомствами. Но тогда, возможно, страна услышит последний, прощальный вздох превращенной в пустыню Средней Азии...

Ведь уже сегодня нет ни одной стороны жизни региона, где положение не было бы критическим. Очень низкий уровень развития народного хозяйства сочетается с тяжелейшей экологической обстановкой — яркий пример тому гибнущий Арал. Демографический взрыв и бесконтрольная миграция в Узбекистан и всю Среднюю Азию — часть приезжих вливается в армию безработных. В одном только Узбекистане безработица охватывает уже два с половиной миллиона человек, а по всей Средней Азии эта цифра удваивается.

Сбитые с толку слухами о богатой жизни в теплом, фруктовом краю, вчерашние крестьяне Нечерноземья, столкнувшись с невеселой реальностью, неспособные прижиться среди коренного населения сельских районов с иной, хлопковой монокультурой производства, ежегодно тысячами отходят в класс люмпенов, людей отверженных, проживающих на чердаках, в подвалах, в полуразрушенных постройках. Если повезет, нанимают их арендаторы на сезон уборки кенафа, лука, ставя предварительное условие: «Забудь о своих правах! Забудь, что ты человек!» Разве это не питательная среда для всевозрастающей преступности?

Проблема людей, приехавших издалека, но и под восточным небом не нашедших себя и ставших наркоманами, преступниками, проститутками, — проблема острейшая. Требуется изучения социологами и разлагающее влияние этих людей на местную молодежь...

Долгие годы свои труды о безработице, о высокой детской смертности — а она в нашем регионе в десять раз выше, чем в Японии! — о применении в сельском хозяйстве губительных для человека и всего живого ядохимикатов ученые писали под грифом «секретно» и подавали властям «для служебного пользования». А тем временем продолжал умирать Арал, от нещадной эксплуатации монокультурой почти погибла плодороднейшая в стране земля. Благодаря усилиям Минводхоза СССР в Узбекистане засолено, превращено в соляную пустыню 2,5 миллиона гектаров земли, а это почти 60 процентов всей пашни. В соседней Туркмении погублено за последние двадцать лет более половины поливных площадей.

Переселившись в Среднюю Азию, бывшие крестьяне Нечерноземья поражаются, когда узнают, что месячная зарплата колхозника и рабочего совхоза колеблется от 30 до 60 рублей. Попробуйте прокормить на эти деньги семью, где семь-восемь детей. И если учесть еще, что потребление мяса в сельских районах 8—10 килограммов на человека в год — в семь раз меньше среднесоюзного! — и что жители плодороднейшей, дающей два урожая в год земли потребляют овощей, арбузов, дынь и плодов меньше, чем, скажем, в районах Сибири, куда все это вывозится почти за бесценок, становится ясно, до какого состояния довели монокультурой хлопка сельское хозяйство Средней Азии могущественные ведомства. Минлегпром, Минводхоз, Госагропром, химические, нефтегазовые, золотопромышленные и иные ведомства превратили Среднюю Азию в сырьевой придаток, они взирают на нее как на свою колонию. Почти половина двадцатимиллионного населения Узбекистана проживает за чертой бедности. Похоже, командно-административная система давно и негласно вынесла приговор региону с 35-миллионным населением...

За полгода до кровавых событий я ездил с группой писателей по Ферганской долине. Внешне, казалось, ничто не свидетельствовало о копившемся заряде грозы. Черта узбеков, да и всех восточных людей — не роптать ни при каких обстоятельствах, принимать судьбу, какой бы она ни была тяжелой, принимать как данность. Подсаживались к аксакалам в чайханах. «Как житье-бытье, все ли в порядке?» — «Хвала Аллаху, не жалуемся...» Эта, в общем-то, стоическая черта

восточного человека за десятилетия обмана, бедности, бездуховности была искривлена, и те из руководителей, которые полагались на пассивность и безропотность людей, были потрясены тем, как пассивность эта уродливо выплеснулась в жестокость и фанатизм во время вспышки насилия. Те, кто воспитывал в народе безропотность, теперь пожинают плоды. Разве не ясно, что лишь свободной развивающаяся личность гармонична, лишь здоровый и полноценный народ далек от жестокости, от проявления экстремизма и крайнего национализма?

Но, как бы ни скрывали жители Ферганы свое отчаянное положение, писатели все же сумели кое-что разглядеть и понять. Города и кишлаки некогда цветущего уголка Узбекистана выглядели неприветливыми, неухоженными, базары бедными, чайханы угрюмыми; невольно пришли на ум строки репрессированного в годы сталинщины поэта Чулпана: «Что с тобою случилось, родная моя Фергана?!»

Чайханщику пришлось добавлять в чай какую-то травку, чтобы сбить химический запах, а кипятил он ту же самую отравленную воду, которую пьют миллионы людей в регионе. Обратили на себя внимание многочисленные агрессивно настроенные группы молодежи, которые слонялись по базарам, вокруг чайхан без дела, такие же неряшливые, как и кишлаки, откуда они приехали в город. Ежегодно в Фергану, Коканд, Маргилан приезжают в поисках «лучшей доли» тысячи выпускников средних школ, не нашедших работы дома, и многие из них попадают в преступные банды. Таких почти сорок процентов из общего числа выпускников, и легко понять, какие эмоции клокочут в их душах, грозя вырваться наружу в любой, даже самой уродливой форме, вылиться в жестокость, насилие, убийства...

Было непонятно, почему местные власти в таких условиях отдали распоряжение предприятиям городов не принимать молодежь из сельских районов на работу, хотя всюду висели объявления: «Требуются на работу... требуются...» Обратились за разъяснениями к первому секретарю Ферганского обкома С. Умарову. Он принял любезно, обещал разобраться и поправить положение... Но утром, едва проснувшись в гостинице, мы узнали, что Умаров освобожден от должности и находится под следствием. Вот вам и ситуация! Второй секретарь обкома А. Козырь... В глазах его прочитывалась полная неозабоченность делами Ферганы, и не случайно во время массовых беспорядков среди тех руководителей области, кто не сумел предупредить и пресечь их...

Долгое и трудное следствие, похоже, близится к концу, судами уже оглашены первые, довольно суровые приговоры участникам этих беспорядков, но и по сей день не до конца ясно: кто же повел молодежь на погромы? Какие силы?

Судя по массовости и размаху беспорядков, тут было несколько движущих сил; поначалу разрозненные, они постепенно сошлись, спелись. Но при всей их спаянности во время событий до некоторой степени просматривались интересы каждой. Откровенная, жестокая уголовщина, вылившаяся в убийства, поджоги, ограбления, сочеталась с демонстрациями, митингами, участники которых выдвигали экономические и экологические требования, и все это получало еще, так сказать, «духовную» окраску в выступлениях небольшой части местной интеллигенции, в умах которой сумбур из идей Ленина, ультрасовременных лозунгов перестройки и исламских догм оказался сильнее здравого смысла.

Первой нагнетать обстановку в Ферганской долине начала мафия. Различные ее кланы уже давно боролись между собой за сферы влияния. Особенно успешно расширял свои «владения» некто Дурсунов, месхетинец, сосредоточивший в своих руках питейные заведения, подпольные курильни анаши и публичные дома. Он знал, что в условиях жесточайшей конкуренции без помощи властей ему не продержаться, и вскоре у Дурсунова появились «свои люди» в местных органах власти, в милиции. Почувствовав «прикрытие», шайка стала действовать дерзко и вызывающе, терроризируя местное население, вымогая крупные суммы у кооператоров и арендаторов. Другая, «местная» мафия, владевшая маргиланской территорией, видя, что Дурсунов буквально наступает ей на пятки, решила дать бой. Местная мафия поначалу психологически «обрабатывала» население, внушая мысль, что во всех бедах — безработице, бедности — виноваты приплытые. Подкупленные власти выделяют-де им лучшие участки под дома, отдают на откуп торговлю, все прибыльные места.

Еще осенью 1988 года среди узбекского населения прошла первая волна

ропота. Тогда же при загадочных обстоятельствах Дурсунов погиб в автокатастрофе. Шайка, оставшись без шефа, жестокого и умного человека, долго не могла оправиться и обрела прежнюю боевую форму лишь к весне следующего года. Неминуемо должна была произойти сшибка между мафиями. И, чтобы усыпить бдительность местных ферганских властей, мафии спровоцировали стычку между узбеками и месхетинцами за сотни километров, в Самаркандской области. Аксакалам тогда едва удалось предотвратить кровавую бойню. А здесь, в Фергане, достаточно оказалось обычной драки в ресторане, чтобы пожар вспыхнул.

Власти растерялись, ситуация сразу вышла из-под контроля милиции. Подкупленные местной мафией чиновники не смогли остаться нейтральными. Не случайно приехавший на место событий Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков заявил в Фергане журналистам: «...Теперь стало известно об участии в погромах отдельных партийных и советских работников. Я хотел бы привести их, снабжавших бандитов бензином и транспортом, поивших юнцов водкой, в лагерь беженцев под Ферганой. Хотел бы заставить их дать ответ ни в чем не повинным людям...»

Не встречая почти никакого отпора, зачинщики беспорядков быстро раздули пламя дальше и шире. Увидев, что на власти можно «давить», ожили и небольшие группки разрозненного пока экологического движения, выдвинули свои требования на митингах. Говорили о губительном воздействии на среду обитания Новококандского химического завода, масложиркомбината, Ферганского азотового комбината, говорили об отравленной сохской воде, которую пьют сотни тысяч людей.

Народный депутат СССР, директор Кокандского масложиркомбината Ю. Якубов вылетел в те дни в Москву, в Совмин СССР, чтобы изложить законные требования населения и в отношении низких закупочных цен на хлопок, и по части охраны природы...

Меж тем кровавым фоном митингов, как бы независимо от них продолжались поджоги, убийства, грабежи. Так длилось день, два, три, но местные власти продолжали пребывать в состоянии если не паралича, то глубокого шока, стягивая основные силы милиции на охрану административных зданий, где стоял густой телефонный перезвон: отсюда, с мест шла смягченная информация в Ташкент, приуменьшающая и масштабы беспорядков, и количество участвующих в них лиц, а из Ташкента, как мы теперь знаем, в центр шли рапорты, похожие на очищенную от вредных веществ водичку, разбавленную клубничным сиропом.

В кровавые дни, когда вечные проблемы жизни и смерти, жестокости и милосердия, сострадания и предательства решались отнюдь не только, так сказать, в физическом плане, но и в метафизическом, философском, ситуацией решили воспользоваться и немногочисленные исламские секты, и на улицы и площади городов Ферганской долины вышли верующие со своими требованиями — свободы совести, открытия новых мечетей... И все это на фоне жутких убийств, поджогов, ограблений, на которые преступная мафия в союзе с продажными чиновниками подбила безработную молодежь, отчаявшуюся от бедности и бесперспективности жизни.

Это типичная ситуация, созданная «феодалным сознанием», когда толпа несет в себе сразу множество разнородных настроений, кажущихся взаимоисключающими, но тем не менее движущихся в едином потоке энергии — от законных до преступных. Поверхностный взгляд многих авторов, писавших о ферганской трагедии, не мог рассмотреть и отделить каждое из этих устремлений, и даже демонстрации под экономическими и экологическими лозунгами объявлялись преступными.

В обществе, где слабо правовое сознание, где долгие годы исповедовался культ силы, естественно стремление решать проблемы с помощью насилия. Так было и в Новом Узене, и в приграничных районах Таджикистана, и в Киргизии. Неверие в силу закона, в его защиту, недоверие к тем, кто призван закон охранять, ведет к насилию. Это классическая среднеазиатская ситуация — решать споры о земле и воде кровопролитием, идет она от стародавних родо-племенных времен и не искоренилась по сей день, а благодаря идеологической фразеологии командно-административной системы приняла еще более уродливые формы, ибо

эта система у нас, в Средней Азии, связана с родственными кланами на руководящих постах, с культом патриаршества, с традициями, идущими от феодальных времен...

По истечении времени в Узбекистане все настойчивее звучит вопрос: можно ли назвать пострадавшей стороной одних лишь месхетинцев или же мафия в равной мере собрала «кровавую дань» и с узбекской части населения?

Поначалу создалось впечатление, что было только массовое избиение месхетинцев. Теперь же, когда опубликованы данные Комиссии ЦК КП Узбекистана, оказалось, что из 103 погибших они составляют половину: 52 человека. Говоря языком военных сводок, стороны понесли равные потери. Но, в общем-то, вести такие подсчеты безнравственно, ведь речь идет о гибели наших сограждан и, даже если бы погиб один-единственный человек, все равно жестокость и насилие были бы достойны всяческого осуждения.

Хотелось бы сказать еще вот о чем: некоторые авантюрно настроенные активисты ВОК попытались воспользоваться трагедией своих соплеменников для давления на центральные власти. Тут же отправились в Москву гонцы с различными документами в руках, где искажалась и суть самого конфликта, и число погибших, а все сваливалось на «жестоких узбеков». Требовали на пресс-конференциях: скорее, скорее вывозить всех месхетинцев на родину, в Грузию! Но в Грузии начались протесты против их возвращения. И в итоге из-за спешки, непродуманности большая часть народа оказалась в Нечерноземье, краю с суровым для них климатом, с заброшенными деревнями. Была совершена ошибка.

Во-первых, отправив людей, пусть даже ради их безопасности, за пределы Узбекистана, власти вольно или невольно выполнили одно из основных требований зачинщиков беспорядков. Во-вторых, оторванные от привычной среды обитания люди оказались в еще более страшном положении.

Что же надо было сделать? Поначалу я думал, что ферганских месхетинцев следовало воссоединить с основной, пятидесятитысячной массой, проживающей в Ташкентской области. Но в свете последовавших затем драматических событий следует, видимо, все-таки подумать о возвращении месхетинцев на их историческую родину.

Вне сомнения, проблема людей из Месхетии, как и проблема крымских татар, как и проблема других народов — бывших сталинских спецпереселенцев, — должна быть решена по справедливости. Сейчас очень важно услышать голос грузинской интеллигенции, призывающей вернуть месхетинцев на родину, и голос украинской интеллигенции в защиту законных прав крымских татар...

Суд в Фергане назвал имена первых преступников, назначил меру наказания за содеянное. Все в Узбекистане ждут, что суд до конца будет объективным и справедливым, покажет, что от феодального правосознания мы идем к гуманному, цивилизованному. А это значит, что должны быть наказаны все, кто преступил закон, в том числе и те «партийные и советские работники», кого Н. И. Рыжков хотел повезти в лагерь беженцев, чтобы показать им содеянное. Это снимет все кривотолки. Правда, как бы она ни была горька, должна быть сказана. Не должно остаться ничего такого, что вызывало бы чувство неудовлетворенности, озлобленности, что привело бы к новому нагнетанию обстановки.

Среди ферганского населения все еще бытует мнение, что преступившие закон из числа месхетинцев, умело воспользовавшись неразберихой первых дней, «затерялись» поначалу среди своих соплеменников в лагерях беженцев, а потом вместе со всеми выехали за пределы Узбекистана и разгуливают по сей день на свободе. И впрямь ведь должны быть выявлены и убийцы пятидесяти с лишним граждан нетурецкой национальности!¹ Но главный урок, вне сомнения, дол-

¹ Уже после написания статьи стало известно о суде в Фергане над месхетинцем Р. Исмаиловым, из хулиганских побуждений убившим жителя Куvasая И. Абдурахманова. Вот как комментирует это событие, давшее толчок ферганской трагедии, руководитель следственной группы Прокуратуры СССР А. Фролов в газете «Правда Востока» за 4 января 1990 года: «Возвращаясь к событиям в Куvasae, нельзя умолчать и о том, что во многом и сами турки-месхетинцы способствовали нагнетанию здесь напряженности. Убийство, совершенное Р. Исмаиловым 24 мая и не получившее сразу же должной, принципиальной и гласной оценки, породило самые невероятные слухи, которые вылились в конечном счете в кровавую драму».

жен быть нравственный. Подавляющее большинство узбекского населения испытало шок от случившегося, и сейчас идет процесс глубокого морального осознания трагедии. «Отщепенцы, пролившие кровь, не имеют права называться узбеками», — эти слова, как клятва, прозвучали в нашем народе, чья мучительная и горькая история состояла и из преодолений всего низменного, недостойного, противоречащего великим гуманистическим принципам Востока...

Но уроки из случившегося должны извлечь и руководители всех уровней — от республиканских до местных. Трагедии могло и не быть, если бы власти оказались на высоте... Сейчас, уже после пожара, спешно пытаются они поправить положение, думают о новых рабочих местах для молодежи, выделяют участки для приусадебных хозяйств и под жилье. Приостановлено производство на экологически вредном Новококандском химическом заводе...

Но все это дела срочные, пожарные, которые уже завтра могут оказаться косметическими. Надо копать гораздо глубже, чтобы решить проблему кардинально.

Публицист В. Селюнин, хорошо знакомый с современной ситуацией в Средней Азии, подсчитал: чтобы покрыть одни лишь минводхозовские грехи, нужно вложить в сельское хозяйство региона 60 миллиардов рублей. И еще необходимо 100 миллиардов, чтобы создать к 2005 году миллион рабочих мест. Вот какой вред нанесли за десятилетия различные центральные ведомства, нещадно эксплуатируя свой «сырьевой придаток».

А. Головков в «Огоньке» упрощает проблему, мол, дай националисту хоть золотые горы, он все равно останется националистом. Раздай эти миллиарды по семьям — и завтра, не дай бог, снова покатаются по улицам обкуренные оголтелые толпы, убивая все живое, что им попадается на пути...

Что скрывается за подобными высказываниями: наивная слепота или сознательное желание унижить народы региона, обвинив их в поголовном национализме в сочетании с уголовщиной и бандитизмом?

ТИМУР ПУЛАТОВ

ТЕРПИМОСТЬ, ТЕРПИМОСТЬ!

С той поры к ферганской трагедии прибавились бакинская, душанбинская... А что впереди? «Грехи наши тяжкие», — так говорили обыкновенные сердобольные люди в прежние времена. Просили заступничества у Бога, чтобы самим не быть на месте тех, кто оказался виноватым в грехе, гибели, преступлении.

Безверное время отбросило и эту лексическую норму. «Грехи и х тяжкие», — так говорят многие, «и х грехи», «нацменьшинств». А у нас грехов нет. Мы безгрешны, они — да, виноваты уже тем, что оказались в меньшинстве или в бездомности и незащищенности. И потому им носить на себе клеймо и вину, а нам — терпеливо отмалчиваться или, на худой конец, разъяснять объективную реальность. Ведь ни одна большая нация СССР, конституированная в союзную республику, не отказалась и от малой части своих прав в пользу меньшинств. Не только не отказалась, но, похоже, не сделала и жеста, не оповестила, что это возможно реально или что так нужно сделать. Не провозгласила того, что, скажем, в XIX веке было нормой в «приличном», «буржуазном» по тем временам обществе и общественном мнении.

Беженцы. Из Ферганы, Баку и Армении, Эстонии и Узеня, РСФСР и Молдовы. Сомнительная честь для одной шестой земной суши начать отказывать группам людей в крове или устраивать им скудный кров наспех, где придется. Границы беженства могут стремительно разрастись. В мире сейчас 13 миллионов тех, кого выгнали, кто подвергся принудительному переселению. Мы в списке тех стран, где беженцы страдают особо. Я не хотел бы повторять общеизвестное о месехинцах, обретших, точно в чудовищном сне-фантазмагории, местожительство в краях, которые могут им даже и понравиться, но никогда не станут родными. Там они себя как неповторимую национальную группу, важную, как и всякий малый народ, для общего мироустройства, могут похоронить. Около

60 миллионов человек в стране живут «не на своей территории», как оповещается сегодня официально и подсчитывается скрупулезно и дотошно — неофициально. Что же, вся страна — огромный разбросанный лагерь перемещенных лиц? Слава Богу, до этого еще не дошло. А если? Мы слышим уже, что удины — есть такой народ, простите, «нацменьшинство» — мешают кому-то в Азербайджане. Курды, столетиями ходившие на перекочевки в Армению, тоже помешали — кому?

Мы переживаем распад старой общенациональной системы, основанной в конечном счете на насилии, но также и на самооправдании интеллигенции в том, что национальная позиция ее неподсудна и праведна. Из столкновений грубой силы, чем бы их ни прикрывать, из оправдания собственной национальной правоты ничего не рождается. И, увы, не родится. На этом пути нас ожидает бесплодие, потому что ясно, что происходит: национальная рознь или резня означает, что насилие, положенное когда-то в основу практики повседневной жизни (вовсе не политики, ее не было, только голая, без восторгов практика насилия), имеет свои ближние и дальние результаты.

Мы переживаем кризис не в чем-либо конкретно, но кризис системы управления, кризис способности центра управлять. Насилие и самооправдание в рамках насилия устами зачастую громких писательских и иных гражданских имен тоже носит отпечаток перенесенного насилия. Мы, в общем, все повязаны бесчувствием к насилию, переходящему тотчас, как только человек получает микрофон или журнальную страницу, в то же насилие: над историей, над фактами, над событиями, над намерениями людей другого этноса. Мы все дети предрассудков — и каких! Стоило бы покопаться в этом феномене, в этом историческом комплексе, рожденном нашей несвободой.

Времени нет! Идеи стремительно овладевают массами. В этой заметке мне хотелось бы сказать о самом насущном, о том, какие идеи с какими сходятся. Когда управление в состоянии кризиса — из массы произрастает толпа. Какие только расистские мысли не залетают в головы сермяжной толпы. Как только в призывах мы заспешили к правовому государству, мы тут же стали клеветать, мы забыли о морали, выстраданной человечеством. Мы упираем на закон — на право наций на свое законодательно оформленное поведение. Но мораль нельзя ввести в законодательном порядке, можно лишь регулировать поведение людей, как сказал Мартин Лютер Кинг, а он знал, о чем говорил, и мы знаем. Поведение, поведение людей — вот что в гипнозе национальной идеи вызывает удивление.

Я не случайно говорю о толпе и о том, что понятие национального самоопределения, или право наций на самоопределение оказалось в наших горестных условиях быта повязанным с толпой. Сами понятия стали «толпообразными». Право наций на самоопределение, как ни крути, было лозунгом респектабельного, неуязвимого в терпимости буржуазного века, лозунг этот — вообще буржуазного миропорядка, он имущественный, основанный на скупой и скучной мужественности тех, кто владел собственностью, кто был столпом общества, имел право и нес ответственность. Это высокостоймостный порядок, с удовольствием повторяю я, и не наш он, как бы мы ни страдали при виде того, что где-то этот порядок хорошо работает. Всплески толпы при таком порядке не вызывая, толпы утихомириваются, удовлетворяясь терпеливыми поисками хлеба и труда. Толерантность, терпимость была заложена в самих основах того права, которое говорило о равенстве наций.

В наших условиях, в нашей тяжелой, переполненной экссессами истории, в голодранской и убогой беспечности нашей к последствиям поступков, в реальности, не знавшей практически до начала 1980-х годов национального вопроса всерьез, в нашей геополитической сцепленности над северным полушарием, в нашей евразийской пригнанности друг к дружке нет места нации, или этносу, чтоб конструировать свое государство по принципу избранничества. Не получается этнос, вмонтированному в свежие республиканские границы (все они XX века), освоить свои пределы, используя идею национального превосходства. Либо сила, либо сокращение «государственных» претензий до размеров площади расселения своего этноса, и тогда у нас впереди 30-летняя война, которая была в Центральной Европе в 1618—48 годах.

Не получается. Это касается и прибалтийских республик, и Узбекистана, границы которого столь прихотливы, что его борьба за этническую моноцельность и этническую чистоту будет означать оголтелую отгороженность от своих же собственных народных традиций. Ведь в азиатской части СССР, вообще в Азии границы сегодня в отличие от европейских, производных от второй мировой войны, долгой жизни не имеют.

Постсталинский мир пришел в движение на площадях и в речах. И потому властные выкрики толпы, не терпящей управления и обыкновенного (буржуазного) порядка, в котором первой заповедью является работа, стремление толпы доставить своей национальности льготы во имя принципа избранничества, — гремучая смесь. Почему у нас требование прав своему этносу выразилось в столь властно пещерной форме?

Этносы, я думаю, должны научиться поступаться частью своих исторических прав — хотя таковых от природы (или от Бога) вообще нет — в пользу меньшинств. Не выпячивание исторических заслуг, которые преходящи, и не профанное прославление дружеских уз, будто бы связывающих свой этнос с соседним, но терпимость, терпимости! Терпимость вообще начиналась в Новое время с интеллигенции, и сегодня, возможно, ее единственно гуманная роль в истории — проявить сдержанность. Хотя, как показывает этиология, тому, кому за пятьдесят, уже не излечиться от предрассудков.

Идеология особых прав этноса, который сам становится смыслом своего же бытия, — это все та же идеология, фикция, любезная толпе, идеология с большой буквы, которая, естественно, как всякая узко эгоистическая доктрина, уничтожает свободу. Свобода же наша в том, насколько главенствующий этнос позволяет нацменьшинству, меньшим этнособратьям выразить себя, свое существование, как им того хочется.

Свой этнос нельзя принимать за арбитра истории. Русской философской традиции это было ясно настолько, что она сделала эту позицию инструментом философского языка. Подразумевалось, что человек приобретает право распоряжаться своим этническим целым — уделом скорее случайным, — лишь приобретаясь путем сознательного выбора, духовно продвигаясь к заветным мыслям, к Вселенной, к откровению. Национальность — не девственность, она не дается неосознанно с рождением человека. Это акт поведенческий, акт сознательного выбора. Г. Шпет проникновенно это высказал от лица всей традиции философствования на русском языке. «Человек, действительно, сам духовно определяет себя, относит себя к данному народу, он может даже «переменить» народ, войти в состав и дух другого народа, однако опять — не «произвольно», а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего его духовного уклада. Духовный уклад индивида и есть дух его народа».

В этнос необходимо вступать, понимая себя, в глубь него идти осторожно и не неистово, не как народник XIX века, шедший в народ с иконой и топором. Именно усилия каждого человека, члена этноса, составляют не разгаданную пока и, наверное, навсегда силу национального духа. Неразборчивость толпы уходит, оставляя зачастую кровавые следы. Поступок во имя противостояния ей — остается. Вспомним слова евангелиста Иоанна: «...и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Вот что я думаю о ферганской трагедии.

АЙДЕР КУРКЧИ

СЕМЬ ОБЪЯСНЕНИЙ

Национальные и региональные ценности отчетливо берут верх во всех общественно-политических структурах: от партийного аппарата до творческих союзов и неформальных движений. Волна регионалистского мышления, выпущенная на всю страну заседаниями Съезда народных депутатов, расходится по ее просторам, захватывая большие и малые народы. Альтернативные призывы к братству и единению выглядят слишком зыбкими или безнадежно устаревшими на фоне доступности, эмоциональной заряженности и очевидной радикальности идей регионализма.

Уже ясно всем, что перед советским обществом поставлен вопрос: способно ли оно найти гармоничное (или хотя бы разумное) сочетание интересов входящих в него народов или нас ждет новый рост напряженности межнациональных отношений. Время, когда можно было говорить о «периферийных конфликтах», «частных ситуациях», «отдельных нарушениях», осталось в прошлом. Речь идет уже не о статистическом накоплении локальных конфликтов в разных частях страны, а о каком-то общем, закономерном процессе, требующем столь же общего объяснения.

К середине 1989 года это должны были признать органы политической власти и лидеры государства. Рубежом этого признания стало Постановление Первого Съезда народных депутатов и особенно телевизионное выступление М. С. Горбачева (1.07.1989). Опубликованная платформа и сентябрьский Пленум ЦК КПСС по национальному вопросу констатировали уже очевидную всем важность национального вопроса для существования государства. Официальное признание открыло плотину, и вчера еще «националистические» лозунги и программы неформалов сегодня публично повторяют партийные секретари союзных и автономных республик.

В этих условиях все ждут и ищут объяснений. Налицо очевидная общественная потребность, когда в равной мере необходимо ЗНАТЬ, ОБЪЯСНИТЬ и ПРЕДСКАЗАТЬ состояние национальных отношений на пространстве шестой части всей планеты. Никогда прежде этнография в СССР не была в таком фокусе общественного внимания (три профессиональных этнографа — Г. В. Старовойтова, Е. А. Гаер и В. М. Шамиладзе — являются народными депутатами СССР). Но и никогда прежде мы не пытались давать ответы при таком дефиците времени, напряжении всех политических чувств.

Моя цель сейчас не в том, чтобы предложить наиболее убедительную точку зрения на происходящие в стране процессы. Мне кажется бессмысленным искать это единственно правильное объяснение: свое собственное, коллег-профессионалов или «московской науки». Ничего этого нет — ни единого «московского взгляда», ни общей позиции коллег-этнографов, ни даже устойчивой личной интерпретации, если, конечно, ученый хочет оставаться на уровне профессионального анализа, а не житейски-обывательского мышления.

На мой взгляд, индивидуальная или коллективная оценка национальной ситуации на деле всегда есть проблема выбора из целого спектра объяснений. Причем выбора меняющегося — на основании предшествующего личного и профессионального опыта, политической позиции, широты и критичности взгляда. Нет «верных» или «неверных» интерпретаций национального вопроса, есть люди, которые выбирают ту или иную точку зрения. И сделанный выбор, как сейчас говорят, это факт их биографии.

Сегодня я могу предложить сделать выбор из семи различных объяснений, два из которых — мои собственные. Число «семь» здесь ничего не значит; многие имеют собственные объяснения нынешней ситуации, которые укладываются или же не укладываются в предлагаемую схему. Дело не в числе или характере объяснений, а в самом факте их множественности, ставящем каждого из нас в положение человека, принимающего индивидуальное решение. И в этом отношении все мы — ученые и неученые, научные сотрудники и руководители государства, обремененные информацией и решающие на уровне здравого смысла — ничем не отличаемся друг от друга.

«Всеперспективный»: семь объяснений

Объяснение первое было предложено нам уже в первых отблесках предстоящих событий во время демонстраций студентов в Алма-Ате в декабре 1986 года и голодовки крымских татар на Красной площади в Москве летом 1987 года: ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЭКСТРЕМИСТЫ. Объяснение было не новым и не оригинальным и опиралось на нашу предшествующую политическую культуру. Оно было использовано затем с началом событий в Нагорном Карабахе и при первых массовых демонстрациях в Армении в феврале-марте 1988 года, чем очень стимулировало их массовость, глубоко задев национальные чувства армянского народа. В официальной версии закавказской ситуации

тезис об «экстремистах» с вариациями внешнего заговора, эмигрантских кругов, враждебных идеологических сил и т. п. доминировал до начала 1989 года. Во многих частях страны он остается наиболее популярным официальным объяснением местных событий и поныне.

Идея «злой руки» — в лице экстремистов, коррумпированных мафией, врагов перестройки, идеологических противников, бюрократического аппарата, зарубежных спецслужб или диверсионных центров — при всех своих вариантах имеет общую черту: ОНА ДЕЛАЕТ НАС НЕВИНОВАТЫМИ. То есть мы хорошие и были хорошими, хотя могли допускать в прошлом отдельные ошибки. Но вины нашей за ситуацию нет, поскольку появились некие внешние силы, вышедшие из-под контроля или не поддающиеся нашему контролю в силу своей недосягаемости или заведомой злонамеренности.

Идея «злой руки» имеет определенную логику мышления и анализа. Она ищет источник напряжения по принципу «кому это выгодно». Поскольку это никогда не может быть выгодно «нам», источник может быть только внешним, что опять же избавляет НАС от необходимости анализировать и менять свое поведение. НАМ важно только устоять, преодолеть, проявить нестигаемость, не поступиться принципами, сохранить верность заветам и подобные идеологические качества.

Когда национальные конфликты для большинства жителей страны из цепи изолированных случайностей стали складываться в закономерную ситуацию, появилось другое объяснение. ВСЕ ДЕЛО В ЭКОНОМИКЕ. Обострение национальных отношений вызвано ухудшением экономической ситуации, и, если мы быстро накормим людей, национальные конфликты сами исчезнут или ослабнут, перестав представлять опасность для государства.

Это объяснение одинаково легко укладывалось и в самое верхнее, и в самое нижнее житейское сознание. Были у него и более уточненные варианты: не раз доводилось, например, слышать, что национальные конфликты характерны для регионов с низкой производительностью труда (Закавказье, Средняя Азия), где господствуют теневая экономика, коррупция и крайне отсталая структура производства. Ссылки на Прибалтику, на Украину и Белоруссию, опыт преуспевающей Западной Европы при этом отменялись как исключения, не менявшие общего правила.

Стремление видеть экономическую основу в национальных трудностях (особенно отсталую экономическую основу) отразило предшествующую идеологическую базу нашего сознания, где все объяснялось экономикой или приматом экономики, или приматом материального над идеальным. Специфический «московский взгляд» был еще и в снобизме чуть более благополучного и сытого центра перед окраинами, в противопоставлении «светлого» центра темной периферии.

Комментировать и критиковать эту схему было очень трудно. Ухудшение экономической ситуации и товарный голод у всех перед глазами. Все шире стремление продавать предметы первой необходимости по паспортам, акценту или внешнему виду покупателей. Экономика действительно стимулирует обострение национальной конфликтности — об этом мы знали на примере Северной Ирландии, негритянских гетто Америки или судебных иностранных рабочих в европейских странах. Вероятно, голодный и обездоленный может с большей ожесточенностью бороться за свои права. Но то, что у обеспеченного и сытого человека тоже есть национальные чувства, как и готовность их отстаивать доступными средствами, еще предстоит понять нашему обществу, все более раздраженному сейчас своей бедностью, дефицитом и экономической отсталостью.

В первой половине 1989 года официальная версия событий под давлением демократизации и роста исторической информированности общественного сознания стала постепенно сдвигаться к третьему объяснению. ИЗНАЧАЛЬНО ВСЕ БЫЛО ЗАДУМАНО ПРАВИЛЬНО, НО ПОТОМ ВОЗНИКЛИ ДЕФОРМАЦИИ. Эта концепция и отразилась в национальной платформе КПСС, где дана характеристика как достоинств первоначального плана советской федерации, так и допущенных впоследствии «искажений» реализованной идеи.

Концепция «деформаций» интересна тем, что она предполагает существование некой «точки перегиба», от которой первоначально положительное развитие федерации советских республик сменялось развитием отрицательным или

искаженным. Требовалось лишь найти в историческом прошлом эту точку — символ прежнего благополучия национальных отношений и затем воссоздать это состояние в новом историческом исполнении, то есть вернуться к федерации, перезаключить союзный договор, восстановить равновесие между центром и суверенными республиками и т. п.

Задача выглядела очень благородной и была близка к тому, что предлагалось сделать с экономикой (поиск золотой вершины позднего нэпа), нормами партийной и государственной жизни (ленинские принципы демократии). Первым результатом новой концепции стало возрождение живого интереса к опыту национального строительства в первые годы Советского государства. В печати, дискуссиях, рекомендательных документах начали появляться давно забытые понятия «национально-культурной автономии», «республиканского суверенитета», «национальных сельских Советов», «коренизации» и т. п. Как из пепла возродились шедшие в начале 1920-х годов дебаты по поводу союзного договора, полномочий союзного и республиканского законодательства, государственного языка и гражданства союзной республики, необходимости самостоятельной российской компартии. Начались эти дискуссии чуть раньше, многих нынешних конфронтаций удалось бы избежать, в особенности по вопросу о республиканском гражданстве (признанном решением Конституционной комиссии ЦИК СССР в апреле 1924 года) или статей о государственных языках союзных и автономных республик, которые имелись уже в первых конституциях Грузии, Белоруссии, Армении, Абхазии, Крымской АССР.

Идея «деформаций» и «очищения истоков» была привлекательной тем, что на ее основе можно было строить конкретную программу действий, не выходя за границы советского исторического опыта, советской реальности. Оставалась лишь одна проблема: где видеть точку перегиба в развитии советской федерации? Это не могло быть послевоенное время, когда уже прошли массовые депортации целых народов — немцев, крымских татар, чеченцев, калмыков и других и были ликвидированы их национальные автономии. Вряд ли подходили и предвоенные годы с их перенесением норм тоталитарно-репрессивного государства на внутреннюю и внешнюю национальную политику. Решение судеб народов на основе секретных протоколов; декоративное создание Карело-Финской ССР; массовые депортации жителей присоединенных территорий Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии и Буковины; высылка первых потенциально «неблагоприятных» народов: корейцев, ленинградских финнов, беженцев и эмигрантов — иностранных подданных, — все эти события явно находятся по «ту» сторону золотой вершины советской федерации.

Двигаясь в глубь времени, в первую половину — середину 30-х годов, мы попадем в период сворачивания политики «коренизации», ликвидации национальных районов, массовых репрессий против национальной интеллигенции и административных кадров, отягощенный раскулачиванием, голодом, высылкой миллионов крестьян. Знамение времени — номенклатурное создание новых автономий при одновременном урезании их реальных прав. Наиболее ярким примером здесь стало юбилейное расформирование Закавказской федерации, преобразование Казахской и Киргизской АССР в союзные республики и пяти автономных областей — в АССР в день принятия новой конституции 1936 года.

Итак, выбор точки перегиба фактически сводится к двум весьма коротким интервалам: второй половине 1920-х годов и времени сразу после образования СССР (1922—1925 годы). В сфере национальных отношений оба они разделяют достоинства и недостатки своей эпохи. Доминирование партийных структур власти над общегосударственными, догматический классовый подход, авторитарность и аппаратность сочетались в те годы с энтузиазмом и жертвенностью, невиданным размахом действий и способностью очень быстрого развития.

Параллельно с идеей «деформаций» в первой половине 1989 года все громче стала звучать еще одна — четвертая концепция. Она давно существовала в зарубежной литературе, жила в документах радикальных национальных движений. Недавние решения Верховных Советов Грузинской, Эстонской и Литовской ССР с оценкой событий 1921 и 1940 годов, настроения в других республиках, видимо, сделают ее вскоре предметом открытого обсуждения. Суть этой концепции: ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ, ЗАКОНОМЕРНО. Идет неизбежный

«распад империи», поскольку образование Союза ССР в 1922 году было восстановлением прежних границ царской России, нарушением принципов договорного союза и конфедеративного сотрудничества независимых советских республик.

У этой концепции есть свои аргументы. Главные среди них: отсутствие у большевиков к Октябрьской революции четкой позиции о будущем многонационального государства; декларируемый ими примат классовых интересов и пролетарского интернационализма с отрицанием «буржуазного» национализма; неприятие идеи конфедерации как вредной формы государства, ослабляющей интересы пролетарского единства и пролетарской революции.

Известно, что до Февральской революции 1917 года Ленин выступал против федеративного устройства будущей социалистической России¹. Решительным противником федерализма был Сталин, который считался в партии специалистом по национальному вопросу². Не случайно он получил в первом советском правительстве пост наркома национальностей. Правда, свое отношение к федерализму большевикам пришлось менять уже весной — летом 1917 года в ответ на бурный рост организованных национальных движений в разных частях Российской республики, требовавших независимости Финляндии, самоуправления Эстонии и Латвии, национальной автономии Украины и Белоруссии, Крыма и Закавказья, Татарии и Башкирии, Бессарабии и Туркестана. Можно сказать, что к осени 1917 года бывшая империя подошла к федерализму, и не откликнуться на это не могла ни одна партия, стремившаяся к взятию власти.

Уже первые документы нового Советского государства — Декрет о мире³ и Декларация прав народов России (2/15 ноября 1917 года) — провозгласили равенство и право на самоопределение народов. Тезис о федеративном устройстве Российской советской республики был официально провозглашен в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов 12(25) января 1917 года⁴ вместе с постановлением «О федеральных учреждениях Российской республики». Эта дата является началом советского федерализма.

С самого начала, однако, федеративная Российская республика виделась как новая форма устройства для всей бывшей территории Российской империи. Это совершенно четко определил Сталин в интервью об организации РСФСР газете «Правда» (3-4 апреля 1918 года), назвав в числе возможных субъектов Российской федерации Польшу, Украину, Финляндию, Крым, Закавказье, Туркестан, Киргизский край (Казахстан. — И. К.), татаро-башкирскую территорию, Сибирь и т. п.⁵ Здесь же Сталин подчеркнул стратегическую временность федерализма в России, когда «принудительный царистский унитаризм сменяется федерализмом добровольным... которому суждено... сыграть переходную роль к будущему социалистическому унитаризму»⁶. Если таков был замысел, воплотившийся через четыре года в создании Союза ССР, то происходящее с нами сейчас закономерно, поскольку в основе «добровольного советского федерализма» мы видим отпечаток все той же исторической личности.

Пятым объяснением современной национальной ситуации является концепция ОБРАТНОГО НАСИЛИЯ, изложенная мной в других публикациях⁷. Харак-

¹ Из многочисленных высказываний Ленина по этому вопросу в его статьях «О праве наций на самоопределение», «Критические заметки по национальному вопросу», «Социалистическая революция и право наций на самоопределение» и других процитирую фразу из его письма С. Г. Шаумяну (23.11/6.12. 1913 года): «Мы в принципе против федерации — она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства».

² Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос. Сочинения. 1951. Т. 2, с. 363—364.

³ Примечательно определение «аннексии» в тексте Декрета о мире: «Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства насилем, если ей вопреки выраженному с ее стороны желанию — все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета, — не представляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насилем». (В. И. Ленин. Собр. соч. Изд. 4-е. Т. 26, с. 218).

⁴ «Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик». Эта же формулировка повторена в статье 2 Конституции СССР 1918 года.

⁵ «Образование СССР». Сборник документов. М. 1949.

⁶ Там же.

⁷ Крупник И. От иерархического общества к многонациональному «Возрожденная Армения» № 1. 1989. Крупник И. Национальное насилие (в печати).

терный для XX века распад многонациональных империй ведет к разрушению имперски колониального общества, где политическое и экономическое насилие всегда сочетается с насилием национальным. Национальное насилие при этом выражается не только в подавлении или принижении имперским обществом национальной традиции покоренных народов — их государственности, религии, разговорного языка, но и в прямом проникновении насилия в сферу контактов между народами, то есть в национальные отношения.

Системы, возникающие при разрушении имперски колониальной основы, могут различаться по степени насилия и образуют три типа, названные мной «иерархическими», «федеративными» и «многонациональными» обществами. Степень национального насилия, как и насилия в целом, служит не только основой классификации, но и определяет их развитие. Повышение уровня насилия неизбежно приводит к движению системы вспять — в направлении к имперски колониальному обществу, где одни народы откровенно и узаконенно угнетают другие.

Рост насилия, однако, не всегда сразу действует дестабилизирующе — на первых порах он может иногда способствовать восстановлению стабильности и порядка. Но усилившееся и не отраженное государством межнациональное насилие постепенно разлагает все общественные институты, самовоспроизводится, как раковая опухоль, и в итоге трансформирует прежний тип общества, увеличивая в нем уровень внутреннего угнетения.

Ярким примером разлагающей роли насилия служит эволюция первоначального военно-политического союза, а затем федерации советских республик под влиянием общего повышения уровня насилия в стране в 20-е — 30-е годы. Какой бы ни была первоначальная идея государства, на смену ей быстро пришла жесткая иерархическая система, стремившаяся восстановить централизованное бюрократическое устройство в пределах бывшей Российской империи, вплоть до войны за захват Финляндии и нового раздела независимой Польши. Национальное насилие в этой системе было таким же элементом структурного насилия (выражение Г. Гусейнова¹), как и массовые репрессии, идеологический тоталитаризм, уничтожение целых социальных слоев, подчинение искусства.

Если такое объяснение справедливо, то мы имеем общество, которое замыслилось в 1922 году как федеративное, но ушло далеко назад под давлением разных форм насилия, в том числе и национального. Теперь оно стремится вернуться к исходному состоянию. Процесс этот мучителен и требует ломки многих социальных отношений, стереотипов в сознании миллионов людей. Запущенное в систему насилие не может сразу исчезнуть бесследно и будет еще долго выходить разными проявлениями во многих сферах общественной жизни. Не удивительно, что уровень насилия, агрессии в нашем обществе столь высок и к тому же заметно повысился в последние годы, чему свидетельствами стали рост организованной преступности, подростковой и молодежной агрессивности, жестокость отношений в армии, появление неофашистских движений. Этот высокий уровень насилия неизбежно проявляется и в сфере межнациональных отношений. Нынешнее поколение как бы оплачивает предыдущие трагедии, отдает сейчас насилие, которое пало на головы отцов и дедов. И этот накопленный долг насилия лежит на нашем пути к демократическому многонациональному государству.

Шестое и совершенно независимое объяснение нынешней ситуации дает книга английского антрополога, профессора Кембриджского университета Эрнеста Геллнера «Нации и национализм»². Вышедшая в 1983 году, эта книга посвящена общей теории национализма и не имеет никаких конкретных переходов к советской реальности, сегодняшним событиям. Но многие стороны этих событий она описывает или предсказывает с удивительной точностью.

Согласно теории Геллнера, национализм (кстати, в это понятие автор не вкладывает никакого негативного звучания) — это прежде всего политический принцип, требующий, чтобы политические и национальные (национально-культурные) единицы совпадали. Нарушение этого принципа, недостаточность политических и государственных институтов, гарантирующих развитие нации и ее

¹ Г. Гусейнов Речь и насилие. «Век XX и мир» № 8, 1988.

² E. Gellner. Nations and Nationalism. 1983. Русский перевод этой книги готовится к печати в издательстве «Прогресс».

культуры, вызывает обострение националистического чувства и мощные движения протеста. Всюду, где есть такие нарушения, конфликт потенциально неизбежен.

В то же время национализм по Геллнеру — это особое историческое состояние, соответствующее периоду индустриализации. Национализм вовсе не признак отсталого общества; он расцветает в условиях достаточно высокой грамотности, средств информации и коммуникации, появления национальной интеллектуальной элиты и потребности в квалифицированных кадрах. Национализм — движение больших городов и индустриализирующихся масс; на отсталых окраинах, в сельской местности, где национальная культура воспроизводится всей повседневной средой, для него нет почвы и простора. Короче, национализм приходит и уходит, когда для него складываются определенные исторические обстоятельства.

Но если индустриализирующееся общество подготовлено к приходу национализма, его развитие трудно остановить. Происходит национальное «пробуждение», массы крайне болезненно ощущают несоответствие между возможностями и состоянием своей национальной культуры, обеспеченностью ее средствами политической власти. В такой период национализм крайне чувствителен, агрессивен; он способен, по словам Геллнера, найти любую щель, чтобы пробудить чувство «национального унижения».

При этом национализм не пробуждает старые, скрытые или спящие силы, как любят говорить его идеологи. В действительности он дитя новой формы общественных отношений, ориентированной на создание новых национальных культур, каждая из которых стремится быть защищенной собственным государством. Но таких культур слишком много, а места для создания им всем самостоятельных полноценных государств слишком мало. И в этом основной конфликт эпохи национализма.

При всей отвлеченности таких рассуждений нельзя не признать, что нам показали зеркало. Да, мы и есть индустриализирующееся общество с высоким уровнем грамотности, национальной интеллектуальной элитой (вернее — многими элитами) и потребностью в государственных формах защиты национальных культур. То есть то самое общество, которое идеально подготовлено к эре национализма. И суть конфликта описана очень точно: борьба за контроль над системой национально-культурного воспроизводства, за создание политических институтов для обеспечения реального суверенитета нации, поскольку прежние институты оказались ущербными или неэффективными.

Если так, то по пути всего человечества и на восемьдесят лет отстав от других европейских народов, мы вступаем в эпоху национализма. Значит, все, что происходит вокруг нас с национальными отношениями, было закономерным — закономерным по смыслу, хотя, конечно, могло изменяться по содержанию.

И, наконец, седьмая точка зрения. Страна с напряжением, с конфликтами, кровью подходит к главному для нее вопросу: КАК НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ ПЕРЕЙТИ В XXI ВЕК? То есть сможем ли мы оторваться от нынешних структур и найти такую форму политического, экономического и национального устройства, которая будет соответствовать мировой цивилизации XXI века, уровню развитых государств и наций?

Вопрос этот совершенно не риторический. В XXI век можно и «не перейти», оставшись обществом второй половины или даже середины XX века, каковым мы пока являемся. История знает немало примеров крупных и могущественных государств, которые в какой-то период «не поспели» за быстрым ходом цивилизации. Так, не смогла «перейти» из XVIII в XIX век Османская Турция — прежняя европейская сверхдержава, располагавшая огромными ресурсами, многочисленным населением, обученной армией. В конце XIX века не успевала с переходом в следующее столетие и Российская империя, что сразу же проявилось в ходе русско-японской войны 1904—1905 годов.

Сейчас вопрос — сможем ли мы перейти в новый век? — стоит перед Советским Союзом. Экономические и политические структуры страны ориентировались до последнего времени на реалии 40—50-х годов XX века. Наши проблемы сегодняшнего дня — авторитарная система власти, идеология военного противостояния сверхдержав, экономика с приоритетом тяжелой промышленности,

ресурсо- и металлоемких отраслей, закрытый национальный рынок, жестокий контроль над границами и международными контактами, а в сфере национальных отношений — иерархическая структура многонационального государства и территориальный принцип автономии. Но для большинства человечества этот мир первой половины XX века уже сменился новой цивилизацией с огромными потоками информационных связей, свободными передвижениями через границы, мощнейшими каналами коммуникаций и международных услуг, новой многонациональной и многорасовой структурой общества.

Мир ушел вперед... а мы пока остались в обществе, экономически, технологически и политически не готовом к условиям XXI века. И потому отчаянно пытаемся найти свой путь ускоренных реформ. На этом пути нас неизбежно ждут очень крупные и болезненные ломки подобно тому, как западным странам в 40—60-е годы пришлось отказаться от своих колониальных империй, убить устаревшую угледобывающую промышленность и черную металлургию, принять миллионы иммигрантов, преобразивших этнический и расовый состав европейских наций. При такой точке зрения нынешние национальные трудности в СССР есть «муки перехода», вернее, муки первого осознания необходимости ломки окружающего нас общества середины XX века. Сам переход в мир XXI столетия у нас еще впереди.

Национальные конфликты: выбор объяснений

Предложенный перечень семи точек зрения на нынешнюю национальную ситуацию не является, как уже говорилось, ни полным, ни окончательным. Для нас здесь важнее их многообразие, исходное равноправие нескольких концепций для объяснения как общей ситуации, так и вполне конкретных локальных событий.

Всем памятно, прав Т. Пулатов, страшные события в Ферганской долине в июне 1989 года, сопровождавшиеся жестокостями, погромами, массовыми убийствами, введением войск и эвакуацией месхетинцев в другие районы страны. Несмотря на все попытки найти им одно объяснение, одновременно правдоподобны как минимум несколько интерпретаций.

Так, никто не станет отрицать, что в случае событий в Фергане речь идет не о стихийной вспышке, а о спланированной акции национального насилия, за которой стоит некая организованная сила (объяснение первое). Менялись лишь силы, которых обвиняли в развязывании кровавых событий: экстремисты, мафия, исламские фундаменталисты, коррумпированные бюрократы, националисты из «Бирлика». Всем им, как считалось, было выгодно дестабилизировать ситуацию. Но никто не отрицает, что вспышка насилия произошла в регионе с удручающей экономической обстановкой (объяснение второе): с массовой безработицей, полуколониальной системой производства, необеспеченностью элементарными товарами и отсутствием для населения экономических перспектив. То есть обострение экономической напряженности, более высокий — как говорят — уровень жизни месхетинцев стимулировали конфликт.

Но ведь судьба месхетинцев — классический пример сталинских «искажений» принципов советской федерации (объяснение третье). Жертвы произвола, высланные из родных мест без всякого основания и до сих пор лишенные возможности вернуться на родину, месхетинцы принадлежат к числу национальных «бомб» сталинского наследия. Подобно Нагорному Карабаху, проблеме крымских татар или поволжских немцев, осетино-ингушскому конфликту эти бомбы взрываются сейчас по всей стране.

Не будем забывать, однако, что, по оценкам всех экспертов, возможность вспышки национального насилия в Средней Азии была высоко вероятной и даже закономерной, исходя из нынешнего развития многонационального государства (объяснение четвертое). Монокультурная экономика, авторитарная система управления, навязанная извне индустриализация, разрушение экологической среды, непаритетные экономические связи и общее положение в структуре союза республик давно превратили этот регион в потенциальную пороховую бочку. Мог меняться объект насилия, но не его феномен.

Столь же справедливо искать основу событий в общем накоплении агрессии и насилия в регионе (объяснение пятое). Во-первых, сами месхетинцы являются жертвами насилия, депортации 45-летней давности и последующих запретов на возвращение на родину. Во-вторых, среднеазиатские народы (в данном случае узбеки) получили огромные заряды насилия в 20-е — 30-е годы, в период борьбы с басмачеством, коллективизации, уничтожения национальных кадров и интеллигенции и совсем недавно — при создании «хлопковых империй» и подземных тюрем. В-третьих, нынешнее молодое поколение среднеазиатских мужчин получает дополнительный заряд агрессии, проходя через армию, где солдаты-среднеазиаты являются наиболее частым объектом насилия. Наконец, в-четвертых, Средняя Азия — район, наиболее приближенный к Афганистану в территориальном, культурном и национальном отношении. И десятилетняя война, принесшая огромный заряд насилия в наше общество, именно здесь должна была получить наибольшее отражение по сравнению с другими частями государства.

Применима к событиям и концепция национализма Э. Геллнера (объяснение шестое). Месхетинцы оказались жертвой возбужденного национального чувства, трагическим символом недовольства набирающей силу молодой нации. Вспомним, что погромы и убийства происходили не в глухих кишлаках, а в городах и рабочих поселках, где для выявления будущих жертв использовались домовые книги и избирательные списки. Банды погромщиков имели рации и личные автомобили, словом, были не темной крестьянской массой, а гражданами индустриального общества. Такими же в массе современными горожанами были и погромщики в Сумгаите, как и участники последних столкновений в Казахстане, Южной Осетии или Молдове.

Что же касается «перехода в XXI век» (объяснение седьмое), то ясно, что от общества, живущего в нынешних условиях Узбекистана и Ферганской долины, такой переход потребует огромных мук и усилий. Хлопковой монокультуре, байскому социализму, гигантской детской смертности, отравленной химикалиями окружающей среде трудно найти место в цивилизации XXI века. Для перехода в XXI век вся эта система должна с муками отмереть; и это понимают все, в том числе и жители Узбекистана.

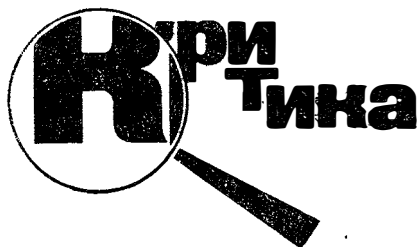
Как видно, в конкретной национальной ситуации поиск объяснения столь же зависит от нашей позиции. Карабах и Абхазия, Эстония и Молдова, судьба крымских татар или русская национальная идея ставят нас перед той же проблемой выбора. И всюду равно возможны и возникают одновременно авторитарные и либеральные интерпретации, демократические и консервативные точки зрения, позиции на основе преимуществ «единой и неделимой» или подлинного конфедерализма.

Выбор объяснения становится личным делом ученого, практика, эксперта, общественного и государственного деятеля, его очень яркой политической характеристикой. Потому что позиция по национальному вопросу не отражает какую-то изолированную часть личности. Отношение к этническим меньшинствам и национальному суверенитету обычно перекликается с отношением к демократии и плюрализму, праву наций на самоопределение, необходимости политической и экономической реформы, с общими взглядами на будущее государства.

Словом, скажи, как ты видишь «национальный вопрос» в СССР, и я скажу, кто ты.

ИГОРЬ КРУПНИК,
кандидат исторических наук

«Взамен кадильного куренья...»



БУЛГАКОВЕДЕНИЕ
(ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ СОВЕТСКОЕ)
В КАНУН СТОЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ИДЕИ

...Известно ли вам, почему так нежно на вкус мясо в тех страсбургских паштетах, которые вы смакуете за завтраком? Потому что животное, предназначенное для вас, живьем поджаривали на раскаленной металлической плите и убили лишь после того, как печенка его хорошенько протомилась и разбухла, чтобы стать годной для еды. Какое дело нам до мук животного? Главное, чтобы мы получили большее удовольствие; вот в такой же медленной муке восходит и гений. За этими криками сердца, которыми вы восторгаетесь, за высокими мыслями, что заставляют трепетать ваш ум, стоят слезы, которых вы не видели, терзания, о которых вы не имеете понятия. Какое нам до этого дело?.. Если мясо тает во рту, а фраза звучит уповательно, значит, тем лучше, что они претерпели такие мучения.

Г. Флобер. «Воспитание чувств» (1845)

Объяснимся: простое преклонение перед творчеством Михаила Булгакова, упоение фразами, написанными правильным хореем (в ритме которого только и могли ходить прокураторы в античные времена), никогда не вознесли бы писателя на ту необычайную высоту, на которой он оказался в конце восьмидесятых годов, не будь за явлением еще чего-то. Будущие историки должны знать: волна интереса к некогда гонимому писателю сложилась с волной куда более мощной: с утверждением человеческого типа, который много десятилетий упорно отрицался в теории и уничтожался на практике, но в конце концов был реабилитирован и воспет. Я говорю про тип человека, активно противопоставившего себя Системе с ее требованием безраздельно подчиниться и служить тоталитарной власти.

Среди реабилитированных диссидентов Булгаков оказался одним из самых первых и самых главных. Не только его личность, его судьба, но даже и реалии произведений оказались актуальными. Кто бы мог подумать, предположить, что под фразу Елены: «Все кругом пропадает, валится», — мы будем подкладывать наши собственные страхи и эсхатологические ощущения.

Что даже радость Николки: «Алеша, достал я бутылку водки. Ура!» — окажется и нашей радостью. Что размышления героев «Бега» об эмиграции, о невозможности жить на родине станут понятными и нам, понятными не умозрительно, а как личный опыт.

А. А. Фет: «Лев Николаевич до того всесторонне окружил частоколом наш умственный русский сад, что, куда бы мы ни пошли, приходится лезть через его забор...»

Нечто подобное случилось и с Булгаковым. Отсюда преклонение, неиссякающий интерес, развитие науки о Булгакове — не кабинетной, тихой, интересной лишь адептам, но стимулируемой пристрастным общественным вниманием, науки, нужной «для нашей славы».

В. Ерофеев: «Что ты скажешь о Булгакове?»

Саша Соколов: «Для меня значение писателя — в его языке, мне нужен язык, меня тематика мало интересует. Если первая страница романа написана слабо, я чтение бросаю. Ибо если писатель не умеет первую страницу написать, то дальше будет еще хуже. Проза должна завораживать с самого начала и до конца, чтоб мне было неинтересно, о чем этот роман. Что можно

сказать о писателе, который начинает повествование тем, что «Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина»... Какие-то не обязательные описания, неустойчивый стиль, и не удивляет вовсе, не поражает»¹.

Сказано все, что и должна сказать заезжая знаменитость. Но как, однако, характерна механика невинного эпатажа, использованного создателем «Школы для дураков»: антибулгаковская сентенция не может не означать утонченности и сверхэлитарности, при этом сам оказываешься выше Булгакова, «складываясь» с ним. А точный выбор слагаемого выдает знание любимым автором Карла Проффера мировой литературной конъюнктуры. Иностранцы это чувствуют хорошо.

Конец преамбулы.

Еще совсем недавно — в предисловии к книге пьес Булгакова, вышедшей в 1986 году, — член-корреспондент В. В. Новиков снабжал свое писание скользкими штампами, обеспечивавшими беспрепятственность прохождения по инстанциям.

«Важнее показать, что Булгаков принял революцию...»

«О каком-либо кризисе в творчестве Булгакова в 1929—1931 годах говорить не приходится. Факты опровергают это».

«В условиях нового подъема советской литературы и искусства 30-х годов Булгаков усиленно работал над главным своим произведением...»

За четыре года пирамида слежавшейся в камень лжи подверглась основательному разрушению: «принятие революции» перестало быть пропуском в издательский «рай» и непременным условием попадания в обиход классиков; 1929 год — год великого перелома и катастрофы — вполне обнаружил свою дьявольскую сущность и для истории страны, и для судеб отдельных людей; акции «кремлевского горца» несколько понизились, и тогда пропала нужда величать тридцатые годы периодом «нового подъема», речь пошла о неуклонном — с октября 1917 года — спуске, а подъем был признан реальным лишь в области массового террора и в развитии «тюремной промышленности». Кон-

цепция, существовавшая в период стагнации, — не противопоставлять десятилетия (двадцатые — тридцатые, тридцатые — сороковые, сороковые —...и т. д.) сначала рухнула, а потом стала быстро возрождаться на принципиально новой основе. Обнаружилась справедливость формулы «Сталин — это Ленин сегодня». Оказалось, что трагедия искусства тридцатых годов была запрограммирована еще «на заре», когда Диктатор, заложивший основы государства, откровенничал с запечатлевшим его портретистом: «...Искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! вырежем. За ненужностью»¹.

Вот в этой ситуации отмены идеологических табу, сложившейся к концу 1989 года, в ситуации, когда стала вырисовываться принципиально новая картина всего октябрьско-послеоктябрьского периода, и оказались книги о Булгакове, издания самого Булгакова, над которыми кипела работа еще в период прежней ориентации на защитительные цели. Новая установка, книги эти заставшая врасплох, оказалась уже сугубо исследовательской, игнорирующей всякие идеологические условности: Булгаков перестал нуждаться в политической защите, в переводе с эзопова языка, а работы о нем по-прежнему «облагораживают» его облик, в споре с критикой двадцатых годов доказывают и доказывают «советскость» писателя, осуществляют «идеологическое кондиционирование».

«Булгаков не считал себя противником нового мира и, более того, верил, что помогает ему. Потому что чем может лучше помочь писатель своей стране, как не откровенной правдой? Сатирик — тот же лекарь...»².

Но как-то больше хочется поверить не В. Я. Лакшину, а Л. Авербаху, который с пеной у рта доказывал, что фантастические повести Булгакова — это «злая сатира на Советскую страну, откровенное издевательство над ней, прямая враждебность...». Почему-то хочется согласится с М. Г. Майзелем, с беспощадной резкостью утверждавшим, что в «Роковых яйцах» читателю внушается мысль, что большевики неспо-

¹ Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Нью-Йорк, 1966.

² Лакшин В. Я. Мир Михаила Булгакова. «Литературное обозрение» № 11. 1989.

собны к созидательно-организационной работе», что «в рассказе «113. Дом Эльпит-Рабкоммуна» повествуется о страшном вандализме рабочих, дикарей, не понимающих собственных интересов и разрушающих перешедшее к ним после Октября драгоценное имущество», что «господствующим настроением в произведениях Булгакова является неприятие современности и апологетическое отношение к дореволюционному прошлому».

Назрела смена языка (Н. Иванова), и именно внутри этого тяжелого процесса (а можно ли выпускать пятитомник контрреволюционера? — в любой момент спросит какой-нибудь **бывший регент**) мы сегодня и находимся. Пожалуй, мысленно даже миновали критическую точку и теперь к ней подталкиваем практику.

Сказанное относится, как я полагаю, к лучшим изданиям: «Жизнеописанию Михаила Булгакова» М. Чудаковой (М. 1988)¹, сборнику статей «М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени» (М. 1988), книге А. М. Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре» (М. 1986, 1989) и к первой книге многотомного издания театрального наследия Булгакова — «Пьесы 1920-х годов» (Л. 1989).

Объяснимся: не в осуждение этим книгам говорю о несовпадении условий подготовки и выхода. Важно определить направление движения булгаковедения, до недавних пор скованного системой идеологических запретов (сложившейся еще во времена Саввы Лукича), но стремящегося к историзму, к показу художественных явлений в их обусловленности сложным литературным контекстом и событиями «большой политики», точнее, политическими интригами, сотрясавшими Кремль. Понятно, что имела в виду М. О. Чудакова, когда в полускрытой, «трифононской» манере (бросить намек там, где вроде бы царит полный запрет) писала: «Булгакова стремились посмертно усыновить — по уже сложившемуся обряду или сценарию; его биографии придавали удобные в обращении очертания, мало имевшие отношения к действительным фактам.

Навстречу этому, в соответствии со структурой социальной ситуации, в немалой мере шла и общественность, в том числе литературная и научная среда. Биография писателя, еще только формируемая, тут же деформировалась — ее приспособляли к нуждам издания его наследия, приближение которого к читателю шло с огромными трудностями».

О соотношении искусства и политики следует сказать особо, ибо именно в 1920-е годы, на которые пришелся расцвет булгаковского творчества, эти начала вступили в борьбу, ранее России неизвестную, пришли во взрывчатое взаимодействие, которое обусловило характер многих произведений Булгакова. Но в двадцатые же годы происходит и крупнейшее столкновение двух противоположных способов разрешения конфликта между политической и культурой (искусством, в частности). Оба эти способа были рождены традиционной для России изоляцией политической практики от Культуры, которая упорно не рождала (не могла родить?) органичную для себя, основанную на базовых ценностях политику (составной частью которой являются взаимоотношения человека и государства). Призыв к красоте, которая может спасти мир, оставался всего лишь призывом и в XIX, и в XX веке; этика и эстетика никак не приводили взаимоотношения человека с отчужденной от него силой к хотя бы относительной гармонии. Возникли два способа преодолеть отчуждение.

Первый, родившийся в недрах Культуры, имел в виду дать если не рецепт, то, по крайней мере, отправные точки, систему нравственных ограничений с конечной целью превращения политики в отрасль Культуры и общественной этики, что позволило бы сохранить основные ценности и восстановить исчезнувший «смысл жизни».

«Весь трагизм нашего поколения, — писал в 1922 году И. Лежнев, ровесник Булгакова, — в том и заключается, что оно было дважды строительным материалом, дважды — лишь средством, а не целью, не самоцелью. Но пришло время — и в сознании современника идет обратный процесс: он готов настаивать на абсолютной ценности того, чему революция не придавала абсолютно никакой ценности»¹.

¹ Книга вышла в 1988 году двумя изданиями; второе несколько полнее и свободнее отражает политические реалии, образующие контекст булгаковской жизни и творчества. Цитаты в тексте — по 1-му изданию.

¹ Лежнев И. Дни нашей жизни. «Новая Россия» № 2. 1922.

Второй способ: преодолеть отчуждение, идя «от политики». Революция, организованная большевиками и пытавшаяся разрешить все проблемы российской жизни, стремилась вырастить Культуру «ин витро» на основе своей политической теории, Культуру, целиком подчиненную «пропагандной роли», введенной ей Лениным. Булгаков мог наблюдать две разновидности такой «пробирочной» Культуры: «пролетарскую культуру» и «социалистический реализм». Одновременно Булгаков не мог не ощущать, как шло наступление политики на Культуру и искусство, наступление куда более успешное, чем ответные попытки деятелей культуры (запрету Главреперткома противостоит, скажем, пародия «Багровый остров», которую легко также запретить).

Борьба двух способов определила позицию Булгакова, особенности его творчества, с одной стороны, и общую, прочему миру неизвестную зависимость произведений советского искусства и тенденций его развития от политических явлений, с другой. Стоит заметить, что эта зависимость носила не только вынужденный характер, но была — особенно поначалу — и активной: искусство пыталось вмешаться и изменить социальный процесс, остановить дегуманизацию мира. Искусство политизировалось.

Все это имеет непосредственное отношение к проблемам булгаковедения. Ибо если первый способ так или иначе изучается, то второй исследуется явно недостаточно, и лишь работы М. О. Чудаковой «Первая и последняя попытка» («Современная драматургия» № 5. 1988) о «Батуме» и А. М. Смелянского «Уход: Булгаков, Сталин, «Батум» (М. 1988; вошло во 2-е издание книги А. М. Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре») рассматривают подчинение искусства советской политической инквизиции. Но обе работы посвящены концу тридцатых годов, а «человек с трубкой» реально управлял страной с 1924 года, да и не в нем одно дело. Ранний период почти не освещен в этом плане, и основная причина, полагаю, — незнание политической истории и существование — до сих пор — достаточного числа табу и лакун в этой области.

Пример, демонстрирующий, насколько важно изучение политического кон-

текста времени для понимания булгаковского творчества (в том числе, кстати, и отношения к Сталину, и творческой предистории «Батума»), — **национал-большевизм и сменовеховство**. Имеющиеся сведения убеждают в том, что ни та информация, которую приводят в своих книгах А. М. Смелянский и М. О. Чудакова, ни та справка, которая дается в комментариях к пьесе «Багровый остров» (Булгаков М. А. «Пьесы 1920-х годов»), ни статья В. Я. Лакшина «Мир Михаила Булгакова» («Литературное обозрение» №№ 10-11. 1989), являющаяся предисловием к первому собранию булгаковских сочинений в СССР (издательство «Художественная литература»), не отражают адекватно социокультурной реальности середины третьего десятилетия. Более того, недостаточно дифференцированный подход к той сложной совокупности явлений, который в нашем литературоведении по инерции именуется «сменовеховством», не позволяет оценить ни выбора Булгакова в качестве нового автора Художественным театром в 1925 году, ни тех сложностей, которые очень скоро возникли в процессе работы театра над «Белой гвардией» — «Днями Турбиных». Особенно обидно, что эту тему практически не затронул А. М. Смелянский, специальную книгу посвятивший отношениям Булгакова и МХАТа. Имеет смысл рассмотреть проблему подробно, ибо важна она и методологически, с точки зрения принципов изучения явлений литературного ряда, находящихся в сильном «политическом поле».

Собственно говоря, никаких особых открытий не требуется, все необходимые материалы уже есть: переписка И. Лежнева с Н. В. Устряловым, опубликованная М. Агурским в 1981 году¹, и ряд исследований этого автора, посвященных национал-большевизму².

¹ Агурский М. Переписка И. Лежнева и Н. Устрялова. Slavica Hierosolimitana. 1981. V. 5-6. P. 543—589. Сложность ситуации именно с этим изданием состоит в том, что выходит оно в Иерусалиме — «ненавидимом прокуратором городе». Ненависть эта, закрепившаяся в советской культуре, привела к тому, что в крупнейших библиотеках страны комплекта весьма ценной для литературоведов «Иерусалимской славники» нет (в спецхране ГБЛ есть лишь тт. 1 и 3 из вышедших восьми, в ГПБ в Ленинграде нет ни одного).

² Сочинения М. Аурского: Идеология национал-большевизма. Париж. 1980; У истоков национал-большевизма. Минувшее: Историч. альманах. Paris, 1987. Т. 4. 140—165; The Third Rome: National Bolshevism in the USSR. Boulder. 1987.

Чтобы сразу стало понятно, о чем идет речь, достаточно прочесть хотя бы «Из дневников» В. К. Винниченко за 1920 год, опубликованное в «Дружбе народов» (№ 12. 1989):

«Национализм начинает оттеснять коммунизм. <...> Совнарком выпускает декрет о помиловании белых офицеров, которые согласятся пойти в Красную Армию. <...> Ориентация на великорусский, единоеделимовский патриотизм исключает особые уступки украинцам».

Таков общественно-политический контекст 1920 года, с учетом которого следует воспринимать «Белую гвардию»; контекст этот объясняет и переселение Булгакова в Москву — сакральный центр «единоеделимовского» патриотизма, заботливо созданный Лениным и Троцким еще в период гражданской войны. Несколько иначе, чем изображают обычно, выглядит и подоплека встречи МХАТа с новым автором: для театра речь шла о решающем политическом выборе, попытке вписаться в новую социальную реальность. И Булгаков не случайно был избран: в 1925 году это был автор из «Накануне» — издания, которое в определенных общественных группах (референтных для МХАТа) считалось на $\frac{3}{4}$ коммунистическим¹. И действительно, появившаяся всего за два месяца до начала процесса над партией социалистов-революционеров, за четыре месяца до высылки большой группы русской интеллигенции за рубеж, находившаяся на содержании у московского правительства, «Накануне» не оставляла сомнений в своей ведомственной принадлежности и политической ориентации.

«...Ваша оценка берлинских канунцев,— писал Н. В. Устрялов И. Лежневу 15 марта 1923 года из Харбина,— наводит на печальные размышления. Известное разочарование ими, не скрою, переживаем и мы здесь. <...> Что касается сферы идеологии, то нельзя, увы, отрицать, что «Накануне» серьезно подорвало престиж сменовехизма... Движение попало в руки ультра-некрупных людей...»

«Потуги «перебольшевичить большевиков»,— продолжал свою мысль Н. В. Устрялов через месяц, в письме от 17 июля 1923 года,— характерные для га-

зеты, не пользуются решительно ничьей симпатией и ничьим доверием. Ряд близких сотрудников газеты, сокрушенно наблюдая стремительное падение ее авторитета, пытаются умерить редакционный пыл, но пока безрезультатно. Возможен выход из газеты группы сотрудников».

В этой связи становится понятным смысл записи в дневнике Булгакова, сделанной 26 октября 1923 года: «Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени»¹.

Не удивительно, что К. С. Станиславский, еще, видимо, не читавший ни романа Булгакова, ни инсценировки, спросил в сентябре 1925 года у П. А. Маркова: «За чем мы будем ставить эту агитку?»² Булгакова режиссер однозначно воспринял как символ рептильного сменовеховства.

Однако именно осенью 1925 года во МХАТе происходит внутренняя идеологическая перестройка. В этой ситуации человек с репутацией сменовеховца, якобы готовый сотрудничать с «Софьей Владимировной» (Советской властью), оказался наиболее уместным. «В «Турбинных»,— вспоминал уже в 1960-е годы П. А. Марков,— весь коллектив видел ярко пропагандистскую пьесу».

Правда, сам Булгаков отнюдь не отвечал нужной Художественному театру пропорции «коммунистичности»: он был значительно правее, был, вероятно, близок к национал-большевизму (именно так можно интерпретировать его переезд в Москву), к идеям своего ровесника Н. В. Устрялова, хотя в отличие от харбинского эмигранта отнюдь не идеализировал большевистскую Москву, выявляя в повестях, рассказах и фельетонах «московского цикла» черты фантазмагории, создавал образ Богом проклятого места (почему-то русские эмигранты всегда идеализируют положение дел в метрополии). Но МХАТ теперь уже не замечал этого и старался повести Булгакова за собой, за своими новыми нуждами. МХАТ

¹ Письмо Н. А. Петровской к О. И. Ресневич-Синьорелли от 8 декабря 1922 года. (Минувшее: Историч. альманах. Paris, 1989)

¹ Булгаков М. А. Под пятой: Мой дневник. «Огонек» № 51. 1989. Следует отметить сенсационность находки, сделанной в недрах ОГПУ.

² Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М. 1986.

брал писателя как правоверного сменовеховца, разоружившегося перед новой властью и готового к сотрудничеству с ней, самой своей судьбой как бы подчеркивавшего идеальный внутренний путь театра. Огорчение Ивана Васильевича, узнавшего, что отцом Максудова был вице-губернатор, говорит о новых социальных ориентирах самого Станиславского, в середине двадцатых годов начавшего действовать с «родовой» купеческой расчетливостью. В «Театральном романе» это свойство изображено как главное.

В «Днях Турбиных» Алексей погибает, из чего делался и до сих пор еще делается вывод, что «белому движению действительно конец»¹. Но Алексей Турбин не погибал в «Белой гвардии» — пятиактной пьесе, начатой одновременно с «Собачьим сердцем» и законченной в сентябре 1925 года². Это очень важное обстоятельство, ибо за ним стоит не гибель, а жизненная перспектива, которую Булгаков усматривал для своего героя. Писатель вовсе не обрекал Турбина на исчезновение, как это сделал МХАТ, уже вовсю стремившийся «быть заодно с правопорядком».

Эта программа меняла вектор берлинского сменовеховства (оплаченного денежными взносами из Москвы) на противоположный: не старая Россия должна была исчезнуть и трансформироваться в новую, а новая, меняясь, превращаться в вечную Великую Россию.

«Россия переживает революцию, но революция не переживает Россию», — эта формула Н. В. Устрялова³, возможно, объясняет и позицию Булгакова. Не исключено, кстати, что Булгаков встречался в августе 1925 года с Н. В. Устряловым в Москве; во всяком случае, близость мыслей Мышлаевского («Ежели угодно, я за большевиков, но только против коммунистов») и Н. В. Устрялова очевидна. Кстати, современники Булгакова — с которыми наши исследователи по-прежнему спорят — понимали это превосходно. Об-

ратим внимание на слова Г. Е. Горбачева о «Белой гвардии» и «Днях Турбиных»: это «националистически-великодержавная «надклассовая» попытка истолковать гражданскую войну как процесс распада и восстановления «Единой и Неделимой России»¹. Однако дело было не только и не столько в Н. В. Устрялове, сколько в политике большевиков, декларированной еще в период гражданской войны. Можно считать В. К. Винниченко лицом пристрастным. Но вот свидетельство либерально-демократической русской газеты, издававшейся в Берлине: «Ввалившись к нам (в Польшу. — М. З.), они прикрылись красивой тогой интернационала. Теперь во главе их войск стоят неограниченные царские генералы. Нет «красных», есть русские войска. Троцкий с Лениным за спиной Брусилова. Машут старой тряпкой патриотизма перед носом оторопевшего мелкого буржуя. Интернационал звучит на мотив «Гром победы». Правда, еще нет трехцветных знамен. Погодите. Выкинут»².

Для Ленина и Троцкого как прагматиков национал-большевизм был средством, а не политикой (не случайно Ленина и называли не политиком, а тактиком). Г. Е. Зиновьеву как догматику интернационалисту это тактическое средство всегда претило (а «Дни Турбиных» напоминали, с помощью каких средств была одержана победа в гражданской войне); Сталин, видевший себя императором уже в самом начале 1920-х годов, «единонеделимовскую» концепцию поддержал. На фоне этого политического «расклада» и возникла пьеса Булгакова. Надо полагать, близостью ее идейной канвы к мыслям Н. В. Устрялова и объясняется судьба «Дней Турбиных»: сентябрьские (1925 года) обвинения Г. Е. Зиновьева в адрес Н. В. Устрялова автоматически распространялись на пьесу, что театр отлично почувствовал. Поэтому именно в октябре 1925 года возникли сложности, которые, конечно же, неправомерно связывать с негативным мнением А. В. Луначарского как первопричиной. Не случайно в середине того же октября 1925 года прогорел журнал «Россия», очевидно, лишенный государственной дотации (что доказывает тайные

¹ Рудницки И. К. Л. Спектакли разных лет. М. 1974.

² Текст 1-й редакции «Белой гвардии» впервые опубликован в книге: Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. Л. 1989. На этой текстологической базе появилась возможность отделить концепцию мхатовского спектакля от исходной булгаковской концепции.

³ «Утро России» от 7 декабря 1917 года.

¹ Горбачев Г. Е. Современная русская литература. 3-е изд. М., Л., 1931.

² Шефурбан А. Н. и П. Почему они не уходят? «Голос России» № 113. Берлин. 1920.

связи И. Лежнева с партийной верхушкой, как считает М. Агурский, со Сталиным). Очевидно, в октябре 1925 года борьба Сталина с Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и Л. Д. Троцким вступила в острейшую фазу (в начале октября состоялся Пленум ЦК, а 31 октября 1925 года на операционном столе при загадочных обстоятельствах умер М. В. Фрунзе), и в этих условиях Сталин, до того поддерживавший программу Н. В. Устрялова и лежневской «России», был вынужден закрыть журнал, ибо Г. Е. Зиновьев и Л. Д. Троцкий обвинили его (Сталина) в **возрождении капитализма и буржуазной идеологии**.

В принципе, изложенное должно входить в историко-литературный комментарий к «Белой гвардии» — «Дням Турбиных», которые публикуются в томе «Пьесы 1920-х годов». Впрочем, к этому вопросу я еще вернусь. Методологический вывод в другом: политическая история для советской литературы 1920-х и последующих годов являлась ведущей, а сама литература — ведомой. Советское искусство было обречено «отслеживать» перипетии кремлевской политики.

Второй вывод: модель советской истории, включающая на протяжении двадцатых годов лишь один «год катастрофы» — 1929-й¹, — также неверна: по своему переломным для судьбы страны был едва ли не каждый послереволюци-

онный год. В индивидуальных же судьбах, в каждой из них, были свои индивидуальные годы переломов. Осень 1925 — весна 1926 года — первая катастрофа в творческой жизни Булгакова, первое серьезное столкновение выработанной писателем политической концепции с политикой государства пролетарской диктатуры, закончившееся первым контактом с ГПУ (обыск 7 мая 1926 года).

Третий вывод: именно политического контекста не хватает в нашем булгаковедении, игнорирующем и общую политизацию советской культуры, и своеобразие отклика на социокультурную и политическую реальность самого Булгакова, что проявилось и в «Собачем сердце»¹, и в апелляциях непосредственно к Сталину (письма, пьеса «Батум», ощущение интимной связи с божеством), которые, с одной стороны, реализовывали «мольеровское» жизнеповедение — вынужденное унижение ради спасения рукописей, будущих и настоящих, с другой, поддерживали традицию «поучения государя» (от С. Полоцкого и К. Истомина до Л. Толстого, В. Соловьева, М. Горького, Е. Замятина), выражая стремление Культуры сделать политику нравственной (ср. с Б. Л. Пастернаком, который хотел говорить со Сталиным о «жизни и смерти»).

Но вернемся к книге «Пьесы 1920-х годов», первому тому издания театрального наследия великого писателя. По самым строгим меркам, этот шестисотстраничный том, вышедший в ленинградском отделении издательства «Искусство», — событие в культурной жизни вообще и в науке о Булгакове в частности. Причем «событийность» определяется не только тем, что это первое научное издание, долго и тщательно готовившееся. У его создателей (составление и общая редакция А. А. Нинова, подготовка текстов и примечаний — Я. С. Лурье («Белая гвардия», «Дни Турбиных»), В. В. Гудкова («Зойкина квартира», «Бег»), А. А. Нинова («Багровый остров»), научный редактор Д. И. Золотницкий, рукопись тома готовилась в секторе источниковедения НИО ЛГИТМиК, зав. сектором А. Я. Альшуллер) радость от выхода трудоемкой в подготовке книги наверняка смешалась с радостью победы над бюрократическими структурами в лице

¹ Именно такая модель заложена в метатексты «Пьес 1920-х годов». Не случайно в самом начале вступительной статьи констатируется: «Переломный 1929 год стал катастрофическим не только в судьбе писателя, но и в истории всей страны. Важнейшие направления экономической, социальной и культурной политики советской власти, выработанные при В. И. Ленине, были поставлены сталинской бюрократией под удар». Вряд ли правомерно судить о двадцатых годах лишь на основании экономической истории (с выделением 1921 и 1929 годов как начала и конца зэпа), распространяя затем ее поворотные пункты на историю политики и культуры. В том-то и дело, что новая экономическая политика, введенная для удержания власти в момент кризиса, не имела политического обеспечения (Лениным и не предусмотренного). Поэтому при сохранении экономического направления на протяжении десятилетия было множество довольно резких политических поворотов, влиявших на развитие культуры. Самый первый — весна — осень 1922 года (процесс над партией эсеров, XII конференция РКП, высылка интеллигенции, закрытие частных издательств). Второй (третий? четвертый?) пришелся на осень 1925 года, по каковой причине слишком серьезно воспринимать резолюцию ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925) нельзя: художественной литературой управляли не декларации (даже эта, числящаяся «гуманной», с лучшими намерениями составленная Н. И. Бухариным почему-то при участии М. В. Фрунзе), а тактика борьбы с политическими конкурентами на кремлевском Олимпе.

¹ Этому посвящена статья автора. «Вопросы литературы» № 4. 1989.

рукописных отделов Государственной библиотеки имени Ленина и Пушкинского дома¹. Эта победа дала возможность впервые провести текстологическую работу в полном соответствии с существующими исследовательскими нормами (выбор наиболее авторитетной редакции и публикация ее в основном разделе, параллельная публикация других редакций и вариантов). Например, впервые в книге приводится пятиактная «Белая гвардия», а в разделе «Другие редакции и варианты» — сцены из первой и второй редакций этой пьесы, исключенные автором в ходе длительной борьбы с театром и цензурой. Публикуется и пьеса «Дни Турбиных» и параллельно ей — отрывки из первого варианта пьесы. В результате на уровне текстологии оказалось наконец возможным зафиксировать не результат, а процесс, проследить творческую историю создания пьесы. Эта работа проделана в книге безупречно (особенно впечатляют текстологические комментарии к первой булгаковской пьесе, сделанные Я. С. Лурье). Вполне основателен театроведческий комментарий, развивший традицию, заложенную А. М. Смелянским книгой «Михаил Булгаков в Художественном театре» (хотя его и стоило бы дополнить более подробными справками о постановках пьес Булгакова в советских и зарубежных театрах). К сожалению, куда менее полным выглядит комментарий историко-литературный и реальный: издательство «Искусство», не привыкшее к книгам с научным аппаратом, не поняло уникальности этого издания и настояло на минимальном объеме примечаний. Непозволительно мал исторический комментарий к «Белой гвардии» — «Дням Турбиных»: удручает отсутствие хотя бы краткого очерка событий на Украине в 1918—1919 годах. В реальном комментарии отсутствуют упоминаемые в тексте С. В. Петлюра, Гетман, Житомир (куда в январе 1918 года переехало правительство Украинской народной республики); название «Малороссия», произносимое Алексеем Турбиным взамен «Украина» (запрещенного к употреблению в Российской империи), также нуждается в комменти-

ровании. А разве лишними в примечаниях к «Зойкиной квартире» были бы сведения о возможных прототипах главной героини, перечисленные в книге М. О. Чудаковой? Или, скажем, сама собой напрашивающаяся литературная аллюзия: ателье, принадлежащее Зое Денисовне Пельц, — салон Зои Захаровны Флейш («Петербург») — мастерская Веры Павловны («Что делать?»). Оба «прототипа», сопоставленные с публичным домом 1925 года, позволяют понять отношение Булгакова и к социальным утопиям шестидесятых годов XIX века, и к «серебряному веку». И то, и другое безвозвратно гибнет в обстановке «сумерек свободы» 1920-х годов, вырождается в грубый фарс. Не случайно первая картина «Зойкиной квартиры» явно намекает на шестую главу «Петербурга»: Зоя Захаровна Флейш (от немецкого «мясо») — Зоя Денисовна Пельц (от латинского «шкура»); первой «лет сорок», второй — тридцать пять (как об этом сообщает ремарка варианта 1926 года); у Белого прислугу зовут Маланья, у Булгакова — Манюшка; у Белого перс Шишнарфиев поет «страстный цыганский романс», у Булгакова — неизвестный «нежный голос» поет романс Рахманинова. Параллели с «Что делать?» не столь детальны, однако трагикомическое снижение сюжета с мастерской, устроенной Верой Павловной на «коммунистических» началах, чтобы дать заработать девушкам, уловить нетрудно; рецепты революционного идеализма (идеалистического революционаризма) Булгаков высмеял и отверг. Может быть, не случайно о снятии спектакля Вахтанговского театра с репертуара «Известия» поторопились сообщить 19 июня 1928 года — за месяц до столетия Н. Г. Чернышевского, отмеченного в стране, а спектакль шел до 17 марта 1929 года? Впрочем, тут уже надо говорить не только о принудительном ограничении объема примечаний издателями, озабоченными вопросами сбыта и побаивающимися, что «научность» отпугнет «широкого» читателя; тут уже приходится говорить о концепции книги в целом, очевидно, не предусматривающей исчерпывающего указания контекстов: исторического, политического, литературного. Однако без них научное издание уже не выглядит современным.

Названных недостатков, похоже, лишен только комментарий к «Багровому острову», написанный А. А. Нипо-

¹ Приходится об этом говорить, ибо борьба с хранителями советских архивов уже давно стала составной частью литературоведческой работы и обязательным компонентом булгаковедения, разнообразностью того самого неперменного зла, о котором рассуждал Воланд на крыше Пашкова дома (где ныне размещается как раз рукописный отдел Библиотеки имени Ленина).

вым, — здесь политический и литературный контекст не вытесняют и не подменяют один другой, а гармонично дополняют друг друга. Правда, трактовка сменовеховства никак удовлетворить не может. И дело не в цитате из Ленина, сегодня уже выглядящей анахронизмом. Дело в недифференцированном подходе к сложному и разнородному явлению, собирательно, условно и неточно именуемому «сменовеховством», в том, что объединены Н. В. Устрялов и газета «Накануне», к которой он не имел отношения; в том, что сказать об Устрялове — «бывший министр в правительстве Колчака» — значит, ничего не сказать¹; в том, что определение сменовеховства как «течения в русской эмиграции» неверно, ибо «Накануне» издавалась в Берлине, но финансировалась Москвой, а все течение, по всей вероятности, было хорошо спланированной акцией ОГПУ. Наконец, дело в том, что квалификация «Дней Турбиных» как «сменовеховской пьесы» (прозвучавшая в «Письме в редакцию», которое было напечатано 5 октября 1926 года в «Комсомольской правде» и процитировано в примечании А. А. Ниновым) было обвинением в устах одних, но attestатом лояльности по отношению к советской власти, свидетельством «коммунистичности» (и даже продажности) в устах других. В числе этих «других» был и МХАТ, и не учитывать эту сложность понятия «сменовеховства» никак нельзя.

Излагая эти соображения, я меньше всего хотел бы дать негативную оценку этой книге. На самом деле все обстоит иначе: первый том булгаковского театрального наследия, который подготовлен коллективом, возглавляемым А. А. Ни-

новым, уже стал фактом культуры и литературоведения, уже стимулировал развитие булгаковедения. В том числе и работу, направленную на совершенствование самого этого тома.

В принципе, последовательно обозревая состояние современного булгаковедения, вряд ли можно обойти и первое у нас (вообще?) комментированное издание «Мастера и Маргариты» (М. 1989), подготовленное Б. В. Соколовым. Увы, и здесь мы находим тот же методологический изъян, а именно — герметичность. Текстологическая работа отсутствует, и акцент перенесен на комментарии, а комментарии, в свою очередь, сосредоточены на литературных контекстах. Таким образом, автор старательно обошел, например, образ «человека с трубкой», который не мог не присутствовать — как показала М. О. Чудакова — в сознании автора «Мастера и Маргариты» в продолжении всей работы над великим романом (ср. хотя бы тему «копыта», или сросшихся пальцев, на ноге диктатора). Впрочем, литературная герметичность комментария проявляет себя и иначе: скажем, при объяснении генезиса барона Майгеля. Опираясь на воспоминания С. А. Берса о Л. Н. Толстом, Б. В. Соколов назвал в качестве прототипа барона Е. И. Майделя, коменданта Петропавловской крепости (он изображен в «Воскресении» в одном из персонажей), изменение «д» на «г» объяснив созвучием со словом «магия».

Не стоит отвергать и такую интерпретацию. Однако следовало бы рядом с ней поместить и другие, вполне очевидные: словосочетание «барон Майдель» для человека булгаковского поколения было столь же привычным, как, скажем, «академик Лихачев» для нас сегодня. «Майдель» была распространенной баронской фамилией. Булгаков, например, не мог не знать прозектора при Киевском университете барона Эрнеста Эрнестовича Майделя (р. 1878), а мог знать и других, скажем, гвардии капитана Бориса Николаевича Майделя (р. 1871), автора книги «Поэзия войны» (СПб., 1906). Но форма «барон Майдель» была для Булгакова лишь матрицей, которая трансформировала более актуальное для писателя содержание: фигуру литературоведа Михаила Гавриловича Майзеля (1899—1937), автора ряда книг о советской литературе (ср. с аналогичным использованием фамилии «Ипполанский» для обозначения

¹ Безусловно, необходима републикация ряда текстов и исследований, без которых понимание 1920-х годов затруднено до чрезвычайности. Я имею в виду работы М. Агурского, перечисленные выше. В них делается важный вывод о том, что Сталин покровительствовал идеологии и идеологам национал-большевизма (с чем связано и его отношение к «Дням Турбиных», в которых эта идеология отчетливо выражена), вследствие чего многие видные национал-либералы с дореволюционным стажем — Е. А. Коровин, С. А. Котляревский, В. М. Устинов, В. Н. Мурavyев, С. Г. Чалхушьян, С. Ф. Кекекьян, Р. Ю. Виппер, — группировавшиеся вокруг газеты «Утро России» (ее поддерживали П. П. Рябушинский и А. И. Коновалов), вскоре после революции вошли в армию советских идеологов, а некоторые из них пережили Сталина. Н. В. Устрялов вернулся в СССР в 1935 году, стал профессором МГУ и погиб в 1938 году. По мнению М. Агурского, «гибель самого Устрялова — исторически достаточно случайна. Она больше связана с его пребыванием в эмиграции и его старым ярлыком «противника» советской власти».

В. Б. Шкловского). Булгаков в этих книгах неизменно характеризовался как представитель «новобуржуазного направления», художественного «шульгинизма». Именно М. Г. Майзель использовал слово «апология» («апология белогвардейщины»), введенное в роман «Мастер и Маргарита» («апология Иисуса Христа»).

По-видимому, Булгаков что-то знал о доносите́льстве М. Г. Майзеля; знал, вероятно, и о его смерти в 1937 году. Эта смерть, интерпретированная как справедливое возмездие, и нашла фантастическое объяснение в романе: на балу у Воланда Майгеля убивает Абадонна.

Пример показывает одну из важнейших черт комментария Б. В. Соколова: при установке, казалось бы, на обстоятельность и всеохватность работе не хватает глубины и тщательности, комментатор во многих случаях удовлетворяется одной вполне случайной версией и с легким сердцем следует дальше (второпях он забыл прокомментировать заглавие романа, эпиграф к нему и не догадался сделать комментарии к названиям глав; впрочем, список «забытого» длинен).

«Безбожники утверждают, что для Библиотеки бессмыслица обычна, а осмысленность (или хотя бы всего-навсего связность) — это почти чудесное исключение», — писал Х. Л. Борхес в рассказе «Вавилонская библиотека».

Ситуация в булгаковедении, к счастью, носит обратный характер, а таким «вавилонским» исключением (позволяющим острее и радостнее воспринимать норму) оказалось издание «Писем» М. А. Булгакова (М. Изд-во «Современник. 1989) — книга, составленная и прокомментированная В. И. Лосевым и В. В. Петелиным.

«Но сколько в этих заграничных изданиях неточностей, а то и просто ошибочных сведений, — сетует В. В. Петелин. — Сколько здесь всяческого вымысла и домысла, рассчитанных на сенсацию. Одни представляют Булгакова как жертву культа личности, искажают факты, чтобы представить его несчастным мучеником 30-х годов. Другие стремятся выпятить его имя в литературе тех лет...»

Комментарии не требуются.

Не нуждается в комментировании и такое открытие В. В. Петелина: «Нет сомнений в том, что сам Булгаков — с клинбородными мужиками и москов-

скими рабочими в картузах, с «возбужденным оратором» в солдатской шинелишке, с народом, который гулом одобрения встречает каждое упоминание об Ильиче...»

У каждого «свой» Булгаков. У В. В. Петелина — это писатель из «семьи трудовой», беспартийный большевик, который «мечтал увидеть свою родину такой, где человек человеку друг и брат, где никто никого не унижает, где царствует равенство, социальная справедливость и братство». Кстати, у В. В. Петелина и «свой» Сталин, спасающий Булгакова от рапповцев и жестоких театральных деятелей, как правило, с еврейскими фамилиями. Соответственно сталинистом оказывается и Булгаков: написанный в состоянии полного отчаяния «Батум» представлен как результат искреннего почитания «отца народов» и венец творческих усилий всей жизни...

Можно было бы говорить о своего рода курьезе, анахронизме или элементарном невежестве, если бы за этим предисловием, за всей этой безбожной ложью не стояла известная концепция¹.

Кстати, книга объясняет, какой цели была подчинена многолетняя запретительская суэта соавтора Петелина — зам. завотделом рукописей ГБЛ В. И. Лосева: немалая часть писем — это им самим арестованные и никому не показанные документы. Теперь он стал их первым публикатором, теперь и его фамилия окажется в рядах булгаковедов (правда, без затрат интеллектуальных усилий, а лишь в результате «запрещеница» и «разрешеница»). Не удивительно и другое: в именном указателе к этой смешной книге (по-семейному составленном Е. Ю. Лосевой) ни разу не упоминаются В. В. Гудкова, А. М. Смелянский, М. О. Чудакова — авторы пионерских работ по Булгакову. Не упомянуты ни В. Я. Лакшин, ни Э. Проффер, ее фамилия поглощена часто используемым в книге термином «советологи». Деление на «своих» и «чужих» достигло булгаковедения и принесло результат в виде этой книжки, где тексты писем Булгакова обрамлены писаниями, порой чудовищными. Что вполне естественно, коль скоро за ком-

¹ См. также: Кубарева А. Михаил Булгаков и его критики. «Молодая гвардия» № 5, 1988. В этой малопрофессиональной статье утверждается, что всеми гонениями на Булгакова руководил Л. Д. Троцкий. Эта же идея присутствует во вступительной статье В. В. Петелина.

ментирование хватаются люди случайные и невежественные.

Между прочим, поспешно изданное собрание писем неполно, виной чему тот самый порядок, насаждению которого В. И. Лосев посвятил жизнь. Стоит сказать об этом несколько слов, ибо это еще одна грань нашего булгаковедения, еще одна проблема, с которой необходимо считаться: каждый архив желает сам или при посредстве своих исследователей публиковать свои документы. Так, например, в 1987 году шесть писем Булгакова к Е. И. Замятину, находящихся в Отделе рукописей ИМЛИ, были опубликованы научным сотрудником ИМЛИ Е. Ю. Литвин («Памир» № 8. 1987) и благодаря этому смогли войти в «Письма» В. И. Лосева и В. В. Петелина. Однако туда не могла войти переписка Булгакова с Е. И. Замятиным и Л. Н. Замятиной, ибо у нее другой хозяин: она хранится в Пушкинском доме, где также признают право первой ночи (здесь булгаковские — а заодно и многие другие — рукописи «арестованы» Н. А. Грозновой). Поэтому 27 писем из собрания Пушкинского дома В. В. Бузник (имеющая к нему самое непосредственное отношение) опубликовала не где-нибудь, а в «придворном» журнале «Русская литература» (№ 4. 1989), издаваемом самим Пушкинским домом.

Уверен, что мысли собрать общий авторский коллектив и издать сразу все письма из всех архивов, ни у кого и не возникло. Ибо таковы уже нравы в советском архивном деле, нравы, оказывающие самое непосредственное влияние на науку о литературе. Впрочем, сейчас уже стали подзабывать, что долгие годы конкуренции не было: в условиях идеологизации литературоведения тема была непроходной. Именно в это время Мариэтта Чудакова и заложила рядом своих публикаций основы отечественного булгаковедения.

С помощью этой изящной связки я перехожу к одной из наиважнейших книг не только в булгаковедении, но и в нашем литературоведении вообще — к книге М. О. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова». Положительные рецензии в самых престижных журналах (М. С. Петровского в «Новом мире» № 11. 1989; Н. Горбаневской в «Континенте» № 61. 1989) свидетельствуют о несомненном успехе; по-своему характерна и неудавшаяся попытка Б. В. Соколова («Знамя» № 7. 1989)

принизить значение книги М. О. Чудаковой, доказать исследовательскую некомпетентность.

«Жизнеописание...» — результат многолетней работы, начатой еще в те времена, когда целые этажи литературного дома были отданы немногочисленным генералам, а Булгаков был бездомным мастером в пальто с оборванными пуговицами, обреченным на забвение.

Банальностью было бы напоминать здесь о том, как М. О. Чудакова восстановила часть уничтоженной первой редакции «романа о дьяволе», доказав (еще большая банальность!), что «рукописи не горят». Не в этом дело и не в этом, главным образом, плодотворная суть ее метода.

«Какие события в ту весну могли привлечь его внимание? — вот вопрос, который лучше всего раскрывает суть метода М. О. Чудаковой. — 27 марта открылся XI съезд партии, газеты печатали фотографии съезда... Программа НЭПа, предложенная съездом, по-видимому, как-то обсуждалась и Булгаковым с некоторыми из его знакомых — во всяком случае, с партийцем Борисом Земским. С другой стороны, трудно предположить, как именно относился он к начавшемуся в эту весну следствию над группой членов ЦК партии эсеров, обвиненных в контрреволюционной деятельности... Несомненно, на наш взгляд, его небезразличие к личности и судьбе патриарха Тихона».

Я уже говорил об отсутствии Булгакова-политика в нашем булгаковедении, и этот упрек можно отнести и к книге М. О. Чудаковой, где политические аспекты исследования лишь касаются, но не внедряется в них, видимо, не случайно даже во втором издании обходя стороной и столь существенное именно в политическом отношении произведение, каким является «Собачье сердце» (опять намек на месте прежнего запрета?). Зато в полной мере сила избранного метода проявилась в создании образа литературного мира, внутри которого совершались булгаковские выборы между вариантами стиля и судьбы. По верному замечанию М. С. Петровского, «книга о писателе вырывается за титульные рамки и становится ценнейшим источником по соответствующему периоду советской литературы». Собственно говоря, метод М. О. Чудаковой и предусматривал описание ЛИТЕРАТУРЫ как целого в виде разветвленного алгоритма, а жизни

Булгакова — как пути, прочерченного на «сетке» возможностей (не случайно книга посвящена «памяти родившихся в девяностые годы XIX столетия»). При чем эта «сетка» включает не только те или иные литературные группы, сквозь которые, не задерживаясь, проходил Булгаков, никогда не мысливший себя хористом какого-нибудь МАССОЛИТа, но и отдельные литературные мотивы и произведения, часто присваивавшиеся писателем или «обрабатывавшиеся» им параллельно с другими писателями.

Находится ли М. О. Чудакова на высоте возможностей своего метода? Безусловно, хотя задано автором, конечно, больше, чем дано (в этом и состоит плодотворная «открытость» метода)¹. Но при всем совершенстве метод М. О. Чудаковой в самой своей технологии исключает случайные зацепления фактов, предпочитая им неторопливое и систематическое «сканирование» выбранного участка литературного пространства (круг чтения, круг знакомства). В этом эвристическая ограниченность метода, как бы заранее исключаящего «озарения», необъяснимые в рамках рациональной процедуры осмотра: в книге практически нет ничего такого, что являлось бы следствием необъяснимых скачков исследовательского мышления; метод, применяемый М. О. Чудаковой, синтагматичен, то есть ориентирован на отыскание смежных (по какому-либо признаку) явлений. Безусловно, это одна из форм проявления исследовательской осмотрительности, реакция на произвол фантазии. Однако при ограничении области «сканирования» литературой 1920—1930-х годов и установке на синтагматичность неизбежно остаются «мертвые зоны». Не случайно М. О. Чудакова, отметившая как значимый для Булгакова смысловой комплекс «Салтыков-Щедрин» (см., например, с. 383), прошла мимо такого факта: отец первой жены Булгакова, Николай Иванович Лаппа, являлся сослуживцем М. Е. Салтыкова по Тульской и Рязанской казенным палатам (начальник отделения) и мог рассказывать

своему зятю о писателе. Если рассказы Н. И. Лаппа напоминали те, что приведены в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», то можно предположить, что они (эти рассказы) отразились в «Дьяволиаде» и «Похождениях Чичикова», изображавших порядки старых российских канцелярий и борьбу с ними методами действительного статского советника Салтыкова.

В «Жизнеописании...» доминирует установка на выявление синтагм: под причиной творческого события, как правило, понимается биографическое, предшествующее ему, то есть смежное (синтагматически связанное) с ним (после этого, значит, вследствие этого). Например, при анализе вины мастера — одной из загадок романа — М. О. Чудакова выстраивает хронологическую цепь событий: первоначальная редакция романа 1928—1929 годов, где нет ни мастера, ни мотива вины — письмо Булгакова Сталину 1930 года и телефонный разговор со Сталиным — редакция 1931—1933 годов, в которой появляется мастер и комплекс вины. В соответствии с логикой поиска хронологически смежных событий привлекается и самоубийство В. В. Маяковского. Однако в связи с виной, вызванной поиском помощи у властей, с не меньшим основанием можно говорить о постоянном мотиве вины в творчестве Булгакова.

«Мрачные размышления, — пишет М. О. Чудакова, — о неоправданности прошлого, о подведении итога жизни, о пяти роковых ошибках, зафиксированные в письмах к Попову января — апреля 1932 года, ощущение какой-то дьявольской ловушки, самим же невольно и подстроенной, — вот тот психологический фон, на котором совершалась кристаллизация нового замысла».

Но ведь именно такую ловушку подстраивают себе сотрудничающие с властью профессор Персиков («Роковые яйца») и профессор Преображенский («Собачье сердце»), находивший защиту и покровительство у некоего Петра Александровича — значительного лица, номер которого телефонистке даже не надо называть¹. То есть речь должна

¹ Скажем, дальнейшее исследование темы дьявола в русской литературе автоматически приведет к не отмеченной М. О. Чудаковой параллели со «Звездой Соломона» (1917) А. И. Куприна. Из нее Булгаков мог позаимствовать и «прозрачного гражданина», растворяющегося в воздухе (у Куприна синтагматически соединенного с «былицы регентом»), которого герой ошибочно принимает за галлюцинацию, и человека, попадающего под трамвай в результате вмешательства сверхъестественной силы.

¹ Вполне вероятно, что имелся в виду «хозяин» Москвы Л. В. Каменев, давший 12 августа 1924 года упомянутую Преображенским «охранную грамоту» на квартиру (возможно, наем: Петр-камень — Каменев не случаен). Указанная Булгаковым дата имеет реальный смысл: 31 июля 1924 года был

идти о парадигме вины, о мотиве, который совсем не обязательно прямо и непосредственно вытекает из булгаковских биографических обстоятельств 1930 года; мотиве, который является, по всей очевидности, результатом весьма раннего (1923—1925 годов) осознания, что жить в СССР, «не ставши подлецом»¹, невозможно, что социальный порядок вынуждает искать защиту и покровительство у сильных мира сего в обмен на соответствующие услуги. Иначе говоря, система «жизнь — творчество» у Булгакова организована более сложно, чем в ряде случаев представляет линейная модель М. О. Чудаковой, в данном случае исключая экзистенциальный аспект вины (мастер виноват в том, что хочет жить в советских условиях; понимание вины приводит его к отказу от жизни и творческой работы). То есть наряду с синтагматическими связями имеют важнейшее значение и парадигматические, они создают внутреннее «замыкание», недоступные «линейной» модификации биографического метода. Но роль «замыканий» чрезвычайно велика: благодаря склонности Булгакова к рефлексии и самопостроению парадигмы содержатся не только в текстах, но и в жизни (в тексте жизнеповедения, как выразился бы Ю. М. Лотман). Материал жизнеописания Булгакова устроен как многомерный художественный текст.

Установка на раскрытие парадигм определила особенности метода «мотивного анализа», предложенного Б. М. Гаспаровым². Если метод М. О. Чудаковой был довольно односторонне ориентирован на поиск синтагм, то метод Б. М. Гаспарова с той же мерой односторонности приспособлен для отыскания пара-

дигм: это другой полюс, для достижения которого исследователь внес в анализ литературного текста принципы музыковедения.

«Основным приемом, определяющим всю смысловую структуру «Мастера и Маргариты» и вместе с тем имеющим более широкое значение, нам представляется принцип лейтмотивного построения повествования. Имеется в виду такой принцип, при котором некоторый мотив, раз возникнув, повторяется затем множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых сочетаниях с другими мотивами. При этом в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» — событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; единственное, что конституирует мотив, — это его репродукция в тексте...»

В соответствии с таким пониманием структуры текста выработан и метод его анализа. В семи («магическое число») параграфах работы рассматривается семь лейтмотивов (парадигм): «Бездомный», «Берлиоз», «Москва», «Пожар», «Валюта», «Воланд», «Мастер». Описание их бессмысленно (ибо автоматически влечет переписывание статьи Б. М. Гаспарова), поэтому ограничусь методологическими замечаниями.

1. Метод Б. М. Гаспарова применим не только к роману «Мастер и Маргарита», не только к произведениям Булгакова, но и к его «биографическому тексту», являясь принципом, дополнительным по отношению к методу М. О. Чудаковой.

2. Исследование каждой из семи парадигм может быть уподоблено работе генератора случайных связей. При этом фильтр, отсеивающий маловероятные и малоценные ассоциации, «настроен» у Б. М. Гаспарова таким образом, что многие из них все равно остаются (скажем, связи Горький — Пилат и Н. И. Бухарин — Николай Иванович, превращенный в борова). Впрочем, недостаток, объяснимый увлеченностью исследователя, не компрометирует сам метод свободного ассоциирования.

3. Принцип лейтмотивного повествования, который Б. М. Гаспаров приписал булгаковскому тексту, подразумевает его «сстчатую» структуру, в которой узлы объединяют два и более мотива, данное определение мотива, данное

принят декрет ВЦИК и СНК, в соответствии с которым Преображенский имел право занимать одну комнату размером более 20 кв. арш., но без права на дополнительную площадь. Права на 32 кв. арш. имела его прислуга. И хотя декрет от 29 сентября 1924 года разрешил Преображенскому иметь еще одну комнату или площадь в 20 кв. арш., все равно его 7 комнат были вопиющим нарушением декрета ВЦИК — СНК. Без помощи действительно всемогущего покровителя Преображенскому не удалось бы избежать уплотнения.

¹ Из письма В. Ходасевича М. Карповичу от 10 июля 1926 года.

² Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». *Stolica Hierosolimitana*. 1978. V. III. Републиковано: «Даугава» 1988. № 10—12; 1989. № 1. Статья Б. М. Гаспарова, написанная в 1975—1977 годах, была впервые издана в 1978 году в запрещенном даже для упоминаний иерусалимском издании. С учетом того, что в наш научный оборот она введена лишь в конце 1988 — начале 1989 года, я рассматриваю ее в своем обзоре.

Б. М. Гаспаровым), а линии, соединяющие узлы, собственно мотивами и являются. По этим линиям можно двигаться, пересекая узлы и вычерчивая довольно причудливую траекторию.

4. Скепсис в отношении метода Б. М. Гаспарова и реальности «сетчатой» структуры, пронизывающей роман, в состоянии развеять лишь самостоятельное апробирование. Для тренировки в методе необходимо лишь правильно выбрать «вход» в структуру, терминальный символ, собирающий вокруг себя достаточное обширный фрагмент «лабиринта». Я выбрал парадигму КОТ, и в результате получилась следующая «сетка».

4. 1. Кот — Кот-Мурлыка, псевдоним русского писателя Николая Петровича Вагнера.

4. 2. Фамилию «Вагнер» вместо фамилии «Воланд» называет Иван Бездомный, пытаясь вспомнить своего обидчика.

4. 3. Кот назвался перед входом в ресторан Скабичевским. А. М. Скабичевский — автор статьи «Старый идеализм в современной оболочке», посвященной сочинениям Вагнера «Сказки Кота-Мурлыки».

4. 4. Перед Скабичевским Коровьев упомянул Достоевского; Достоевский был знаком с Н. П. Вагнером с лета 1875 года.

4. 5. Н. П. Вагнер — известный спирит, автор книги «Наблюдения над медиумизмом» (СПб., 1902). Персонажи Н. П. Вагнера летают во сне¹.

4. 6. Н. П. Вагнер — составитель компендиума «Рассказ о земной жизни Иисуса Христа» (СПб., 1908), который Булгаков мог использовать в процессе работы.

4. 7. Вагнер — композитор, создатель увертюры «Фауст».

4. 8. Н. П. Вагнер — доктор зоологии, доктор Вагнер — персонаж «Фау-

ста» (тема связей романа с «Фаустом» исследована весьма полно).

4. 9. Кот — Кот Мурр — Э. Т. А. Гофман; см. письмо Булгакова к Елене Сергеевне от 6-7 августа 1938 года.

Заразительность подобного поиска едва ли не превращает все исследование в игру. Впрочем, «веселая наука» — это как раз то, чего остро не хватает нашему запуганному литературоведению, долгие годы корчившемуся в железных объятиях М. Б. Храпченко, А. И. Метченко, В. Р. Щербины, А. Л. Дымшица и прочих.

Идеальное издание Булгакова или книги о нем — впереди, но немало работ, в которых достигнут высокий уровень исследовательской культуры. Их представительное собрание можно найти в коллективном сборнике «М. А. Булгаков — драматург и художественная культура его времени» (М. 1988). В книге достаточно остроумных догадок и наблюдений, есть статьи и концептуального плана. Впрочем, для интегральной оценки сочинений такого рода есть критерий специфический (названная книга ему удовлетворяет): отказ от поиска экзотических контекстов и экзотических сопоставлений, поиска, который грозил — особенно после выхода книги И. Л. Галинской «Загадки известных книг» (М. 1986) — стать бедой булгаковедения, его «вирусной», разрушительной программой. Ибо Булгаков никогда не был утонченным книжником и в его случае реальны лишь такие связи с книжными редкостями, которые включают передаточные звенья, принадлежащие массовой культуре. Именно поэтому при расшифровке булгаковских образов и сюжетов значимы газетные и журнальные материалы, попадавшие писателю под руку, энциклопедические статьи из стоящего мощным строем золото-черного конногвардейца — Брокгауза — Ефрона, образы из популярных романов и повестей. Кстати, именно эти культурные слои изучены пока хуже других; по существу, даже газета «Накануне», явно находившаяся в зоне особого булгаковского внимания, прочитана невнимательно. Да и можно ли требовать серьезного введения ее в научный оборот, если аннотированный указатель материалов газеты отсутствует. То же самое, разумеется, относится и практически ко всем остальным изданиям 1920—1930-х годов, советским и эмигрантским: просмотры их ~~так~~ и остаются

¹ «И мы быстро понеслись, полетели. Воздух теплый, ароматный так ласково встречал нас. Он играл моими распущенными волосами. Под нами, там, где-то в недостижимой глубине, освещенной месячным сиянием, пронеслись облака... блестящее море, чернели леса, рощи, города, деревни. <...> Мы летели долго и, наконец, начали опускаться. Один город, большой город, начал развирываться перед нами широкой панорамой. В нем было много башен, колоколен, дворцов, монументов и небольшая речка текла посредине его — речка, через которую были перекинута каменные мосты. <...> Мне хотелось бить, убивать, зажигать, захотелось грома, выстрелов, разрушения...» (Вагнер Н. П. Свет и мрак. // Повести, сказки и рассказы Кота-Мурлыки. 3-е изд. СПб. 1903. Этот сон героиня видит во время Насхи (в это же время происходит действие «Мастера и Маргариты»).

лишь случайными набегами со случайными трофеями.

Все ощущают, что легкие пласты в булгаковедении уже выбраны, едва ли не все издано (кроме дневника Елены Сергеевны¹), в недрах ГПУ найдена даже копия дневника, самим писателем сожженного. Чтобы двигаться дальше, необходимы систематическое описание и учет сюжетов и образов, содержащихся в массовой культуре, окружавшей людей, родившихся в 90-е годы XIX века, в «гимназическом чтении», необходима тщательная и систематическая (с использованием ЭВМ) «каталогизация» культуры 1920—1930-х годов, ее проблем и сюжетов и подход к Булгакову как к ее «частному» случаю.

А осваиваться в мире подробностей «архипелага Булгаков» трудно. «Куда, однако, исчез мастер ноябрьской ночью из своей квартирке? И почему он снова, зябко переминаясь в пальто с оборванными пуговицами, оказался в январе под окнами своего дома? Где провел он эти три долгих месяца?.. Тут много недоговоренного и смутного, о чем можно только догадываться»².

О том же самом двадцать лет спустя: «Трудно забыть, как Мастер, ставший жертвой доноса прилежного читателя его романа Алоизия Могарыча и отсутствовавший в своей квартирке три месяца, приходит к святящимся окнам подвального, где играет патефон. Приходит «в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами» и с нежеланием писать и жить. Одной этой подробности (пуговицы срезали при аресте) хватает, чтобы представить муку допросов и ужаса неслободы» («Мир Михаила Булгакова»).

Нетрудно заметить старую лакшинскую приверженность «неторопливой, очень вкусной манере изложения, отчего самый процесс чтения лакшинских статей доставляет удовольствие, а это важное достоинство всякого литературного произведения всегда, хотя по темпу и по плотности мысли такое замедленное изложение уже не поспевает за нашим временем»³.

Не поспевало изложение за временем в шестьдесят восьмом, тем более не поспевает сейчас. Разорванное цитатами и

фактами, до предела уплотненное нервное повествование М. О. Чудаковой к образу Булгакова и сегодняшнему дню подходит больше.

Текст Булгакова (равно, кстати, как и Платонова) не метафизичен, а реален, он опирается на множество не только литературных, но и реальных подробностей, и при медленном чтении это обнаруживается.

Для В. Я. Лакшина, например, фразы профессора Преображенского: «Террор совершенно парализует нервную систему»; «не читайте до обеда советских газет» — лишь доморощенные (?) афоризмы старорежимного толка. Но у этих фраз, весьма вероятно, есть фактическая подоплека: за Преображенским стоит конкретный прототип — известный евгений Н. К. Кольцов, основатель «Русского евгенического журнала», а за афоризмами — уникальная статья Н. К. Кольцова «Об изменении веса человека при неустойчивом равновесии», где приведены материалы самонаблюдений во время тридцативосьмичасового тюремного заключения 19-20 августа 1920 года (арест был связан с делом «Тактического центра»), когда Н. К. Кольцову был вынесен смертный приговор, а потом он был отпущен домой и обнаружил, что потерял 5 фунтов веса. А вопрос о прототипе Преображенского (который решается в нашем булгаковедении с поразительным легкомыслием) связан с тем, как относился к этому персонажу сам Булгаков: изображал ли писатель «лучшие черты» (этого хочется М. О. Чудаковой и В. Я. Лакшину) или выражал тревогу по поводу сотрудничающей с властью интеллигенции, по поводу ее судьбы в СССР. Впрочем, вопроса о вине я уже касался.

Еще раз о «всеохватной полноте». У нас отсутствует библиография изданий Булгакова и сочинений о нем⁴; в советских библиотеках нет очень многих работ, посвященных творчеству Булгакова, которые изданы за рубежом. На русский язык они, разумеется, не переводятся, в СССР не переиздаются. Впрочем, «технологических» трудностей у советских литературоведов не счесть: от заблокированных архивов до недоступных читателям генеральных алфавитных

¹ Цитаты из него рассыпаны по всем книгам о Булгакове, наиболее обширные выписки см.: Шварц А. Жизнь и смерть Михаила Булгакова. «Континент». Т. 53.

² Лакшин В. Я. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». «Новый мир» № 6. 1968.

³ Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом.

⁴ Первый опыт «Избранной библиографии» (122 названия), составленной О. Кушлиной и Ю. Смирновым, см. в кн.: Булгаков М. А. Дьяволада. Душанбе, 1989. Рекомендовать такую библиографию нельзя даже школьникам.

каталогов в ГБЛ и ГПБ; от невозможности сделать ксерокопию книги до невозможности получить толковую библиографическую справку. «Чего ни хватишься, ничего нет!» — как говаривал, трясясь от хохота, один иностранный профессор. Впрочем, несправедливо было бы распространять это «ничего нет» на все булгаковедение. Оно есть. Есть, несмотря на трудности разного рода. И уже имеет собственно историю, которая тоже нуждается в постоянных разысканиях. Ибо здесь тоже немало лакун¹, но

¹ Одна из них — ранний период булгаковедения. См. об этом: Лемхин М. Александр Аскольдов — человек ниоткуда. «Новое русское слово». Нью-Йорк. 1983. 17 июня.

А. Аскольдов — автор, вероятно, первой после смерти Сталина печатной работы, посвященной Булгакову: Аскольдов А. Восемь снов: «Бег» в Сталинградском драматическом театре им. М. Горького. «Театр» № 8. 1957. Постановщиком спектакля был Н. А.

каждая деталь имеет значение: с изучением Булгакова связана история нашей духовной жизни, составной частью которой, ее формирователем стал Михаил Булгаков.

«...Известно ли вам, почему так нежно на вкус мясо в тех страсбургских паштетах?..»

Покровский. Цитирую: Елена Сергеевна «сказала: «Приходите». Я был первым человеком, который пришел в этот дом с улицы, это было в 1954 году. Она жила одна... Чудакова много уже писала, была масса возможностей упомянуть человека, который пришел в этот дом на 15 лет раньше ее... Я занимался литературой 20-х годов в университете, занимался драматургией. Это была хорошая школа... Кстати, со мной на курсе учился Лакшин... Тогда он не занимался ни театром, ни Булгаковым, хотя он был человеком театральным. Мхатовским мальчиком. А я, так сказать, был мальчиком со стороны». Воспоминания постановщика «Комиссара» необходимо включить в новое издание книги «Воспоминания о Михаиле Булгакове».

Акмухамед Вельсапаров

Эрозия:

человек — земля — культура

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ТУРКМЕНСКОЙ ПРОЗЕ

Труднее нет задачи, чем ставить диагноз литературной немощи. Почему, например, туркменская литература никак, по-моему, не может выйти на всесоюзную арену и сказать свое слово о времени и о себе? Почему она не может вести диалог со всесозным читателем? Почему самоустранилась от живых дискуссий, разгорающихся вокруг проблем развития современной литературы? Почему литературная критика в республике десятилетиями топчется на одном и том же месте?

Вопросов, проблем в туркменской литературе за истекшие десятилетия накопилось в избытке, и некоторые из них настолько серьезны, что на многие годы сковали ее потенциальные возможности. Неизвестно, как долго это продлится. Наверное, столько, сколько мы будем видеть в критическом разборе назревших проблем желание под кого-то подкопаться, а кого-то и опорочить. Только гласность, открытое обсуждение могут создать благоприятную для литературы обстановку, ибо гласность есть, по утверждению В. И. Ленина, меч, который сам исцеляет наносимые им раны.

Туркменская советская литература внешне старалась всегда выглядеть вполне благополучной. В этом, мне кажется, ей помогали центральные издательства, газеты и журналы. Даже в ее недостатках старались видеть некое достоинство, огрехи списывали, случалось, на национальное своеобразие, в других случаях — на «молодость». В речах и выступлениях идеологов из прежнего республиканского руководства все чаще стали мелькать утверждения о якобы младописьменности, хотя за плечами туркменской литературы тысячелетия письменной истории.

Не только в сельском хозяйстве республики процветали приписки, хищения, а экстенсивным развитием земледелия из года в год пытались компенсировать

стремительное падение урожайности — глянец наводили и в области идеологии, литературы, культуры. Так было удобнее: сравнивать свои достижения с нулем! Прикинуться беднячками, во всем обездоленными, чтобы вызвать если не жалость, то снисхождение.

В центральных издательствах снисходительное отношение к туркменским литераторам постепенно стало рассматриваться как явление нормальное, даже как некая необходимость. Это настраивало наших писателей на благодушный лад. Благодушные не очень-то вяжутся с деловым, тем более творческим настроением. Вот и результат. Если творчество Чингиза Айтматова, Валентина Распутина, Василия Быкова, Гранта Матевосяна, Нодара Думбадзе стало неотъемлемой частью нашей многонациональной советской культуры, то современная туркменская литература подобных имен не выдвинула. Отсутствие настоящего успеха компенсировалось в самой республике созданием дутых авторитетов. Кого-то из наших писателей называли... Шиллером, кого-то Махтумкули нашего времени, кого-то окрестили туркменским Айтматовым. Однако никто из них не краснел от стыда. И нет ничего удивительного в том, что со временем литераторы стали гоняться за премиями, лауреатскими значками да всякими почетными именами.

Упадок литературы во многом объясняется, на мой взгляд, и тем, что в какой-то момент связь людей с вскормившей их землей перестала быть органичной и обернулась потребительскими отношениями...

Связь человека с землей многообразна, многоступенчата и неоднозначна. Древние провозгласили, что человек — мерило всех вещей, но мерилом нравственности самого человека разве не является отношение его к земле? Народ наш древний. Знал он периоды подъемов и спадов

меримых падений, настоящих катаклизмов, которые, казалось, вот-вот подведут горькую черту нашей истории... Из последнего такого катаклизма вывела туркменский народ Октябрьская революция. Но последовавшие за великой ломкой годы тоже принесли немало испытаний, приведших к непредвиденным негативным результатам. То, что мой народ за это короткое время дважды «добровольно» сменил свой алфавит, говорит о том, что оно было весьма противоречиво в своих завоеваниях. Отчуждение человека от земли — одна из самых ощутимых потерь, понесенных нами в эти годы, ущербно отразившаяся на моральном облике наших современников.

В современной туркменской литературе эта проблема не нашла своего адекватного отражения. Может быть, оттого, что нравственные потери общества непосредственно отразились и на духовном климате литературной среды? Не вдаваясь в подробности, о которых мне уже не раз приходилось говорить в печати, скажу только одно: в столах даже ведущих наших писателей в перестроечное время не нашлось ничего значительного, что не было опубликовано ранее по цензурным соображениям. Исключением стал лишь роман классика туркменской литературы Ата Каушутова «Перман» («Совет эдебияты» №№ 10—12 за 1987 год и №№ 10, 11 за 1988 год), в котором были сделаны попытки рассказать правду об истории присоединения Туркмении к России. Почти все остальное из написанного шло на потребу дня, никто не хотел рисковать, наоборот, «чутко чувствуя пульс времени», подстраивались, приспособливались. Знаю, что больно будет читать эти строки моим коллегам, больно так же, как и мне их писать, но вещи надо называть своими именами.

Однако нельзя сказать, что все туркменские писатели били баклуши в застойные десятилетия. Нет. Далеко не так. По мере сил они старались разбираться в накопившихся жизненных проблемах, пытались выразить свое отношение к ним. Среди произведений такого плана «Земля помнит все» Тиркиша Джумагельдыева, «Песня бегущей воды» Бердыназара Худайназарова, «Тойли Мерген» Курбандурды Курбансахатова. Из того же ряда и роман Клыча Кулиева «Запоздалое раскаяние», опубликованный с десятилетним опозданием: волевым решением бюро ЦК КП Туркмении на его издание был наложен запрет. А какую неблагоприятную

роль сыграла при вынесении этого решения сама писательская братия, в частности, тогдашний председатель СП Туркмении, ныне народный писатель республики Рахим Эсенов, мы узнали недавно из публичного выступления Клыча Кулиева на страницах газеты «Туркменская искра» (12 июня 1988 года).

Эрозия почвы, эрозия нравственности. Взаимосвязь духовного и материального — определяющее начало романа Т. Джумагельдыева «Земля помнит все». Образы человека и дерева сопоставляются автором как явления одного ряда. «Тутовник тети Джахан давно уже стал приметой и главной достопримечательностью села...» — говорится в книге. Так и старый Гурт, который всего лишь «лет на десять моложе» этого тутовника, предстает перед нами как носитель народной мудрости и совестливости, воплощает для своих односельчан дух традиций и порядка. Село, где прошли детские годы писателя, с большой любовью описано в целом ряде его произведений. Но каждый раз автор показывает его в неожиданном ракурсе и от этого село кажется новым, неисследованным. Гурт из романа «Земля помнит все», бригадир Мулки из романа «Дашрабат — крепость моя» и Сахат Каландар из «Побега» — духовно близкие люди. Однако сельская атмосфера, взаимоотношения дехкан порой кажутся мне застывшими, соответствующими детским и юношеским впечатлениям автора. Спору нет, эти люди симпатичны своей простотой, душевностью и непосредственностью. В них веришь, как в живых людей, но странно видеть, как они действуют на фоне аморфно выписанной социальной среды. Например, туркменское село в романе Т. Джумагельдыева «Дашрабат — крепость моя», события которого относятся к послевоенным годам, в сущности, то же, что и в последнем его романе «Побег», правда, некоторые реалии составляют исключение: названия тканей, марки автомобилей, новые предметы быта... Так, Мулки, один из героев «Дашрабата», мог бы почти безболезненно поменяться местами с Сахатом Каландаром из «Побега» или Гуртом из романа «Земля помнит все». Плохо знают некоторые наши писатели жизнь сегодняшнего туркменского села. Не здесь ли причина того, что книги туркменских писателей не близки, а порой и неинтересны всесоюзному читателю?

В образе Гурта, как и в старом Танабое из повести Чингиза Айтматова «Про-

щай, Гульсары!», заложен большой нравственный потенциал. «Стыдась собственного бессилия, до последней своей минуты, до последней капли живого сока не хотело дерево признавать поражения — целый год удерживало оно листву на ветвях, обращенных к людям», — говорится о последних днях тутовника. Но не легче и страдания Гурта, который видит, как гибнет дерево на просоленной почве. Однако этот образ в художественном отношении несопоставим с айтматовским Танабаем. Почему? Потому, мне кажется, что Т. Джумагельдыев не стал углублять тему нравственного столкновения между Гуртом и Машатом вокруг судьбы засолившихся земель, упростил основной конфликт, «оттеснив» его проблемой молодых. Заместитель председателя правления колхоза Машат, сторонник экстенсивного развития, предлагает бросить засолившиеся земли и осваивать целину. Гурт против этого. Машат хочет видеть бригадиром на новых целинных землях, сулящих легкую славу, своего сына Ораз, выпускника сельскохозяйственного института. Для этого он добивается ухода с должности «по собственному желанию» бригадира Аманли. Гурт же остается на старых землях, чтобы возродить их. Вроде бы все идет, как того Машат и хотел. Но Ораз, влюбленный в дочь Гурта Дурсун, не повинуетс отцу. В финальной части романа разжалованный в бригадиры Машат сам едет на целинные земли...

Автор «застопоривается» на теме нравственного и трудового становления молодых героев, и столкновения между будущими родственниками Гуртом и Машатом обретают по-родственному допустимые пределы.

Нельзя не согласиться с критиком Валентином Оскоцким, который в послесловии к роману «Земля помнит все», изданному в «Библиотеке «Дружбы народов», писал: «...к числу бесспорных удач писателя мы вправе отнести характер Гурта, выписанный как характер глубинно народный и подлинно национальный». Тем досаднее, что образ как бы тонет, растворяется в разреженной атмосфере романа, претендующего, но не дотягивающего до подлинно художественно-философского уровня.

Но вряд ли сейчас имеет смысл упрекать автора в художественных недочетах давнего произведения. Беда в другом — в том, что на протяжении долгих лет

туркменская проза (по крайней мере, та, что печаталась) не преступала границ гражданской смелости, что были явлены в этом романе.

В отличие от того же Гурта образ Мергена, героя романа Бердыназара Худайназарова «Песня бегущей воды», выписан аморфно, явно отсутствует динамика развития характера: встречи, знакомства, все коллизии, которыми изобилует роман, выдержанный в дотошно-описательном стиле, как бы скользят по поверхности души главного персонажа, не проникая глубже эмоционального уровня, не выявляя духовную, нравственную эволюцию Мергена. Он участвует в экспедиции, определяющей трассу будущего Каракумского канала, но между тем нимало не задумывается о будущем земель, по которым скоро пройдет большая вода. Мерген Атбашев поглощен производственными и еще в большей мере — своими личными проблемами. Ему не до серьезных раздумий относительно будущего целины. Для него главное — проложить канал через пустыню, а потом хоть трава не расти!.. Так Мерген оказался образом, социально предвещающим персонажей из романов К. Кулиева и Т. Джумагельдыева, хотя само это произведение написано гораздо позже.

Все из земли образуется и в землю уходит — говорили наши предки. И еще говорили: «Капля воды — крупница золота», — ибо вода у нас издревле ценилась больше, чем земля. Это психология людей, которым веками не доставало воды, веками туркмены мечтали о большой воде — погибали посевы, солнце выжигало все и вся. Люди, голодные и изнуренные непомерной жарой, простирали к небу обессиленные руки.

Припадаю с мольбой к тебе, всеблагой,
Пошади, дай дождя, дождя, мой султан!
Стражду я, жажду я, клонюсь перед тобой,
Пошади, дай дождя, дождя, мой султан! —

Перевод Арс. Тарновского

кровью сердца писал Махтумкули-Фраги.

И вдруг в восьмидесятые годы XX века заговорили о серьезных проблемах, порожденных на древней туркменской земле обилием... воды.

«— Наши предки говорили, что в мире есть две священные силы: одна — народ, другая — земля. Кто не ценит эти силы, тот никогда не будет знать достатка...» — поучает своих односельчан Кандымага из

романа К. Кулиева «Запоздалое раскаяние». К описываемому в романе времени туркменский дехканин уже успел позабыть о катастрофической нехватке воды на земле своих прадедов. Пришла амударьинская вода, и люди, опыненные счастьем, забыли о том, что и вода может погубить землю, если не научиться разумно ею пользоваться.

И случилось как раз то, о чем никто не задумывался: на вновь освоенных землях в зоне Каракумского канала из-за систематического чрезмерного обводнения поднялся уровень грунтовых вод. Почва засолилась, образовались солончаки, болота. Земля, вчера еще плодородная, покрылась камышовыми зарослями, стала бесплодной. И люди спешно уходили из таких мест, расчищали под посевы хлопчатника новые поля, но и те быстро приходили в негодность. Уходили и отсюда... Это превратилось в некий «метод» пользования землей. Укоренялась психология потребительского отношения к земле: люди спешили брать у нее все, взамен не давая ничего...

В Хаузханском массиве вслед за трассой канала потянулись колонии колхозов Марыйской области: наспех расчищалась, разравнивалась земля под будущий урожай, неумело и необдуманно прокладывались вдоль и поперек массива арыки, на скорую руку сооружались тут и там полевые станы. Показательно, что дорог с твердым покрытием почти никто не строил, будто не верили в завтрашний день этих земель. Колхозы, которым отводились здесь участки, вели себя не как хозяева, а как временщики.

Союз Земли, Воды и Людей, самый благородный из всех союзов, был нарушен. Издревле цивилизации рождались и умирали, таков объективный ход развития истории. Но известны случаи, когда цивилизации погибали из-за чрезмерного засоления и оскудения некогда плодородной почвы, о чем свидетельствуют древние тексты: «Знай, что эта сторона в действительности <называется> Хоросан, он — более известная из сторон... потому что в нем самый большой город <Миср>, население его прекраснее, добрее и осведомленнее о добре и зле <...>, города его красивее и лучше, в нем менее холодный климат; у людей в нем лучше обычаи, в нем больше славных и умных людей, чем в Хайтале, обладающих многими знаниями и удивительной памятью, большим имуществом и верным взглядом. В нем Мерв, на ко-

торый опирается мир <...>» (Материалы по истории туркмен и Туркмении. Том 1. Москва-Ленинград. Изд-во АН СССР. 1939).

Прямых параллелей нет и быть не может. Другая эпоха, другие времена. Вооруженные по последнему слову техники люди способны вернуть к жизни, казалось бы, навсегда погибшие земли. Но задуматься есть над чем. Сами по себе ни прогресс, ни общество не могут стать панацеей от всех бед. Люди, их совесть должна быть надежной гарантией того, что новых потрав не будет. А что об этом говорится в «Запоздалом раскаянии»? «Нынешнее поколение, особенно молодежь, привыкло, что воды сколько хочешь... А было время, когда люди о глотке воды мечтали. Аксакал не преувеличивал. В оазисах, окруженных со всех сторон раскаленными песками, вода всегда была основой и источником жизни... Когда-то древний Ургенч и его окрестности были одним из самых цветущих в мире уголков. Орды Чингис-хана засыпали песком истоки, разрушили каналы, созданные тяжелым трудом. Арыки высохли, и одетые в зеленый бархат крепости превратились в жалкие руины». Но то были иноземные захватчики... Ну, а если представить себе, что хорезмийцы сами над собой учинили такое, погубили свою землю, затопив ее соляными озерами? Рубить сук, на котором сидишь, отнимать у собственных детей кусок хлеба — предел нравственного падения. Ради чего мы землю губили? Ради чего мы губим ее сейчас? Ради каких наград? «...каждый орден Рашидова отмечал собою очередные потери узбекского народа и узбекской земли. Его «заслуги» откликнулись ныне миллионами гектаров испорченных солью земель и тысячами уголовных дел, очень высокой детской смертностью и крайне низким потреблением мяса», — писал Камил Икрамов в «Литературной газете». Не в фамилиях дело... Трудно отделаться от ощущения, что это сказано не о Туркмении. Те же беды постигли и нашу республику, только говорим мы об этом как о чем-то былом. А так ли это? Если от экстенсивного способа развития сельского хозяйства не отказались и теперь — монокультуре хлопка не поставлен надежный заслон — и его форсирование продолжается так же, как это было пять, десять лет назад...

Ныне сигналы бедствия посылает во все концы Арал. Назовем вещи своими именами: разразилась глобальная эколо-

гическая катастрофа. Она угрожает далеко не одним лишь хлопкосеющим регионам. А какая беда подстерегает нас всех в будущем, если дадим Аралу полностью исчезнуть с лица Земли? Может ли кто ответить на этот вопрос? Меньше всех задумываются над ним те, кто видит развитие наших республик в пресловутом вале хлопка-сырца, хотя давно уже пора серьезно поразмыслить над тем, сколько его нам нужно. Этот вопрос необходимо решить незамедлительно, ибо слезами Аралу не поможешь, ему нужна амударьинская вода, которую сосут туркменские и узбекские ненасытные каналы-пиявки.

ЦК КП Туркменистана и Совет Министров Туркменской ССР приняли специальное постановление «О неотложных мерах по улучшению использования и заселению земель Хаузханского массива». В нем сказано, что в работе по использованию Хаузханского массива, на котором находится до десяти процентов поливных земель республики, допущены серьезные ошибки, вследствие чего в последние годы снизилось плодородие земель, ухудшилось их мелиоративное состояние.

Десять процентов поливных земель республики или же 100 тысяч некогда плодородных гектаров в зоне Каракумского канала превращены ныне в солончаки... Много это или мало?

Может, в других областях республики землю берегли как зеницу ока? Как бы не так. «Если за последние три пятилетки капиталовложения возросли в 1,6 раза, то темпы в промышленности и в сельском хозяйстве упали в 3 раза», — сказано в докладе первого секретаря ЦК Компартии Туркменистана С. А. Ниязова на VI пленуме ЦК КПТ о Ташаузской области. То же самое можно сказать и о землях Марыйской области и районов республиканского подчинения. В некоторых колхозах Серахского района, как я в этом убедился во время командировки, засоление почвы достигает 50—60 процентов!

Но вернемся к роману К. Кулиева. Директором совхоза «Восток» назначен Байрам Чарыевич Чарыев из аппарата Министерства сельского хозяйства, друг и фронтовой товарищ первого секретаря райкома Таймаза Поллыева. Чудак этот Байрам Чарыев. Оставил удобное кресло, прохладный кабинет в министерстве, попросил чтобы его отправили в какое-нибудь хозяйство, он собирается воспи-

тывать у людей бережное отношение к земле и воде. Борется против сокрытия от учета засеянных полей, против артыкмача. Сейчас это туркменское слово знает весь Союз. Оно вошло в современный лексикон как слово, обозначающее негативное явление в социальной и экономической жизни нашей республики. Действие романа разворачивается в самом начале 70-х. Были ли тогда шансы на успех в этой борьбе? Ведь не только в Туркмении, но чуть ли не по всей стране исповедовали в ту пору экстенсивный метод развития сельского хозяйства. Благо земли много, только обрабатывай да сей! «Не одни мы засеваем лишние гектары, — рассуждает один из героев романа, главный агроном совхоза «Восток», а затем начальник районного управления сельского хозяйства Нобат Довранов. А дальше знаменитая фраза, которую частенько изрекают в свое оправдание: —...в интересах дела я допустил некоторую нечестность». В интересах дела... Так ли?.. Скорее, чтобы прикрыть свою нерадивость, а нередко и корысть.

Нобату Довранову и его приспешникам Чолукдурдыеву, Чорли и запутавшемуся в своих симпатиях и антипатиях Таймазу Поллыеву противостоят в романе Джерен Поллыева, секретарь партийной организации совхоза, Кандым-ага, уважаемый в совхозе человек, бригадир Сапармурад и директор совхоза Байрам Чарыев. Борьба против очковтирателей трудна и не всем по силам. Так, главный бухгалтер совхоза Рахман говорит: «Вначале я частенько сталкивался с ним (то есть с бывшим директором совхоза Сары Мыллыевым. — А. В.) на этой почве. Но в конце концов решил закрыть глаза: будь что будет! А что мне оставалось? Не воевать же каждый день со своим начальником...» Приписки в колхозах поощрялись вышестоящими инстанциями — все, разумеется, «в интересах дела». И немногочисленные смельчаки ока зывались беззащитными, их усилия нередко напрасными. «Зачем давать ложные сведения? Кого мы собираемся обманывать?.. Ведь это явный обман государства!» — говорит Байрам Чарыев. «Ну, вы уж слишком... — парирует законстенный приписчик Нобат Довранов. — «Обман государства»! Зачем такие высокие слова? Разве государство от этого пострадает?» Тогда многим казалось, ничего страшного нет в «преувеличении успехов». Но вышло все, как в той притче, когда по приказу царя жители одного го-

рода должны были за ночь наполнить огромный чан молоком. Из каждого двора по кувшину. Утром смотрят — чан полон водой. Всю ночь кувшин за кувшином лили в него воду, и каждый был убежден, что это только он один схитрил, а остальные пришли с молоком...

С начала 70-х годов у нас в республике стала стремительно снижаться культура земледелия. Испокон веков известен севооборот. Нельзя одну и ту же культуру сеять без передышки на одних и тех же полях. Но в колхозах и совхозах нашей республики игнорировали даже эту азбучную истину: повсюду из года в год, из десятилетия в десятилетие культивировали хлопок. Естественно, это приводило к стабильному падению урожайности. Земли истощались, и, чтобы исправить положение, налегали на минеральные удобрения, а это, в свою очередь, приводило к пересыщению ими почвы, что тоже не способствует урожайности, хлопчатник начал болеть, что называется, на корню. И если бы только хлопчатник! Злоупотребление химическими удобрениями, пестицидами и длительное пользование таким ядовитым дефолиантом, как бутифос, обернулось в конце концов для республики самой высокой детской смертностью во всем Союзе. В 1986 году в Туркмении не дожили до одного года 7009 детей, в 1987 году умерло 7153, в 1988 году не стало 6874 новорожденных, а в 1989 году — 6874 из 125 054 родившихся. Что ждет нас впереди? А ведь информация с мест далеко не всегда полна и правдива: где-то рождение детей не регистрируют вовремя, где-то после смерти приписывают месяцы, чтобы дети не попали в графу умерших до года, а где-то и вовсе стараются уничтожить листы регистрации после смерти малыша. Об одной такой истории писала газета «Яш коммунист» («Молодой коммунист») в номере от 29 ноября 1988 года в материале «Поступившиеся клятвой». Только в Халачском районе за год с лишним ответственные люди скрыли от учета смерть семнадцати грудных детей! И в позапрошлом, и в прошлом году в Ташаузской области умирал каждый четвертый родившийся ребенок в возрасте до одного года!

Снизилась не только культура земледелия, но и уровень духовности людей, поубавилась человечности. В массах все это время росло потребительское отношение к жизни, множилось число норовящих побольше урвать у общества. го-

сударства. Для многих это уже кредо жизни, и беззастенчивость таких лиц, их цинизм порой ужасают. Чтобы ребенку в критическом состоянии сделать необходимый укол, нужно раскошелиться тут же, «не отходя от кассы». Эрозия нравственности и эрозия почвы — взаимосвязанные процессы, цепь замкнулась. Может, примерно так и происходило в тех древних погибших цивилизациях?..

В «Пожаре» В. Распутина люди под предлогом спасения товаров от огня растаскивают добро, прячут его там и сям и в первую очередь спасают, конечно же, водку... Есть аналогичная сцена и в романе К. Кулиева «Запоздалое раскаяние»: «Когда Чарыев подбежал к мастерской, пожар был уже в разгаре. Пламя, расплосовав ночь, гудело и рвалось к небу, но сильный ветер сносил его на покрытый снегом сад, и оно стреляло во все стороны крупными шипящими искрами, с оглушительным треском ломало на крыше шифер. А в мастерской, за стеной этого гудящего огня, стояли десятки машин, и большинство их — исправные, готовые выйти в поле».

Но если у Распутина сцена пожара высветила людские души, охваченные жаждой наживы, нравственное опустошение и деградацию людей, то у Кулиева схожий эпизод служит демонстрации деланно показного героизма действующих лиц. Психологически неубедительна героическая гибель Шатлыка, вчерашнего кутилы и прожигателя жизни, папенькиного сынка. «Люди очень устали — слишком много было потрачено сил. Но никто не жаловался. Казалось, по мере того как люди больше уставали, они вели борьбу со стихией упорнее и злее. Сколько же нераскрытых сил, сколько неизмеримой энергии заложено в человеке!»

В таких вот сценах, патетических и высокопарных, порой сентиментальных, и проявляется, на мой взгляд, художественная слабость романа «Запоздалое раскаяние». Чувствуется, как трудно уйти писателю от прямой назидательности, навязчивой нравучительности к глубинному раскрытию характера героев, подлинно психологической мотивировке их поступков.

И вместе с тем у романа очень широкий диапазон проблем. И не только экологических, но и этнических, духовных, связанных с нравственным падением человека, хозяина этих земель. Кто не

считается с нуждами Земли, тот не считается и с нуждами людей. И в романе эта параллель проведена довольно убедительно. Но в ряду поднятых в романе проблем особое место занимают отношения между отцами и сыновьями. Обратимся к эпизоду посещения Поллыевым магазинов.

«— Как тебя зовут? — продолжал расспрашивать Поллыев.

— Зовут Ширли.

— Что ты окончил?

— Ай, определенного ничего.

— Почему бы тебе не поехать в аул и не сесть на трактор? В такие годы и с твоим здоровьем торговать луком?

Парень промолчал, но посмотрел на Поллыева недобрый взглядом».

К легкой жизни стремится не только продавец этого магазина Ширли, но и собственный сын Таймаза Поллыева Шатлык, который устраивает пьяные кутежи в общегитии совхоза «Восток». Однако сцены из «красивой» жизни Шатлыка написаны бегло и схематично: девочки, музыка, повсюду валяются пустые бутылки... все и так должно быть ясно, решает автор; а дальше герой эффектно гибнет на пожаре, спасая колхозное имущество, и эта смерть словно все разрешает. Вот тебе и проблема молодежи, проблема отцов и детей! Но разве в жизни все так трафаретно? Наспех, буквально дежурными фразами автор вводит новые сюжетные линии в свое произведение. Отсюда и ощущение, будто самому писателю не очень-то интересно было писать. Неинтересно автору... а каково же читателям?

В этой связи вспоминаются и недоработки в романах «Земля помнит все» Т. Джумагельдыева и «Песня бегущей воды» Б. Худайназарова. У Т. Джумагельдыева, например, взаимоотношения Ораза и Дурсун настолько прямолинейны, что диву даешься: какой все-таки серой массой представляется современная молодежь нашим ведущим писателям! Ни душевной работы, ни глубоких чувств... И это великомученики? В худшем случае это заблудившиеся невинные овечки. А как они дружно отказываются от плохого наследия своих отцов! Одно умиление. Однако, на мой взгляд, это объясняется в большей степени душевной инертностью некоторых прозаиков, которые в застойные годы научились избегать острых конфликтов, сглаживать острые углы. Скажем, толь-

ко завязался жизненный конфликт между Машатом и Назаром — с одной стороны, и Гуртом — с другой, но автор уже спешит вручить читателю «бескровное» разрешение проблемы. Машата, как я об этом уже говорил, не замедлили перевести в бригады. А сам председатель правления колхоза Назар подает в отставку и идет в агрономы. То, что такое облегченное разрешение проблемы не в ладу с жизненной правдой, десять — пятнадцать лет назад никого не беспокоило. В проигрыше оказывались только мы с вами, читатели!

К. Кулиев так же торопит своих героев на пути к победе, и это, в общем-то, умаляет борьбу Байрама Чарыева и Джерен Поллыевой, обесцвечивает их характеры. Когда борьба накаляется, персонажи начинают буквально валиться с ног, может быть, от перенапряжения, но, кажется, не случайно заболевают и Байрам Чарыев, и Джерен Поллыева, и Таймаз Поллыев. Так вот, это тоже «художественная особенность» романа, а скорее его художественная недоработка — повальные недомогания борцов за справедливость. Слишком часто они хватаются за сердце, слишком часто! Однако с трудом верится, что эти люди, столько претерпевшие от произвола должностных лиц, прибравших к рукам силу советского закона и чинивших порой неслыханные беззакония, так легко пускают слезу.

И все же вопреки многим недочетам романа нельзя не сказать о его особом значении для туркменской литературы. Недаром эта публикация задержалась на четырнадцать лет. Чванливые руководители республиканской партийной организации смекнули, что при всех художественных недостатках произведение, бесспорно, обладает рядом преимуществ, и в первую очередь острой публицистичностью и обличительным пафосом. То, чего смертельно боялись и бояться ревнители неправды, и определило трудную судьбу романа «Запоздалое раскаяние».

Выбор темы отнюдь не маловажен в литературе, однако как для великих нет маленькой темы, маленького героя, так и для малоодаренных или, во всяком случае, непрофессиональных писателей не может быть темы значительной. Узость художественного взгляда, неубедительность психологических мотивировок, а самое главное — уход от глубоких нравственных конфликтов составляют слабую и достаточно характерную сторону

рассматриваемых романов. Даже такие интересно задуманные образы, как Гурт, Сахат Каландар, Мерген, Байрам Чарыев, все-таки не выходят из рамок схематичности, и прежде всего потому, что авторы не показывают внутреннюю эволюцию своих героев.

А жизнь-то эволюционирует, все меняется, правда, не всегда в лучшую сторону. На моей памяти республика боролась за 410 тысяч тонн хлопка, но и потом эти цифры все росли и росли... Сколько радостей принесла амударьинская вода в Марыйскую, а потом и Ашхабадскую область. Собирая хлопок в Хаузханских землях в начале 70-х годов, я не переставал удивляться щедрости этих земель. Это было похоже на сказку! От горизонта до горизонта хлопчатник, под ним благодатная земля, чистая, духовитая. Уставшие, мы валились прямо тут же, на поле, не боялись испачкаться: это была настоящая целинная земля, она не знала ни сорняков, ни соли. А хлопок? От его обилия горизонты стояли в белой дымке. Густая азиатская ночь светилась над хлопковыми полями Хаузханского массива! Все это было! Было!..

Но было и другое... Нас, школьников, привозили туда и неделями оставляли на уборке. Мы вроде как сами себе хозяева, ни грозного бригадира — недремлющее око, ни назойливых сорняков, въедающихся в кожу, лишь учитель присматривает за ребятами. Провизия?

Ее ты привез с собой, это каурма, лепешка, сахар... В обед тебя покормят. Спишь в глинобитных мазанках, ужинаешь при свете керосиновых ламп, безжалостно едят тебя комары. Однажды ночью всех разбудил дикий вопль — кого-то ужалил скорпион. Усадили мы товарища на мотоцикл и повезли на полевой стан соседнего колхоза: кто-то сказал, что там, наверное, фельдшер... От укуса скорпиона обычно не умирают. И тот парень, Бабали, к счастью, остался жив. Однако ночные страхи рассеивались, как только над безбрежным морем хлопчатника поднимался золотой диск божества Гун. Семь-восемь лет спустя, окончив вуз, я снова попал в те места. И не узнал полей. Они были сплошь покрыты зарослями камыша, кругом солончаки, болота... Грустное зрелище. 100 тысяч гектаров орошаемых земель. Много это или мало?..

Мне хочется завершить разговор о взаимоотношениях человека и земли сквозь призму современных туркменских романов цитатой из «Запоздалого рассказа» К. Кулиева: «Кандым-ага стоял, виновато опустив голову. Аксакалу казалось, что земля обижена на людей, обошедших ее своим вниманием. И вдруг откуда-то, из далеких ее глубин, донесся глухой голос: «Я не таила богатства в своем чреве, все отдавала. И вы меня так отблагодарили?..»

И этот голос сегодня слышен все отчетливее!

Вниманию деловых людей!

Журнал «Дружба народов» при сотрудничестве с совместным предприятием «Рекламно-информационный сервис «Известия» — «Бурда» публикует на страницах журнала рекламные объявления и информации по заказам советских государственных и общественных предприятий, организаций, кооперативов, совместных предприятий, иностранных фирм и организаций.

Журнал имеет тираж 800 000 экземпляров. Из них по подписке 755 000 экз. В свободной продаже 39 255 экз. За границей 5745 экз. В основном, наши читатели, согласно социологическим исследованиям,— научно-техническая и творческая интеллигенция. Публикация Вашей рекламы на наших страницах гарантирует

Вам продолжительность действия рекламы и информации, так как наши журналы есть во всех библиотеках страны.

Наши тарифы

1 полоса — 7340 руб.

1/2 полосы — 3670 руб.

1/4 полосы — 1835 руб.

За редактирование и графическое оформление дополнительная плата от 100 до 25 руб., в зависимости от объема рекламной информации.

В итоге Вам предоставляется уникальная возможность распространить информацию о Вашей продукции и услугах по минимально возможной цене 0,9—0,2 коп. за один экземпляр. Воспользуйтесь этой возможностью, и Вы увидите все преимущества. В случае необходимости мы можем заключить с Вами договор на периодическую публикацию Вашей рекламы или информации, и в этом случае Вы получаете дополнительные гарантии того, что Вас будут знать все, кто Вам нужен, а также скидку от 4 до 10 процентов.

**С уважением
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ,
ДИРЕКЦИЯ СП**

Р. С. Для оформления заказа Вам необходимо направить гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера, где указать размер и подтверждение оплаты публикации, указать свои почтовые и банковские реквизиты по адресу: 103791 ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5, «Известия», СП «Известия» — «Бурда».

**Телефоны редакции журнала «Дружба народов»
202-52-03, 291-62-27**

**СП «Известия» — «Бурда»
телефоны 299-36-74, 200-30-18,
телекс 111129**

Телефакс 0-095/230-23-03

На публикации в феврале—мае предоставляется скидка 50 процентов от установленного тарифа.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЙОНАС МИКЕЛИНСКАС	Страна Черных Елей. Роман. С литовского. Перевод Б. Залесской и Г. Герасимова	3
МАКСИМ ТАНК	Из лирической тетради. Стихи. С белорусского. Перевод Я. Хелемского	135
МАРК АЛДАНОВ	Истоки Роман. Окончание	137
СЕРГЕЙ ЗОЛОТУССКИЙ	Будни и праздники. Стихи	156
НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВ	«В пространстве времени быстротекущем». Рассказы	162
ВИКТОР КРИВУЛИН	Стихи разных лет	176
НОННА СЛЕПАКОВА	Дух противоречия. Стихи	180

ПУБЛИЦИСТИКА

ЕВГЕНИЙ БУДИНАС	Провинциальный дневник. Окончание	183
-----------------	---	-----

НАЦИЯ И МИР

ТИМУР ПУЛАТОВ	Ферганская трагедия Причины и следствия	229
АЙДЕР КУРКЧИ	Терпимость, терпимосты!	236
ИГОРЬ КРУПНИК	Семь объяснений	238

КРИТИКА

МИХАИЛ ЗОЛОТОНОСОВ	«Взамен кадильного куренья...»	247
АКМУХАМЕД ВЕЛЬСАПАРОВ	Эрозия: человек — земля — культура	263

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

ИГОРЬ ПИСАРЕВ	Патина и лагутина. Из произведений Е. Болотских и Г. Богомоллова	159
---------------	--	-----

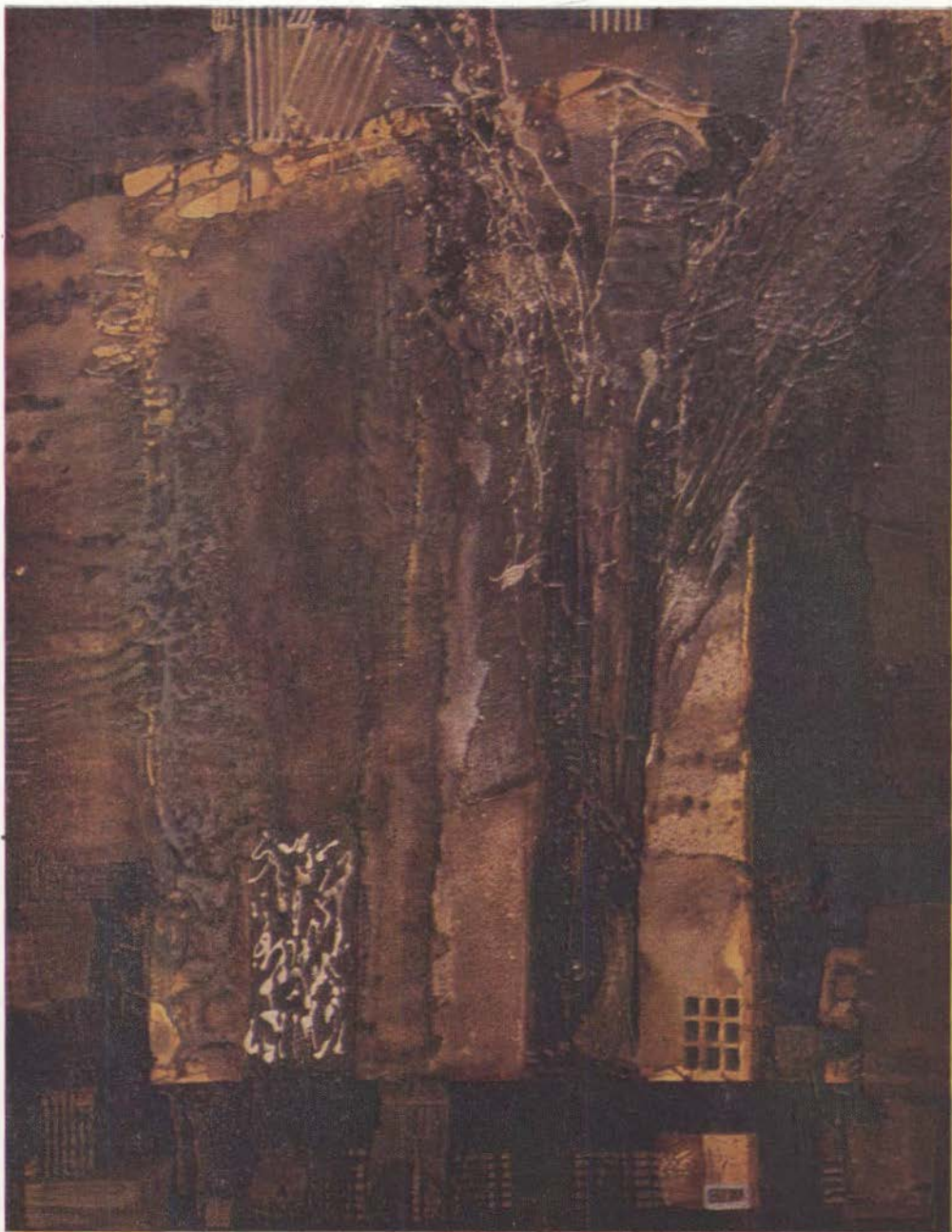
НА ОБЛОЖКЕ:

на второй
и третьей страницах —

Е. КОРОНЦЕВИЧ.
Поэтическая иллюстрация к «Арапу Петра Великого»
А. С. Пушкина

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.
Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.



Е. БОЛОТСКИХ. Тени и окна.



Г. БОГОМОЛОВ. Диптих I.

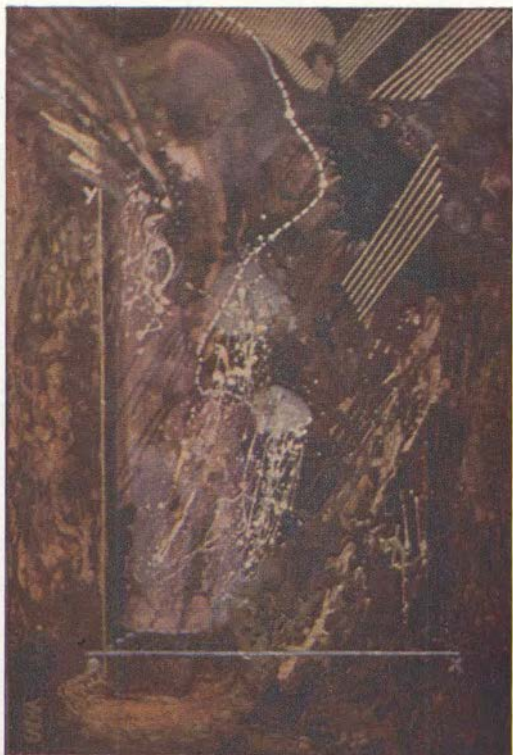


Е. БОЛОТСКИХ. Белая линия.

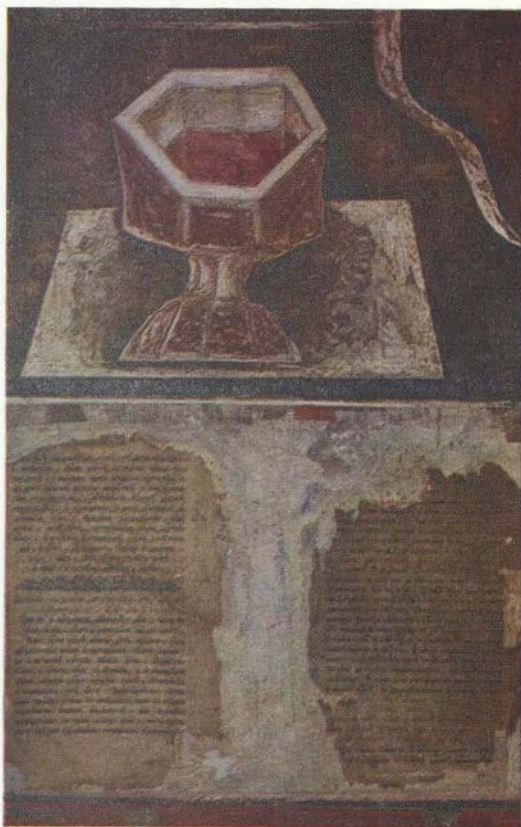


Г. БОГОМОЛОВ. Чаша.

В ПОИСКАХ ЖАНРА



Е. БОЛОТСКИХ. Система координат.



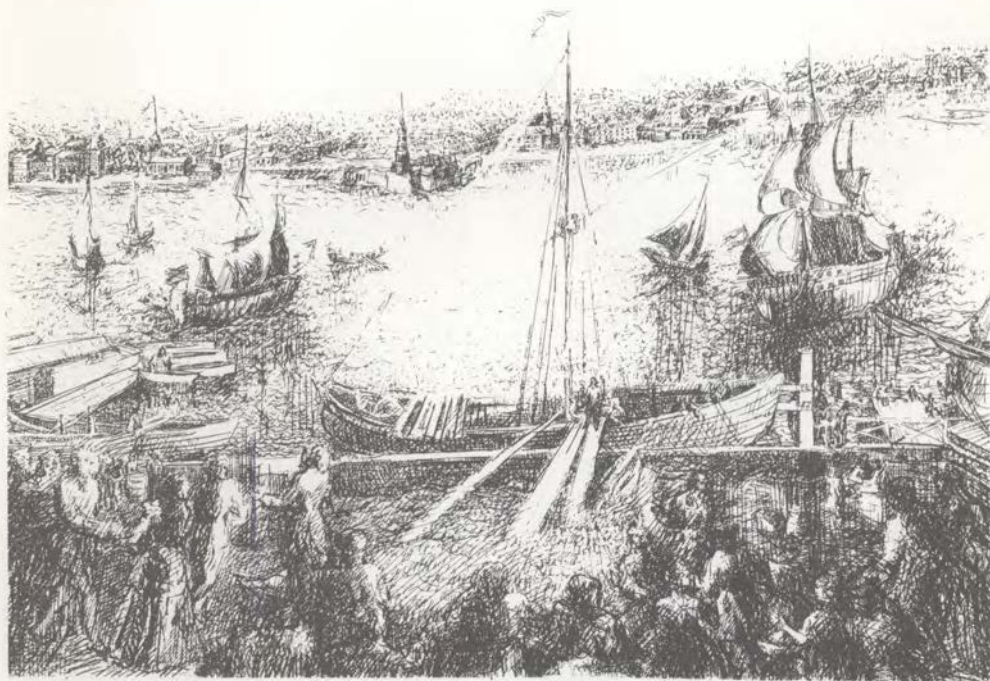
Г. БОГОМОЛОВ. Диптих II.

ЕКАТЕРИНА КОРОНЦЕВИЧ



Молодая москвовская художница Екатерина Коронцевич закончила Московский полиграфический институт в 1986 году. Работает в области книжной графики и дизайна, однако диапазон ее творческих возможностей гораздо шире. Много времени она уделяет станковой живописи, которую отличает тщательная и утонченная разработка цвета. Портрет, русский лирический пейзаж — излюбленные ее жанры. Произведения Е. Коронцевич неоднократно представлялись на молодежных выставках.

Предлагаемые в этом номере иллюстрации к пушкинской повести были сделаны как дипломная работа. Но уже в этих, по видимости импровизационных, листах чувствуется уверенная рука, склонность к построению философского ландшафта, ненарочитая театрализация ситуации.



А. С. Пушкин. «Арап Петра Великого».

